

двадцатиметровой высоты) — все это было в новинку. Виктор часами не покидал палубу.

После плавания по Северному Донцу с каменистыми и крутыми берегами, пароход вошел в устье речки Калитвы, тяжело зашлепал лопастями по воде, а к поднятым волнам ринулись наперегонки, отчаянно размахивая руками, мальчишки с берега. Плыли чуть ли не под колеса, завертевшиеся в обратную сторону. Усилилось течение за бортом, пароход стукнулся о дебаркадер. Виктор увидел в воде шустрого черноглазого Петю, сводного брата, и очень обрадовался: не надо будет расспрашивать у прохожих про «Центроспирт», чего он почему-то стеснялся. Петя охотно проводил его домой.

Уминая борщ и яичницу за обеденным столом, Виктор бойко и как бы с насмешкой к самому себе, в то же время не забывая выделить мужество и находчивость в критические моменты, расписывал в ярких красках парходную одиссею. За эти два дня чего только не приключилось: буря едва не выбросила корабль на берег, за бортом очутилась девушка, в спасении которой принимал участие Виктор наравне с матросами, и другие страсти-мордасти. Он уже рассказывал то, что присочинил для повести, не стесняясь преувеличений: какая же повесть о путешествии без приключений, капризов погоды и беззащитной красавицы, вырученной из беды мужественным героем?

Десятилетний Петя слушал с открытым ртом, а его двоюродная сестренка Тоня, года на три старше, не спускала с Виктора влюбленных глаз. Этому он не придавал значения, держался с Тоней покровительственно-вежливо, как подобает старшему: Тоня была детского возраста и мышления, маменькина дочка, которой что ни скажи, сейчас же станет известно родителям. Не трудно было представить, как после его отъезда она бросится на шею матери:

— Ой, что мне говорил Виктор!

Тоня, дочь того самого генерала, который чуждался братьев, то ли они его, приехала из Скопина под Рязанью поправить в донских степях слабые легкие. Она как бы случайно появлялась везде, куда бы Виктор не подался. Он вышел на крыльцо посмотреть на речку, и она тут как тут с лукавым взглядом, который нет-нет и стрельнет в Виктора, и смущенно, словно испугавшись своей смелости, опустит глаза:

— А в Лихой речки нет.

— Ну и что?

— Ничего. Приезжай к нам купаться.

— Ладно.

— Нет, правда. Мама скоро уедет в Скопин, а я еще погощу.

У патефона, слушая дуэт из популярной в то время оперетты «Холопка» о зиме и любви, она вдруг защебетала:

— Ой, как мы здорово провели прошлое воскресенье! На лошадях поехали к вашим. На ночь. По дороге перевернулись, но никто не ушибся. К ужину прикатали в Лихую. Дядя Паша принес из вокзального буфета ог-

ромную коробку шоколадных конфет. Как здорово было! Потом запрягли еще линейку — и всей компанией в Белую Калитву. Я в дороге уснула, не помню, как добрались, кто меня уложил в постель... Приезжай, ладно?

— Ладно.

— Хочешь, пойдем на Калитву искупаемся?

— Некогда. Надо домой быстрее. Наверное, наши беспокоятся.

В тот же день он добрался, наконец, до Лихой. Здесь только и разговору было что о переезде в Ростов. Тянула всех мама.

— Если бы вы знали, как мне надоела эта глушь! — сетовала она за ужином. — Когда уж мы будем жить по-людски? Кочуем как цыгане. Не успеем обжиться на одном месте, как переезжаем на другое. В Ростове купим дом — и больше никуда ни на шаг!

Но отчим не спешил, найдя Лихую доходным местом, а бабушке вообще не нравился большой город. Она только что вернулась с поля, принесла в двух корзинах красные крупные помидоры и жаловалась, что пропадает добро, гниют на корню овощи, придется стравить свинье Машке или, может быть, свезти на рынок?

— Огородов в Ростове нет, верно, — рассуждала бабушка. — Они там и не нужны. На базаре прилавки ломаются от овощей, только втридорога. Ростов деньги любит. А где их там взять?

Кухонным ножом она подрезала в салат помидоров — сочных, сахаристых, каких, конечно, в городе и напоказ не найдешь.

— Я поступлю на работу! — подал свой голос Виктор. — А что? Я тоже хочу в Ростов!

Мама снисходительно ему улынулась, как ребенку, которого внимательно слушают, но не придают его словам значения. Виктор обиделся. Он готов был пойти хоть сейчас чернорабочим в железнодорожные мастерские станции Лихой. Пуще горькой редьки надоела зависимость от родителей. Он себя считал уже взрослым, а мама все смотрела на него, как на мальчика. Понимая его состояние, она впервые разрешила в Лихой свободно курить, дала ему почувствовать самостоятельность хоть в этом: «Все равно курит, прячется по углам, еще пожара наделает, пусть уж лучше в открытую».

Виктор купил коробку дорогих папирос ростовской табачной фабрики «Наша марка». Угловатая глянцевиная коробка лежала в кармане как будто всегда. Виктор доставал ее без оглядки и открывал с шиком. Папиросы казались необычно духовитыми.

Вечером он оделся понаряднее и отправился в местный Дом культуры — большое, с колоннами и высокими залами здание, как церковь, обособленно стоявшее среди одноэтажных шахтерских домиков. Поселок населяли горняки и железнодорожники. За станцией, в знойной степи, египетскими пирамидами маячили угольные терриконы. За ними ложился красный закат, подчерненный узкой тучей, будто угольной пылью. В садике возле Дома культуры стайками гуляли острые на язык горнячки — не затрагивай, отбреют будь здоров! Среди местной публики выделялись бе-

женцы-поляки в узкополых шляпах с перышками, в шароварах, стянутых на щиколотках, как лыжные брюки, в тяжелых, на толстой подошве ботинках.

Виктор любопытства ради подошел к приветливому молодому человеку, угостил «Нашей маркой» и разговорился. Встреча с иностранцем всегда вызывала у него патриотическую приподнятость. Он подтягивался, старался показать широту русской души, считая себя, рослого, голубоглазого блондина, наиболее выразительным представителем нации. Но и живо интересовался, как там за кордоном?

С поляками нетрудно было объясниться. Почти все слова понятные, похожие на русские, только ударения и окончания необычные.

«Цо, пан, хце? То я пренто зробию!» — запомнилась фраза, которой потом Виктор то и дело козырял, подгадывая к чему-нибудь смешному.

Все поляки были горняки и работали на шахтах, надеясь скоро возвратиться на родину. Молодой поляк уверял: «Польша не сгинет!»

Виктор пригласил его в буфет, и они выпили по стакану кагора за возрождение Польши.

По какому-то нюху, как животные чувствуют присутствие чужака, не видя его, Виктор догадался о гостях, переступив порог дома. Мама подтвердила: приехали Нина и Тоня. Ужиная на кухне, Виктор с приятной взволнованностью вострил уши на комнаты, ловя там каждый звук, и вяло, привередливо ел. Под опрокинутыми тарелками заботливой рукой мамы были положены курица, кусок пирога с яблоками, половинка полосатого арбуза, за который Виктор и принялся, предпочитая всем другим кушаньям. Мало ценил он эту заботу о себе, возвращаясь поздно домой и всегда находя на кухне приготовленное для него что-нибудь вкусное, не подозревая, что, покинув родительский дом, уже не почувствует такого внимания ни от кого.

Все улеглись, но еще не спали. Из комнат доносился приглушенный смех, шепот: «Что ты! Никогда в жизни я не полюблю брюнета», и прочее в этом роде.

Девчата оживились после прихода молодого хозяина. От их восторженно-интимных голосов у Виктора падало сердце. Тоня и Нина легли на его кровати (Виктору постелили на диване в проходной комнате, но он не спешил ложиться) и тараторили, перебивая друг друга, как обычно девчата, забывались и шумели на весь дом. Мама на них уже несколько раз цыкала.

Гости вносили в жизнь Виктора новизну, праздничность, а появление Нины разворошило в памяти прошлое, давно похороненное. Зачем, по какой побудке она приехала? А где же ребенок? Оставила на руках матери в Новороссийске? Помнится, у нее родилась девочка. Уже года полтора. Как трудно поверить — Нина женщина!

Виктор был уверен, что девчата вот-вот, посмеиваясь, пробегут мимо кухни во двор, бросая на него любопытные взгляды, и увидят нарядно одетого юношу, с вьющимися шелковистыми волосами, сегодня особенно

красиво уложенными. Он посматривал на себя в зеркало, подправлял прическу и галстук. В Доме культуры не приглянулась ни одна девушка, весь вечер он провел с поляком и ушел с танцев расстроенный, а тут сразу две... Они должны непременно выйти. Разве можно уснуть в такую ночь, не подышать чистым степным воздухом, не посидеть на скамейке в кустах сирени под яркой луной? Что за ночь, черт побери! Умереть не страшно, проведя ее с девушкой. Виктор сильно желал этого, нетерпеливо косился на дверь, прислушивался к девичьим голосам и навоображал бог знает что: как обнимет Нину, как они поцелуются (Тоня куда-нибудь отлучится или уйдет спать), как, взявшись за руки, удалятся в степь далеко, далеко и встретят рассвет на скифском кургане... Он нарочно не спешил заканчивать ужин, машинально перейдя от арбуза к помидорам и курице, затягивал время и мысленно твердил, шевеля вздрагивающими губами: «Встаньте же! Встаньте! Выйдите во двор! Что для вас это стоит? А мне доставит столько удовольствия!» Но девчата не выходили.

«Заглянуть в их комнату, поздравить с приездом? Не очень удобно, — размышлял Виктор. — Могут и обидеться, поднимут визг... Вообще идти на девичью половину неприлично!»

Он с неохотой, медля, направился в свою комнату, прошел мимо открытой двери и, хотя нельзя было разглядеть гостей в темноте, почти осязаемо ощутил присутствие девушек, услышал их дыхание. Кто-то из них придавленно прыснул, скорей всего Тоня. Конечно же, и девчата были приятно взволнованы, и прислушивались к каждому его шагу.

Виктор лег в постель, жалея, что не окликнул, не позвал гостей во двор. Но еще надеялся на какое-то чудо, казалось, как только все в доме уснут, послышится скрип половиц, осторожные шаги, к нему подойдет Нина... И лежал, затаив дыхание, в мятежных грезх. С ними он и уснул.

## 2

Утром Виктор узнал, что Нина уехала из дома, чтобы отлучить девочку от груди, пожила полторы недели в Ростове, у родной тети, потом захала на день в Белую Калитву и вот с Тоней прикатила в Лихую на денек.

— А мы скоро переезжаем в Ростов, — сказал Виктор после завтрака, когда все вышли во двор фотографироваться. Виктор — в очках, с книгой в руке, чтобы выглядеть повзрослее.

— Я в Ростове бывал проездом. Как город — понравился?

— Очень! — живо отозвалась Нина.

— Много развлечений?

— Ну, еще бы! Ты был в саду имени Горького?

— Мимо проходил.

— Тогда ты ничего не видел! Это веселый уголок. Сколько там аттракционов, музыки. Я каждый вечер пропадала на танцах! — Нина сказала это с таким восторгом, что Виктор усомнился, так ли было на самом

деле. Может быть, она подтрунивала? Но над кем? Над Виктором или над собой? — Знаешь, хотелось забыть хоть на неделю домашние заботы, вспомнить молодость! А ты подумал: вот ветреница, да?

Она сделала печальное лицо, но тоже притворно, как заподозрил Виктор.

Став матерью, Нина пополнела и похорошела. Волосы вздымались волнами, когда она их расчесывала, прихорашиваясь перед объективом.

Снимать пригласили фотографа из ателье, расположенного рядом с магазином «Центроспирта», потешного старикана с манерными жестами, в манишке с клетчатым галстуком-бабочкой. Он так и этак рассаживал компанию, шумно принаравливался, вставлял кассеты, весь в артистическом порыве, словно играл на сцене, а не фотографировал.

— Я не имею время и места, а то бы вы ахнули на фотографии, — говорил он с немецким акцентом. — Имеете честь видеть петербургского мастера!

Почему-то в то время по глухим местечкам были не редкость подобные типы из дореволюционного прошлого, бог весть каким ветром сюда занесенные из больших городов. Они как бы приоткрывали окошко в интригующую, притягательную юность отцов.

Виктор ожидал увидеть художественный снимок, а получился весьма статичный, с напряженными лицами. Видно, потешный старикан на самом деле «не имел время и места».

Тоня не сводила с Нины глаз, видя себя через два-три года такой же импозантной (она и на фотографии смотрела на нее) и делала все, чтобы она сблизилась с Виктором, жертвуя собственной любовью, которой шел уже третий день, со дня приезда Виктора в Белую Калитву. Она узнала от Нины все: и о детской неприязни Виктора к своей сверстнице, и о том, как, повзрослев, он в нее влюбился, и как она уже была связана словом с другим, и как Виктор страдал, узнав о ее замужестве.

Пожалуй, Тоня была влюблена сразу и в Нину, и в Виктора. Она ходила вокруг них с таинственной улыбкой, что-то мурлыкала про себя — то игриво подтолкнет Виктора к Нине, подбадривая поощрительным взглядом, то сядет между ними с невинным видом, мешая говорить, то подкрадется сзади, столкнет головами и убежит, смеясь.

— Не дури, слышишь! А то надаю по мягкому месту! — прикрикнула на нее Нина, смущенно оправляясь после того, как невзначай побывала в объятиях Виктора.

День был полон впечатлений: фотографировались, танцевали под патефон, причем Нина показала несколько новых интересных па, лепили вареники с творогом, кто быстрее и позатейливее (новороссийская гостья и тут отличилась), прогуливались по степи, к бабушкиному огороду. Присутствие девушек вызвало у Виктора бурную деятельность и целый каскад остроумия. С разными оттенками, но неизменно вызывая смех, произносилось: «Цо, пани (или пан) хце! То я пренто зробию!» Виктор был просто неузнаваем, как заметила мама не без иронии и вспомнила, что в

Новороссийске в двадцатых годах, после знаменитого рейда Первой Конной армии под Варшаву, было много пленных поляков, которых звали «пшикалками» за их речь с взрывными шипящими. Когда в компании мама начинала говорить, Виктор испытывал неловкость и настораживался, ожидая нелепости с ее стороны. Но сегодня и мама уловила тон общего настроения, и все было чудесно.

Гости уехали. Возвратясь со станции, Виктор неприкаянно остановился посреди комнаты, не зная, что же теперь делать, как дальше жить? Без Нины и Тони его существование словно бы потеряло смысл.

Вечером в Дом культуры не тянуло, книга не читалась, спалось беспокойно. Встал рано с головной болью, все тяготило, и он вышел за калитку, зашагал мимо огородов, на которых уже мелькали белые косынки лихочанок, к угольным терриконам, в степь. Тишина с отдаленным поскрипыванием вагонетки, выбрасывающей из шахты породу, чистые утренние дали, встречный свежий ветерок с горьковатым запахом полыни ничего не оставили от грустного настроения. Он бегом вернулся домой. Скорей, скорей к столу: пережитое, перечувствованное просилось на бумагу...

Солнце уже клонилось к закату, а Виктор словно прирос к тетради, взъерошенный, с перепачканными чернилами пальцами. Так легко не писалось с самого Новороссийска, с тех весенних радостных дней после опубликования в «Черноморском рабочем» его первого стихотворения. Пришел довольно приличный денежный перевод, что для Виктора было равносильно получению свидетельства о зрелости. Редактор приглашал сотрудничать и даже назвал несколько тем, но в тетради Виктора преобладало интимное, не подходило для газеты. А на заданные темы стихи получались вымученные, стыдно было показывать. Написав напыщенно вычурно строк пятьдесят о цементниках, Виктор долго колебался: нести в редакцию или воздержаться и в конце концов разорвал «оду труду». Все-таки, несмотря на неудачи, первая публикация подняла в нем дух, придавала уверенности: рано или поздно он станет писателем! Дядя Костя, новороссийский знакомый, отозвался о стихах с восхищением: «Вижу восходящую звезду!» Вот только мама была равнодушна к тому, что он считал главным в своей жизни. Она могла ни с того ни с сего включить радио или войти в комнату, где Виктор корпел над столом, и добрых полчаса рыться в гардеробе, не замечая, что мешает. А то позвать прибить в прихожей вешалку в то время, когда Виктор, как говорится, держал свое творение на кончике пера.

Он несколько раз объяснял матери, как она некстати отрывает его от занятий, но она почему-то не понимала и продолжала поступать по-своему. Ее нечуткость, какое-то необъяснимое упрямство выводили Виктора из себя. Он нервно бросал ручку, вскакивал со стула:

— Ты мешаешь, ма!

Она сердилась и называла его грубияном.

Сына она любила, баловала, но общего между ними ничего не было, и с возрастом Виктор все чаще не находил с матерью взаимопонимания. До

какого-то времени они шли по одной дороге, а потом стали расходиться, как на развилке. Для Виктора было неприятно обнаружить ограниченность материнского ума. Но это надо было признать, с этим надо было смириться, а он не мог.

Виктор любил свою мать, считал, что таких, как она, мало на свете, но правильно оценить свое поведение не позволяла ему то ли молодость, то ли еще что мешало наладить контакты с матерью. Виктор делался замкнутым, стихов ей не читал, сокровенными мыслями с нею не делился, отношения между ними были чисто житейские. Наверное, мать это устраивало, на большее она не претендовала.

А Виктор жил будущим, плыл в свою Африку. Там, там, где-то за горами, за долами самое заветное, самое главное, ради которого приходится терпеть обыденность настоящего.

### 3

Семья ужинала на веранде, и солнце на заходе высвечивало рубином вишневую настойку в графине, а над крышами, в голубое небо, уже поднялась белой вороной луна. Мама и отчим вели нескончаемый спор по поводу Ростова: не повременить ли с переездом, не подкопить ли еще деньжонок? Бабушка по обыкновению сокрушалась о пропадавшем на огороде урожае.

— Сегодня разогнула куст. Вот такая картошка! — она взяла с тарелки поджаристый, в сахарной пудре пончик, повертела в руке и положила на место: сладкое не любила. — Через неделю надо копать. А куда с ней деваться?

Застучали каблуки женских туфель по ступенькам крыльца и, пересекая косой красный луч, на веранду вошла Нина в соломенной широкополой шляпе и легком полотняном костюме, с дорожной сумкой в руке. Изпод шляпы смотрели густой голубизны глаза, оттененные загаром, какие Виктор видел у нее впервые.

— Так быстро? — удивилась мама.

— Уже домой? — спросил Виктор, отбирая у гостыи сумку и радуясь ее приезду.

— Давно пора, а я все гостюю. Сейчас на станции взяла билет. Еду утренним поездом. — Она сняла шляпу за шнурок, перехватывавший подбородок, и огляделась, куда бы положить.

Виктор взял и шляпу, повесил на крючок, а мама покачала головой:

— Если бы он за мной так ухаживал!

Нина принялась оправлять прическу перед зеркалом, отказываясь от приглашения к ужину — была не голодна — и уступила лишь после того, как Виктор взял ее за руку и насильно усадил за стол.

Луч погас в графине с вишневкой, как выключенный красный фонарь, и легли сумерки. Виктор встал, хотел зажечь свет, но Нина его остановила:

— Давай посумерничаем... Ой, какое солнце, посмотри! Словно запуталось в морских водорослях и сейчас потонет.

Виктор всмотрелся в угасающий закат и сказал:

— Оно как будто покидает этот и уходит в другой, незнакомый нам таинственный мир. Вон он, видишь, проглядывает сквозь тучи оранжево-голубым простором, зовет, манит к себе, словно там наше счастье, там наш рай! И на душе тревожно, беспокойно: тот мир недосягаем, счастье неосуществимо. Оно так же призрачно, как и заоблачный мир, умирающий вместе с солнцем...

Нина слушала это душевное откровение с совестливой улыбкой на губах, подозревая, что Виктор имел в виду что-то свое личное, описывая закат, может быть, их неудачную любовь, и чувствовала себя неловко.

— О, ты и впрямь поэт! — воскликнула она, с трудом преодолевая неловкость. — Как твои литературные успехи? Что написал нового?

Виктор не прочь был почитать ей некоторые из последних стихов, но стеснялся мамы и отчима.

— Кое-что. От скуки... Ты совсем ничего не ешь! — спохватился он, стараясь уйти от щепетильного разговора. — Попробуй кабачковой икры. Не откажешься! Или вот фирменное блюдо нашей семьи — голубцы. Пальчики оближешь!

Под хмельком, расхрабрившись, Виктор подкладывал Нине на тарелку разные кушанья, на которые всегда был щедр семейный стол: мама умела вкусно готовить и «ни в чем себе не отказывала», как любила напомнить при удобном случае, словно кого-то упрекая в скаредности. К Нине она относилась сдержанно, сердясь за ее прошлую холодность к Виктору.

Нина об этом догадывалась, вежливо улыбалась, благодарила, кушала мало и вяло.

После ужина Виктор вышел с гостьей в палисадник, в зелень кустов. Свежестью так и обдало вспотевшие за столом лица. Из окон веранды неяркий свет падал на куст красных роз, на фикусы в кадках, выставленных на лето из комнаты и густые плетения алых граммофончиков по забору.

— Цо, пане, цхе? То я пренто зроблю! — сказал Виктор с улыбкой, желая продолжить наладившиеся между ними отношения в том же духе, что и в первый приезд. Нина ответила поощрительным взглядом.

— Какие роскошные махровые розы! — удивилась она, словно заметила их только теперь.

— Хочешь, сорву вон ту, самую большую? — Виктор потянулся к кусту, не ожидая согласия.

— Подожди. Я сама выберу. — Она стала со всех сторон осматривать куст. — Мне тут нравится: уютно и мило...

— Особенно когда среди роз появилась такая, как ты! — сострил Виктор, понимая, что плоско, но в эту минуту был кстати любой комплимент, как он считал.



Нина выпятила нижнюю губу, ничего определенного не выразившую, и отняла руку от куста, сунула наколотый палец в рот.

— Ой, кусается!

— Вот видишь, не дала мне сорвать!

Виктор обмотал руку носовым платком и не без труда, измочалив стебель, сорвал розу. Сели на скамейку в неловком молчании, думая каждый о причине этой неловкости, о том, что сейчас между ними должно что-то произойти, еще более неловкое. Виктору почудилось, что Нина ждала объяснения в любви. Эта сумасбродная мысль пришла ему в голову тотчас, как гостя появилась на веранде и посмотрела на него глазами незнакомой густой синевы. От этого взгляда Виктор сам стал не свой: невпопад каламбурил, принимался петь, даже пританцовывал, того и гляди, выкинет что-нибудь нелепое.

Он всегда чувствовал на себе преувеличенное внимание (хотя, возможно, такового и не было), казалось, все ждут от него чего-то оригинального, необычного и что для других очень важно, как он сядет, что скажет, во что сегодня оденется. Крупной фигурой, крупным лицом он выделялся в толпе, был на виду. Доходило до смешного: сколько раз он получал незаслуженные оскорбления там, где никак их не ожидал! И часто от взвинченно-веселого настроения переходил к замкнутости и угрюмости.

Нина уклонилась от руки, положенной Виктором ей на плечо. Он стал настойчивее, а Нина неподатливее и все посмеивалась, как видно, не желая его обидеть. Он это рассудил так, что она считает его недорослем, мальчишкой, и поэтому лишь снисходительна к нему, не беря его в счет, как мужчину. Виктор во что бы то ни стало хотел доказать обратное.

— Пойдем на танцы! — предложил он, вскакивая со скамейки и беря Нину за руки.

— А разве здесь есть танцы?

— Послушай.

— Духовой оркестр! Ну что ж, пойдем. Про танцы в Ростове, Виктор, я тебе нафантазировала, ни разу не была, вообще, как вышла замуж.

— Я так и подумал.

— Появился ребенок... пеленки, стирки. Сколько времени отнимает! Какие тут могут быть танцы?

— Ребенок само собой, а развлечения само собой, — изрек Виктор, как будто цель своей жизни видел в праздничном времяпрепровождении.

— Ну, ты и рассудил! Вот станешь папашей, тогда по-другому запоешь.

— Зачем же ты тогда выходила замуж?

— Наивный ты человек, Виктор! Ну, так что, идем на танцы?

— Конечно!

С Ниной можно было найти общий язык. Она совсем не походила на молчаливую вчерашнюю партнершу, которая вначале Виктору понравилась.

лась, а потом разочаровала: чтобы поддержать с нею разговор, приходилось прилагать невероятные усилия. Легче пудовые камни ворочать.

На веранде бабушка убирала со стола. Мама в зале укладывала в чемодан вещи, понемножку готовясь к переезду в Ростов. Отчим лежал на диване, прикрыв лицо газетой, и уже похрапывал.

— Мы с Ниной идем на танцы! — объявил Виктор во всеуслышание.

— Дать тебе денег? — спросила мама, не отрываясь от чемодана.

«Ах, мама, мама! Разве нельзя было сделать это как-то по-другому — отвести в сторону, чтобы не слышала Нина?» — с досадой подумал Виктор. Своей слепой заботливостью она посадила его что ни на есть в лужу.

— Не надо! — грубо ответил он, падая еще ниже в глазах Нины, как ему казалось.

По дороге в Дом культуры она с трудом тянула из него слова. На танцах он немного повеселел, даже вспомнил новый анекдот, но прежнее удалое настроение так и не вернулось.

Оркестр заиграл марш. Кое-кто еще шаркал ногами по цементному полу, желая продлить удовольствие. Виктор и Нина сошли с танцплощадки, прогулялись по аллее мимо статуи шахтера с отбойным молотком на плече, непременно во всех местных парках, и свернули к выходу...

«Да сбрось с себя угрюмость, развесели Нину, она ждет этого, и тогда все твои желания исполнятся!» — твердил себе Виктор и ничего не предпринимал, оставался вялым, скучным. В голове, как заноза, застряли обидные мамини слова. И вспомнились злополучные духи, подаренные Нине, и парашютная вышка. Освободиться от душевного гнета ему было не под силу.

Они задержались у выхода из сада в нерешительности: идти домой или еще погулять?

— Пожалуй, пора на покой, — сказала Нина совсем по-взрослому.

— Да, конечно, — сухо согласился Виктор.

Рано утром, когда он еще спал, она уехала.

От этой встречи осталось тягостное чувство, и не только потому, что мама поставила в неловкое положение перед Ниной — Виктор был ужасно недоволен тем, как вел себя, что говорил, что думал о Нине, чего от нее добивался. Увы, им двигало не возвышенное чувство, а что-то грубое, даже подленькое. Выходило так, что Нина не могла уже быть предметом высокой любви, он видел в ней просто женщину.

То, что до сих пор не встретил девушку по нраву, такую, какую представлял себе еще в отроческие годы, в те поэтические ночи, когда, грезя, совершал ради нее столько героизма и самоотверженности, не значило, что надежды на идеал рухнули. Витя продолжал верить, что встретит, обязательно встретит! Только теперь к ее обворожительным внешним чертам, которыми он прежде вполне довольствовался, не требуя от своей придуманной подруги других достоинств, он добавил душевность. Между ними будет полное взаимопонимание, чуткое, сердечное — не то, что с Ниной. Но где она, в каком городе, в каком селе, на какой дороге ждет

Виктора — бог весть! Она стала такой же захватывающе прекрасной и далекой, как Африка.

#### 4

Осенью семья перебралась в новый дом на Ростов-горе, куда подходила товарная железнодорожная ветка и куда, в тупик, прибыл вагон с вещами, свиньей Машкой и кочетом Петей в окружении поредевшего куриного семейства. Сопровождала вагон бабушка. Она осталась верной себе, постаралась сохранить домашнюю живность и в городе, хотя эти годы были самые изобильные, а на Дону в особенности.

Дом не совсем устраивал новых хозяев, к тому же одна комната в нем оставалась неоштукатуренной и без полов. Виктор вместе с домочадцами принялся за устройство жилья. В глухой стене, обращенной к саду, уже с подсохшими, припыленными листьями на яблонях и грушах, он пробил широкое итальянское окно, и куст сирени, густой и зеленый по-летнему, вломился в комнату. Она сразу как бы раздвинулась и посветлела. Итальянское окно было выдумкой Виктора, против которой не возражала и мама.

Доделки, покраска, побелка, наконец, были закончены. Мама принесла из магазина розовый шелковый абажур, призванный олицетворять уют и благополучие семьи, который Виктор повесил в зале над круглым столом с тяжелой бархатной скатертью и расписной вазой посередине. В ней всегда стояли гладиолусы теплого густо-красного цвета.

Неотделанная комната временно служила кладовой. Мама шутя заметила, что это будут «брачные хоромы» Виктора и до свадьбы она постарается привести их в надлежащий вид, не жалея денег. От таких разговоров Виктору делалось не по себе, женатиком он никак не мог себя представить, хотя уже работал на заводе и обрел желанную самостоятельность. Нафантазированные идеальные отношения с будущей подругой и семейная жизнь с ее бытовыми передразнями, — как это можно было совместить? В то же время женщины открывались в другом качестве, что особенно он почувствовал в воскресную поездку за Дон. Впервые взрослые взяли с собой Виктора. Компания составила из новых ростовских знакомых отчима. Прихватили с собой ящик пива, ведро раков, истекающих жиром рыбцов, зелени, фруктов и переправились в моторной лодке на загородные пляжи среди кустов краснотала. Веселым нравом выделялась белокурая замужняя молодка, чем-то напоминавшая Нину, коротко стриженная по тогдашней моде, с голубыми лукавыми глазами, бросавшими на Виктора насмешливо-интригующие взгляды. Он не мог оторваться от ямочек на ее бедрах, покатых плеч, стянутых купальным бюстгальтером, всей ее играющей обнаженной фигуры, и приходил в трепет, когда их взгляды встречались, и ревновал к мужу. Узнав, что Виктор вырос на Черном море, она попросила поучить плавать. Около часа они бултыхались в воде и вышли на берег закадычными друзьями, а Виктор еще и влюбленным по уши, уверенный, что с этой минуты блондинка принадлежит толь-

ко ему. Как же он был обескуражен, наткнувшись некоторое время спустя в кустах на свою возлюбленную, нежно обнимающую мужа!

После того дня он ни разу не видел ее, но в памяти надолго осталась эта женщина и эта поездка, как некая веха возмужания, и прежнее представление о будущей подруге заметно изменилось.

По воскресеньям он посещал университет марксизма-ленинизма при горкоме партии, решив хоть таким образом, до лучших времен, какие неизвестно когда должны были наступить, продолжить образование. Учился на философском факультете, не удовлетворившись разрозненными знаниями из случайных книг, хотел основательно познать науку. «Легкомысленный парень!» — непременно сказал бы дядя Ленья, узнав об этом, так как серьезно признавал только вузовское образование.

Отчим устроился экспедитором на ликеро-водочный завод, а мама — продавщицей в большой гастроном на главной улице. Бабушка оставалась дома по хозяйству. На ее попечении был сад, огород и, как уже упоминалось, разная домашняя живность, о которой следует сказать особо. Свинья Машка поведением заметно отличалась от своих сородичей, во-первых, она любила чистоту, а во-вторых, в срок приготовленную вкусную пищу. Помоев, ничего прокисшего и протухшего не признавала. Когда эти нормы нарушались, она с возмущением срывала загородку и, визжа, громко хрюкая, бегала по двору. Если бабушка мешкала, то грядки на огороде оказывались изрытыми, а бочка у водосточной трубы перевернута.

Бабушка в негодование хватала кнут, собственноручно изготовленный для Машки, и начинались забавные бега. Для того чтобы своенравную свинью водворить в загон, надо было приложить немало усилий, хитрости, сноровки. Машка никак не хотела подчиняться кнуту и всячески старалась обмануть бабушку, убегая в отдаленные участки двора, принимая ловкие маневры и не давая приблизиться к себе на удар кнута.

Бабушка жаловалась на непокорную свинью, грозилась раньше срока заколоть ее, но в душе, как замечал Виктор, гордилась принципиальной Машкой и находила удовольствие вожжаться с нею.

Стараясь поменьше покупать, обходиться домашним, бабушка отнюдь не пренебрегала рынком. Напротив, рынок был ее коньком или хобби, как теперь говорят. Она находила большое удовольствие в том, чтобы потолкаться в рядах, прицениться к продуктам и выторговать пятерку, другую. Виктор не помнил такого случая, чтобы она когда-либо переплатила, и мальчишкой, сопровождая ее по новороссийскому шумному привозу, часто был тому свидетель.

«Почем ваша курица? — спрашивала бабушка торговку, беря тушку за ногу и поворачивая так и этак с недовольным выражением на лице. — Ой, какая синяя, тощая!»

«Какая ж вона синя? В вас в глазах, может, засинело? — возмущалась торговка, подбоченясь и принимая воинственный вид. — Кохала курочку, як ридну дитку, кормила пшеном, кукурузой...»

«Тогда, значит, старая».

«Какая ж вона стара? Да вы шо, тетя? Повылазило вам, чи шо? Совсем молода!»

«Сколько ж вы за нее хотите?»

«Три карбованца, как отдать».

«Полтора — красная ей цена!»

«Пойдите пошукайте за полтора таку курицу!»

«Так называйте настоящую цену! Нечего заламывать».

«Я вам и назвала настоящую. Гривенника не уступлю».

«Два рубля — последнее мое слово!» — бабушка поворачивалась уходить.

«Погодьте, тетя! Берите за два с полтиной. Так и быть уступлю. Нету времени рассиживать, дома скотина не гудована...»

Бабушка стояла на своем, и Витя, уставший от торга, которому не видно было конца, дергал ее за подол:

«Ба, бери. Пойдем!»

«Не лезь не в свое дело!» — сердилась бабушка, все-таки выторговав рубль, и шла в зеленой ряд, где происходило то же самое.

«Цены не сложат! Втридорога дерут. Разве можно жить с базара? Никаких денег не настачишься, — сокрушалась она по дороге домой, отягощенная покупками. — Пять рублей истратила, а смотреть не на что!»

\* \* \*

В девятнадцать лет багаж прошлого не оттягивает плечи, привязанности еще зыбки и каждое новое знакомство равно в возможностях однодневной или долголетней дружбе. Виктор быстро сходился с людьми, несмотря на некоторую застенчивость и горделивость. Один скромный паренек, который пришелся ему по нраву, на танцах в клубе заметил как бы между прочим: «У такого, как ты, всегда будут друзья». И верно. В Ростове Виктор не чувствовал себя одиноким, хотя ни родственников, ни знакомых здесь не было.

— Нравится мне одна девушка, но не знаю, как сойтись с нею. Потанцую, поблагодарю и отведу на место. Дальше дело не идет, — признался Виктору скромный паренек.

— Не горюй! Пустиак. Я сейчас вас сведу. Где она? Вон та брюнетка? Подожди тут.

Самоуверенно, браво, чего Виктор от себя никак не ожидал, он подскочил к девушке, пригласил на танго, свой любимый танец, и без обиняков поведал о страхах скромного паренька, ее партнера. Второй раз ему приходилось поступать так (вспомнилось посредничество между Костей и Аллой) и второй раз вместо ожидаемого негодования встречал благосклонность. Девушка посмеялась, ничего определенного не сказала, но уже на следующий вечер эта пара не расставалась до конца танцев. А недели через две они поженились.

— Черти полосатые, я ведь свел их. Хоть бы на свадьбу пригласили! — вспоминал потом Виктор, но несколько не обиженный, напротив, довольный своей ролью: как-никак, а помог людям в счастье.

Жизнь в Ростове налаживалась. Рано утром Виктор по-военному быстро высвобождался из-под одеяла, включал радиоприемник и делал во дворе, у распахнутого окна, зарядку. Завтрак уже ожидал его на столе. Бабушка поднималась спозаранку, успевала вовремя приготовить, накормить и отправить всех на работу, а потом брала корзину и сама уезжала трамваем на рынок.

По дороге на завод Виктор забегал к своему соседу по верстаку Анатолию Нестеренко, коренному ростовчанину. Он уже отслужил в армии и участвовал в халхингольских событиях в звании сержанта, работал по третьему разряду, делал лобовую обшивку на плоскостях, как тут называли крылья самолета, и знал другие операции, в то время как Виктор ходил еще в учениках.

Нельзя было не заметить в цехе высокого парня с красноватым лицом, изрыхленным угрями, с резко раздвоенным подбородком и широкими трепетными ноздрями, выдававшими капризный характер. Анатолий в работе преуспевал, но был обидчив: что не по нем, бросал на верстак киянку в негодовании, и, когда сердился, ноздри раздувались, верхняя губа подергивалась, лицо и шея наливались кровью. Правда, он так же быстро отходил, как и обижался. Эта смена настроений поначалу удивляла Виктора: только что корчил кислую рожу и уже заливается смехом.

— Я тебя ждал. Ты что — не веришь? — спросил он Виктора настороженно, подозревая насмешку над собой. Раза три они уговаривались встретиться вечером, после работы, в городском саду, но Виктор напрасно простаивал в ожидании Анатолия чуть ли не по часу. Оказалось, что не поняли друг друга, Анатолий имел в виду другое место.

— Ладно, — сказал Виктор, не желая ссориться. — Мы сделаем по-другому и проведем хорошо время. В компании.

— Какой компании?

— После смены узнаешь, — уклонился Виктор от прямого ответа, чтобы заинтриговать капризного друга.

На заводе Анатолий облачался в коричневый байковый спортивный костюм с короткой, расстегнутой для свободы движений курткой и за работой всегда насвистывал или напевал модную песенку. Будто между делом, походя, мастерил лобовую обшивку, — так все у него ловко и легко получалось. Виктор завидовал этой сноровке, которой ему самому недоставало.

Появился и еще один заводской друг, тоже слесарь-дюральныйщик и тоже подгонявший на плоскостях лобовую обшивку — Митя Лохматов. Он приехал в Ростов из донской станицы, по-крестьянски был скуповат и на деньги, и на слово, в работе старателен и нетороплив. Размечая лист дюраля линейкой и карандашом, который носил за ухом, он делал это так точно, такой уверенной рукой, так аккуратно рядами ставил заклепки, что

просто залюбуешься. Одетый в синий комбинезон с накладными карманами, он больше всего походил на рабочего, каким представлял его Виктор по плакатам.

Стариков было мало, все молодежь, да и завод был молодой, и костяк коллектива составляли не местные жители, а горьковчане, старые авиационники, присланные налаживать производство. Они выглядели серьезными и деловыми, даже чуждое местному уху волжское оканье прибавляло им солидности.

Виктора направили в обучение к подслеповатому, с бельмом на глазу Лисичкину. Без дальних слов он показал, что и как надо делать.

— Понятно?

— Понятно.

— Ну и валяй! Если будет загвоздка, спрашивай, не стесняйся. — И точно часовщик с лупой, склонился над щитком, держа в левой руке натяжку и обжимку и попеременно подставляя их под удар молотка. Он будто присосался к щитку, прилепывая к нему кронштейны для крепления шасси, стучал и стучал молотком безостановочно часами, не замечая, как от усердия из носа высовывалась сопля. Щитки чередой летели в сторону, и когда Лисичкин, наконец, оторвался от верстака, их уже набралась целая гора. А Виктор едва успел справиться с тремя щитками, да и то один из них запорол, Лисичкину пришлось переклепывать. Сделал он это без выговора и с прежним рвением принялся за работу. Вскоре Виктор понял, почему он спешил: дело только начиналось, расценки были высокие и по мере налаживания производства снижались. Сейчас за щиток начисляли полтинник, а в следующем месяце уже четвертак. Лисичкин, наверное, зарабатывал больше всех.

Мастер Лебедев, тоже горьковчанин, появлялся на участке редко, словно на прогулке случайно забредал сюда. Пройдет мимо верстаков, ничего не скажет — и снова надолго пропадет. Где он убивал время, Виктор не знал, не ведал. И Лисичкин, и мастер были ненамного старше его, но профессия, труд уже наложили на них свой отпечаток, сделали малообщительными, скупыми на шутку. Но, может быть, это в характере северян? — думал Виктор. Рядом с горьковчанами он чувствовал себя неполноценным рабочим и сомневался, что когда-либо достигнет их мастерства. До них Виктору расти и расти. Клепать щитки — куда ни шло, дело несложное, и он быстро ему научился, заметно увеличивая заработок Лисичкина, так как все сделанное учеником записывалось в наряд учителю. Лисичкин был заметно разочарован, когда Виктор перешел на самостоятельную работу. Теперь он уже отнимал у Лисичкина какую-то часть заработка. Лебедев немного погодя перевел Виктора на зализы, чтобы постепенно познакомить с разными процессами слесаря-дюральщика.

Зализы были сложнее щитков. Они устанавливались на стыке плоскостей и фюзеляжа, требовали точной и в какой-то степени изящной подгонки. Зализы долгое время не давались Виктору, он уже считал себя не-

дотепой, а слесарное дело совершенно ему чуждым. Но на помощь пришел Анатолий, и работа наладилась.

\* \* \*

Было свежее июньское утро после дождя. Лужи на дорогах голубели, как горные озера, отражая небо. Промытая листва глянцево поблескивала, густо зеленея в редяющих сумерках: солнце еще не добралось сюда, пряталось где-то за домами, лишь по ярко-голубому небу было видно, что оно уже поднялось над землей. Хорошо в эту рань пройти по окраинным улицам, под кипенью пахучей белой акации, глядя на разномастные частные домики, кое-где уже с открытыми ставнями!

Виктору было в новинку просыпаться затемно, встречать рассвет по дороге на завод и познать бодрящую прохладу улиц, легкость на душе и в теле, когда все трудности кажутся нипочем, слушать пробуждение птиц, любоваться восходами солнца, торжественной игрой света и красок.

На работу он ходил в простых синих коротковатых штанах, полинявших от частых стирок, в ковбойке с раскрытым воротом, с газетным промасленным свертком под мышкой, приготовленным бабушкой с вечера обедом. Вид простецкий. «У Нины он вызвал бы скептическую улыбку», — думал Виктор. Прежде какая-нибудь неполадка в костюме или плохо вычищенные ботинки доставляли ему немало огорчения, а теперь было не до щегольства.

Вереница людей вытянулась через балку к заводу. Оставалось всего десять минут до начала смены, а люди все прибывали и прибывали, казалось, им не будет конца. Но завывла сирена, и хвост втянулся в проходную.

Когда Виктор вошел в цех, тут еще было тихо. Где-то шипел сжатый воздух, пробиваясь на стыках шлангов, где-то журчала одинокая дрель, где-то прогремывал лист дюраля, — все напоминало настраивание оркестра, пробу инструментов. Но вот смолкла сирена, и словно дирижер взмахнул палочкой — цех, как оркестр, грянул что-то невообразимое. Завыли исступленно дрели, зазвучали киянки по дюралю. Электрический молот опустился на наковальню, как будто дирижер, сраженный диссонансом своего оркестра, грохнулся в обморок... Гудели токарные станки, визжала, свертываясь в спираль, металлическая стружка. И подавляя все звуки, время от времени по-звериному ревел авиационный мотор на испытательном стенде. Казалось, все в цехе было настроено на то, чтобы создать как можно больше шума, человеку нельзя здесь пробыть и двух часов, не сойдя с ума.

У Виктора вначале раскалывалась голова, он думал о мучениях, какие придется переносить каждую смену, но со временем привык, и, случалось, не побыв на заводе день, скучал по своему верстаку.

В ящике инструменты были сложены так, что нужный сразу же бросался в глаза. Дюралевые заготовки выдавались на складе без задержек, потери времени и тут не было. Виктор взял пару зализ и пошел к самолете-



ту размечать. Фюзеляж был фанерный, плоскости — парусиновые, и лишь напряженные части изготавливались из легкого, прочного, удобного в обработке дюрала. Щитки, лобовая обшивка, зализы, колпаки, в которые убирались шасси при полете, капоты, которые закрывали мотор, — вот, пожалуй, все основные металлические детали обшивки учебного двухместного И-16, «ишака», как его называли между собой рабочие.

На полкилометра тянулся конвейер сборочного цеха, собственно, конвейера как такового не было. Каркас будущего самолета устанавливался на тележку и, постепенно оснащаясь, продвигался к выходу. Первоначально похожий на рыбу без хвоста и головы, он с каждым метром приобретал обтекаемую форму и вот уже у самых дверей готов был в любую минуту нырнуть в небесную синеву.

В день выпускался один самолет. Сразу же, по выходе из цеха, он попадал на аэродром. Летчики-испытатели были заводские.

Виктору нравилось работать в сборочном цехе, видеть конечный результат усилий немалого числа людей и самому принимать участие в последней, перед стартом, отделке самолета.

До обеда часы пролетали незаметно, за это время Виктор спешил сделать зализы черне. В столовую Анатолий советовал не ходить, не убивать время на очередь, и они раскладывали еду, прихваченную из дома, на верстаке, ели с аппетитом, перебрасываясь шутками, направляя все стрелы в Митю, который и в перерыве корпел над своей лобовой обшивкой:

— Митя, все деньги заберешь. Оставь нам что-нибудь!

Или:

— Митя, штаны без обеда упадут!

Редко от него можно было услышать незлобивый ответ, чаще с ухмылкой продолжал молча постукивать киянкой, прикрываясь лобовой обшивкой, как щитом.

Вторая половина смены уходила на подгонку и крепление деталей на машине.

За полчаса до сирены, когда шум в цехе пошел на убыль, появился мастер Лебедев и сообщил о приходе казначея.

Виктор до копейки отдавал матери каждую зарплату, словно был счастлив расплатиться сполна за давний долг, и как же он рассердился, узнав, что она, выделив ему часть карманных денег, остальные откладывает на обновление его гардероба и уже накопила на костюм. Виктору хотелось, чтобы его заработок тратился на всю семью, чтобы он ел свой хлеб, а не был каким-то полуиждивенцем.

Деньги выдавались прямо в цехе, в оборудованной для этого кабине. Лысина казначея уже мелькала в окошке, когда Виктор и Анатолий пристроились к очереди, заняли и Мите. Он задерживался возле верстака: готовил лобовую обшивку на завтра, взял для себя это за правило и точно исполнял, несмотря на насмешки друзей. С виду простак, на самом деле он был неглупый парень, быстро усваивал городские привычки, иные из которых, напротив, выдавали Митино хуторское происхождение. Всегда

можно было видеть у него в руке свернутую трубкой газету, как у иного заядлого курильщика папиросу. Он носил модные костюмы, но без галстука, заправлял брюки в хромовые, собранные гармошкой сапоги, в общем, уже оторвался от деревни, но городским еще не стал.

В последнее время, где бы ни собиралась толпа, заходил разговор о войне. Митя обычно только слушал, воздерживался высказываться, но сегодня, в очереди за получкой, взмахнул газетной трубкой, возражая Анатолию:

— Попомните мои слова: воевать нам с немцами! А ты, Анатолий, мозги честным людям не засоряй!

Виктор не ожидал такой категоричности и приятно был удивлен.

Анатолий слушал снисходительно, покачиваясь на носках и поглядывая свысока.

— Японии мы дали прикурить, побоится сунуться! (Это он сказал с апломбом, как участник халхингольских событий.) А Германия не отважится один на один воевать с Россией. Да и нет ей сейчас никакого смысла: без нашего хлеба она пропадет!

Газеты в последнее время расписывали торговые перспективы с Германией после заключения договора о дружбе и ненападении. Завод уже получил берлинские токарные и фрезерные станки, и скоро, как говорили, должны были еще поступить. Вроде бы Анатолий прав: Германии нет никакого смысла воевать с Россией! Вон и сегодня газеты сообщают об отправке эшелонов с хлебом на Запад. (Знал бы Виктор, что эти эшелоны простучат колесами по мосту через пограничный Буг за полчаса до блицкрига!)

— Что-то часто стали поминать о войне, — сказал он в раздевалке после душа. — Я на днях получил письмо от Жени, с которым мы вместе росли. Служит танкистом. Часть их перебросили под Кишинев. Намекает на какие-то серьезные события в скором времени... Между прочим, как ты думаешь провести завтрашнее воскресенье?

— Не знаю. Еще не планировал. — Анатолий ожесточенно, до красноты, обтирал свое мускулистое тело махровым полотенцем.

— Тогда приходи ко мне.

— А что у тебя?

— Будут гости. Девушки.

Анатолий перестал вытираться и внимательно посмотрел на Виктора: не ослышался ли?

— На это ты намекал утром?

— Да. Но я считал, что, кроме лобовой обшивки, тебя ничего не интересует. А ты вон как встрепенулся.

— Тогда ты меня не знаешь!

По дороге с завода Анатолий предложил деньги на расходы к столу. Виктор отказался, но его друг упрямо настаивал, говоря, что они «не американские боссы», а простые работяги, и прочее. Он достал из новенькой

пачки, своей зарплаты, сторублевую хрустящую бумажку и пытался насильно всучить Виктору.

— Митя, а ты что? Раскошеливайся! — насел Анатолий на Лохматого, притихшего, как только речь зашла о складчине. Был Митя прижимист и всячески избегал лишних расходов. Во внутреннем кармане его пиджака хранился кожаный, распадавшийся на две половинки бумажник, в одной — документы, в другой — деньги. Карман закалывался английской булавкой, и заставить Митю раскошелиться было непросто.

— Я не смогу прийти. Еду на воскресенье к своим в хутор, — отговорился он.

— Ну как знаешь! — не стал настаивать Анатолий, был даже рад избавиться от Мити. — Бери деньги, Виктор!

Все-таки Виктор не взял: это никак не вязалось с его понятием о гостеприимстве. Упомянув о девушках, он имел в виду Нину и Тоню. На днях мама получила письмо из Белой Калитвы от гостившей там опять Нины. Она обещала приехать в Ростов на воскресенье с Тоней, вторично проводившей лето на Дону. Хотели сделать кое-какие покупки и побывать в театре.

Минув год, как Виктор последний раз видел Нину, и та короткая встреча в Лихой припоминалась с волнением, хотелось посмотреть на подругу своего детства: как она, сильно изменилась в замужестве? Он тешил свое самолюбие, как все отвергнутые молодые люди, тем, что Нина раскаивалась, связав свою судьбу с другим. И в то же время здравый рассудок ему подсказывал, что она потеряна навсегда, дороги их разошлись...

\* \* \*

Июньский день уже с утра был жаркий. Улицы почти пусты: после субботних приборок и бань люди отдыхали. Виктор вошел в мраморный вестибюль Дома политпросвещения, как окунулся в прохладную воду. Занятия уже начались, и молодой профессор воодушевленно рассказывал о философах древней Эллады. Не прошло и десяти минут, как по вестибюлю и коридорам необычно громко разнеслись позывные радиостанции, словно кто-то преднамеренно усилил звучание. Урок прервался, и все высыпали во двор, к фонтану, возле которого был репродуктор. Заговорил Молотов — трудно, заикаясь. Слышались стук стакана, бульканье воды, покашливание.

Война!..

Жизнь сразу раздвоилась. Та, что минуту назад была рядом с Виктором, будто осталась за высокой стеной, выросшей как по волшебству. Пришла другая — тревожная, неопределенная, без будущего.

Виктор бегом вернулся домой, припал к приемнику, ловя каждое слово диктора, каждую новую весть о войне, но в эфире большей частью звучала маршевая музыка. Он настроивался на иностранные радиостанции,

попал на германскую, услышал лающий крикливый голос Гитлера, рев многолюдной толпы, но мало что понял, не зная немецкого языка.

Мама была на работе, отчим — в командировке, где-то под Ивановом, бабушка ходила с заплаканными глазами. Напрасно Виктор ждал гостей. Никто не пришел и не приехал.

Вечером в городском саду, на танцплощадке, электрический свет был уже синий, народу набилось, как селедок в бочку. В такой день не сиделось дома. Разум не мог понять, осмыслить случившееся, только какое-то смутное наитие беспокоило, тревожило, и музыканты на эстраде, похожей на мандолину, и танцующие пары в синем полумраке выглядели призрачно, словно из другого мира. Вот оркестр перестал играть, а пары продолжали бесшумно двигаться, как тени.

Виктор походил по саду, знакомых не встретил и один пошел смотреть кинофильм «Подруги» про финскую войну. До начала сеанса московская актриса Федорова, одна из «подруг», поднялась на сцену и призвала девушек сражаться с врагом наравне с мужчинами... А стена поднималась выше, выше, и основательность, надежность, без которых Виктор не мыслил свое существование, оставались по ту сторону, а по эту одно шаткое, случайное...

## 5

Как-никак первые дни война шла своим чередом, а жизнь своим, люди не подозревали о бедствиях, которые на них надвигались, работали и отдыхали, влюблялись и женились. Газеты и радио убедили их в несокрушимости Красной Армии: враг будет разбит! Неутешительные сообщения с фронта беспокоили, настораживали. В магазинах исчезло кое-что из товаров первой необходимости, почему-то все бросились покупать соль, спички и мыло, но продуктов было еще в изобилии. Возле призывных пунктов с утра до глубокой ночи толпились мужчины. Началась всеобщая мобилизация.

Виктор получил бронь. Как и прежде он ходил на работу — неделю в утреннюю смену, неделю в ночную. Как и прежде, завод выпускал учебные И-16.

В душный полдень с непрерывным то близким, то далеким рокотом самолетов-патрулей Виктор лежал на диване, пытаясь уснуть перед ночной сменой. Скрипнула калитка, простучали под окнами каблуки. Бойко переговаривались две женщины, судя по голосам, молодые. «Кто-то из знакомых», — подумал Виктор сквозь дрему. Прислушался — Нина и Тоня, но не встал с дивана, сделал вид, что спит.

— Ему вечером на работу. Не буди, — сказала мама, когда Тоня заглянула в зал, высматривая Виктора.

— На работу? Он уже работает?

— На заводе. Второй месяц.

— А в институт не поступил?

— Какой теперь институт?... Как там у вас, в Белой Калитве?

— Все дома. Я Нину провожаю. Она домой спешит, беспокоится за дочурку. Говорят, Новороссийск уже бомбили... А как Виктора, не берут в армию?

Тоня снова заглянула в зал, наверное, надеясь, что он проснется и выйдет к гостям. В ее голосе появилась рассудительность и распорядительность подростковой девочки, на которую уже легла часть семейных забот, да и война заставила преждевременно повзрослеть.

Виктору хотелось встать с дивана, выйти к девочкам, но не спешил, надеясь, что они сами зайдут к нему, и лежал, притворившись спящим. Потом жалел, что напустил на себя эту дурь.

Тоня несколько раз просовывала голову сквозь занавеску, а он, вместо того чтобы подняться с дивана, закрывал глаза и даже слегка похрапывал. Что за фанаберия нашла на него!

— Как бы не опоздать на поезд, — сказала Нина, вставая со стула и берясь за чемодан.

— Поедете, не отдохнувши? Может, покушаете? — спросила мама, но как-то безучастно: своих забот полон рот.

— Спасибо, побежим. Мы на минутку, повидаться, — сказала Тоня.

— И ты в Новороссийск?

— Да. Посоветовались дома и решили, что Нине с ребенком лучше будет у нас, в Белой Калитве. В Новороссийске опасно оставаться, и с воздуха, и с моря могут обстреливать.

Тонины родители были где-то на западе, судьба их была неизвестна, и Белую Калитву она уже считала своим домом.

«Рассудительная, совсем взрослая!» — подумал Виктор, а мама вспомнила, как в прошлую германскую войну к Новороссийску подошла турецкая эскадра, подожгла бензиновые баки и портовые склады, как дедушка посадил все семейство в фаэтон и поспешно отвез в Баканку, к родственникам.

Виктор подумал, что если бы он сейчас вышел к девушкам, то мог бы их задержать до завтра. Но теперь уже казалось это неприлично: сразу выдаст свое притворство, и продолжал делать вид, что спит.

— Передайте Виктору привет. Пусть не забывает своих друзей!

Это сказала Нина. Девчата распрощались и ушли.

\* \* \*

Одни гости за порог, другие в дом: приехал из Москвы дядя Леня, теперь государственный контролер с большими полномочиями, по делам обеспечения города продуктами, одетый просто, в кепчонке. Виктор видел его мало, пропадая на заводе, раз только вместе обедали. Дядя сообщил неутешительную новость: в Ростове осталось три четверти жителей, остальные эвакуировались на восток. Немцы уже подступили к Харькову.

Виктор поглядывал на дядю и вспоминал поездку с мамой в Москву три года назад, в солнечный август, но по вечерам уже холодный, с замо-

розками, вспоминал свои первые впечатления о столице, которыми собирался поделиться с вешенской казачкой, и как ни глупо закончилась дружба, все равно приятно было вспомнить. Теперь часто, возвращаясь к довоенным дням, он словно бы выбирался из лесных дебрей на солнечные поляны.

Года два спустя после первой поездки в Москву с мамой Виктор приехал один в праздничном настроении, ожидая от встречи с дядей чего-то важного для себя. Ни отец, ни отчим не способны были вызвать такой прилив родственных чувств. Лицо Виктора глуповато-восторженно сияло, когда он протягивал руку, здороваясь, готовый броситься в объятия, излить переполнявшие его родственные чувства. Но дядя встретил племянника если и не холодно, то довольно равнодушно:

— А, приехал. Ну, рассказывай, как там мама, бабушка!

Виктор сообщил коротко: «Хорошо. Все живы, здоровы», надеясь, что дядя захочет узнать и об его учебе и жизни, попросит прочесть новые стихи, и он прочтет и покажет публикацию в газете. Дядя почему-то не просил, и Виктора подмывало самому похвалиться, как бы невзначай он уронил:

— «Черноморский рабочий» вы не выписываете?

Дядя молчал, хотя вопрос был обращен к нему, ответила тетя Лида с улыбкой:

— Центральные не успеваем читать. А что там интересного?

— Ничего особенного. Мои стихи напечатаны.

— Да? Ты пишешь стихи?

Виктор взглянул на дядю, желая узнать, какое впечатление на него произвело это сообщение, но дядя и бровью не повел. А тетя Лида проявила заинтересованность, как казалось Виктору, лишь из вежливости.

Она попросила показать стихи, читала, хвалила, но дядя перебил ее на полуслове:

— Пора, Лида, накрывай на стол. Я опаздываю на совещание...

Хотя было одобрительное или осудительное восклицание, словно и не слышал стихов! И все же, как ни равнодушен был дядя, как ни больно было от его невнимания, Виктор продолжал благоговеть перед ним, надеясь в будущем все же добиться расположения к себе, размягчить сердце сурового судьи... Как он ждал этого часа, как был бы счастлив от одного дядино поощрительного слова или взгляда! Увы, дядя оставался безразличен. «Конечно, ему, взрослому, неинтересно со мной, — оправдывал его Виктор. — Вот подрасту, тогда мы найдем общий язык».

Дома дали ему деньги на питание, но Виктор втайне надеялся, что дядя от них откажется. К его досаде, взял все до рубля. «Скряга, — подумал он с обидой. — Студентом приезжал к нам и жил месяцами, мама копейки у него не брала».

За день до отъезда, к удивлению Виктора, дядя достал из буфета и вернул ему деньги.

— Сохранил, чтобы зря не растратил. Купи себе что-нибудь из вещей.

Виктор купил и себе, и родным подарки, стыдясь своих прежних грешных мыслей.

В противоположность сестре, добродушной и сентиментальной, дядя Леня был практичен, строг и большой знаток своего дела. Он рассказывал, как во время командировки в Грузию его, молодого специалиста-винодела, пригласили дегустировать столовые вина и как он безошибочно назвал марку и время изготовления ркацетели, удивил старых виноделов, которые рассчитывали найти в московском чиновнике профана.

О честности дяди говорил такой факт. Однажды из той же Грузии приехал представитель базы, поставлявшей сырье для московских винных заводов. В партии этого сырья недоставало одного градуса необходимой крепости, но представитель добивался принятия ее без уценки, и дядя в ящике своего стола обнаружил пачку денег — несколько тысяч рублей. Он тотчас вызвал к себе грузина:

— Слушай, кацо, убирайся отсюда подобра-поздорову, а то плохо для тебя кончится эта командировка! — И швырнул взятку ему в лицо.

Он быстро продвигался по службе и вскоре возглавил в наркомате плановый отдел. Но ему, южанину, Москва не очень нравилась. «Был июнь, — рассказывал он. — Выхожу на улицу, а с неба как завеет, понесет пурга. Нет, думаю, хватит с меня!» Как ни хотели его отпустить из наркомата, все-таки добился назначения на юг директором крупного объединения винодельческих заводов и совхозов. Приехал, осмотрел свое огромное хозяйство и пришел к неутешительному выводу. Здешние вина когда-то с мировой славой расценивались теперь наравне с продукцией какого-нибудь захудалого колхозного заводчика. Виноградники выродились; на прибрежных горных склонах, благоприятных для произрастания лучших сортов, росло черт знает что!

Немало времени убил дядя Леня на план коренной перестройки хозяйства, сделал обстоятельную докладную и отослал в наркомат. Через месяц приходит вызов. Приезжает в Москву, заходит к заместителю наркома, однокурснику, дружески к нему расположенному, смелому в решении государственных вопросов. Тот крепко, с ободряющей улыбкой пожал руку:

— Радуйся, Алексей Иванович! (Дядю в семье почему-то звали Леня, а не Леша, каким было у него настоящее имя.) Твой план утвержден на коллегии. Остановка за шефом. Сегодня в четыре часа идем с тобой на прием. Последнее слово за Анастасом Микояном. Но уверен, что все будет в порядке!

Рассказывая, дядя Леня кривил губы в легкой усмешке.

— Приходим к шефу, — продолжал он. — В это время шло какое-то большое совещание в главном зале, и нас пригласили в боковую комнату с небольшим помостом в виде эстрадки и рядами полукресел. Ждем с полчаса. В дверях, выходящих на эстрадку, появляется Анастас Микоян, сердито смотрит на нас и говорит, не здороваясь:

— Что за постановка вопроса?!

Сказал и ушел, а мы переглянулись, не понимая, в чем дело, что могло быть порочного в проекте.

— Ладно, иди в гостиницу, отдыхай, а я выясню, какая муха его укусила, — сказал заместитель наркома.

Отдыхаю день, второй, неделю, уже беспокоюсь о своем брошенном хозяйстве: время было весеннее, горячее. Звоню по три раза в день в наркомат. Не отпускают, велят ждать. Наконец, вызывает заместитель наркома и говорит, посмеиваясь:

— Вводная шефу не понравилась. Что ты на меня уставился? Вот ты пишешь: «Так как виноградники засорены ординарными сортами или пришли в негодность, необходимо...» Выходит, пришли в негодность из-за недосмотра Анастаса Микояна, он виновен! Уловил? Я переделал вводную, написал: «Для дальнейшего... — понимаешь? — дальнейшего развития виноградарства нужно то-то и то-то...», и шеф тут же подписал. Езжай, реконструируй свое хозяйство! Материалы и машины отгрузим следом.

И верно. Только я вернулся в хозяйство, как начали поступать взрывчатка, плантажные плуги, все, что было надо. Весь год мы подрывали бесплодные кусты, высаживали молодые. Над плантациями стоял такой грохот, что Анастас Микоян, любивший отдыхать в этих местах, не выдержал и трех дней, убрался.

Наше хозяйство снова превратилось в образцовое, а вина приобрели известность и получили много медалей на международных выставках.

В своих рассказах дядя Леня выпячивал несуразицы, с которыми ему приходилось сталкиваться и не оставаться при этом равнодушным. Он был и смел, и принципиален, чтобы вмешаться и пресечь безобразие, особенно когда от этого страдало дело.

Среди лета ему позвонили из наркомата и сообщили: едет шеф с иностранцами, как там в хозяйстве, все в порядке?

— После осмотра, наверное, обедать останутся? — спросил дядя Леня.

— Конечно. Устройте это получше.

Дядя Леня подумал, что самое подходящее место в жару будет старый дегустационный подвал, хорошо известный Анастасу Ивановичу. Там было продолговатое корыто для давки винограда, перевернутое вверх дном и приспособленное под стол, а стулья заменяла дюжина дубовых бочек. В этой грубой обстановке была своеобразная привлекательность.

Отдав нужные распоряжения, дядя уехал в совхозы. По дороге его нагнала машина с представителем от местных властей.

— Алексей Иванович, мне поручили проследить подготовку к приему иностранцев.

Дядя Леня открыл ему «секрет» — место, где обедают гости.

— В подвале? — удивился представитель. — Обед в подвале?

— Да. Там просто, но со вкусом, под старину, обставлена дегустационная комната.



— Я должен посмотреть.

— Езжайте, посмотрите, — с охотой согласился дядя Леня, чтобы отвязаться от неприятного попутчика. А вечером, возвращаясь из совхозов, завернул к подвалу. Как же он был обескуражен, увидев огромный, на весь пол, персидский ковер, по-над стенами диваны с зеркальными спинками, а посреди подвала обычные составленные столы, покрытые бархатными скатертями, и полумягкие стулья, принесенные сюда из клуба. Никакого корыта, никаких бочонков!

— Что такое? Ничего не понимаю! — оторопел дядя Леня, глядя на завхоза. — Где корыто? Где бочонки?

— Убрали.

— Как так убрали? Зачем?

— Представитель приказал. Говорит: «У вас тут не дегустационный подвал, а кабак!»

Дядя Леня страшно рассердился:

— Что за безвкусица!

Завхоз развел руками:

— Не мог послушаться начальства.

— Вот что! Немедленно уберите эту кисейность, поставьте на место корыто и бочонки!

— Мигом, Алексей Иванович! — Завхоз уже сам был не рад, что послушался представителя, и побежал распорядиться.

Только закончили пертурбацию, сделали все, как было прежде, и дядя Леня с завхозом вкусили холодного рислинга, восседая на дубовых бочках, при мерцающем свете восковых свечей в старинных канделябрах, — прикатил представитель, видно, с дополнительными указаниями от своего начальства. Он спустился в подвал и ахнул:

— Почему ослушались? Я же вам приказал!

Завхоз посмотрел на дядю Лению: что отвечать?

— Дорогой товарищ! Корыто, бочонки — древние атрибуты виноделия, — спокойно, рассудительно пояснил дядя Леня. — В этом вся прелесть обстановки. Пусть будет так, как есть!

Представителя эти доводы не убедили, и он загрозился:

— Я буду докладывать... Мне дали точные указания! Я не позволю! — Он замахал руками, как ветряк крыльями, и поднялся из подвала с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах.

— За самовольство вы ответите! — услышал дядя Леня на прощанье.

Приехали гости. Осмотрели хозяйство, и Анастас Микоян подвез их к подвалу.

— А сейчас — небольшой сюрприз! Алексей Иванович, как там в подвале — сохранилась старина?

Вот бы дядя Леня сел в лужу, послушайся представителя властей.

Виктор считал его самым счастливым человеком на свете, наверное, больше от жизни ему ничего не надо было, всего он добился: и служебных высот, и семейного благополучия. Но вдруг узнал о неудовлетворен-

ности дяди: с юности он, оказывается, мечтал о научной работе, к которой имел склонность, собирался бросить административную, сменить кабинет на лабораторию, но это никак не удавалось: должности его были настолько ответственные, что целиком отнимали и время, и силы. В Большой Советской Энциклопедии, которая в то время выходила из печати и выписывалась дядей, Виктор нашел его статью о виноградарстве и виноделии. Опубликовал он также несколько статей в журналах и говорил, что собрал достаточно материала для диссертации, но когда засядет за нее — бог весть!

Его отозвали в наркомат, а в войну назначили государственным контролером, как видно за деловитость и принципиальность, и дядя был рад подальше уехать от чиновничьего мира, поближе к жизни, как он сам говорил.

— Сутками пропадал на работе, раз в неделю если удавалось вырваться домой, то хорошо, — рассказывал он о военных днях в Москве. — Сидим по кабинетам и посматриваем на Кремль, горят ли окна у Сталина. Все сидят, не уходят: в любую минуту могут потребоваться для доклада нужные сведения. А горят у Сталина окна до трех часов ночи!

Для Виктора дядя был и гордостью, и загадкой, и голосом совести, который всегда напоминал: «Ты в сравнении с ним недоросль! Тебе никогда не достигнуть его высот!»

Редко бывало в мирное время, чтобы вся семья съезжалась вместе, а в войну собралась, и теперь это выглядело трогательно-грустно: походило больше на прощанье. В окружении своего немногочисленного потомства, двух детей и внука, бабушка целый день пребывала в блаженном состоянии, украдкой вытирала слезы концом фартука и усердствовала на кухне, стараясь особенно потрафить вкусам сына. Все были необычайно дружны и добры друг к другу. Дядя даже вспомнил Витиного отца, несмотря на семейный запрет, им же самим когда-то установленный, и сделал это деликатно: многозначительно посмотрел на племянника и сообщил, что Харьков пал. Это вызвало в душе каждого разные оттенки чувств, но горе было общее.

За ужином, а потом за картами просидели допоздна. Дядя отдавался игре с мальчишеским увлечением, страшно радуясь выигрышу и дуюсь сычом в дураках, что не вязалось с его суховатым характером и удивляло Виктора, который, впрочем, сам впадал в азарт. В постель не тянуло, хотелось продлить вечер: когда еще смогут так скоротать время, да и смогут ли вообще при той шаткости настоящего и неопределенности будущего? Наверное, поэтому и душевные струны стали чувствительнее, и родственные узы крепче.

Дяде с Виктором постелили в одной комнате. Раздетые, в трусах, они еще проговорили до рассвета у распахнутого итальянского окна, и такая духовная близость была между ними впервые. Виктора не оставляла мысль об отце: успел ли он эвакуироваться или захвачен немцами? Однако свои тревоги не решился высказать вслух и с ними уснул.

По-другому, приземистее и круче, нежели дядина, сложилась судьба отца. Не с пустыми руками он бежал из черноморского города. Сосед по лавке, купец николаевского режима, советовал:

— Ты, Дима, послушай меня, старика. Иному покупателю, видишь ли, тяжелы царские золотые в кармане, старается избавиться. А ты помоги ему, не гнушайся тяжести благородного металла. Что бумажки? Сегодня одни, завтра другие. А благородный металл всегда будет в цене...

Дмитрий Андреевич так и делал — набивал свои тайники золотом. В то время за царскую десятку давали одиннадцать советских рублей. Были и советские золотые, но быстро исчезли, вместо них вышли бумажные червонцы, которые обеспечивались десятью рублями золотом, как на них значилось. Всем прочим деньгам Дмитрий Андреевич предпочитал царские. Из города сбережения увезла родная мать, сам Дмитрий Андреевич не рискнул держать при себе. На этот случай был сшит широкий пояс, который начинили царскими десятками и пятерками, как шуку фаршем.

Поселился Дмитрий Андреевич в небольшом городке Гадяче на Полтавщине, откуда ушел мальчишкой. Стоял этот городок вдалеке от шумных дорог, на крутом берегу тихой речки Псел, когда-то был резиденцией украинского гетмана, в центре красовалось несколько старинных зданий, может быть, с тех пор образовалась в нем прослойка состоятельных жителей, претендовавших на аристократизм.

Кроме двух сестер и брата, никто Дмитрия Андреевича в Гадяче уже не помнил, да и родственники были в неведении, где он эти годы жил, чем занимался. «Блудный сын» сторговал добрый дом под цинком о шести комнатах, с двором на полгектара, недалеко от родового, который теперь занимали сестры, и перевез сюда вторую жену с двумя дочерьми-малолетками и беременную третьим ребенком.

Собственный дом в понятии Дмитрия Андреевича, как, впрочем, и всех обывателей городка, был устоем, основой семьи, порядочности человека, и каков дом, таков считался хозяин. «Беспутная душа Гришка Вревка, промотал отцовскую усадьбу, пустил семью по миру». Или: «Смотри-ка, смотри-ка, Василий Заика отца перещеголял, хатину какую отгрохал!» Что ни говори, а в своем доме и четыре стены берегут. Дмитрий Андреевич с детства помнил присказку: «Не нажил жены к двадцать пять годам и не будет, не нажил денег к тридцать и не будет, не нажил дом к сорока и не будет». Все это он торопился иметь к сроку и до сих пор, слава богу, преуспевал.

Хорошо устроился Дмитрий Андреевич, жить бы да жить, но приключилась история, бросившая его в новые бега.

Взял он подводу у брата, погрузил в нее пять чувалов отборной арнати, купленной на хуторе. Приезжает на мельницу — не подступись: очередь такая, что два дня, не меньше, ждать помола. Дмитрий Андреевич распряг лошадей, повел на речку поить. У плотины услышал вдогонку:

— Дмитрий Андреевич! Погодь!

К нему спешил босой мужик в полотняных штанах и рубахе, с запорошенным мукой лицом:

— Какими судьбами? Сколько лет, сколько зим!.. Не узнаешь, что ли?

Дмитрий Андреевич пытливо взгляделся в немолодое лицо, поросшее рыжими, как стерня, волосами, которых неделю не трогала бритва. Весь в муке, даже ресницы покрылись мучным инеем. Что за человек?

— А я тебя сразу признал! Это же ты держал мясную лавку в Новороссийске?

Дмитрий Андреевич похолодел: вот тебе и глухомань! Вот тебе и укрылся от людской молвы! Насилу отвязался от неожиданного знакомого, быстренько напоил лошадей — и с глаз долой! Выехал в поле, беспокойно оглянулся на мельницу, взмахнул кнутом. Пегие меренки влегли в упряжку, только у возницы рубаха запарусила против ветра. Оказия, ну и оказия! Дома Дмитрий Андреевич не находил себе места. Рассудил, что в маленьком городке всегда будет на виду. Бестолковый мужик растреплет длинным языком, начнутся суды-пересуды, кто да что, да откуда явился, да чем там занимался? Сразу пропал интерес к дому, к усадьбе. Промучившись, промаявшись с неделю, Дмитрий Андреевич оставил семью и поехал искать счастья в большой город Харьков. Бросил прощальный взгляд на Гадяч, на тихую речку Псел в крутых берегах, с раздольными лугами и сосновым бором. Места не обижены природой, да, видно, не для Дмитрия Андреевича. О здешнем народе сложилась молва: «Куркули. Можно весь день пробыть в гостях, не накормят». Еще говорили: «Це такий, що за шматок кишки пиде сим верст пишки!»

С малолетства Дмитрий старался выбиться в люди, поравняться с лучшими семействами Гадяча. Отцовская была большая, концы с концами не сводила: одних детей семеро ребят да три девчонки. Отец крестьянствовал — сеял хлеб, выкармливал скотину на продажу. Дмитрий уже шестилетним помогал по хозяйству, пас гусей, потом овец, подрос — ездил в ночное. На кошаре мальчишки надоят овец. Молоко густое. Разбавят водой. Напьются. Животы тугие, посмеиваются: «Пузо лопнет — наплевать, под рубахой не видать!» Тенетами ловили щеглов — пестреньких птичек — и продавали на базаре: лишняя копейка не помешает в доме.

День-деньской на ногах. Хата заказана. До сумерек не заходи — отец выгонит. Дмитрия он недолюбливал, ругал «байстрюком»: трех лет, по глупости, подпалил во дворе флигель — сгорел дотла. Уже подростком, по неосторожности, балуясь куревом, поджег в поле курень. Одна груда пепла осталась. Неделю Дмитрий скрывался в окрестных полях, опасаясь попасться отцу на глаза, ночуя в стогах, питаясь чем придется. Нашла его мать, приласкала, заверила, что умилосердила отца, смирился, хотя во гневе хотел прогнать сына со двора. Мать была к Дмитрию, первенцу, ласкова и добра, бывало, положит ему на тарелку лишний кусок мяса, сунет в карман сладких, с творогом, ватрушек, провожая в поле.

На этот раз он отделался трепкой — задал-таки отец вожжей, да вскорее и смягчился. Был он крут, но отходчив.

Осенью ходили по дворам скупщики скота. Озерки нагуляли для продажи шесть овец. Скупщики за них дали чуть ли не половину той цены, какую собирался взять хозяин.

— Овцы хорошие. Накормленные. Что же я их задарма отдам? Нет, не поладим! — загорячился отец.

— На «нет» и суда нет. — Купец сделал равнодушное лицо, но, уходя, задержался возле калитки, поглядел на варок с сытой барантой. — Набавлю пятерку... По рукам?

Отец отрицательно мотнул головой:

— Мало!

Один знакомый посоветовал порезать овец и продать мясо на рынке. Отец так и сделал, свез баранину в Полтаву и выручил пол-на-пол. Этих денег хватило и на новый гурт молодняка и на хозяйские нужды. В сбыте мяса, в покупке скота родителю помогал Дмитрий, показывал редкую смекалку: выторговал, считай, бесплатно каждого четвертого ягненка. Отец был безмерно рад, расщедрился, купил сыну ботинки. На всех братьев была одна пара, да и та каши просила. А Дмитрий уже ходил в парубках, приглянулась ему белолицая, с косой до колен дивчина, вечером сидел с нею под соснами, глядел с завистью, как разряженные барышни и кавалеры катались на лодках по Пселу и не знал, куда спрятать ноги в рваных ботинках, с горечью думал: когда же он будет жить в достатке, красиво одеваться и весело гулять, как те барчуки? В Гадяче счастье не улыбнется. Это уж без сомнения.

И вот Дмитрий перекинул через плечо свои новые ботинки, подался в Киев с письмом от отца к дальнему родственнику. По его рекомендации поступил мальчиком на побегушках в суконную лавку. Хозяин-еврей повсякому испытывал честность Дмитрия: подбрасывал деньги, вернет или нет? Посылал за покупками и проверял, всю ли отдаст сдачу? Отец воспитал сына исполнительным, честным, бережливым, и он успешно выдержал экзамен, через год, намного раньше срока, стал за прилавок приказчиком.

Зажил он на славу, справил костюм, штиблеты, полдюжины рубашек тонкого полотна, шляпу-котелок, трость с перламутровой инкрустацией и, когда гулял по Крещатику, замечал, как девицы смотрели ему вслед. Завелись деньжата, капиталец, правда, небольшой, сотни полторы на черный день.

— Далеко пойдешь, Дмитрий, верь мне, — говорил хозяин. — Я вижу людей насквозь и даже глубже. Ты имеешь коммерческую жилку. Да, да, я вижу эту жилку!

Но так удачно начавшуюся карьеру в суконной торговле прервала германская война. На фронт Дмитрий попал не сразу: послали учиться в артиллерийскую школу на фейерверкера, был такой номер в орудийном расчете. И хотя образование Дмитрия закончилось на церковно-приходской

школе, он показал себя расторопным солдатом, прилежным в военной науке. С нашивкой ефрейтора прибыл в батарею пехотного полка, расквартированного в Одессе. Через некоторое время полк погрузился на пароход и поплыл в Констанцу, на австрийский фронт. Среди ночи страшный взрыв потряс корабль. Дмитрий, спавший в кубрике, выбежал на палубу, полную народа. Суетня, крики. Нельзя было понять, что случилось. Одни говорили: пароход торпедировала германская подлодка, другие: наскочил на мину.

Судно накренилось и пошло ко дну. Спасательные лодки спустить не успели. Солдаты посыпались с палубы, как горох. Большинство, из глубин России, плавать не умело. Дмитрий все-таки вырос на Пселе.

Очувтившись в воде, он поспешил отдалиться от парохода, слышал, что может засосать водоворот. В темноте, освещаемой пожаром, наткнулся на какой-то деревянный плавающий предмет. Подплыл еще солдат. Ухватились за края.

— Толкай подальше от парохода, не то погибнем! — крикнул ему Дмитрий. — Налегай, сколько есть сил!

Отплыли они на порядочное расстояние. И вовремя. Пароход скрылся под водой, утащив за собой весь полк. Утром измученных, обессиленных двух солдат подобрал спасательный катер.

Судьба мотала, как хотела, Дмитрия в лихолетье: был он в добровольческой армии, едва не угодил к батьке Махно, но в конце концов перешел на сторону красных и закончил Гражданскую войну в Новороссийске, докуда гнал белых, недавних своих однокашников. Последний военный двадцатый год он дослуживал не в строю, а инспектором по снабжению дивизии с мандатом на право закупки продовольствия и фуража у населения. Была, была в нем коммерческая жилка, как верно заметил суконщик!

Часто вспоминал Дмитрий Андреевич развод с первой женой, речь адвоката:

— Перед нами, граждане присяжные, типичный нэпманец. Но сын его, я уверен, вырастет человеком новой формации — коммунистом!

Почему-то запали эти слова в душу. Тогда на суде, помнится, Дмитрий Андреевич усмехнулся про себя: сколько лет пройдет, пока сын вырастет, сколько воды в реке утечет. Неизвестно еще, какая власть к тому времени объявится.

Но годы после войны летели — успевай отсчитывать. Жил, не жил, а уже под сорок. Первый сын — отрок. Две девочки ходят в школу. Родился еще мальчик.

С юных лет Дмитрий Андреевич собирался жить по-человечески, хотя, если бы его спросили, как именно, ответил бы весьма туманно: «Без забот, в достатке, в собственном доме, с женой, с детьми...» В понятие «жить по-человечески» вкладывалось еще нечто светлое, полумиражное, которому он не мог дать точное объяснение, но которое и составляло суть этого понятия. Да вот судьба-индейка не давала ни дня покоя, и жизнь по-

человечески откладывалась на неопределенное время, а теперь и вовсе было не до жиру, быть бы живу...

Прошлое ясно вставало перед его глазами в харьковском поезде. И вдруг память озарилась светом: большое украинское село, забитое обозами добровольческой армии. Жара, пыль. Идут ожесточенные схватки с красными. Добровольцы вот-вот сорвутся, покатаются на юг. Прикрытый офицерской шинелью, на подводе лежит раненый в лихорадке. Губы запеклись, рыжие волосы свалялись, слиплись от пота.

— Сестричка... пить!

Дмитрий верхом на караковой резвой кобылке отстегнул от пояса флягу, наклонился к раненому, приставил горлышко к губам и перехватил затуманенный, невидящий взгляд.

— Пей, ваше благородие. Родниковая водица, сейчас только набрал!

Офицер всмотрелся в лицо Дмитрия, приподнялся и жадно стал пить. Потом откинулся на подушку, устало смежил веки.

И еще раз встретился с этим человеком Дмитрий уже после войны, в Новороссийске. Был канун пасхи, торговля шла бойко, только успевай снимать с крючьев и бросать на колоду туши. У прилавка — столпотворение, перебранка. Рыжий мужик чему-то ухмылялся в толпе, не спуская с Дмитрия глаз:

— А телятины не найдется, хозяин?

— Откуда ей взяться? Говядина на исходе.

— Поищи, поищи под прилавком. Добровольцу надо услужить.

Дмитрий Андреевич оторопел, всмотрелся в рыжее лицо, ничего не припомнил (мало ли народу прошло перед глазами?), но поспешно извлек из-под прилавка телячью ногу, схороненную для дома, отрубил оковалок фунта на четыре:

— Хватит?

Больше он не видел добровольца, а тут пришел конец нэпу. И вот встреча на мельнице: тот самый рыжий! Офицер. Чего же испугался Дмитрий Андреевич? Ведь не черт пожаловал за его душой. Верно говорят: пуганая ворона куста боится. Но поворачивать назад, в Гадяч, уже было поздно, да и не тянуло: почему не попытать счастья в большом городе, где человек, как иголка в стогу?.. Ах, суета, от нее за реку, а уж она на берегу!

## 7

Грозные события 22 июня застали Дмитрия Андреевича Озерка в Бессарабии, на самой границе, в семье офицера Киреева, знакомого по Новороссийску. Разбитый параличом, он последние годы занимался скупкой старых вещей, и жалко было смотреть на согбенную фигуру с мешком за плечами.

Дмитрий Андреевич знал Киреева молодым, щеголеватым штабс-капитаном, который остался в Новороссийске во время поголовного бегства

белогвардейцев, женился на мешанке, нажил сына и умер не старый, пятидесяти лет. Валентина Оскаровна, его жена, после возвращения Бессарабии в семью братских народов, как писали тогда газеты, тотчас переехала на Дунай, свою родину. Рыбачий городок, с плоскими прямыми улицами одноэтажных домов, разморенный сорокоградусной жарою, выглядел сонным, пустым, когда приехал сюда Дмитрий Андреевич. Привело его к Киреевым несколько странное обстоятельство: покупая в Харькове дом, он побоялся оформить купчую на свою фамилию и сделал подставным лицом Киреева. Дмитрий Андреевич из всех своих знакомых не знал более честного человека, в прошлом офицера, кому можно было бы довериться в щепетильном денежном деле...

Прослышав о неожиданной смерти Киреева, «наследник» поспешил на Дунай, захватив с собой тыщонку на всякий случай, опасаясь возможных осложнений. Но Валентина Оскаровна без проволочки передала ему старую, в бронзовом окладе, Библию, хранимую ее супругом как зеницу ока.

— Не знаю, почему он так беспокоился, просил обязательно передать вам в руки.

Дмитрий Андреевич убедился, что Валентина Оскаровна ничего не знала о сделке, и с влажными от счастья глазами принял увесистый фолиант.

— Большое вам спасибо, дорогая хозяйюшка, за сохранность Священного писания! — расчувствовался он, хотел было отдать взятую с собой тысячу, но передумал: зачем расходовать, когда все и так уладилось? Правая рука уже дотянулась до бокового внутреннего кармана в пиджаке (несмотря на адскую жару, Дмитрий Андреевич носил суконный пиджак), но вернулась на Библию с ценными бумагами в тайнике.

— Еще раз спасибо, дорогая хозяйюшка... Пойду!

— Вы хоть отдохните с дороги. Голодны небось? У меня курица сварилась. Костя с часу на час зайвится. Обедать будем.

— Сын уже большой? Помню во каким. — Дмитрий Андреевич поднял ладонь на вершок от пола.

— А теперь бьется лбом о притолок. Девятнадцать исполнилось. На год старше вашего.

— Работает?

— Учится в мореходном. На воскресенье почти всегда приезжает домой... Хотела, чтоб десятилетку закончил. Не послушался, пошел в военное училище, женился... — Валентина Оскаровна вытерла концом фартука слезы, отвернулась к печи. — А вы садитесь, отдохайте, хотите прилягте в зале на диване.

— Премного благодарен... Я не устал, посижу и пойду за билетом на пароход. Хочу в Одессе побывать, посмотреть на места своей молодости... А вы где трудитесь, Валентина Оскаровна?

— На рыбозаводе.



— Хорошее местечко. Рыбка всегда к столу... — Дмитрий Андреевич хитровато подмигнул.

— У нас ларек при заводе.

— Ну да, ну да...

— Живу на зарплату, блата не терплю.

— Ну да, ну да! — спохватился Дмитрий Андреевич, убирая с лица неуместную улыбочку: Валентина Оскаровна и впрямь была той, за кого себя выдавала. Худая, почти тощая, но вовсе не болезненная, с легким здоровым загаром на лице, она отличалась педантичностью во всем, до мелочей. Деньги хранились в кошельке из трех отделений: для бумажек, серебра и меди. Платила всегда копейка в копейку и требовала такую же точную сдачу. Крошку не смахнет со стола. В заводской столовой (она работала счетоводом), что не съест, сложит в стеклянную баночку с крышкой: рисовую ли кашу, котлету, сверху ломтик хлеба — и возьмет домой.

Она носила панаму, но не фабричную, а сшитую собственноручно и напоминавшую обвисший в жару лопушиный лист. Платье namного длиннее принятой моды, на ногах сандалии с металлическими пряжками и белые носки с красно-синей каемкой, — костюм, пожалуй, еще дореволюционной моды.

Такая женщина может быть и воспитательницей, и учительницей, и просто «тетушкой», приживалкой, находкой для многодетной семьи. Но Валентина Оскаровна зарабатывала копейку своим трудом и держалась с достоинством.

Она накрыла на стол три прибора и уже положила в узкие тарелочки по маленькой знатной дунайской селедке, притрушенной мелко изрубленными петрушкой и луком, такой аппетитной, что у Дмитрия Андреевича засосало в желудке, — и тут вошел Костя.

Дмитрий Андреевич поразился рослому, пригнувшемуся при входе в комнату сыну штабс-капитана Киреева. Неужто и его Виктор уже с коломenskую версту? У Кости было много отцовского. Поджарый, с узким лицом и близко поставленными глазами, он с первого взгляда производил впечатление уклончивого, хитроватого молодого человека: улыбался, втягивая вовнутрь щеки — какая-то полуулыбка, похожая на насмешку, и все делал не спеша, осмотрительно. «С таким держи ухо востро!» — подумал Дмитрий Андреевич, все примечая и мотая на ус.

— А я вас помню! — сказал Костя, с любопытством разглядывая гостя.

— Верно, потому, что дружил с Виктором? Дружил ведь?

— Дружил, — не очень охотно подтвердил Костя.

— Ну, как он? Давно видел моего сынка?

— Уже два года, как мы уехали из Новороссийска. Что я о Викторе знаю? Вырос. Длиннее всех на улице.

— Эх-хе-хе! Летят годочки. Вон уже какие сыновья у нас, Валентина Оскаровна!

Взглянув на сына, хозяйка лишь горестно вздохнула.

— Надумал парохомом до Одессы, а оттуда в Новороссийск. Заеду к сыну, — сообщил свое решение Дмитрий Андреевич, не зная, что Виктора там уже нет. Костя оказался, в общем, парень добрый, можно было с ним ладить. После семейного разговора перешли к войне, которая всех занимала. Ходили тревожные слухи об усиленном передвижении войск за Дунаем. Каждый день немецкие самолеты гудели высоко в небе, далеко углублялись в нашу сторону, и пограничники были начеку, о чем знали все местные жители. Это подтвердил и Костя, собиравшийся пробыть дома лишь до утра: так ему приказали, выдавая увольнительную.

Обед закончился уныло. Валентина Оскаровна с озабоченным лицом принялась убирать посуду. Обеспокоенный Дмитрий Андреевич заторопился на пристань, к пароходу, надеясь сегодня же отплыть в Одессу.

— Зачем он приезжал? — спросил Костя мать, когда они остались вдвоем.

— С нашим отцом у него какие-то дела были.

— Неприятный человек...

— Да? Из чего ты заключил? — удивилась Валентина Оскаровна. — А мне показался, напротив, очень обходительным.

Но Костя не стал распространяться, почему ему не понравился гость, он бы точно и не мог объяснить причину своей неприязни...

Пароход почему-то задерживался на сутки, как сообщили Дмитрию Андреевичу в кассе, и это показалось неслучайным. Верно, что-то назревало серьезное. Дмитрий Андреевич с берега пристально взгляделся в румынскую сторону, но ничего подозрительного не обнаружил: с низовья пришлепал колесный пассажирский пароход, густо дымя запрокинутой назад трубой, и фигурки людей с разной поклажей потянулись в гору, к Старой Килие. Мирная картина.

Возвращаясь с пристани, Дмитрий Андреевич от нечего делать, по старой привычке завернул на рынок, интересуясь, что на прилавках, какие цены в сравнении с харьковскими, чего много, чего мало и какого товара прикупить, чтобы оправдать дорогу. Вспомнилось царское время. С утра городской обходил ряды, бывало, заглянет в лавку купца:

— Покраснел?

— Позеленел, ваше благородие.

— Покраснел, сукин сын! Заставлю покраснеть!

И купец вместо приготовленной зеленой трешки достает красную десятку. Так изо дня в день шастал по лавкам, поборничал городской. Минуло с тех пор не так уж много времени, а как все переменялось! Куда только подевались вашества и сиятельства, такие важные, такие непоколебимые? Всего-то год советская власть в Бессарабии, а и тут уже все переиначила на свой лад. Цепкая власть, — в этом у Дмитрия Андреевича уже не было сомнения. И снова вспомнилась речь адвоката во время развода с Лизой, и те памятные слова о сыне-коммунисте. Может быть, он еще и не коммунист, но комсомолец наверняка.

Дмитрию Андреевичу пришлось поневоле заночевать у Киреевых. Под утро, в сумерках, его разбудила орудийная пальба. «Началось!» — ошарашила мысль. Суматошно натянув на себя одежду, Дмитрий Андреевич выбежал во двор, тревожным взглядом окидывая светлеющее небо. Где-то высоко рокотали моторы. Стрельба доносилась от Дуная и удалялась в румынскую сторону. Хлопали калитки, толпами на улице собирались люди, судили-рядили о происшедшем:

— Война, что ли?

— Пограничный инцидент! Не первый раз.

— Больно громкая перестрелка.

— Скорей всего румыны десант выбросили, а им задали перцу!

Народ не расходился, вслушиваясь в гул боя за Дунаем. Беспokoйство сильнее прежнего овладело Дмитрием Андреевичем, и он решил идти на пристань, узнать о пароходе, на который в этой заварухе уже мало было надежды. Валентина Оскаровна собиралась на завод, а Костя спешил в свою мореходку, когда в дом вернулся Дмитрий Андреевич, чтобы попрощаться.

— Ключ под порошком, приходите, отдыхайте, если пароход не скоро, — доверительно сказала хозяйка, укладывая в чемоданчик сына домашние пирожки и вяленую рыбу.

— Куда ты столько? Хватит! — протестовал Костя.

«А потом будет жалеть, что мало взял. Время шаткое. неизвестно, куда забросит судьба-злодейка», — подумал Дмитрий Андреевич уже больше о себе, чем о Косте, и в предчувствии беды зашагал по широкой, длинной улице к Дунаю.

Мимо прокатила на конной телеге, грохоча по булыжникам, гаубичная полковая батарея. Торопливо, на ходу приводила себя в порядок прислуга, поднятая по тревоге. «На позиции!» — без труда определил Дмитрий Андреевич, бывший артиллерист.

— Куда вы, дядя? — остановил его солдат с красной повязкой на рукаве — патруль.

— На пристань. Пароход жду в Одессу.

— Назад, назад! Никаких пароходов не будет!

Дмитрий Андреевич вернулся в дом Киреевых совсем сбитый с толку и нашел Валентину Оскаровну, прибежавшую с завода, растерянную и заплаканную.

— Война!.. Война!.. — Она суетилась, хватая, что попало под руку, но все не то, что нужно было. — Наш завод эвакуируется.

— Зачем же? Говорят, что румын прогнали далеко за Дунай.

— Не знаю, милый Дмитрий Андреевич, ничего не знаю, голубчик. Вот сказали собираться и через час быть в конторе... А как же мой Костя? Что с ним теперь будет?

Дмитрий Андреевич взялся ей помогать. Самые необходимые вещи были сложены в два чемодана и круглую ивовую корзину с крышкой. Постель завязали в узел. Хозяйка села на него, осмотрела комнату, сообра-

жая, все ли взяла, не забыла ли что-нибудь ценное, и остановила недоумевающий взгляд на госте, словно только сейчас обнаружив его присутствие.

— Что же это такое, Дмитрий Андреевич! Неужели в самом деле война?

— Похоже, война... Куда вы с такими вещами? Подвода за вами заедет?

— Нет. Надо идти на завод.

— Тогда давайте я возьму узел и чемодан. — Дмитрий Андреевич не видел иного выхода, попав в критическое положение далеко от дома, от семьи, как вместе с рыбозаводом выбраться из опасной зоны.

— Посмотрите, кого там гонят! — вскричала Валентина Оскаровна, подбегая к окну.

По улице наш конвой вел полуодетых солдат и офицеров: кто босой, кто без гимнастерки, а кто и в одном нижнем белье. Замыкали шествие несколько легкораненых с проступившей кровью на бинтах. Сильно отставал рослый офицер в расстегнутом зеленом френче, надетом прямо на голое тело, с забинтованной крест-накрест грудью. Конвоир косился на него, недовольно ворчал, но все-таки останавливался и поджидал.

— Румыны! Пленные! — догадалась Валентина Оскаровна.

— И немцы среди них. Вон офицер в зеленом френче! — уточнил Дмитрий Андреевич. — Человек двести, не меньше. Видно взяли за Дунаем врасплох.

Так это и было на самом деле, но прошло незаметно в оборонительных боях и всеобщем отступлении на восток. Наши пограничники вместе с моряками Дунайской флотилии не только разбили вражеский десант, но и сами переправились на правый берег и погнали противника в глубь страны. Гнали километров тридцать, пока не поступил приказ прекратить наступление и закрепиться. Даже после того, как наши, оставив позиции, чтобы не оказаться в окружении, ушли далеко от границы, румыны долго не решались переправиться через Дунай и тайно послали в Килию попа разведать, свободен ли путь.

## 8

В заводской конторе, куда пришел Дмитрий Андреевич, помогая нести вещи Киреевой, был полный раскардаш. Валентина Оскаровна ходила среди выдвинутых из столов ящиков, рассыпанных по полу, сваленных кучами по углам бумаг, серых и синих папок, что-то искала, возвращалась к столу, писала и считала на арифмометре.

«Кому сейчас нужна эта бухгалтерия?» — удивлялся ее щепетильности Дмитрий Андреевич, поджидая с нетерпением и торопя ехать (во дворе стояла запряженная конторская подвода). К нему пришло странное чувство пустоты, безвременья, вроде бы уже когда-то пережитое и лежавшее в глубине подсознания, а теперь полностью завладевшее им. Оно не

покидало его весь этот ералашный день. Прежде значительное, важное, крайне необходимое теперь казалось пустяком, мелочью жизнью. После сорока Дмитрий Андреевич частенько поглядывал на себя в зеркало, находя новые и новые седины в волосах, замечал с грустью, что стареет. Смешно вспомнить. Теперь он не испугался бы и шестидесяти: со старика меньше спроса.

В дороге стало известно, что наш удар в Килие был частный, повсюду противник наступал, чуть ли не вся Западная Европа пошла крестовым походом на Россию. «Силища немалая. Чем все это закончится, одному богу известно», — размышлял Дмитрий Андреевич, трясаясь на передке и правя парюю сытых гнедых. Лето было в разгаре для здешних мест, уже наливалась зерном пшеница. Лошадям приволье. Дмитрий Андреевич время от времени останавливался, доставал из ящика серп и подкашивал про запас зеленого корма.

Валентина Оскаровна сидела на пачках бухгалтерских бумаг, непонятно зачем взятых в эвакуацию. Ехали молча, подавленные случившимся, каждый думал о своем, иногда оба с беспокойством поднимали глаза кверху и вслушивались в отдаленный рокот самолетов.

Валентина Оскаровна думала о сыне, который в последнюю минуту застал ее на заводе, уже одетый по-походному, с карабином, подсумками и вещмешком за плечами. Из всего, что дома наготовила ему мать (целую гору!), он отобрал лишь пару белья. Разгоряченный, торопливый обнял ее, поцеловал в лоб.

— Прощайте, дядя! — извинительно, как бы сожалея, что не мог побольше пообщаться, потряс Дмитрию Андреевичу руку и убежал догонять своих сухопутных моряков-курсантов: училище эвакуировалось в тыл. Валентина Оскаровна проводила сына до ворот и долго стояла там с заплаканными глазами, помахиная рукой.

Дмитрий Андреевич думал о семье, спешил в Харьков, и мысли его были растрепанные, как копны сена, разметенные ураганом. Не верилось, что немцы далеко продвинулись от границы, наверняка будут разбиты и отброшены, как это он видел в Килие, но опыт прошлой войны подсказывал, что враг силен, умен, предусмотрителен, наобум не пойдет, сражение будет не на жизнь, а на смерть. Как-то сложится судьба Дмитрия Андреевича?

Патрули уже дважды останавливали подводу, проверяли документы, косясь на здорового ездового, словно недовольные, что он не под ружьем (Дмитрий Андреевич выглядел моложе своих лет). Была попытка и конфисковать лошадь. Отстояла ее Валентина Оскаровна, внушая патрулям доверие своей строгостью.

В селах из калиток и окон выглядывали оторопелые хозяева, провожая обозы беженцев, которые уже сплошь запрудили дорогу на восток. То там, то сям распахивались ворота, выкатывала груженная доверху домашним скарбом подвода и вливалась в общий поток. В память запало скорбное лицо старика с клюшкой у ворот, не пожелавшего покинуть родной

очаг, бегающая по двору потерянная, с разлохмаченными волосами баба, беспризорная, ревушая в поле недоенная корова...

Пролетали немецкие самолеты, но не бомбили, сбрасывали свой груз где-то впереди. Там обвальню ухало и горизонт затынула чернота. Ранним, уже июльским утром только выехали на дорогу (ночевали в поле, у прошлогодних скирд), как из строя самолетов отделились два «мессера», развернулись и давай уютжить большак. Лошади поднимались на дыбы, трещали дышла, рвались постромки. Взрывной волной Дмитрия Андреевича сбросило с подводы, и он уткнулся головой в кучу огурцов, снесенных на край поля. Пролетел по воздуху метров пять и, если бы не эти огурцы, свернул бы себе шею. На время он потерял слух, голова, как пустая кубышка, в ушах позванивало и постукивало. С трудом поднялся. Одна лошадь лежала мертвая, другая дергалась в предсмертных судорогах. В кювете сидела, словно отдыхая, с заведенными под лоб остекленевшими глазами Валентина Оскаровна. Приехали...

Стоял невообразимый гвалт, первый раз Дмитрий Андреевич видел столько убитых и искалеченных. С тупой отрешенностью от всего происходящего, один на один с покойницей в скорбных раздумьях, он вырыл в четыре штыка яму (в подводе отыскалась лопата), похоронил свою недолгую попутчицу, машинально взял две пачки бухгалтерских бумаг, перевязанных шпагатом, и пошел в сторону от большака, по полям и левадам. Надежнее было пробираться проселками, а бухгалтерские папки создавали впечатление человека при деле. Но вскоре заныли плечи, шпагат до боли врезался в кисти рук. Дмитрий Андреевич рассудил: дурак поймет, что счета эти годятся разве в отхожее место, бросил тяжелую поклажу и зашагал належке.

Гремело справа и слева, порой притихало и делалось так покойно, так светло в полях: жужжали пчелы, перезванивали в вышине птицы. Сверкала на кусте сеточка паутины, просвеченная солнцем, а вон закачались ромашки: прошмыгнула ящерица. Радваться бы золотой поре, сбросить с себя пыльную, пропотевшую одежду и потонуть в пахучем разнотравье, отдохнуть, прийти в себя, но было не до этого.

Ясно послышалась пальба впереди. Дмитрий Андреевич насторожился, осмотрелся: не заблудился ли? Солнце светило в спину, шел он строго на восток. В чем же дело? Неужели немцы продвинулись так далеко?.. Сквозь придорожные тополя виднелись строения. Изможденный, разбитый доплелся Дмитрий Андреевич до крайнего двора, приоткрыл калитку. В глубине стояла хата с широкой завалинкой и навесом на подпорках, с островерхой черепичной, замшелой от давности крышей. Под навесом вязанками свисала кукуруза в початках старого урожая, стоял стол с неубранной после обеда посудой и наполовину опорожненной водочной бутылкой. По двору ходили куры. Пара распряженных коней, отмахиваясь хвостами и гривами от слепней, переступая с ноги на ногу, выдергивала шматки свежескошенной травы из подводы, аппетитно хрумкала и равнодушно косились на незнакомого человека. Так по-домашнему мирно вы-

глядело подворье, что Дмитрий Андреевич не поверил своим глазам: разве до сих пор здесь не знают о войне?

— Не рассиживайся! Не рассиживайся! — послышался грубоватый мужской голос. Из-за хаты вышел дядя с выпирающим из штанов животом, держа в руке курицу вниз головой, окунул ее в бочку с дождевой водой и принялся хлестать пучком бурьяна. Курица утробно закричала, как бы для вида, словно зная за собой вину.

— Не рассиживайся, каналья! Давно тебе пора в борщ! — Дядя снова принялся хлестать, и курица снова закричала для вида, наверное, попало не первый раз.

Дмитрий Андреевич догадался, что курица садится в гнездо выводить цыплят, «рассиживается», а яиц не несет. Вот и достается бедняге. Обыденная домашняя сценка так не вязалась с пережитым и виденным за последние дни, что Дмитрий Андреевич ущипнул себя за ухо: не сон ли?

Наказывал хозяин курицу со всей строгостью, как если бы собственное дите, и не смутился, застигнутый за бабьим занятием чужим человеком. Присел на завалинку. Между ног провис живот, как курдюк у овцы. Хлестанул для порядка еще раз-другой виновницу и выпустил. Курица взъерошилась, отряхнулась от воды и пошла по двору как ни в чем не бывало. Снежно-белый петух подскочил к ней, закокотал, принялся разгребать землю и что-то клевать, вроде бы приглашая подкрепиться после хозяйской встряски.

— Заходи, не стой у ворот истуканом! — наконец отозвался хозяин на приветствие незнакомца. — Откуда? Куда держишь путь?

Дмитрий Андреевич сумбурно, волнуясь, с пятое на десятое рассказал о своих злоключениях.

— Значит, беженец?

— Какой же беженец? Семья в Харькове, а я здесь... сам не знаю где.

— В селе Броды, Запорожской губернии.

Дмитрий Андреевич даже не удивился «губернии», настолько отупел и устал. Хозяин подмигнул понимающе, с ноткой сочувствия в голосе:

— Начальник? Партийный?

— Не угадали.

— Из каких же будешь?

— В торговле работал. Мясник.

— А зачем тебя на Дунай занесло?

— Дела были... Переночевать у вас можно?

— Отчего же нельзя? Ночуй!

— Где немцы? Никак не пойму, весь день кругом гремит.

— Ха, немцы! Немцы, человеке, уже хозяйничают в Бродах.

Дмитрий Андреевич и тут не удивился, лишь устало кивнул.

— Хозяйничают, хозяйничают! Всех коммунистов выловили и повесили на площади, напротив сельсовета. А что будет через месяц?.. Но ты, человеке, не пужайся. Побледнел-то как. Хоть ты, может, и коммунист (коммунист, нет?), я тебя не выдам. Покормлю. Переночуешь и отпра-

вишься с богом в свой Харьков. Не сегодня-завтра там будут немцы. Я этот народ знаю по германской войне. Деловые, любят хозяйничать, но скоты, живодеры, обдерут матку Украинну, как сидорову козу! — Он пошел в хату, вернулся с краюхой хлеба и глечиком молока.

— Садись к столу, человеце, снейдай. А я пойду лошадей в сарай поставлю да свинье пойло дам. Полгода бобылем живу, схоронил жинку, царство ей небесное...

Дмитрий Андреевич в полусне добрался от стола к лавке, сбросил сапоги и лишь приклонил голову к подушке, как забылся. Но сон был неглубокий: ворочался, стонал, бормотал. Прокинулся в темноте и тишине, не понимая, где он. В окошко глядела луна, где-то настырно тявкала дворняжка. Внимание Дмитрия Андреевича привлекло негромкое прерывистое тиканье, когда качнешь туда-сюда сломанный будильник, он походит немного и остановится. Так и это тиканье. Дмитрий Андреевич пытался определить, что и где тикало, и не мог: то казалось, под лавкой, на которой он лежал, то в другом конце комнаты. Тикало еле слышно, будто даже за стеной. Дмитрий Андреевич поерзал на лавке: может быть, это скрип, а не тиканье? Но нет, тикает. Встал на пол, посидел на корточках, прислушался, провел рукой по стене. Тикать перестало. «Черт знает что такое! — недоумевал он. — Адская машина? Но зачем ей тут быть? И почему прерывается тиканье? Э-э, не в голове ли у меня тикает после контузии? Нервы... Что же я тут разлеживаюсь? Где хозяин? Какой-то подозрительный тип. — И он припомнил разговор во дворе, и что-то неладное, неискреннее в его поведении. — Добром не кончится эта ночевка, надо сейчас же убираться! Вон и пиджак не на месте, был повешен на спинку стула, а лежит на табуретке...» Все происходило словно в кошмарном сне, а не наяву... Стукнула калитка, послышались голоса. Дмитрий Андреевич прильнул к окошку. Трое мужчин. Выпрыгнуть в окно? Но вместо того чтобы бежать, лег на лавку и притворился спящим. «Какая сволочная людина! — подумал о хозяине. — Разрешил переночевать, а сам бегом доносить немцам. А еще русский называется!»

— Тут, в боковой комнатухе, — послышался уже знакомый плутоватый голос.

— Будет он тебя дожидаться. Верно, и след простыл.

— Спит как убитый.

— А оружия у него нету?

— Нету. Проверил.

Дмитрий Андреевич заворочался, открыл глаза, будто со сна, загоразживаясь рукой от света карманного фонарика.

— Ишь развалился, как у себя дома... Кто такой? Вставай! Показывай документы!

Ни жив ни мертв Дмитрий Андреевич достал паспорт и подал невидимому человеку, оставшемуся в темноте.



— Эй, Елесеич, лампу поживей! Ничего не видно! — Проверяющий сжимал и разжимал ладонь, нагнетая энергию в жужжавший фонарик. Свет был тусклый и неровный.

Появился хозяин, неся пузатую стеклянную лампу с плавающим в керосине фитилем, поднес поближе к лицу постояльца, сам отгораживаясь от света ладонью, словно стесняясь своего подлого поступка.

— Ба, да это же Озерко! Дмитрий Андреевич! — воскликнул невидимый человек, и Дмитрий Андреевич, еще не узнав его, ослепленный лампой, облегченно вздохнул.

— Какой же это партийный секретарь? Ну и чудак ты, Елесеич!

— Нешто знакомый?

— Очень даже знакомый! По добровольческой армии... Дмитрий Андреевич, дорогой, рад видеть! Нашему полку прибыло. За такую встречу по рюмке. Слышишь, Елесеич, по рюмке!

Перед Дмитрием Андреевичем был доброволец, Сергей Прохорович, от которого он сбежал с мельницы в последнюю встречу.

Непонятную доброжелательность испытывал к себе, хотя сам к добровольцу был равнодушен. Чем он пришелся по душе? Ну, дал попить водички раненому. Всякий бы на его месте так поступил. Дмитрий Андреевич терялся перед этой загадкой, но сейчас не время было выяснять отношения. Он видел себя уже на виселице перед сельсоветом, а по воле случая очутился за столом с полным стаканом водки в руке.

— Елесеич, знатный у тебя гость! — не то всерьез, не то с насмешкой (трудно было понять мало знакомого человека) говорил Сергей Прохорович, осушив до дна свой стакан и аппетитно закусывая. — Купец первостатейный. В Новороссийске держал мясную лавку, имел в центре каменный дом с парадным входом.

«Два, два!» — хотел было поправить Дмитрий Андреевич, обретя некоторую уверенность, да поостерегся: какая его ждет судьба и что за люди, среди которых он оказался не по своей воле?

— Старое вернется! Сполна вернется, однополчанин! — шумел Сергей Прохорович. — Жаль, мало нас осталось, фронтовиков! А то бы быстро навели порядок. Да разбросала судьба-злодейка по свету друзей боевой юности: кто в Турции, кто во Франции, а иных аж в Америку занесла! Настало время всем нам собраться вместе и, засучив рукава, строить новую Россию! Красная Москва месяца не продержится. Попомните мои слова!

Дмитрий Андреевич только теперь заметил, что Сергей Прохорович выглядел совершенно другим человеком, чем при встрече на мельнице: побрит, причесан, с квадратиком усов на верхней губе, в военном френче, галифе цвета хаки и хромовых сапогах со скрипом. Постройнел, помолодел, с жаром разглагольствовал о новой жизни без большевиков и жидов, о возрождении потерянного русского духа, и на глаза его навертывались слезы: ах, как по душе было ожидаемое преобразование! Но Елесеич и второй угрюмый, цыганковатый мужик, пришедший с ним, и сам Дмит-

рий Андреевич оставались безучастными, своих забот полон рот, и лишь делали вид, что слушают уважительно.

Елесеич подсел к своему постояльцу, доверительно положил руку на плечо:

— Так вы, значит, мясной торговлей занимались? Это когда же? При царе-батюшке?

— При нэпе.

— По-онятно! Я к тому завел этот разговор, что в Бродах был наездом немец Мюллер из бывших колонистов. До революции проживал в Прибалтике, держал в руках всю мясную торговлю. В гражданскую уехал в Германию и сейчас там шишка, сын его чуть ли не адъютант у самого Гитлера. Вчера в комендатуре с нами, русскими коммерсантами, этот Карл Мюллер вел беседу и развивал планы на будущее. «Немецкой армии, — говорит, — надо бекон, шкуры, щетина. Много, много. Я буду на Украине заведовать продовольственным снабжением армии, и мне нужны надежные люди». Поняли, куда гнет? Я эту немецкую породу знаю. Скоты превеликие и обдерут Украину, как сидорову козу.

— Мы новую Россию построим без немцев! Немцы — временное явление! — Сергей Прохорович стукнул кулаком по столу и уронил из глаз слезы, которые упали ему в тарелку. Он уже совсем окосел.

— Постройшь! — огрызнулся Елесеич. — Они и без нас управятся. Сами умеют строить. Нам бы свое не упустить, верно я говорю, Дмитрий Андреевич? Если ты хороший мясник, то можешь понадобится Карлу Мюллеру. Я за тебя слово скажу.

«Смотри, как ожили бывшие! Неужто пришел конец советской власти?» — размышлял Дмитрий Андреевич, вспоминая совершенно противоположные мысли совсем недавно на рынке в Килие. Тогда советская власть казалась неколебимой, устроенной на веки вечные. Не прошло и полмесяца, как все переменялось. Что же теперь делать? Как жить? И можно ли на что-нибудь надеяться при немцах?» Остаток ночи Дмитрий Андреевич провалился на лавке, не сомкнув глаз, чего только не передумал, вспомнил и время нэпа, тогдашнюю свою бурную деятельность в торговле. Был молод, горяч, окрылен, да крылья быстро подрезали... Но если пораскинуть умом, то счастье вовсе не в богатстве, а в семье, в детях. И Дмитрий Андреевич сильно заскучал по дому, по своей Анастасье, по сыновьям и дочерям. Власть что? Была царская, стала советская, пришла немецкая, какой служить, не разберешь, а лучше всего семье. Как там без него? Живы, здоровы, цел ли дом? Быстрее, быстрее в Харьков!.. Он хорошо отдохнул, отоспался. Елесеич, узнав про четверых детей, не пожалел чувала муки, кукурузы, свиного окорока, и в одно ясное утро пораньше Дмитрий Андреевич выехал со двора на подводе, в которую был впряжен крепкий меринок. Елесеич через комендатуру, связанный с ней какими-то отношениями, снабдил также документом на гербовой бумаге, удостоверявшим на немецком и русском языках, что означенный Дмитрий Андреевич Озерко является агентом по заготовкам и поставкам скота

действующей германской армии и что местным властям и командованию следует оказывать ему всяческое содействие.

Настолько все удачно сложилось, что в это трудно было поверить. Попуская вожжи, Дмитрий Андреевич нет-нет и доставал из внутреннего пиджачного кармана бумагу, сложенную вдвое, осторожно раскрывал и рассматривал герб с орлом, почти что царским, если бы не паучья свастика... Вот и не стало советской власти, до чего же просто и быстро! Не верилось: вместо сельсоветов — управы и комендатуры, вместо милиции — полиции, вместо колхозов... правда, колхозы немцы пока оставили, чтобы не мелочиться, реквизируют для армии продукты оптом.

Немецкий патруль пропускал Дмитрия Андреевича без обыска, без придинок, лишь на одном пункте офицер окинул подозрительным взглядом свободно катившего в подводе гражданского, потребовал документы, недоуменно поджал губы и пошел в будку. Наверное, ему было в диковину немецкий государственный документ у проезжего русского мужика! Пока он звонил куда-то по телефону, два солдата бесцеремонно согнали Дмитрия Андреевича с подводы и переверостили ее до дна.

Офицер вернулся, отдал бумагу, ничего не сказал, лишь махнул рукой: «Проезжай!»

У Дмитрия Андреевича словно выросли крылья — подстегнул меринка, покатил во весь дух. Все-таки здорово он себя обезопасил от всяких случайностей военного времени! Километра через три, расспросив встречного прохожего, свернул на проселок, сокращая путь. Потянулся лесок. Повсюду валялось поврежденное военное имущество — исковерканная повозка, походная кухня, перевернутая вверх колесами пушка. Попался и наш подбитый танк с круто свернутым на сторону орудийным стволом. Его беспомощный вид лишний раз напомнил о крушении советской власти. Дмитрий Андреевич придержал меринка и едва не обнажил голову, как перед покойником. По всему видно, был здесь крепкий бой, и этот танк недешево отдал свою жизнь: валялось вокруг все больше немецкое, разбитое и раздавленное.

В стороне блестела речушка. Дмитрий Андреевич привязал меринка к стволу ясеня, снял цебарку с кийка и пошел по заросшей глухой стежке. Трава была по пояс. Поднимались рои жирных синих мух. Дмитрий Андреевич повел носом, принюхался: запах чисто травяной с паринкой, какой бывает на лугу в жаркий день. Видно, трупы давно убрали, и были это, конечно, немцы, но рои синих жирных мух не оставляли пропитанную кровью землю... А лето, лето какое удачное для крестьян, повсюду зрел добрый урожай! Но много хлеба погибнет на корню и много будет увезено в Германию. Об этом с горечью думал Дмитрий Андреевич, вовсе не обрадованный непрошеным гостям, хотя и документ получил от них хороший. Обстоятельства, как он считал, заставляли его поступать против своей воли: надо как-то выкручиваться, как-то надо добраться до семьи, до Харькова.

Нога ударилась о железку, Дмитрий Андреевич присел от боли. Что это он смело ходит по полю недавнего боя? Запросто можно напороться на мину. В траве валялся целехонький ручной немецкий пулемет с задранной сверху двуногой, вокруг вразброс — железные коробки лент, россыпи не расстрелянных патронов и новенький вороненый карабин. Солдаты были взяты в плен или бежали, впопыхах бросив оружие?

Дмитрий Андреевич поднял с земли карабин, рванул на себя затвор и выбросил из ствола патрон. Оставлять в траве такую ладную вещь было жалко, а брать с собой опасно. Что делать? Повертел в руках, полюбовался и сунул в сено на самое дно подводы. На всякий случай придумал оправдание: оружия необходимо при выполнении возложенных на него обязанностей по заготовке скота, постоянными разъездами по селам и хуторам. Недалеко было село, там и решил напоить лошадь. Но не проехал и версты, как из кустов наперерез выбежали двое — обтрепанные, заросшие, в форме советских солдат, у одного на голове пилотка, у другого гражданская фуражка. В руках — автоматы. Вот так встреча! А Дмитрий Андреевич считал, что на сто верст вокруг и не пахнет советской властью, красной звезды не увидишь, а тут вот она, горит на пилотке.

— Куда держишь путь, дядя? — Рослый, в фуражке, схватил меринка за узду.

— В Харьков... Домой пробираюсь, к семье. — Дмитрий Андреевич с трудом овладел собою.

— Как же тебя немцы не перехватили с лошадью?

— Я все стороной, проселками. Меринка достал в Бродах, добрый человек попался... — Дмитрий Андреевич прикусил язык: что-то сильно разболтался, ненароком сам на себя беду накличешь. — А вы кто будете?

— Сам видишь кто. Окруженцы. К своим пробираемся. Раненых с нами много. Твоя подвода кстати... О, да еще мука, окорок! Ну, дядя, ты самим богом нам послан!

Солдат завернул меринка в лес, и Дмитрий Андреевич приуныл, совсем не обрадовавшись такому повороту дела. Выехали на поляну. Лагерем на ней расположилось человек двадцать, таких же замызганных и обтрепанных, как и два провожатых, некоторые были с винтовками, но большинство безоружные. Под деревьями виднелись сплетенные из веток носилки, на них лежали тяжелораненые, прикрытые плащ-палатками, негромко постанывали. «Плохи ваши дела, окруженцы, — подумал Дмитрий Андреевич, оглядывая лагерь, и тяжело вздохнул: — С таким войском не отстоишь советскую власть!»

— Стой, да тут оружие! С кем воевать собрался, дядя? — Солдат в фуражке выхватил из сена немецкий карабин, неприязненно сощурил глаза на побледневшего Дмитрия Андреевича. Побледнел он не столько при виде обнаруженного карабина, сколько от мысли, что сейчас его и обыщут, и найдут немецкий документ. После пропускного пункта, выехав на проселок, он завернул его в носовой платок и сунул за подкладку, в потайной карман. Да разве от хитрюги-солдата что-нибудь спрячешь?

С карабином в руке, покалывая серыми глазами, тот подошел к Дмитрию Андреевичу.

— Свободно разъезжаешь, немцы тебя не трогают. Что ты за птица?

— Сам не знаю, зачем взял карабин. Понравился, да и время лихое, в дороге чего не случается, — забормотал Дмитрий Андреевич. — Отсюда с километр и пулемет немецкий лежит в траве, коробки с лентами...

— Дмитрий Андреевич... это вы? — послышался тихий, очень знакомый голос. На носилках приподнялся человек с забинтованной сплошь головой, и лица не видно. — А мама где?

— Костя? — Дмитрий Андреевич бросился к раненому, точно к спасательному кругу. Он присел на корточки с намерением рассказать всю правду, но перехватил осуждающий взгляд медсестры, поправлявшей бинты. Она приставила к губам указательный палец, словно догадываясь о намерении Дмитрия Андреевича, и тот прикусил язык.

«Вот так же и сынок мой Виктор где-нибудь лежит израненный...» — заняло сердце.

На поляну выбежал возбужденный солдат с неприятной новостью: вблизи появились немцы! Поднялась суматоха. Лагерь быстро свертывался, окруженцы затапывали костер, завязывали вещмешки. В лес ушло вооруженное автоматами охранение.

Дмитрий Андреевич помог медсестре уложить Костю на свою повозку: кроме ранения в голову, у него были прострелены обе ноги. Плохой, совсем плохой...

\* \* \*

Сколько пережил, перетерпел Дмитрий Андреевич, добираясь к семье, — не приведи господь кому другому. С отрядом окруженцев, который рос не по дням, а по часам и превратился в крупное боевое соединение, уже с полностью укомплектованной гаубичной батареей на конной тяге, броневиком и грузовым автомобилем с боеприпасами, он оказался на линии фронта ездовым в обозе. Вначале вез раненых, а потом, по их выздоровлению, продовольствие. Многих, тяжелых, пришлось оставить в деревнях, на попечение сердобольных хозяек. Костя, «Котик», каким помнил его Дмитрий Андреевич, несмотря на открытые раны, намеривался во что бы то ни стало выйти на нашу сторону.

— Жена моя, Нина с дочерью, не знаю где, — рассказывал он Дмитрию Андреевичу. — Все собирался забрать их в Килию и не успел. Что там с ними, не знаю. Как вы думаете, дошли немцы до Новороссийска?

Дмитрий Андреевич неопределенно пожал плечами.

— Ты о себе, мальй, побеспокойся. Пробыться будет непросто здоровым, а ты вон какой, с подводы не сможешь слезть. Остался бы у какой-нибудь хозяйки, подлечился, а наши тем временем соберутся с силой и попрут бусурмана...

— Нет, буду пробиваться. Мне уже лучше, скоро стану на ноги.

Когда приблизились к фронту, подвода Дмитрия Андреевича катила вместе с другими в самом хвосте. На прорыв построились треугольником, а в середине поместили раненых. Все командиры ушли вперед, ближе к боевым порядкам. Кто пробился, кто лег замертво, Дмитрий Андреевич не узнал: немцы отрезали и едва не захватили обоз. Пришлось заворачивать оглобли. Удирали скопом, наезжая друг на друга, ломая дышла, пустая постромки, подняв невероятный треск и грохот, и вдруг без уговора, без команды понеслись в разные стороны, — только бы с глаз долой!

После сумасшедшей скачки Дмитрий Андреевич заехал в лесок, остановился, боясь загнать лошадей. Рассветало. Начинался пасмурный, зябкий денек. Опавшие листья притрусил редкий снег, и они похрустывали под ногами.

Дмитрий Андреевич вытер тряпкой потных, исходивших паром лошадей, укрыл брезентовым лантухом, дал им овса в торбах, а сам вышел на опушку оглядеться: куда ехать? По слухам, Харьков был уже у немцев, захватили и Ростов-на-Дону (вон куда махнули!), но вроде бы через неделю были выбиты из города. Домой, домой, к семье, куда же еще?.. Он страшно переживал за бумагу с фашистским гербом и, нося ее в подкладке пиджака, много раз намеревался изорвать, но теперь извлек с легким сердцем и положил в карман. Гляди, выручит.

Он вернулся к подводе, в лесок, и долго не решался выехать на дорогу, прислушиваясь к отдаленному гулу фронта. Там, на востоке, будто ни днем, ни ночью не знало отдыха какое-то чудовище: стучало, грохотало, гудело. А над головой время от времени проплывали тяжело груженные самолеты, снабжая прожорливое существо всем необходимым для разбоя и грабежа. И по земле беспрерывно двигались в ту сторону люди, кони, машины, разная военная техника, и чудовище принимал их с ненасытностью бездны, вырывая из себя исковерканные орудия и машины, трупы людей и лошадей, поверженные в прах города и села. Вопреки здравому смыслу упрямый снабженец продолжал поставлять орудия смерти и сам, точно загипнотизированная лягушка в рот ужа, обреченно втягивался в гибельную трясину войны.

Такое сравнение невольно сделал Дмитрий Андреевич, с тяжелым сердцем взбираясь на передок своей подводы.

Когда он покатил по неезженному пустому проселку, пришло новое гнетущее чувство: ехал вроде не по родной земле, был не хозяином собственной судьбы. Он словно попал в метель, сбился с дороги, и выбраться из этой завирюхи нет никакой возможности.

Человек по натуре деятельный и оптимистичный, он не мог долго унывать, жить без надежды и, взмахнув кнутом, крикнул лошадям: «Эй, залетные, чего головы повесили? Ну-ка, поживей!.. Ничего, как-нибудь выкручусь. И в Гражданскую не легче было...»

Минуло лето, осень, а муж не возвращался в Харьков, и Анастасия Кузьминична с тремя подростками и четвертым годовалым на руках билась, как рыба об лед. Мужа она уже не надеялась увидеть в живых и сама старалась прокормить семью. В первый месяц войны недостатка в продуктах не было, напротив, изобилие, как на пиру во время чумы: бери, чего душа желает, из разбитых складов, магазинов, железнодорожных пакгаузов! Анастасия Кузьминична, женщина бойкая, не преуспев в образовании, по житейской части была сноровиста, запаслась мукой, крупами, жирами, притащила на «своем горбу», сколько могла унести, подпаленной пшеницы с разбомбленного горевшего элеватора. Бывало, видит, бабы куда-то бегут с чувалами, ведрами, сумками, и сама следом за ними, прихватив, что под руку попадет, мешок или корзину. Так и запаслась. До середины зимы жили сносно. А потом стало худо: за деньги ничего не купишь, только в обмен на вещи. Старшая дочь Вилена пошла как-то с меньшим братом на руках обменять мануфактуру на хлеб (Анастасия Кузьминична приболела), слышит свистки, крики, люди бегут кто куда: рынок оцепили полицаи — вылавливали молодежь для отправки в Германию на работы. Вилена вбежала в пустую будку, притаилась в темном углу, не дышит. Так и пересидела облаву. Много лет спустя ее брат, уже с сединой на висках интеллигент, услышав эту историю, не на шутку возмутился:

«Как ты могла взять меня с собой в такой вертеп? Я бы мог сгинуть ни за грош!»

В обмен на продукты пошли вещи, посуда, приданое, какое Анастасия Кузьминична собирала годами для дочерей. Однажды на рынке к ней подошел мужчина:

— Куплю хорошее зимнее пальто!

Анастасия Кузьминична до сих пор берегла, не продавала одежду мужа: еще надеялась на его возвращение. Перед войной он сшил касторовое, с каракулевым воротником пальто. Покупатель был такого же роста, что и Дмитрий Андреевич.

— Что дадите? — полюбопытствовала она.

— Семь пудов пшеницы!

Это было богатство, да еще какое! Анастасия Кузьминична привела покупателя в дом, показала пальто. Понравилось. Но ехать за пшеницей нужно было в село, километров за пятнадцать от города. В мирное время пустяк, а сейчас, без какого-либо транспорта, по проселкам, и далеко, и опасно. Как быть? Судили-рядили, да голод не тетка. С каждым днем делалось хуже. В народе уже распевали песенку: «Украина моя плодородная, немцам хлеб отдала, сама голодная!»

Анастасия Кузьминична решила взять с собой старшую дочь Вилену. Пристала к ним и одна знакомая женщина Агриппина Федоровна, собралась обменять посуду на продукты и навязала два узла.

— Втроем не так страшно, — говорила Агриппина Федоровна. — Что у мужика на уме — бог знает!

Анастасия Кузьминична охотно согласилась. Время было смутное, бесправное, каждый надеялся сам на себя. По дороге тянулись вереницы людей с повозочками, колясками, саночками, редко попадалась подвода с чальным меринком: хороших лошадей немцы забрали в армию. Люди шли группами, одному путешествовать было опасно, везли в села всякий скарб, надеясь выменять на съестное. Фигуры серые, согбенные, лица унылые.

В этот поток влились и наши путники: Анастасия Кузьминична с дочерью, Агриппина Федоровна и покупатель по имени Антип, оказавшийся разговорчивым, веселым малым. Вещи сложили и увязали на двух ручных санях. Тащили напеременки, Антип тоже помогал. Мороз стоял крепкий, снега навалило много, но все равно зима не смогла прикрыть военной порухи: из сугробов торчало то какое-то исковерканное оружие, то ноги в драных носках (обувку кто-то снял), то рука с судорожно скрюченными пальцами. Мертвецов не убирали. Кто они — солдаты, павшие в бою, или жертвы бандитских нападений, прохожих не интересовало: самим бы целыми унести ноги.

Свернули с большака, и шагавшая впереди вместе с Антипом Вилена вскрикнула и остановилась. Поперек дороги лежала женщина, совершенно голая, с проломленной головой, из-под которой подтекла и окрасила снег густая кровь. Невдалеке валялись опрокинутые пустые сани.

— Боже ты мой, боже ты мой! — запричитала подошедшая Агриппина Федоровна. — Ограбили, убили, раздели до нитки. Да что же это делается на белом свете?

Все четверо, оцепенев, молча постояли и пошли дальше, ускоряя шаг, чтобы подальше уйти от места преступления.

Показалось большое село, от которого совсем немного осталось пути, как заверил Антип. На улицах — ни души, во многих хатах окна крест-накрест забиты досками, а на площади, у Дома культуры — фонтан, и в нем — четверо облитых водой и заживо замороженных. Анастасия Кузьминична вначале приняла их за статуи, пригляделась и ахнула. У одного руки отчаянно выброшены вперед, рот искривлен от удушья, у второго голова безвольно упала на грудь, третий словно шагнул и оступился, припал на одну ногу, четвертый на коленях силится и не может встать. У всех глаза выпучены. А на груди табличка: «Я партизан».

«За что их?» — ужаснулась Анастасия Кузьминична, но вслух произнести эти слова не решилась, да и кто бы ей ответил? Она только и думала, как бы побыстрее управиться с меной, прокормиться, не околеть от голода и холода, берегла детей, как сука щенят, других помыслов у нее не было. Но, оказывается, рядом люди жили иначе, не мирились с рабской долей, уготованной им немцами, и за это шли на смерть. Вихрем пронеслись в голове страшные мысли. Жутко от них стало Анастасии Кузьминичне. Прибавила шаг, чтобы поскорее миновать казненных. Со страхом подумала о муже. Где он сейчас? Жив, здоров? Или, как эти четверо, схвачен и зверски замучен немцами? Она слышала, что в окрестных лесах



действуют боевые отряды, и надеялась, что Дмитрий Андреевич где-то поблизости, скоро наведается домой.

— Эй! Эй! Оглохли, что ли? А ну стойте! — подбежали два полицая, придерживая за плечами приклады карабинов. — Откуда? Кто такие? Заворачивайте в управу!

Один носатый так и зыркал черными нерусскими глазами по узлам, не терпелось узнать, что в них. Анастасия Кузьминична уже распрощалась с мужниным пальто.

В управе осоловелый после вчерашней попойки дежурный, при пистолете, в черной, мешковато сидевшей на нем форме полицая, выглянул в окно, на двор, где стояли сани, и Анастасия Кузьминична загадала: «Если вздумает проверять, то возвращаться мне домой с пустыми руками!»

Пальто было в мешке, привязанном веревкой к саням, сверху — узел с посудой Агриппины Федоровны. На вторых санях — одна посуда: горшки, миски, тарелки. Полицай, не отдавая паспортов, вышел во двор, пощупал узлы, но развязывать не стал.

— Значит, менять?

— Менять, менять, родимый, может, муки, может, пшенички привезу домой, дети голодные, холодные, четверо на моих руках, — пустила слезу Анастасия Кузьминична. Полицай вернул паспорта: «Поняйте с богом», но ей все мерещилось, когда и за село уже выбрались, что вот-вот догонит тот черномазый и отберет пальто.

На закате солнца добрались до села Антипа, растянувшегося, как обычно на Украине, по балке. Из труб поднимался вверх столбами розоватый дым. Розовел и снег на крышах. Рядом с угасающим солнцем на чистом голубом небе горела белая звезда. Мороз пощипывал щеки, нос, обещал покрепчать к ночи.

— Вон моя хата с петухом на стрехе, дымок вьется, жинка ужин готовит. Ох, и живот подтянуло за дорогу! — весело сообщил Антип, стоя на угоре. — Давайте вниз на санях?

Анастасия Кузьминична побоялась: очень обрывисто.

— Вы посмотрите, как мы с Виленой спустимся, может, и решитесь. — Антип задорно подмигнул девушке. — Согласна?

Вилена, хоть и не хотела оставлять мать одну, не могла лишиться себя такого удовольствия за весь утомительный и страшный день. Посмеиваясь, она уселась по-молодецки на узлы, держась за Антипа.

— И я с вами! — спохватилась Агриппина Федоровна, так как это были ее сани и узел с самой ценной посудой.

Анастасия Кузьминична подошла к краю обрыва, с беспокойством наблюдая за санями, которые, взвихряя снег, помчались вниз. Седаков заносило в сторону, того и гляди, перевернутся, но Антип усиленно рулил ногами и выравнивал. Крутизна сменилась широким отлогом, и сани долго катились по нему. Вилена вскочила, запрыгала, замахала руками. Ее голос издали тонко прозвенел в морозном воздухе:

— Ма-амо! Спускайтесь на санях, не бойтесь!

Анастасия Кузьминична решилась, хоть и трусила. Оглянулась — бог мой! — сани пустые, одни обрывки веревок. Сердце так и охолонуло. Кинулась назад по дороге: может, мешки зацепились за куст и оторвались? Только привязаны они были прочно, никак не могли оторваться. Верно, когда Анастасия Кузьминична засмотрелась с горы на своих попутчиков в санях, кто-то сзади подкрался и бритвой перерезал веревки... Она запыхалась, распалилась, пробежав с километр по пустой дороге, еще надеясь на что-то невероятное, какой-нибудь случай, который вернет ей вещи, но понимая, что все потеряно: дети остались без куска хлеба, муж раздетым (в глубине души она верила в его возвращение). Не помня себя, бежала дальше и дальше, и чего только не приходило в голову: Антип мошенник, действовал не один, завел в глушь, а его товарищ тихонько подкрался сзади и унес вещи.

Уже без надежды, убитая горем, возвращалась она к угору, смотрит и глазам своим не верит: лежит мешок! Не иначе похититель впопыхах обронил. Господи, неужели это не видение? Анастасия Кузьминична прижала мешок к груди, прощупала: пальто цело! Жизнь и радость вернулись к ней. Побежала дальше, надеясь найти и мешок с посудой Агриппины Федоровны. Но не нашла.

Внизу Вилена осипла от крика, зовя мать, не понимая, куда она делась, и взбежала на гору, оставив у саней Агриппину Федоровну.

— Что случилось? Где вы пропадали? — не на шутку встревожилась Вилена, увидев заплаканную мать, прилаживающую к саням мешок. Та разрыдалась в голос, рассказывая о пережитых волнениях.

Спустились вниз, Агриппина Федоровна, узнав о пропаже своей посуды, не поверила:

— Как же так? Твои вещи целы, а мои пропали? Сбыла кому-нибудь, когда мы укатили на санях, признайся?

— Как у тебя язык поворачивается такое говорить, Агриппина Федоровна? Чтоб мои глаза родной дочери не видели, одну правду говорю! — Анастасия Кузьминична залилась слезами, но разуверила ли подругу, так и не поняла: Агриппина Федоровна все косилась подозрительно, хотя больше и не ругалась.

Недоверие разъединило их, час назад дружных, сплоченных трудностями и опасностями дороги. Теперь отводили друг от друга глаза, подавленно молчали. Добрались до Антиповой хаты с синими от холода лицами, не чуя под собою ног. «Жинка» выругала «чоловика»: долго пропадали в городе, душа изболелась, а когда узнала, что сторговал пальто за семь пудов пшеницы, заупрямилась — ни в какую! У самих дети, самим, того и гляди, придется по миру идти.

Анастасия Кузьминична достала из мешка пальто, завернутое в чистую простыню, повесила на вешалку, и оно, хоть и было придавлено узлом с посудой, нисколько не помялось: кастор высшего качества, муж знал толк в вещах. Такое пальто в мирное время равноценно вагону пшеницы, а сейчас приходилось отдавать за полтора мешка, да и в них отка-

звали. Деревенская баба, «кугутка», как про себя окрестила ее Анастасия Кузьминична, понятия не имела о настоящем сукне, для нее что дерюга, что кастор — все одно, лишь бы поменьше платить.

— Ни, ни, ни! И не балакайте! — отмахивалась хозяйка, не желая и слушать о семи пудах.

Анастасия Кузьминична набила руку на торге, сколько уже переменяла вещей, и твердо стояла на своем.

Антип притих, надеялся, что бабы все-таки поладят между собой, не вмешивался в спор, хотя ему и стыдно было отступать от своего слова. Пальто он еще раз примерил, чтобы жена убедилась, как ладно на нем сидит, и осмотрел, прощупал от воротника до пол — новое, ни пятнышка, ни потертости. Жалко было расставаться с такой вещью. Не пальто, а шуба. Не снимая, развалился, как барин, на стуле, преля в жарко натопленной хате. Потом позвал жену в соседнюю комнату, и они там чуть ли не час шушукались, доказывая каждый свое.

— Вот что, — сказал Антип, возвратившись от жены. — Ни по-вашему, но по-нашему — пять пудов!

Анастасия Кузьминична готова была уже уступить, видела по глазам дочери, что и она не возражала, но как подумала — теряет два пуда, месяц прокорма семьи, так все в ней запротестовало.

— Нет, не будет по-вашему! — Она свернула пальто и принялась засовывать в мешок. — Виленя, помоги, чего стоишь?

— Подождите! — остановил ее Антип, недовольный таким поворотом дела. — Какая же ваша окончательная цена?

Анастасия Кузьминична подумала, поглядела на Вилену, прочитав в ее глазах желание согласиться, не торговаться, и сказала, как отрезала:

— Шесть пудов, и ни килограмма меньше!

Жинка принялась было возражать, но Антип на нее прицылкнул и тут же, взяв безмен, повел Анастасию Кузьминичну в клуню, к засыпанному почти с краями пшеницей сусеку. Желтоватая арнаутка, зерно в зерно, с брошенным на куче совком в воронке, была дороже золота, во всяком случае для Анастасии Кузьминичны, жадно вдохнувшей в себя запах пропахшей хлебом клуни.

Антип рассчитался честь по чести, и они вернулись на кухню, к столу. Поужинали борщом, приправленным застарелым салом, и свежим, еще теплым пшеничным хлебом из русской печи, на что хозяйка не поскупилась, и, как убитые, повалились спать на солому, застланную ряднами в запечном кутке. Чуть свет, беспокоясь о доме, Анастасия Кузьминична разбудила дочь, вдвоем погрузили пшеницу в двух мешках на сани, увязали покрепче веревками, в чем им помог Антип, и отправились в обратный путь. Агриппина Федоровна осталась в селе менять посуду.

Трудно было взобраться на крутой угор, спасибо Антип впрягся в сани, проводил чуть ли не до следующего села, совестливо извинился за то, что не все получилось так, как уговаривались в Харькове, и пожелал доб-

рого пути. На большаке женщины почувствовали себя спокойней: взад-вперед двигался народ, проезжали подводы.

Впереди поскрипывал одноконный возок, в котором сидели подростки лет по четырнадцати, мальчишка и девчонка. Он лихо правил кауркой с провисшей спиной, покрикивал и посвистывал, точно на лихую тройку, и громко, хвастливо переговаривался с девчонкой, похоже, сестрой. Оба самодовольные, развязные.

Анастасия Кузьминична зажмурила и открыла глаза: да нет, ошибиться не могла — на возке лежал мешок Агриппины Федоровны с посудой, залатанный в двух местах, спутать его с другим никак нельзя было! Не помня себя, Анастасия Кузьминична кинулась к возку, вцепилась в мешок и что есть силы потащила на себя, да не тут-то было: с другой стороны за мешок проворно ухватились подростки.

— Бессовестные! Воришки! — кричала Анастасия Кузьминична, пытаясь усостыдить подростков, и в то же время прилагая все усилия, чтобы завладеть мешком.

Возок остановился. Собрался народ и взял сторону подростков:

— Как тебе не стыдно, дурная баба, обижать ребятишек!

— Сами они десятерых обидят! Мой мешок! Могу назвать, что в нем! Три кастрюли эмалированных, сковорода, чугунок, оловянные миски! Развяжите, посмотрите, люди добрые!

С этими словами, уловив минутную растерянность противной стороны, Анастасия Кузьминична стащила мешок на дорогу и развязала.

— Все точно, что я говорила!

Кто-то заглянул в мешок, но остальные разошлись каждый в свою сторону: не до чужих, своих забот полон рот.

Подростки-сорванцы, видя такое дело, принялись поносить Анастасию Кузьминичну скверными словами, впору хулиганам, и пулять в нее ледяшками, смерзшимся конским навозом, что попадалось под руку.

— Я тебе, тетка, глаз выбью! Побью всю посуду, ни нам, ни тебе не достанется! — Мальчишка метко бросил ледяшку, угодившую в руку Анастасии Кузьминичне, в то время как она укладывала мешок с посудой на сани. — Ага, схватила! А сейчас я тебе в глаз!

— Эй, поганец! Чего дерешься! — остановил мальчишку сердитый окрик мужчины, подкатившего к возку на пароконной подводе. Он заметил, как Анастасия Кузьминична обхватила ушибленную руку здоровой и прижала к животу, кривясь от боли, полосанул мальчишку кнутом так, что он испуганно пригнулся и погнал прочь свою каурку.

— Стася! Вилена! Родные мои! — Дмитрий Андреевич, спрыгнул с подводы, обнял жену и дочь, обеих разом.

\* \* \*

При въезде в Харьков, на Холодной горе, немецкие солдаты гужевого транспорт сворачивали с шоссе в боковую улицу и направляли к тюрьме. Дмитрию Андреевичу не помогла и бумага, может быть, уже утратившая

значение за давностью. Как он ни доказывал важность своей миссии заготовителя, унтер-офицер твердил одно и то же:

— Надо груз везти армия. Много груз. Сворачивай!

На площади собралось с полсотни подвод. Дмитрий Андреевич подъехал и остановился с краю, у крутого обледенелого спуска с горы, и понял, что бежать некуда, что он в ловушке, что дело табак: набрав сколько надо подвод, немцы угонят их по своей надобности и сделают это так быстро, что ахнуть не успеешь, как будешь далеко от Харькова. Снова прощай семья!

— Стася, Вилена, ложитесь на мешки, — прошептал Дмитрий Андреевич, решив рвануть с крутой горы в проулок — была ни была! Уже стемнело, и момент никак нельзя было упустить.

Дмитрий Андреевич проверил упряжь, подтянул, подвязал, где надо было, прошелся к проулку, скользя по обледенелым булыжникам, как на коньках, пригляделся к дороге. Внизу, метров через двести, угадывался поворот в боковую улицу. Не прошмыгнуть бы мимо, а то непременно врежешься в дом, потрохов не соберешь!

Дмитрий Андреевич вернулся к подводе, погладил, потрепал морды гнедых: «Выносили вы меня не раз. Не подведите и теперь, залетные!» — и влез на передок, оглянулся: женщины попадали на мешки, вцепились в них — не оторвать.

Просвистел в воздухе кнут.

— Ннно! Ннно! — негромко понукнул Дмитрий Андреевич, заворачивая подводу к проулку, привстал на передке, гикнул — лошади, оскальзываясь и похрапывая, высоко задирая головы, понеслись вниз. Подвода запрыгала, захрохотала по булыжной мостовой... Сердце Дмитрия Андреевича упало, ничего не слышал, не чувствовал, летел, как в преисподнюю, видя перед собой одни лошадиные спины. Стреляли в него или не стреляли, кричали ему или не кричали, заметили исчезновение подводы или не заметили — кто знает! В ушах стоял грохот, и собственная спина казалась вчетверо шире от ожидаемой вдогонку пули прежде, чем он успеет свернуть в боковую улицу.

То ли собака, то ли кошка юркнула прочь от подводы, то ли в окне, то ли в ладонях прохожего мелькнул огонек. Поворот. Дмитрий Андреевич натянул левую вожжу, лошади круто, валясь на бок, свернули, из-под копыт посыпались искры, завизжали колеса, и подвода легко, без тряски покатила по асфальту. Дмитрий Андреевич лишь мельком взглянул на женщин, на месте ли, и стеганул по лошадиным крупам. Только после того как, промчавшись по пустым улицам километра три, подвода въехала во двор, Дмитрий Андреевич пришел в себя, но долго еще не мог спрыгнуть с передка на землю, словно прирос к нему.

Через час он уже позабыл все страхи, безмерно счастливый, что снова в Харькове, в кругу семьи, жена, дети живы-здоровы, беды пронесли мимо, только пожурил Анастасию Кузьминичну за легкомысленный вояж на хутор: «За молодым мужиком увязалась, а вовсе не нужда заставила

менять пальто на пшеницу, а?» Дмитрий Андреевич присел на кровать, дети окружили, повисли на плечах, голося на все лады от радости при виде отца, будто вернувшегося с того света. Анастасия Кузьминична с Виленой захопотали на кухне: Дмитрий Андреевич привез в подводе два ящика мясных консервов, мешок муки и много других продуктов из запасов отряда. В тот вечер накрыли стол, какой, пожалуй, и в мирное время не накрывали. Десятилетний сынок, не отходя от отца ни на шаг, взобрался на колени, младшая дочь Люба села по левую руку, жена по правую. Виленка тетешила своего беленького, капризного годовалого братика, любимца Дмитрия Андреевича, и так покойно стало на душе, словно война ушла за кирпичные стены, за двор. Верно говорят: мой дом — моя крепость.

## 10

О войне в Ростове первый месяц ничего не напоминало и ничего не нарушало обычное течение жизни, лишь в небе неутомимо кувыркались тупоносые «ястребки» в ожидании немецких самолетов, которые все не появлялись.

Под вечер, возвращаясь с завода, Виктор заметил «ястребка» в штопоре и, затаив дыхание, ждал до самой последней секунды, что он, спикировав, круто возьмет вверх, но самолет скрылся за домами, донесся раскатыстый гул падения, в небо поднялся столб дыма. Хотя такое могло случиться и в мирное время, и наверняка случалось не раз, сейчас явилось черным знаменем. Война как бы показала свое злое лицо, и в Ростове первой ее жертвой был летчик-истребитель. Почему он разбился — по неопытности или из-за неисправности в машине, Виктор так и не узнал, но эта смерть его потрясла. Отныне небо навсегда утратило свою голубую безмятежность, и в ясные дни казалось задымленным.

Первый немецкий самолет пробрался в город темной ночью и воровски сбросил бомбы на железнодорожный мост через Дон. Вместо моста угодил в трехэтажный кирпичный дом на спуске к реке. А вскоре, пока с воздуха, война открыто вошла в город. «Юнкерсы» регулярно стали появляться днем, в одно и то же время, часа в три, и Виктор вместе с другими молодыми рабочими завода, слышав сирену воздушной тревоги, бежал не в бомбоубежище, а во двор наблюдать за схваткой в небе. Обычно немецкие самолеты, встречаемые «ястребками» и плотным зенитным огнем, обложенные белыми облачками разрывов, как ватными тампонами, беспорядочно сбрасывали бомбы на окраине и удирали. Глухо рвали воздух далекие фугасные разрывы.

В одну ночную смену на механический цех упала бомба. От сборочного, где в это время работал Виктор, он был отделен всего-навсего легкой фанерной загородкой. В шуме станков и грохоте дюраля никто не расслышал рокота немецкого ночного бомбардировщика, лишь после смены, направляясь к выходу через механический цех, Виктор увидел огороженное

место, которое рабочие опасливо обходили стороной. Из брусчатого пола торчал стабилизатор, а в крыше над головой, сквозь дыру, голубело утреннее небо. Бомба почему-то не разорвалась. Виктору сделалось не по себе, когда он представил взрыв фугаски в каких-нибудь тридцати шагах от своего верстака. До сих пор не задумывался над тем, что с собой несет война, какие жертвы и разрушения и какие ему самому предстоят испытания. Ожидание неотвратимого, рокового сменялось надеждой: враг все-таки будет остановлен и разбит.

А война напористо вламывалась в город. Самую большую, недавно построенную гостиницу «Дон» целиком занял госпиталь, и в окна выглядывали раненые с перевязанными головами, подвешенными на повязках руками, в больничных синих халатах.

Появились бесконечные вереницы беженцев с Дуная и Днепра, молдаван и украинцев на возах, загруженных домашним скарбом. Привязанные налыгачами за рога коровы бежали следом, низко опустив головы, словно изготовились бодаться. Блеяли овцы. Люди и скотина распалены дорогой и жарою, густо покрыты пылью. Они вливались в город с запада, со стороны Таганрога, шумным табором катили по магистральному Буденновскому проспекту, по гужевому мосту через Дон и пропадали в степи.

Навстречу беженцам к фронту, который уже был в какой-нибудь сотне километров, шли в своей традиционной черной форме, с рядами медных надраенных пуговиц, стройные, собранные курсанты мореходного училища впереди с офицерами при клинках.

От Жени пришло письмо, но, возможно, посланное и не им: ростовский адрес был написан его рукой, а в конверте даже записки не оказалось, одни фотографии, взятые из дому — он с братьями, он с Виктором, он с Альбиной.

Мама считала Женю своим сыном, выросшим на ее руках, как она говорила, и расплакалась, решив, что его уже нет в живых. Такая мысль промелькнула и у Виктора, но он тут же привел доказательства противные: если убит, то почему нет похоронки? Скорей всего в жарких схватках с врагом у Жени не было времени написать письмо.

— Зачем тогда вернул все фотографии? — возражала мама, вытирая слезы.

— Боялся, что могут истрепаться. Мало ли причин для этого. Самое худшее, что с ним могло случиться — пропал без вести. В скором времени надо ждать извещения или письма от Жени.

Шли дни, а ни того, ни другого не было. Между тем немцы приблизились к Таганрогу, от которого до Ростова рукой подать. Спешно началась эвакуация завода, уже несколько раз предпринимаемая и откладываемая. Дальше медлить было нельзя.

Мама собиралась ехать с Виктором и боялась оставить бабушку одну в доме, хотя та и не возражала. Если ехать всем (отчима уже призвали в армию), то как быть с имуществом? В таком душевном раздвоении пребывала семья, пока Виктор дни и ночи пропадал на заводе, отправляя

станки и оборудование на юг. Сборочный цех уезжал последним. Ростов и в особенности узловую станцию Батайск по ту сторону Дона, за лугами и плавнями, всегда забитую составами, часто бомбили. За Батайском, как говорили, было спокойно. Главное — проскочить узловую станцию. До сих пор все заводские составы благополучно миновали злополучное место.

В день отъезда Виктора мама принесла огромную бутылку самой лучшей мадеры, какая была в магазине.

— Все винные запасы в Дон выливают, — сообщила она, помогая Виктору укладывать вещи. — Постное масло тоже в Дон. Пшеницу жгут. Теперь уже нет никакой надежды, что Ростов удержат.

Прибежал запыхавшийся Анатолий: с часу на час отправляется эшелон. Торопя Виктора, он стал помогать ему укручивать постельный узел.

— Возьмите мадеру, — сказала мама с красными глазами. Последние дни они у нее не просыхали.

— Возьмем? — Виктор вопросительно посмотрел на Анатолия.

— Бери. Пригодится.

Мама отдала всю бутылку.

— Столько мы не унесем! — возразил Анатолий, и пришлось ограничиться бидоном из-под молока.

Бабушка и мама, заплаканные, словно прощались навсегда, вышли на улицу, обнимали, целовали Виктора и, пока друзья не скрылись за деревьями сквера на Ростов-горе, стояли у калитки.

— Так, наверно, лучше. Пусть едет с заводом, — сказала бабушка, когда обе опечаленные женщины возвратились в дом с разбросанными по комнатам вещами и необычной тишиной во всей округе, только далеко на западе погромыхивало, не стихая, точно перед обильными летними дождями.

\* \* \*

Ожидали, что заводской эшелон проскочит Батайск без задержки, на полном ходу, но на станции его остановили на несколько часов, словно преднамеренно. Такие мысли невольно приходили на ум в томительном ожидании прилета немецких бомбардировщиков. Зенитки уже несколько раз открывали пальбу по истребителям-разведчикам. Бомбардировщики почему-то не появлялись. Наконец, поезд тронулся, размеренно постукивая колесами, и казалось, что он никогда не выберется за черту станции. Пассажиры истомились: давно прошло наивное любопытство, с каким еще недавно наблюдали воздушные бои над Ростовом. И когда, набрав скорость, поезд вырвался на степной простор, колеса застучали чаще и машинист отрывисто, задорно посылал гудок за гудком, точно вместе с пассажирами радуясь свободе — в вагонах слышались шутки, смех, кто-то запел: «Наш паровоз вперед летит...», и хор голосов подхватил эту полузабытую песню двадцатых годов.



В дорогу мама и бабушка надавали Виктору разных припасов, как будто хотели обеспечить до конца войны. За станцией Батайск он раскрыл перед друзьями черный жесткий чемодан, предлагая, что душа пожелает. Тут были вареные куры, жареные утки, свиное сало мягкое, как масло и толщиной в ладонь, залитые смальцем выжарки, сольтисон, кровяная колбаса, все выделанное из заколотой зимой Машки, с которой бабушка распрощалась не без слез, в банках топленое и свежее сливочное масло, сыр, вареные яйца, пирожки с творогом и яблоками, хворост, варенье из разных фруктов, мед, пастила, словом, пропасть харча.

Друзья разлили по стаканам мадеру из молочного бидона и пировали по-русски, пока не прикончили ее. И чемодан заметно полегчал.

Анатолий и Митя на все лады расхваливали домашнюю снедь, сами в дорогу взяли продуктов на день-два, да и те из магазина, больше консервов, к которым не притронулись. Зато к чемодану прилипли — не оторвать. Точно в двенадцать, как это было заведено в цехе, Анатолий кричал Виктору с верхних нар, широко улыбаясь:

— Давай дружить! То я к тебе, то ты меня к себе!

— Ладно, слазь, будем обедать.

Митя подсаживался к чемодану тихой сапой, не набиваясь, как Анатолий, нацеливался на курицу или утку и без дальних слов разделялся с нею, как бог с черепахой. Анатолий ел шумно, вдаваясь в воспоминания о своей лучшей поре юности, когда год прожил у заботливой тети в одной кубанской станице.

— Прихожу с досвиток, — рассказывал он, — а на подоконнике стоит глечик с молоком вечерней дойки или свежими сливками. Вот была житуха!

Чемодан быстро пустел, и вскоре на его дне осталась лишь пара зачерствелых пирожков. Анатолий в обед уже не кричал с нар, широко улыбаясь: «Давай дружить...» Теперь питались тем, что удавалось купить в дороге.

Мимо проносились разъезды и станции, и все здесь было, как в дни детского бродяжничества Виктора — размеренная жизнь захолустья, малолюдь. Когда останавливался поезд, из вагонов высыпали пассажиры и, как саранча, подчистую опустошали перронные киоски и маленькие крытые привокзальные базарчики, не давая скучать торговкам, которые прежде по целым дням просиживали с ведром яблок, низкой вяленой воблы или вареной курицей.

По ошибке эшелон сборочного цеха попал в Тифлис вместо Баку и простоял здесь целые сутки, так что была возможность побродить по незнакомому городу. В пути Виктор и Анатолий теснее сдружились, к ним в компанию основательно примкнул Митя Лохматов, договорились и жить втроем, когда прибудут на место. Как обычно среди парней, кто-то верховодил, другие примирались с этим. Анатолий и Виктор держались на равных и брали под обстрел Митю, который снисходительно относился к их шуткам и подтруниванию, будучи человеком покладистым, на колкости

никогда не отвечал колкостями, а лишь посмеивался: «Мелите, что хотите, а мне байдуже!»

«Три мушкетера», по настоянию Виктора (его же выдумка о мушкетерах) купили в Тифлисе фетровые шляпы и сфотографировались. Но у азербайджанцев нравы оказались более консервативные, чем у грузин, и на «трех мушкетеров» в шляпах бакинцы посматривали насмешливо, а на одной улице даже освистали.

Шляпы пришлось заложить подальше, да и было уже не до них, дорожная вольготная жизнь закончилась, надо было налаживать завод, который разместился на аэродроме, в авиационных ангарах, продуваемых насквозь, без какого-либо отопления. Ранее прибывшие рабочие подвели электроэнергию и сжатый воздух для производственных нужд, установили станки и прессы, так что слесаря-сборщики, считай, прибыли на готовое и сразу же приступили к выпуску самолетов.

В сборочном цехе часть помещения отгородили, у входа поставили охранника, и чтобы попасть за перегородку, нужно было иметь на пропуске штамп — букву «С» (секретно). Что там делалось, все знали, может быть, только не в частностях. А делали там эталонную боевую машину на основе И-16 с двумя пулеметами в крыльях, синхронно работавших с пропеллером, и скорострельной пушкой в оси пропеллера. Завод готовился выпускать боевые машины.

Как-то в середине дня за спиной Виктора остановился мастер Лебедев, минут пять понаблюдал за его работой и сказал:

— Переведу тебя на эталонную. Справишься с лобовой обшивкой? — И сам же ответил: — Справишься! Иди оформляй пропуск.

Почему такое предпочтение было оказано Виктору, он не мог понять, считая себя не ахти каким спецом. Скорей всего Лебедев давал ему возможность больше заработать, так как на эталонной машине расценки были втрое выше.

Перед этим дня за два по случаю основания завода на новом месте к Лебедеву домой собралась вся группа дюральщиков. Виктор тоже был приглашен и впервые находился в таких «домашних» отношениях с мастером. Лебедев за столом после двух или трех рюмок виноградной водки уставился на него, точно собирался сказать что-то сокровенное и не решился. Виктору стало неприятно, ждал нелестного отзыва о себе. Что еще можно услышать от мастера? Лебедев смотрел, смотрел и неожиданно широко улыбнулся:

— Давно к тебе приглядываюсь, Озеров, хочу понять, что ты за человек.

— Ну и какое впечатление? — спросил Виктор настороженно.

— Считал тебя занозистым, а ты парень ничего, простой. Сработаемся. Давай по рюмке, Озеров, за наш завод!

По имени горьковчане даже друг друга не называли, только по фамилии, что лишний раз убеждало в их деловитости, но теперь Виктор понял,

что серьезность эта была внешняя, что они, как и ростовчане, общительные люди, со своими достоинствами и слабостями.

От виноградной водки ломились полки бакинских магазинов, но никакой из алкогольных напитков, известных Виктору, не был так противен, как этот. Неделю после пирушки мутило и болела голова. Виктор дал себе зарок больше не брать в рот виноградной водки. Лебедеву тоже она не пошла на пользу. Он быстро охмелел, распинался ко всем в любви и нес всякую ахинею. Подобного от него никто не ожидал, даже горьковчане.

Через стол от Виктора сидела миловидная девушка, местная, русская с характерным для бакинцев аканьем на московский лад. Весь вечер они переглядывались, потом пошли танцевать и договорились вместе идти домой: оба с одной улицы. Девушка все спрашивала Виктора, как понравился Баку и хорошо ли устроились ростовчане.

— Зайдемте к нам, посмотрите! — предложил он. Девушка не отказалась и в недоумении оглядела узкую без окон комнату, в которой не было ни стола, ни стула, ни кровати.

— Вы тут живете?

— Да.

— Один?

— Трое.

— Трое? А на чем же вы спите?

— На полу.

В комнате не на что было сесть, и они вышли на улицу, постояли немного под воротами. От виноградной водки Виктору не терпелось сбежать по малой нужде, но при девушке было неудобно, и он поторопился распрощаться, не успев договориться о следующей встрече. Больше они не виделись, да и не до свиданий было: время целиком забирал завод, эталонная машина.

Виктор хотел доказать другим и самому себе, что кое-что может. Он не уходил домой по суткам, ночевал в верстаке, свернувшись калачом, мерз, вылезал из своего логова измятым, невыспавшимся, с онемевшими членами. Умыться по-человечески было негде и неохота, передрогший, в полусне, он брел к эталонной машине и принимался за свое дело. Жизнь в эвакуации осложнилась, но юный слесарь-дюральщик не приходил в уныние, тем более в отчаяние, а работал с уверенностью когда-нибудь вернуть потерянное сполна. И когда работа была закончена, принята, он приехал домой, свалился в постель и проспал, кажется, целые сутки.

## 11

— Строчит, строчит... Дневник, что ли? — полюбопытствовал Анатолий, повязывая галстук и обращаясь к Виктору через зеркало, в котором видел его отражение. Одетый по-воскресному в свой лучший костюм, Виктор сидел на подаренном хозяйкой топчане, писал, но, кажется, больше зачеркивал в общей ученической тетради. Митя Лохматов брился, ста-

рательно намыливая щеку, как обычно все делая не спеша и добросовестно.

— Стихи? — удивился Анатолий, заглядывая в тетрадь. — Дай-ка почитать!

Виктор неохотно оторвался от своего занятия и протянул тетрадь, зная, что на Анатолия часто находило лирическое настроение, во время которого он любил декламировать с надрывом: «Голубыми туманами наша юность прошла...» Таких стихов Виктор не писал и, отдавая свою тетрадь на суд, боялся, что его вирши не понравятся и будут раскритикованы.

— Митя, послушай, это про нашу жизнь! — Анатолий стал в декоративную позу с выброшенной вперед правой рукой.

Город ветров и погод раздражительных,  
Вечно изменчив над ним небосклон.  
Нас поместили, как временных жителей,  
В узкую комнату без окон.

— Это точно... без окон, — подтвердил Анатолий, осматриваясь, будто только теперь заметил, как убого их жилье.

Спал на полу я, потом на топчане,  
Которым хозяйка раздобрила нас.  
За это ей щедрые ростовчане  
Книжки на крупы давали не раз.  
Утром бежали во двор через улицу,  
Чтобы умыться из крана водой.  
Если мороз, то немного сутуляся,  
Раз, два плеснешь — и рысцою домой.  
Давкой в трамвае до пота измесят,  
Если одежду еще не порвут.  
Жизнь наша мчалась из месяца в месяц  
Неуловимая, точно ртуть...

— Все? — спросил Анатолий, листая тетрадь в поисках продолжения.

— Пока все.

— Ну, как, Митя, понравились стихи?

— Ловко. — Митя старательно выбривал щеку, своротив набок скулу и высунув кончик языка.

— Ловко, ловко... Давай поживей! Одного тебя ждем! — Анатолий порывисто, что было в его духе, перешел от лирического настроения к прозаическому.

Выпало немного свободного времени, и друзья собрались пройтись по магазинам, по городу, который еще по-настоящему не разглядели.

Дверь из комнаты сразу же выходила на улицу, в шум и гам толкучки, собиравшейся здесь, у Сабунчинского вокзала, по воскресеньям. Виктор

уже сбыл на ней некоторые свои «лишние» вещи, а вырученные деньги истратил на продукты, дорожавшие с каждым днем.

Работая в разных сменах, друзья питались каждый отдельно, прошло то время, когда все делили поровну и все делали сообща. Митя даже повесил замок-гирьку на свой сундук с продуктами, и скупость его стала предметом постоянных нападков и насмешек Анатолия. Он называл его куркулем, единоличником, скупердягой, но от этого крестьянский сын не делался щедрее.

Однажды возвратившись с завода голодный, Виктор застал дома Митю перед раскрытым сундуком, уплетающим вареную курицу, разложенную на крышке. Угостить и не подумал. Виктор прилег на топчан, отвернулся к стене, с раздражением слушая шумное чавканье и похрустывание костей. Митя и в еде любил основательность: не спешил, смаковал, продлевая удовольствие.

Виктор вспомнил свой чемодан с продуктами, щедро открытый перед друзьями в поезде, и от обиды готов был расплакаться.

«Ну, подожди же, скупердяга! — негодовал он с подкатившим к горлу комком. — Поглотаешь когда-нибудь и ты слюнки!»

Такого случая, увы, до сих пор не представилось: Виктор зарабатывал меньше, чем его друзья, и едва сводил концы с концами, позволить себе купить на базаре курицу по баснословной цене, как Митя, он не мог.

— О, курица! — воскликнул Анатолий, ветром врываясь в комнату и аппетитно потирая ладони, будто Митя только и ждал случая его угостить, хотя ни одним мускулом на лице не выразил такого желания, а только медленнее стал жевать, словно чем-то озадаченный.

Анатолий остановился перед сундуком с разложенной на газете курицей, примеряясь к лучшему куску, и взял заднюю лапу. Митя сделал неопределенный жест, то ли хотел помешать, то ли сам предложить, трудно было понять. Анатолий уже уписывал лапу за обе щеки, причмокивал и гундосил в нос, выражая удовольствие.

— Ммм... — произнес он через нос, обращаясь к Виктору. — А ты чего жеманничаешь, как красная девица? Небось голоден? Такую курицу не каждый день удаётся отведать. Митя, где ты купил? На рынке или в магазине?

Митя раскрыл рот, чтобы ответить, но слова застряли в горле, так как Анатолий бесцеремонно взял вторую лапу для Виктора, и он опять с запозданием сделал жест рукой, теперь уже явно пытаясь помешать.

Как Виктор ни отнекивался, Анатолий всучил ему курицу и, довольный, повалился на топчан и так, лежа, ел с аппетитом, сообщая разные заводские новости.

Курица не лезла в горло, Виктор подержал ее в руке, повертел и, к удивлению Мити, но в особенности Анатолия, бросил на газету, к объедкам.

— Подавись ты своей курицей! Буду умирать с голоду, ломтя хлеба от тебя не приму!

И он разразился такой поучительной тирадой о дружбе, порядочности, взаимовыручке, что самому стало неловко: выходило, что всем троим нужно было тотчас подцепить ангельские крылышки и запеть божественные гимны во славу истинного поборника справедливости Виктора Озерова.

Митя опустил голову, как провинившийся школьник, со вздохом окинул взглядом жалкие остатки курицы и принялся за крылышки и потроха. Через некоторое время лицо его посветлело, наверное, дошли до сознания слова Виктора. Он поглядел на ребят с очевидным желанием заслужить их расположение.

— Бог терпел и нам велел, — наставительно сказал Анатолий, как бы примиряя стороны. Не в пример скуповатому Мите он был компанейский парень, да только полки в его тумбочке всегда были чистые: отличался завидным аппетитом: что ни купит, тут же и съест.

В то время как друзья не спешили расставаться с вещами, взятыми из дома, как ни трудно становилось с продуктами, Виктор уже спустил все, кроме выходного костюма. Он заметно сдал, похудел, и Анатолий недавно сочувственно заметил:

— Да-а, одному не то, что под родительским крылышком.

Все же это было невеликое горе по сравнению с тем, что выпало на долю их сверстникам, на фронте, и трое продолжали жить в одной комнате, и если вздорили кое-когда, то ненадолго и не до разлада. Обойдя толкучку, они направились в центр, очень оживленный, со множеством магазинов, торговля шла и прямо на улицах из-под полы и в открытую. Два вертких типа, с притененными кепками лицами, остановили Митю и что-то зашептали на ухо, озираясь по сторонам, точно заговорщики.

Виктор и Анатолий пошли дальше, но Митя их остановил:

— Ребята, тут одну вещь предлагают. Давайте посмотрим!

Торгаши предупредили, что смотреть на улице, при всем народе, нельзя, и повели в полутемное парадное большого дома, достали из сумки добротные хромовые сапоги. Мите они сразу понравились. Примерил.

— Ну как? — спросил Анатолий.

— Жмут немного.

— Растопчутся.

— Это еще как сказать!

— Смотри сам.

— Только побыстрей, побыстрей! — заторопили азербайджанцы, поглядывая на улицу. Торговля военным имуществом преследовалась, а сапоги, похоже, были командирские.

— Сколько вы хотите? — поинтересовался Митя, возвращая сапоги с сожалением: очень нравились, но все-таки смущал малый размер, хотя бы чуток, на полномера больше.

— Триста, — сказал азербайджанец, возрастом постарше своего товарища, и спрятал сапоги в сумку. Товар он не навязывал, и так было видно, что вещь, а не дрянь. И цена сходная.

— Бери! — посоветовал Анатолий.

— Жмут малость. Не знаю, что делать.

Митя был тугодум, боялся дать маху, в то же время не хотел и упускать из рук вещь, которую давно искал. Он стал препираться с азербайджанцами, пытаясь выторговать полусотню. Виктору и Анатолию это надоело, и они вышли из парадного на улицу. Митя все не появлялся. Анатолий уже несколько раз раздраженно крикнул:

— Берешь или нет? А то мы пойдем!

Наконец, выбежал сияющий Митя, прижимая под мышкой сумку:

— Полсотни выторговал!

— Прямо-таки задарма! Обмыть надо по такому случаю.

— Жмут малость, — тут же оговорился скуповатый Митя.

— Не подойдут, продашь на толкучке возле нашего дома. Еще заработаешь рублей сто! — Анатолий все-таки не терял надежду на магарыч.

Они зашли в продовольственный магазин, забитый мандаринами, и стали в очередь. Цитрусовых в эту осень было в изобилии — шесть рублей килограмм, по военному времени совсем дешево. Объяснялось это тем, что дорога на север, через Ростов, взятый немцами, была перерезана, и весь урожай остался на юге. Анатолий съедал по килограмму мандаринов за один присест, причем вместе с кожурой, уверяя, что в ней много витаминов. Виктор тоже следовал его примеру, найдя, что неочищенные мандарины своеобразны по вкусу.

— Братцы, посмотрите, что тут такое! — Митя уставил округленные глаза в сумку, потом извлек из нее на свет божий рваные галоши, изношенные тапочки и еще какое-то тряпье.

— Разиня. Куда же ты глядел? — вознегодовал Анатолий, словно его самого надули. — Теперь ищи ветра в поле. И след этих жуликов протыл! Эх, опростоволосился ты, Митя!

— Сумки-то у них были две... В одной, значит, сапоги, а в другой тряпье... Поменяли, я и не заметил когда, — виновато бормотал Митя, роясь в сумке, словно там еще могли оказаться сапоги.

— По-ме-няли! — передразнил Анатолий, сердясь больше оттого, что нечего стало обмывать. Носи теперь галоши!

Он не сдержался, закатился смехом, хотя было и неловко перед расстроенным другом. Засмеялся и Виктор, вспомнив долгий нудный торг в парадном, но тут же и примолк.

— Эх, Митя, Митя, вот до чего довела тебя скупость!.. Ладно, не падай духом, — утешил Анатолий. — На здешнем базаре, говорят, был уже подобный случай. Тетка купила поросенка, принесла домой, развязала мешок, а из него выскочила собака!

Дома накрыли стол с миру по нитке и сели трапезничать, как бывало дружно в поезде. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Митино горе примирило с ним парней, да и не в характере Виктора было злорадство. А тут пришло неожиданное радостное известие с фронта.

— Ура! Немцы выбиты из Ростова! — закричал Виктор, врываясь в комнату и потрясая двумя бутылками красного вина, за которым бегал в магазин и по дороге услышал из репродуктора эту весть.

Немцы пробыли в городе всего неделю и бежали в подштанниках, захваченные враспloh нашими наступающими войсками, которые по тонкому льду незаметно переправились через Дон (между казаками, шедшими впереди, был уговор, кто провалится, не звать на помощь). Рассказывали, что ростовские пацаны перекололи в автомобилях шины, спустили из баков бензин, так что и бежать-то по-настоящему немцам было не на чем.

Виктор тотчас написал домой письмо, беспокоясь о маме и бабушке. Вскоре пришел ответ. Родные были в здравии, дом в целости и сохранности, просили Виктора подробнее сообщить, как он живет, не нужно ли ему что из вещей. Виктор позвал родных в Баку, подальше от фронта, но они боялись оставить дом без присмотра и надеялись, что немцы больше не вернуться в город.

Вслед за победой на юге газеты и радио заговорили о битве под Москвой, о разгроме рвавшегося к столице врага. Баку ликовал. Первый раз за всю войну люди облегченно вздохнули и приободрились. Виктор с друзьями смотрел в театре забавную буффонаду: Гитлер, Геринг, Геббельс, Антонеску, Хорти самоуверенно маршировали «нах остен», а потом забинтованные, хромые, на костылях, под траурную музыку Мендельсона, зашкандыляли вспять. Представление прошло браво, с верой в нашу победу.

\* \* \*

Ранней весной Виктора с группой рабочих направили в Москву, на один из тамошних авиационных заводов, наполовину эвакуированный, где надо было срочно возобновить производство самолетов. Виктор, да и все его знакомые, были уверены, что поезд пойдет через Ростов, что, возможно, удастся повидать маму и бабушку. Но, как выяснилось на вокзале, Ростов хоть и был освобожден, пассажирских поездов не принимал: близко, под Таганрогом, проходил фронт, и ехать пришлось кружным путем, через Сталинград.

Дорожные пейзажи, которыми Виктор в прежнее время любовался часами, не отходя от окна, теперь не привлекали: страшно хотелось забраться на верхнюю полку, выспаться, что он и сделал, как только по рельсам застучали колеса. Спал день, спал ночь. На следующее утро поезд остановился в степи, не доезжая Сталинграда.

Что случилось впереди, никто не знал, поезд все не двигался, пассажиры высыпали на полотно железной дороги пестрой толпой, вглядываясь в даль. Из-за бугра поблескивала Волга, белели дома городской окраины, доносились глухие взрывы и натужный рокот самолета, вышедшего из пике. Горячее дыхание фронта уже опаляло Сталинград. За полгода в глубокую тылу Виктор позабыл бомбежки и теперь в тревоге, нараставшей по мере приближения поезда к станции, поглядывал в окно.



Проехали мимо обгорелого дымящегося вагона, сваленного под откос. Вдоль полотна тянулись свежие воронки, как вулканические кратеры. Виктор насчитал девять, наверное, не меньше было и по другую сторону пути.

На вокзале беспокойно сновал народ, пронесли на носилках укрытого с головой не то раненого, не то убитого. Прислонившись боком к стене и прикрыв лицо ладонью, точно в обмороке, стояла женщина.

Фигура ее показалась Виктору знакомой. Он направлялся в буфет, но вернулся, подошел к женщине, участливо спросил:

— Вам плохо? Помочь?

Женщина убрала руку с лица, и на нем выразилось недоумение, радость, испуг, все вместе.

— Костя!..Ой, что я! Померещился муж. Совсем паморки за паморки зашли... Виктор, здравствуй! — Нина Лукьяненко с трудом оправилась от смущения. — Что за встреча, боже мой!.. Какими судьбами?

— Еду в Москву... бакинским поездом. Тебе не дурно?

— Уже легче... Попала под бомбежку. Как осталась жива, сама не знаю: бомба угодила в соседний вагон, а в нашем все стекла вылетели из окон и так трянуло, что люди и чемоданы посыпались с верхних полок, как яблоки...

У Нины были перепачканы одежда и лицо, а левая расцарапанная рука залита йодом.

— Вышла из медпункта, и дурно стало. Еду к мужу... Косте. Наш поезд на третьем пути, за вашим, когда теперь отправится, не знаю.

Виктору почему-то было неловко слышать слово «муж», как, должно быть, и Нине произносить его.

— Где же он, твой Костя?

— В Кирове.

— Киров, Киров... На Кольском полуострове, что ли?

— Там Кировск. А Киров — это бывшая Вятка. Предуралье...

Разговор о географии был для Виктора кстати, отвлек от Кости, но Нина вернулась к мужу:

— В госпитале лежит. Тяжелый. Подозреваю, что без ног... хотя об этом не пишет.

Худое, бледное лицо, блеклые глаза (куда подевалась их яркая синева, совсем недавно заставлявшая беспокойно биться сердце Виктора!) — Нина сильно изменилась со дня их последней встречи. Видно, хлебнула горя.

— О родителях ничего не знаю. Выехали куда-то из Новороссийска.

— А ты? Где ты живешь?

— В Белой Калитве.

— Да, да, я и забыл. Ты же собиралась туда переехать из Новороссийска.

Виктор вспомнил, как глупо вел себя, притворившись спящим, когда девушки, будучи проездом в Ростове, на несколько минут забежали к нему повидаться. Потом он досадовал на себя и думал о том, что мог бы Ни-

ну взять с собой в эвакуацию. Она бы согласилась, ведь Баку дальше от фронта, чем Белая Калитва, там бы Нине с дочкой было спокойней. Эта мысль часто ему приходила в голову, он так сжился с нею, столько настроил всевозможных планов, что до сих пор не мог простить себя за нерасторопность.

— Ты, Виктор, и не представляешь, что мы пережили с Тоней, возвращаясь из Новороссийска, — рассказывала Нина. — В Ростове нас захватили немцы, неделю прятались у ваших в подвале, пока город не освободили. Попали под бомбежку. Тоне оторвало пятку. Сейчас хроменькая. А Петю убило... Знал его?

— Двоюродного брата Тони? Как же?

— В один раз, от одной бомбы, уже в Белой Калитве.

— А дочь твоя?

— Оставила с Тоней. В дорогу побоялась брать. И хорошо сделала...

Они зашли в вокзал и сели на диван в гулком высоком зале ожидания. Виктор был безмерно счастлив: столько узнал о родственниках и друзьях! А Нину считал самым близким человеком. Для него она была плохо заживающей раной — носиться и носиться с нею!

— Подожди минуту! — Он вскочил с дивана, слегка опираясь на плечо Нины.

— Куда ты? — В глазах тревога, нежелание так просто расстаться, и Виктор понял сейчас лучше, чем за все предыдущие встречи, как он ей дорог.

— Сбегаю в вагон. Мигом!

В чемодане он вез килограммов пять бакинских мандаринов, свернул из газеты кулек и отсыпал половину, бегом вернулся:

— От меня Косте!

Нина смущенно приняла подарок, поблагодарила, и то, как она это сделала, не отказываясь, было видно: нужда плелась за нею по пятам. Они вернулись на перрон, чтобы не прозевать отправление поездов, и прохаживались от одного угла вокзала к другому, вовсе не тяготясь друг другом, как обычно перед расставанием, когда уже все переговорено и натянуто произносятся ничего не значащие слова: скорей бы отправление! Нина бережно прижимала к груди газетный кулек и вспоминала Новороссийск, лучшие годы, прожитые там. Круг друзей сужался. Сколько их останется после войны, трудно предугадать, и Виктору Нина делалась дорожке вдвойне: с нею роднило сладкое прошлое, роднило и горькое настоящее. Черноморский город Виктор оставил, казалось, без особого сожаления, ожидая чего-то большего на чужой стороне, но теперь понял, что куда бы он ни поехал, какими бы обетованными ни показались другие края, годы в Новороссийске будут для него самыми светлыми и памятными. И когда прозвенели три удара в колокол для бакинского поезда, они спохватились, не успев еще многое сказать, и договорились поддерживать связь через родных Виктора. Разжали руки после крепкого рукопожатия. На глазах Нины блеснули слезы.

— Подожди! — Она поднялась на носки, судорожно притянула его к себе и поцеловала в губы с такой признательностью, с таким душевным порывом, словно этот поцелуй был за все недоцелованное прежде.

Виктор вскочил на подножку, помахал рукой и перебрался через тамбур на второй путь, к своему поезду. Нина с кульком в руке, с прощально-грустной улыбкой, сиротливая и потерянная, навсегда запала в память.

Распахнулась вдаль и вширь полноводная, мутная, с понятыми лугами Волга. Проезжая Сталинград, Виктор даже подумать не мог о жестоких боях, которые тут развернутся летом, что война вовсе не в конце, а в самом разгаре, что скоро он надолго потеряет связь с родными (Ростов будет вновь взят немцами) и что фронт вплотную приблизится к Новороссийску.

НОРД-ОСТ ОПУСКАЕТ БОРОДУ

1

Немцы подступили к Новороссийску от Анапы по берегу моря. Лешка-рыжий, прослышав, что в винодельческом местечке Абрау-Дюрсо на складах шампанского завода можно пожить сахаром, спиртом и, понятно, вином, махнул туда с одним проворным дружкой, беженцем из Полтавы по фамилии Дудченко, а по уличной кличке Арбуз. Дружок по пути заехал в чешскую деревушку Глебовку по каким-то своим делам. Еще не прожил в Новороссийске и полгода, а знакомства уже развел на всю округу, дока был парень. Чех высокий, худой, с сединами в русых волосах, вышел на крыльцо в своих заботах и делах, было не до гостей, но все-таки пригласил в дом. Лешка с любопытством оглядел чисто прибранные комнатухи, католические иконы и библейские картинки: богородицу с толстоногим, по-взрослому глядевшим младенцем, плотника с пилой, овечек, красочно размалеванных на плотной глянцевой бумаге. И стены комнат глянцевито блестели бело-голубой масляной краской. На фрезových полах — ни щербинки, ни царапинки. Лешка прятал под стул ноги в грязных яловых сапогах.

Арбуз звал хозяина в Абрау-Дюрсо, у чеха была пара добрых коней, но он отнекивался, опасаясь попасть в переделку: немцы, по слухам, уже были недалеко.

— Дома собираешься отсиживаться, Франц Иосифович? — наступал Арбуз. — Немцев ждешь?

— А куда деваться? — Чех развел руками, в одной держа кувшин с рислингом, в другой сразу три граненых стакана, в которые разливал вино для гостей.

— Как куда? В Новороссийск!

— А дальше куда, если немцы возьмут Новороссийск? Парохода у меня нет.

— Город не сдадут. Немцев задержат в Абрау-Дюрсо... Как там на шампанском заводе? Говорят, все склады раскрыты, бери сколько унесешь!

— Не знаю.

— Поедем! Сахару, спирту привезем.

— Своим обойдусь.

Упрямый был чех. Арбуз попросил у него подводу, обещая за это часть добычи, но и тут не уступил, ссылаясь на раскованных коней.

— Ну как знаешь, Франц Иосифович, а мы поехали!

В повозке, погоняя гнедого. Арбуз негодовал:

— Хитрюга! Небось сам уже не раз побывал на складах. Навез добра полный подвал.

Местечко Абрау-Дюрсо напоминало постоянный двор, переполненный приезжими. Одни укладывались в дорогу, другие только прибывали. Куда ни помотришь — солдаты, кони, пушки в походном положении, моряки в бескозырках и форсистою клеше, перевитые крест-накрест пулеметными лентами, как в гражданскую войну. Попадались подвыпившие, с торчащими из карманов серебристыми головками шампанского. Совсем непохоже, что Абрау-Дюрсо будут оборонять. Какой-то пехотинец лежал ничком у входа в подвал, держа в руке винную бутылку, как гранату. Другой, трезвый, пытался его поднять:

— Гаврило, вставай! У немцев останешься...

Пьяный лишь мычал и слабо водил рукой.

— Эх ты, Гаврило, Гаврило, язык лыка не вяжет. Надо же столько выпить. Пять бутылок! Говорит, в жизни не пробовал шампанского. Вот и попробовался.

— Во-о-яки, — презрительно процедил Арбуз. — Считаю, пропили Абрау-Дюрсо! И Новороссийск пропете. Немец уже недалеко, а вы и не чувствуетесь.

— Ты, сосунок, помолчи! Мы с Гаврилой от самой границы идем. В разных переплетах побывали, тебе и не приснится. Откуда мы знаем, почему сдают город за городом? Командиров, мать их за ногу, спрашивай!

Лешка сунулся было в подвал, но солдат его остановил:

— Не слышишь, что ли?

Под землю глухо рвануло.

— Особисты подрывают шампанское, чтоб немцам не досталось. Да не так это просто. Заряд выбьет в штабелях воронку, а кругом бутылки целы, тьма-тьмущая... Эх, сколько добра пропадает! — погоревал солдат и снова принялся тормозить Гаврилу.

— Откуда тогда шампанское несут? — Лешка стоял на ступеньке подвала в нерешительности: спуститься или поостеречься.

— А вон оттуда!

В глубине двора зияла чернотой широко распахнутая складская дверь. Два моряка вынесли на плечах по ящику позванивающих бутылок с серебряными горлышками.

В нос резко шибануло кисловатой винной сыростью, когда Лешка вбежал в полумрак склада с мокрыми цементированными полами. По желобку струился ручеек через двор вниз с горы, к озеру. Шлепая по лужам, Лешка миновал ряд огромных металлических цистерн и попал в помещение, заставленное до потолка ящиками подготовленной к отправке партии вина. По правде сказать, его больше интересовал сахар, чем игристое Аи: мать варила леденцы — петушков на палочках для базара, тем семья и кормилась. Лешка намеревался прихватить побольше сырья. Но сахар не попадался.

Взяв два ящика шампанского, он выбрался из склада. Ящики задевали за ноги, мешали идти, Лешка оборвал руки, вот-вот упустит.

— Помоги! — крикнул он Арбузу, сторожившему подводу.

Погрузили шампанское и осмотрелись, нельзя ли еще чего прихватить.

Солдат уже поднял Гаврилу с земли, привалил к стене, и тот, не выпуская из рук бутылку, валился то в одну, то в другую сторону.

— Ребята, возьмите пьяного в повозку. Ненароком останется у немцев.

— За тем мы сюда ехали! — огрызнулся Арбуз и повернулся к Лешке. — Ну что будем делать? Еще шампанского возьмем?

— Хватит этой кислятины. Сахару надо...

Четко ударил пулемет за горой. Арбуз схватился за вожжи, готовый дать латата.

— Это наш «максим», — сказал солдат. — Верно, немцы подошли. Как же мне с Гаврилой быть?

Гнедой, ужаленный концами вожжей под брюхо, рванул вперед, и повозка выкатилась со двора.

— Но! Но! Поживей, кляча безродная! — покрикивал Арбуз.

Навстречу попались две бабы, тянули тачку с мешком, туго набитым сахаром. Лешка перехватил вожжи, остановил гнедого.

— Тетки, где сахар брали?

— За углом магазин... — Бабы приналегли, одна впереди за ручки тянула тачку, другая сзади подталкивала.

Раскатисто прогрохотал разрыв снаряда, подхваченный много раз эхом в ущелье. Арбуз упал на дно повозки, но Лешка даже бровью не повел, привязал лошадь к дереву и побежал к магазину.

— Быстрей, быстрей! — торопил его Арбуз, принимая мешок с сахаром и укладывая на дно подводы. Больше в магазине, уже опустошенном жителями и солдатами, не нашлось, и Лешка предложил вернуться к складам винного завода, поискать спирта.

— Пушки бьют! Какой тут спирт. Возвращаемся домой!

— А как же пьяного солдата? Оставим?

— Не хватало мне еще пьяных возить! Поехали!

— Ну ты и сволочь. Арбуз, как я погляжу! Не завернешь к заводу, так я из тебя, куркуля полтавского, знаешь что сделаю?

Но Гаврилы возле складов уже не было, по двору сновали солдаты в зеленых фуражках, пограничники. Они-то, видно, и прибрали к рукам невинную жертву игристого Аи.

— А вы кто такие? Почему разъезжаете в прифронтовой полосе? — подступил к подводе солдат с автоматом, и Лешка, от греха подальше, отобрал у Арбуза вожжи, покрепче стеганул гнедого.

Выбрались из Абрау-Дюрсо под грохот орудий и пулеметную пальбу. Лешка торопил взмыленного гнедого, покручивая над его спиной вожжами и опасаясь бить: того и гляди, свалится на полдороге. Проскочили Гле-

бовку, не заезжая к чеху. На околице Арбуз велел остановиться и спрыгнул с подводы.

— Я сейчас одно дело проверну.

— Какое дело?

— Впряжем в подводу добрых коней, а то гнедой пристал, не дотянет до города.

— Каких еще коней?

— Недалеко отсюда, в лесу, чех прячет лошадей. Я давно присмотрел.

— Как же ты у своего знакомого будешь лошадей красть? Не совестно? — возмутился Лешка, которому Арбуз все больше не нравился бесшабашностью: сегодня обманул чеха, завтра обманет его, Лешку.

— Немцы все равно заберут!

Арбуз скрылся в кустах и через некоторое время затрещали ветки, на дорогу вышел... чех, ведя под уздцы жеребцов. Следом трусил с посрамленным видом Арбуз, оправдывался:

— Ей богу, Франц Иосифович, не знал, что твои. Хочешь землю пожую? Вот крест, не знал!

Лешка отводил глаза в сторону: так было стыдно перед чехом. Арбуза он возненавидел и дал себе слово больше не вожжаться с ним.

Не доезжая до города, пришлось свернуть с шоссе, спрятать подводу под деревьями: над бухтой висели немецкие самолеты. На той стороне в небо поднималось черное облако дыма, расплзалось по всему небу: бомба угодила в нефтеналивной бак.

Въехали в город под вечер. Горели дома, прилегающие к базару. Арбуз приволок из брошенной квартиры никелированную кровать с балясинами и прикрыл ею трофеи из Абрау-Дюрсо — вроде бы едут погорельцы. Лешке пришлось слезть с подводы и идти пешком, но и дом уже был близок.

На Барклаевской улице одно колесо попало в канаву, подвода накренилась, кровать сползла на землю. Проходивший мимо одноклассник Сергей Зовицкий язвительно расхохотался, показывая пальцем на Арбуза, который, пыхтя, подпирал плечом грядку и пытался выровнять подводу, а Лешка настегивал гнедого.

— Арбуз, гляди лопнешь от натуги!

— Чего регочешь? Помоги лучше!

— Мародерам?.. Вас на мушку надо! — Сергей поднял над головой трофейный немецкий автомат и дал вверх короткую очередь. С перепугу Арбуз и Лешка попадали в канаву.

— Вот гад! — выругался Арбуз, поднимаясь с земли и провожая злобым взглядом Сергея. — Откуда у него автомат?

Для Лешки Сергей был загадкой, хотя вместе и голубей гоняли, и на море ходили. То, что допустимо было при Арбузе, выглядело неприлично при Сергее. Как-то Лешка протянул ему пачку греческих сигарет «Подыми!» Зовицкий безразлично взглянул на сигареты с золотыми поясками: «Не курю!» Это было сказано так, что Лешке послышалось: «И тебе не

советую!» И он на самом деле не закурил, сунул сигареты поглубже в карман. Вот и теперь с автоматом, бойкий и быстроглазый, Зовицкий откровенно посмеивался над перепуганными «мародерами», как он обидно обозвал ребят. Лешка отвернулся, скрывая смущение, только шумно посапывал в обе дырки.

— Чего делается, а? — сказал Арбуз, берясь за вожжи. — Не иначе сдадут Новороссийск! Но-о! Пошевеливайся, кляча безродная!.. Лешка, приналяг на грядку, давай быстрее по домам!

Меринок поднатужился, и повозка выскочила из канавы.

В город, со стороны Абрау-Дюрсо, уже входили наши разрозненные части. По Барклаевской улице трое моряков прокатили «максим» и поднялись в гору, к водонапорной башне. «У Зовицких в квартире установят. Точно. Вот бы пальнуть, никогда не стрелял из пулемета», — с завистью подумал Лешка и пошел проверять, подтвердилась ли его догадка. Он застал моряков за столом перед раскрытыми консервами и бутылками шампанского. Обедали. В соседней комнате на подоконнике стоял «максим», обращенный дулом в сторону Барклаевской улицы. Оттуда ожидали немцев. Рослый, добродушный детина, как видно, первый номер, объяснял Сергею устройство «максима» и обращение с ним — как устанавливать прицел, как сменять ленту.

— Я знаю, не беспокойтесь: изучал пулемет в кружке «Осоавиахима», — сказал Сергей. — Можно стрельнуть?

— Дай короткую очередь по кладбищу, там наших уже нет.

Сергей приник к пулемету, зажмурил левый глаз и нажал на гашетки.

— Та-та-та-та... та-та! — бойко простучал «максим».

— Ты чего пришел? — Сергей обернулся к Лешке, уже давно неприкаянно торчавшему посреди комнаты. У Зовицкого это часто бывало: видит и не замечает. Иной раз с кем-нибудь разговаривает, отвечает на вопросы, сам спрашивает и в то же время будто бы находится еще где-то, среди других людей.

— Просто так, — ответил Лешка, сам не зная, зачем пришел.

— Вы, ребята, подежурьте у пулемета, а мы малость отдохнем. Две ночи не спали, — сказал матрос, обучавший Сергея, и обвел рукой сектор обстрела — от школы до церкви. — Чтоб там мышь не прошмыгнула. Гляди в оба!

— Я погляжу! — с готовностью сказал Сергей и стал у пулемета. Лешка тоже подошел к окну, посмотрел на Барклаевскую улицу и не заметил на ней ни души. Было странно услышать, что там уже ничейная земля, а мать, сестра, Арбуз об этом не знали. Лешка забеспокоился: надо предупредить, побыстрее вывести своих на советскую сторону, и он пустился вниз по лестнице, крикнув Сергею:

— Скоро вернусь. Домой сбегаю!

У Лешки все пять братьев в армии, да и ему в этом году призываться, но в метриках по ошибке уменьшили два года, а роста он был невеликого, на вид дашь не больше пятнадцати. Дома осталась поседевшая раньше



времени от забот и постоянной нужды мать с дурнушкой-сестрой Кларой. Чуть ли не вдвое старше Лешки, счетовод на швейной фабрике, Клара за- сиделась в девках. Очень хотела выйти замуж, отделилась от семьи, копи- ла приданое, недоедала, недопивала и нажитое скупно складывала в гарде- роб — простыня к простыне, рубашка к рубашке. В семье говорили, что всяких платьев, костюмов, обуви у нее видимо-невидимо, а одевалась в поношенное и была страшно худа.

«Кто на тебя такую посмотрит? Разве жениху приданое твое нужно?» — журила мать Клару, но та отмалчивалась и делала по-своему. И вот что из этого вышло. Однажды возвратившись с фабрики и открыв ключом свою комнату, она обмерла: ящики гардероба выдвинуты, всё в них пере- ворошено, вещи разбросаны по полу.

«А-а... обворовали!» — не своим голосом закричала Клара и броси- лась подбирать простыни, наволочки, сорочки. Того, другого не досчита- ла.

«Обворовали! Лешка обворовал! Больше некому!» — Она в отчаянии заломила руки, подбежала к туалетному столику, схватила бритву и чирк- нула себе по шее.

Братья были дома, кинулись за скорой помощью. Спасли. Но после выздоровления лицо девушки скособочилось, взгляд потускнел. Притих- ла, подурнела Клара, шею всегда повязывала платком, прикрывая шрам. О женихе уже и не помышляла.

Не предвидел Лешка такой исход, а то бы, конечно, поостерегся оби- жать сестру. Назло делал, наслышавшись об ее скупости. Теперь жалел, сам готов был не есть, ей отдать, только Клара смотреть на него не хоте- ла. Лешка надеялся, что война примирит их, особенно после того, как в доме из мужчин остался он один, и ошибся: Клара по-прежнему глядела исподлобья. «Да», «нет», — большего Лешка не мог от нее добиться.

Когда он, запыхавшись, прибежал домой и сообщил, что Барклаевская улица уже ничейная до самой Октябрьской площади, что советской вла- сти тут нет и надо удирать, пока не заявили немцы, Клара заупрями- лась, да и мать не выказывала желаний покидать родные стены.

— Куда же мы пойдем? Топиться в море? — спросила она, сидя на сундуке, худая, простоволосая, с босыми костлявыми ногами, свисавши- ми двумя жердями до пола.

«А ведь верно. Отступать некуда», — подумал Лешка и подался к Ар- бузу за советом, хотя и дал себе зарок больше не вожжаться с ним. Друг его жил по соседству, у родственника, и рыл в сарае яму, куда намеревал- ся спрятать ценные вещи и продукты, поэтому Лешка появился совсем некстати, в свидетелях Арбуз не нуждался и сердито буркнул себе под нос: «Принес черт гостя!», но известие о ничейной земле его успокои- ло.

— Гнедого надо спрятать. А куда? — Он выглянул во двор, посреди которого понуро стояла лошаденка, впряженная в повозку.

— На кладбище, в каком-нибудь склепе, — посоветовал Лешка.

— Верно! Я знаю просторный склеп в терновнике. Помоги, Лешка, свести туда гнедого!

Распрягли лошадь и прежде, чем вывести ее на улицу, осмотрелись по сторонам, не видно ли немцев. В безлюдье и тишине, царивших вокруг, было что-то жуткое, напряженное, как в туго взведенном курке. Даже собаки и кошки попрятались.

В воздухе тонко просвистели пули, ушли куда-то вверх.

— Та-та-та-та! — вслед прилетел звук от водонапорной башни. Арбуз и Лешка разом присели, выпустили гнедого, который затрусил к кладбищу.

— Сергей Зовицкий, — догадался Лешка, оглядываясь на башню. — По своим бьет. Друг называется!

— Откуда у него столько оружия? — возмутился Арбуз и потряс кулаком невидимому пулеметчику.

— Моряки прикатили «максим».

— Давай бегом до кладбища, а то гнедой уйдет! — Арбуз метнулся зигзагом, пряча голову в плечи, и тотчас в воздухе пропели пули: «Фюи, фюи...». «Та-та-та...» — прилетел с запозданием звук выстрелов. Арбуз спрыгнул в канаву и на четвереньках пополз по ней, зовя гнедого, который остановился посреди Ставропольской улицы, пощипывал траву на обочине и даже ушами не прядал, как Арбуз не звал его.

— Та-та-та... та-та! — бил пулемет, и Лешка жался к земле, не решаясь что-либо предпринять.

— Та-та! Та-та! — все настойчивее выстукивал «максим». Лошадь паслась как ни в чем не бывало, Арбуз сидел в канаве, боясь высунуть голову, и Лешка не мог понять, в чем дело. Сдурел, что ли, Зовицкий? Строчит и строчит по своим, но даже в лошадь не попал, хотя она паслась у него на виду. И тут Лешка заметил на школьном дворе, примыкавшем к кладбищу, людей в касках и темно-зеленых шинелях. Они что-то тащили из-за школы. Поташат и спрячутся за угол, как только застрочит пулемет. Вон по ком бил Зовицкий, а вовсе не по Арбузу и лошади. Лешка не верил своим глазам: немцы! Ожидал чуть ли не марсиан с крючьями вместо рук, а они обычные люди, упрямо вытаскивали из-за школьного здания пушку с длинным стволом и набалдашником на конце, как недавно Лешка с Арбузом телегу из канавы. Наконец, вытащили.

Бабахнул выстрел, да так резко, что Лешке заложило уши. Он оглянулся на башню. Цела. Промазали немцы.

— Та-та-та-та! — зло застучал в ответ «максим». Солдаты в касках бросили пушку, забежали за угол здания и не высовывали носа, пока не закончилась лента. Схватываясь пылью, отлетала осколками штукатурка, обнажая красный кирпич. Один немец в короткий промежуток между пулеметными очередями кинулся к пушке, укрылся за щитом, припал к окуляру буссоли и закрутил маховик. Ствол приподнялся, пошел чуть вправо, замер. Наводчик махнул рукой и что-то крикнул, не отрываясь от окуляра. Лешка понял: требовал заряд.

Бабахнул второй выстрел. Лешка зажал пальцами уши, обернулся и ахнул: крышу башни как норд-остом снесло.

Поднялось облако пыли. Немцы сбежались к пушке и давай пулять в башню снаряд за снарядом, хотя «максим» больше не отвечал.

Лешка ползком добрался до своего дома, юркнул в калитку, успев заметить, что лошадь все еще паслась посреди улицы, а перепуганный на-смерть Арбуз сидел в канаве.

## 2

В дверь повелительно застучали. Мать открыла. Дядя Костя в темно-коричневой форме без погон, с белой повязкой на рукаве «Полиция» и в фуражке с необычно длинным угловатым матерчатым козырьком, подобранный, стройный, заскрипел хромовыми сапогами, переступая порог. За ним следом вошел здоровенный немец с автоматом на шее, и комната сразу наполнилась солдатским запахом пота и кожи, стала вдвое меньше.

Лешка за столом доедал похлебку, не донес ложку до рта, застыл в беспокойном напряжении: по какому делу пожаловали полицаи? Уж не за его ли душой?

— По приказу немецкого командования... — произнес дядя Костя, жмуря брови и отводя глаза в сторону, а Лешка готов был прыснуть со смеху: таким надутым индюком выглядел бывший парикмахер и вулканизаторщик с квадратиком усов на верхней губе, которые он недавно завел. Ну и фрукт: служит немцам! Лешка слышал о таких, но не ожидал встретить в должности полицаия нахаловского жителя.

— По приказу немецкого командования, — говорил дядя Костя, глядя мимо Лешки в окно, точно незнакомый, — все мужское население, от шестнадцати до пятидесяти лет, должно явиться в комендатуру для регистрации.

Лешка во все глаза смотрел на немца: так близко первый раз видел, и ему казалось, что туповатому верзиле сейчас ничего не нужно, кроме миски наваристого украинского борща, да еще завалиться в постель, придавить часиков двенадцать, а не шляться по дворам.

— Мать, приглашай гостей к столу. Дядя Костя, шампанское есть из Абрау-Дюрсо... Раздавим бутылочку по старой дружбе. И немец, я думаю, не откажется... — Лешка засуетился, хотел было сбежать в кладовку за вином, но полицаи, оставив официальный тон, махнул рукой:

— Собирайся!

— Я, что ли? — Лешка прикинулся непонимающим.

— А то кто же! Три минуты на сборы.

— Куды?

— Я тебе говорил — в комендатуру!

— Зачем?

— Там будешь задавать вопросы. Живей!

— Ну ты и даешь, дядя Костя! — Лешка все-таки надеялся вернуться к простецким отношениям, какие у него были прежде с дядей Костей (сколько раз, бывало, бегал ему за папиросами, вместе на рыбалку и за виноградом в Мысхако ходили!), но полицай пыжился, строил из себя бог знает что и не на шутку рассердился:

— Попридержи язык! А то враз схватишь по заправку!

Из соседней комнаты выглянула сестра Клара:

— Господи, наконец, избавлюсь от изверга!

— Типун тебе на язык! Опомнись! Брата твоего уводят. — Мать скорбно опустила голову, вытирая кулаком слезы.

— Ну и пусть уводят! Одним извергом меньше станет. — Клара хлопнула дверью, заперлась в своей комнате на ключ.

На что дядя Костя держался строго, но и ему стало не по себе.

Лешка проскрипел зубами:

— Вот стерва!

«Подожди, вернусь из комендатуры, поговорим», — мысленно погрозился он, не ожидая от сестры таких убийственных слов. Но дядя Костя надул его: из комендатуры погнали в лагерь, наскоро устроенный под открытым небом, в каменной балке, поросшей редким терновником. Всех мужчин на оккупированной части Новороссийска (а немцы заняли почти весь город, за исключением заводской окраины на той стороне бухты) собрали и посадили за колючую проволоку. Питания никакого, только то, что принесут родственники из дома. Лагерь этот был временный, пересыльный, со дня на день заключенные ждали отправки в Германию, а пока ремонтировали железную дорогу и восстанавливали мост, взорванный нашими при отступлении.

Лешка увидел многих знакомых, среди них Арбуза, и очень удивился дяде Ёсе, толстяку, весом в два с половиной центнера. Он-то чем был страшен немцам? На работу его вели под руки два сына, а третий сзади толкал в спину, потому что в гору дядя Ёся очень уставал.

До прихода немцев он работал мастером на холодильнике, жил кварталом выше Барклаевской улицы. Каждый вечер тяжело поднимался по дороге, а не по тротуару, держась поближе к кладбищенскому забору, одетый в свободно ниспадающую широченную рубашку до колен. Пройдет немного, прислонится к забору, отдышится и снова не торопясь, вразвалку пошлепает сандалиями сорок шестого размера.

Рассказывали, на холодильнике в обед дядя Ёся опорожнял бутылку водки в пивную кружку, без передыха выпивал, выходил на балкон с колбасиной килограмма на три, садился на скамейку и, глядя на море, на запруженную кораблями бухту, ел. Смотрел и ел, и так, пока не кончал всю колбасину.

Рассказывали также, что дядя Ёся ездил лечиться в санаторий. Лечение было простое: соберут вместе человек пять толстяков, посадят в машину, якобы ехать на обследование к профессору или еще куда-нибудь, а сами отвезут километров за пятнадцать в горы, высадят и укатят: доби-

райтесь пешком! Дяде Ёсе это мало помогло. Делали ему операцию, снимали жир с брюха и шеи, но тоже не помогло. Чтобы похудеть, он курил. Дома вечером сядет у окна. Окурки один за другим летят на улицу. Выкуривал в день по десять пачек «Казбека». Спать на кровати не мог. Задышался. Спал, сидя в кресле. Для него по заказу было сделано особое кресло.

Для чего эту тушу немцы загнали в лагерь, Лешка не мог взять в толк; партизан вряд ли получился бы из такого малоподвижного человека.

— Дядя Ёся, здравствуйте! Помните меня? Я Лешка Прасолов с Барклаевской улицы.

— Лешка, Лешка, что ты ходишь тут?

— А где же мне ходить?

— Будь я резвый, как ты, давно бы умотал отсюда подальше.

— Умотаешь, когда вокруг солдаты с автоматами.

— Как мышь прошьмыгнешь в кустах — никто не заметит!

— Охота пулю хватать.

— Эх, Лешка, Лешка, пропадешь ни за понюх табаку!

— Думаете, нас расстреляют?

— Лошади думают. У них головы большие.

Дядя Ёся заставил Лешку раскинуть умом: а ведь и верно, что хорошего можно ждать от немцев? Все твердят Германия, о, Германия, там «гут», «карашо». Конечно, интересно было бы посмотреть чужую страну, но какой рай уготован в ней для русских пленных? Кому они там нужны?

— Эй, Арбуз, подожди, что я тебе скажу! — Лешка догнал своего дружка, носившего щебенку в плетеной корзине к полотну железной дороги. Арбуз остановился, обернулся, не снимая корзины с плеча:

— Ну чего?

— Бежим!

— Тише ты! Прыткий какой... — Арбуз с опаской посмотрел на часового. — Двое уже пытались, на колючей проволоке повисли. Куда бежать? Назад в город? Все равно поймают, вернут в лагерь, если не укокошат на месте.

Но страхи Арбуза лишь больше убедили Лешку: надо бежать! Ничего доброго у немцев не выждешь.

— Смотри, пожалеешь потом, — сказал он, отходя от Арбуза. Солнце уже было высоко. Возле ворот толпились бабы с узелками, должна была прийти и Лешкина мать, но почему-то задерживалась.

— Шабаш! — возгласил полицаи, и заключенные толпой бросились к воротам, за передачами. Поднялся невообразимый гвалт. Немцы пытались навести порядок, кое-кому досталось прикладом по голове, наконец, все утихомирились, расселись на рельсах, каждый обособленно, торопливо набивая рот, точно боясь лишиться узелка со скудным харчем. Женщины по ту сторону колючей проволоки, глядя на своих измученных мужей и братьев, утирали слезы.

Лешка не дождался матери и отошел к терновым кустам — хоть ягодами утолить голод. Присел на корточки, старательно обирая ветку за веткой, а сам косил глаза на солдата и постепенно, шаг за шагом, придвигался к ложбине, которая уходила под колючую проволоку. По ложбине ползком можно было выбраться за пределы лагеря. Делая вид, что очень занят ягодами, Лешка улучил минуту, когда солдат отвернулся, с кем-то разговаривая, припал к земле и юркнул под проволоку. Дальше, дальше по промоине, не поднимая головы, с гулко бьющимся сердцем: сейчас заметят, пристрелят... Смотрит: на рельсах сидят два пацана и рассматривают на свет обрывок киноленты. Лешка подсел к ним и тоже стал рассматривать. Мимо прошел солдат с котелком, поглядел, ничего не сказал. Лешка ближе придвинулся к пацанам.

— Где вы взяли пленку?

— А там, на станции. Всего разбросано страсть сколько...

У мальчишек карманы отдувались от семечек; один держал в руках банку с чем-то белым.

— Что это?

— Смалец.

Лешка обмакнул палец, лизнул, верно, смалец.

— Тоже на станции?

— Ага.

— Мало набрали.

— Не во что.

— Пойдемте. Найдем тару.

Побежали по шпалам — мальчишки, придерживая руками туго набитые, оттопыренные карманы. Лешка заметил под откосом жестяной заржавевший короб от печной духовки, мог вполне подойти, если лучшего ничего не попадет. Он набил смальцем этот короб доверху, взвалил на плечи и — домой.

Клара увидела брата, побледнела, как стена, но Лешка не собирался сводить счеты, не до этого было.

— Отпустили, — соврал он. — По росту не подошел, признали мальчишкой. А мать где?

Мать, оказывается, понесла в лагерь передачу. Станут Лешку вызывать, не найдут, догадаются, что сбежал. Ах, пораньше бы, застать мать дома! Надо куда-то спрятаться. И подальше, а не то первая же выдаст сестра. Не успел Лешка что-нибудь толкового придумать, как во дворе слышались голоса людей, и он впопыхах залез под кровать, не найдя ничего безопаснее. Распахнулась дверь. Знакомые хромовые сапоги со скрипом переступили порог, и Лешке очень хотелось бы сейчас взглянуть на сестру. Молчит, а сама, наверное, кивает под кровать, мол, там прячется, берите. Лешка лежал ни жив ни мертв.

— Дома? — спросил дядя Костя.

— Нету. Не приходил.

— Больше ему некуда деваться.

— Откуда я знаю, где он? Вы его увели в лагерь!

Костя не мог не верить Кларе, зная ее отношение к брату, заглянул для порядка в одну, в другую комнату и, уходя, предупредил:

— Заявится, сейчас же сообщи в комендатуру!

— Ладно...

Уже зимою вернулся на Барклаевскую улицу Арбуз — тощий, в обтрепанном, латка на латке, овчинном полушубке. Сбежал с этапа на Южном Буге. Пробирался по селам. В городе Херсоне, оккупированном румынами, не такими прижимистыми, как немцы, поощрявшими торговлю, прожил два месяца у одной зазнобы — пекла для базара пирожки. Арбуз ей помогал сбывать товар и однажды встретил... дядю Ёсю, но какого? Худого как спичка. Кожа на лице обвисла, под глазами мешки. Арбуз сроду не узнал бы, сам дядя Ёся окликнул. Тоже сбежал вместе с тремя сыновьями.

### 3

На восточной окраине города, за кладбищем, по тихой улице Чехова в двухэтажном доме, открылось увеселительное заведение с ресторанчиком и номерами. Перед входом висела табличка: «Только для немцев». В каких-нибудь трех километрах отсюда снаряды перепыхивали землю, сносили до основания целые улицы, пули роем прошивали воздух, ежечасно, ежеминутно кого-нибудь убивали или ранили, как обычно на передовой, а здесь, за кирпичными стенами и зашторенными окнами, небольшой оркестр из пианино, скрипки и флейты наигрывал танго, фокстроты, и Алла Чепурченко с греческим профилем, в длинном вечернем платье, пела своим бархатным голосом, которому совсем недавно прочили большое будущее, консерваторию, Москву, пела пошленькую песенку о бравом солдате Гансе и деревенской белокурой девушке Эльзе, которая провожала любимого на войну и предрекала ему победу.

Алла устала, побаливала голова, настроение было скверное: прихварывала дома мама, просила сегодня пораньше вернуться, мама, одна-единственная, на груди которой она находила облегчение, которая поддерживала в ней дух жизни. Все здесь, на чем бы ни останавливала Алла взгляд, не нравилось ей: зашарпанный, с убогой обстановкой зал, переполненный пьяными офицерами в табачном дыму, отпускаящими сальные словечки по адресу молодой певицы, в облупившейся, с позолотой раме «Девятый вал» Айвазовского на стене напротив эстрады, тусклая копия, намозолившая глаза, с трудом собранный оркестр, фальшиво наигрывающий модные немецкие песенки, и этот надоевший истукан у двери в ее уборную, с ожидающим покорным взглядом полицай Костя.

— Я не могу дольше терпеть твою холодность, Алла, — говорил он с мольбой, когда она сходила с эстрады глотнуть свежего воздуха у окна. — Я знаю, ты меня презираешь, считаешь самым последним человеком...

— Ах, оставь свои жалобы. Костя, мне сейчас не до них: мама приболела, сама еле стою на ногах.

— Понимаю, понимаю... Я тебя провожу домой.

— Зачем?.. Не надо! Я сама дойду.

— Но, Алла...

— Сама, сама, оставь меня в покое... Вот и выход на эстраду! Прошу тебя не пяль на меня глаза, не ходи по пятам. Никуда я не денусь!

Костины домогания с довенным стажем едва не закончились женитьбой. Помешала война, но скорей всего невеста, повзрослев, разочаровалась в своем напыщенном и пустом кавалере.

Нужда заставила Аллу пойти в кафе, как скромно называли увеселительное заведение, и работу эту предложил ей дядя Костя:

«Споешь пять песенок за вечер и домой! Никто тебя пальцем не тронет, дорогая Алла. Ручаюсь. Будь благоразумна, соглашайся. И ты, и мать твоя всегда будете сыты».

Алла считала, что дядя Костя делает это из дружеских побуждений, все-таки осталось в нем что-то человеческое, рассудила она, вон и барклавских ребят покрывает, не выдает немцам, сам ей в этом признался.

Косте предложили полицейскую службу и присвоили звание сержанта, найдя в каком-то колене родства выходца из Германии. В душе, о чем догадывалась Алла, он поносил своих хозяев на чем свет стоит, да и вслух иной раз не боялся сказать.

Провожая Аллу домой, Костя ни с того, ни с сего переходил на изысканно-вежливый тон, обращался на «вы», и это звучало ненатурально среди развалин, пустоты улиц, зыбкости человеческого существования.

«Ну к чему все это, Костя, оставьте...» — говорила Алла в смятении, не зная, как себя вести.

«Дорогая Алла, недолго осталось ждать. Немцы дойдут до турецкой границы, и война закончится. Я открою собственную мастерскую по вулканизации покрышек, очень доходное дело! Я куплю лучший в городе дом, обставлю изысканной мебелью, и вы... вы будете там полновластной хозяйкой!»

Костя как бы спохватывался, и лицо его делалось серьезным:

«Конечно, конечно, я понимаю, сейчас не время для любовных объяснений, сейчас женщин берут грубо, поступают с ними далеко не по-рыцарски, да и сами женщины ведут себя пошло. В вас, Алла, я ценю душу, ум и готов чем угодно завоевать ваше доверие. Положитесь на меня полностью!»

Алла привыкла ко всему готовому: ни разу не сварила обеда, не вымыла полов, была капризна, несговорчива, своенравна, жила по настроению. Мать оберегала ее от всякой черновой работы, прочила в актрисы, создавала все условия для учебы, для упражнений в музыке и пении. И Костя, исполнив свои планы, случись такое, тоже не дал бы ей замарать рук, молился бы, как на икону. Она готова была поверить в искренность его слов, как вдруг третьего дня, к концу вечера, в уборную, где по обык-



новению уже сидел полицей, собираясь проводить ее домой, ворвалась девица Шурка Анохина и со всего размаха ударила его по щеке и крикнула Алле, грозя кулаком:

«Я тебе покажу, как чужих мужиков отбивать! Глаза выщарапаю!»

«Уверю вас, дорогая Алла, ни в какой связи я с Шуркой Анохиной не нахожусь, — распинался Костя по дороге домой. — Баба зверь, сутяга. Разве ее можно полюбить? За какие прелести? Извините, мясо да сало. Намедни попросила познакомить с Отто Краге, а потом ему же нашептала, что полицей пытался ее изнасиловать. Представляете? Слову этой стервы нельзя верить. Интендантиска Отто Краге устроил мне разнос, грозился концлагерем!»

Алла слушала с презрением к самой себе: господи, какой скот ее провожает! Он в почете у немцев лишь потому, что поставляет им русских девушек, прежде сам с каждой переспав... Зачем она согласилась петь в этом вертепе? Она рада была бы сейчас черному куску хлеба, готова была гнуть спину на сибирском заводе от зари до зари, только бы не видеть ни Кости, ни немцев!

— Милый Ганс, возвращайся скорей,  
Жду твоих вестей, —

пела Алла, оплакивая свою надломленную юность. Она теперь часто воображала себя в открытом штормовом море после кораблекрушения. Было с нею подобное не раз во сне. Одинокая, беззащитная, она держалась за обломок мачты, задыхаясь от хлеставших в лицо резких порывов ветра и соленой воды, уносимая волнами в глухую ночь. И неоткуда ждать помощи, не на что надеяться... Наверное, это настроение ей навевала картина Айвазовского, все время маяча перед глазами, когда она пела.

— Я не могу дольше терпеть твою холодность, Алла! — заныл Костя, едва она спустилась к себе в уборную, хотела подойти к окну, закурить но передумала и вернулась на эстраду, села возле пианиста, лишь бы не видеть полицей. В кафе заходили все новые и новые посетители, хотя уже не было свободных мест. На некоторых стульях сидели по двое.

Алла подозревала, что немецкие офицеры, бравирюя, шумя на все кафе, заливали вином свой страх перед русскими солдатами, видела, какие измотанные, придавленные они возвращались с передовой, как ненавидели тыловиков, с которыми часто ссорились... Как-то вечером в дом Чепурченковых забрели разведчики. Хорошо, что в это время отсутствовали квартировавшие немцы. Мать накормила, обогрела промокших бойцов. Держались они бодро, уверенно, не в пример немцам, оставили полмешка муки и обещали еще наведаться.

«Приходите, приходите! Я вам хлебов испеку».

«Обязательно заглянем».

И верно, через некоторое время снова заявили, одетые в гражданское. Немцы не обратили на них внимание. «Сидели они за столом, ужинали какие-то пришибленные, у одного сопля из носа свисала», — расска-

зывала Алле мать с усмешкой, когда она пришла из кафе. Разведчики обратились к хозяйке, подмигивая: «Ну что, испекла хлебов?»

«А как же! Кушайте на здоровье!»

Разведчики взяли хлеб и ушли по своим делам.

Вспомнила Алла и пожилую учительницу, одетую в тряпье для отвода глаз, не раз переходившую фронт с нужными сведениями и все-таки схваченную полицаями. Вспомнила и перса Мамед-Оглы, русскую жену которого изнасиловал адъютант местного коменданта. Мамед-Оглы избил его до полусмерти, даже пистолета не дал достать. Перса расстреляли, как партизана. Был ли он на самом деле партизан — неизвестно. Но был человек, не червяк. Сын его Ахмет вскоре куда-то исчез, по слухам, ушел к партизанам... А что же Алла, певица немецкого кафе, невеста полицая? Как она дошла до такой жизни?

Столика через три от эстрады сидел майор в полурасстегнутом кителе, откинувшись на спинку стула и забросив ногу на ногу. Перед ним стояла едва початая бутылка коньяку и рюмка. Майор выпил совсем немного, видно, не за тем сюда пришел. Его свободная поза и надменный взгляд, которым он время от времени окидывал убогое кафе, как бы давали понять его завсегдатаям, что человек он не этого круга и посетитель случайный. По чину он был не старше здешних офицеров, но с какими-то отличиями и наградами на кителе, вызывавшими к нему уважение и даже боязнь окружающих. К столику майора никто не подсаживался.

Осмотрев зал и не найдя ничего интересного, он остановил любопытный взгляд на Алле. Она ожидала своего выхода и сидела возле пианиста, перелистывая ноты, покраснела, разозлилась на себя и, сама не зная почему, захотела показать майору, что вовсе не кафешантанная девица. Когда она запела, он уставился на нее откровенно нагло, кривя губы, вот, мол, еще один обязательный пошленький атрибут кабака, и Алле сильнее захотелось поразить майора, сбить с него спесь. Голос ее зазвучал во всю силу, переливаясь бархатными руладами, беря такие тона, какие под силу только одаренному, с высокой музыкальной школой певцу. Алла широко раскрыла, как давно этого не делала, свои вокальные способности и удовлетворенно заметила, как постепенно исчезла с лица майора надменно-барская улыбка, а брови удивленно приподнялись. Не без тщеславия она думала: пусть не воображает, пусть проникнется уважением к русской певице.

— Bravo! — крикнул майор, когда зазвучали последние аккорды, Алла стояла, судорожно переплетя пальцы рук и глядела в пространство, по-верх голов. Вся публика, как по команде, дружно и настойчиво захлопала, выкрикивая: «Bravo! Бис!». Алле пришлось повторить. И снова майор смотрел откровенно-нагло, но уже как бы оценивая достоинства певицы и не без уважения к ним.

Алле стало страшно. Она почувствовала себя лягушкой под гипнотизирующим взглядом ужа и ушла с эстрады в крохотную свою уборную, уверенная, что майор теперь не оставит ее. Перед кем она старалась? Что

хотела доказать своим пением? Глупо! Игра с огнем — иначе нельзя было назвать то, что сейчас произошло. Но не сама ли судьба подсунула ей майора? В следующий свой выход она увидела за его столиком Костю. Придав своей улыбке подобие дружелюбия, офицер угощал полицая коньяком и что-то говорил, похоже, по-русски. Костя услужливо слушал, и глаза его смотрели невесело. Алла была уверена, что разговор шел о ней.

Заиграла музыка. Майор, оставив Костю, откинулся на спинку стула, принялся слушать, широко улыбаясь, показывая ряд плотных белых зубов, и эта улыбка совершенно изменила его лицо. Перед Аллой сидел красавец-блондин, добряк и весельчак. Он взял свою рюмку, приподнял, показывая девушке, что пьет за ее здоровье.

Алла неверным шагом спустилась с эстрады, устало села на стул, ожидая с минуты на минуту появления в уборной Кости с просьбой майора познакомиться и вместе отужинать наверху в номере. Точно так и вышло. Вид у полица был потерянный. Костя, Костя, напрасно ты делаешь вид, что на тебя можно положиться, что не дашь в обиду: всего-то ты хрупкая игрушка в руках немцев, и никогда тебе не иметь мастерской по вулканизации покрышек, никогда не владеть красавицей Аллой!

— С какой стати я буду с ним ужинать? Кто он такой? — заупрямилась она.

— Майор Фриц Мюллер приехал из Берлина по поручению самого Гитлера, как тут говорят. Это большая шишка, — добавил Костя словно себе в оправдание.

— Ну и пусть он большая шишка, ну и пусть от самого Гитлера, мне-то что! — уперлась Алла, которая и прежде ни в грош не ставила Костю, а теперь захотела над ним покуражиться, нагнать на него страху своей неговорчивостью, так как была уверена, что он и родную мать продаст, не только ее. Полицай побледнел и испуганно оглянулся на дверь, боясь, что кто-нибудь, тот же Фриц Мюллер, услышит их перебранку.

— Могут быть большие неприятности, если вы откажетесь, — проворкотал он, переходя на «вы».

— Для кого? Для вас, дядя Костя? — язвительно спросила Алла.

— И для вас!

— А если я лягу с майором в постель, то никаких неприятностей не будет, да?

— Почему в постель? — встрепенулся Костя, словно до сих пор ему это не приходило в голову.

— Передайте майору, что я не смогу с ним ужинать... Ну что вы стоите как истукан. Идите же к своему фрицу Мюллеру!

Костя не тронулся с места. Алла до сих пор не видела на его лице такого отчаяния: губы, брови прыгали, как в лихорадке.

— Бежим отсюда. Сейчас же! Ну? Не будем медлить. Выберемся через черный ход! — забормотал он дрожащим голосом.

— А что вы скажете майору?

— Я больше не вернусь сюда.

— Вот как! Вы оставите службу у немцев? — Алла уже подтрунивала над Костей: бежать с полицаем все равно, что броситься из огня да в полымя.

— Черт с ней, службой!.. Алла, вы смеетесь, а я говорю серьезно... — Костя осекся: в дверях появился Фриц Мюллер и наигранно-весело расшаркался.

— Тысячу извинений, фрейлейн Алла! — Он произнес это чисто по-русски, с небольшим прибалтийским акцентом. — Вы столько мне доставили удовольствия, которое я никак не ожидал получить в этом кабаке. Я хотел бы продлить вечер и вместе с вами отужинать.

Русская речь говорила о долгой жизни в России, и это давало какую-то надежду на взаимопонимание, на человечность с его стороны. Алла скупно, вежливо улыбнулась:

— Спасибо за приглашение, но у меня нездорова мама, и я должна идти поскорей домой.

— Я вас долго не задержу, фрейлейн Алла!

— Не могу. Почему вы не понимаете этого?

Она вознамерилась доказать нафранченному майору, что с нею надо считаться, что она может постоять за себя. Гордая, строптивая, она вовсе не мирилась с унижениями, которые ежедневно терпела здесь: таила обиду, копила ненависть в надежде рано или поздно непременно отомстить.

— О! О! Вы показываете характер! — воскликнул майор, не ожидая такого упрямства, напротив считая, что делает честь заштатной певице своим приглашением. — Я уважаю людей с характером... И все же, фрейлейн Алла, я много, много раз прошу вас не омрачать приятный вечер!

Любезность лощеного голубоглазого майора была фальшива, доброта однобока: не уступи ему Алла, он уведет ее наверх силой, и куда только денутся аристократические манеры — перед нею окажется обыкновенный похотливый мужлан. Сколько она уже пережила разочарований в людях, которые говорили одно, думали другое, а делали третье!

— Хорошо, — сказала она. — Я доставлю вам удовольствие, поужинаю с вами, но больше, чем на полчаса, не могу задержаться.

— Да, да, будет все по вашей воле, — заулыбался майор. — Прошу руку!

Алла обернулась из любопытства: как отнесся Костя к ее неожиданному согласию, и увидела мрачное лицо. Сама не зная зачем, наверное, чтобы еще больше досадить полицаяу, сказала повелительно:

— Подайте шарф. Вон тот, на туалетном столике.

Костя стоял как вкопанный. Майор сдвинул брови:

— Вас просит фрейлейн. Эй, полицай!

Костя подал шарф, проводил обоих ненавистным взглядом до лестницы, по которой они поднялись на антресоли, и вернулся в зал. За столиками, в табачном дыму и винных парах, подгулявшие офицеры горланили фронтovou песню о верном комrade и фронтовой дружбе.

— Дмитрий Андреевич? Где Вилена? Посылай ее наверх прислужить майору, — сказал Костя, подходя к хозяину, который занят был бутылками в буфете и недовольно что-то ворчал. Присутствие в номере официантки, как полагал Костя, оградит Аллу от притязаний майора.

— Согласилась? — спросил Дмитрий Андреевич, выставляя на стойку бутылку водки.

— Согласилась... На полчаса. Некогда расслаживаться. Мать приболела.

— Где полчаса, там и час... Ступай подай майору ужин! Слышь, Вилена! — Дмитрий Андреевич приоткрыл занавеску на кухню, откуда дохнуло чадом жареного мяса. — Слава богу, слава богу, все обошлось хорошо, а я боялся... Эх, хе, хе, — вздохнул он по-старчески, напуская на лицо смирение, что с некоторых пор вошло у него в привычку: жить потише, понеприметнее, не зарываться: покорись судьбе, и судьба покорится.

Попал Дмитрий Андреевич в Новороссийск по рекомендации деникинца Сергея Прохоровича, который уговорил его стать компаньоном в торгово-ресторанном деле, имея на это разрешение от немцев. «У тебя в городе два дома, есть где разместиться семье, когда пойдут внуки. Неужели не тянет на Черное море, где твоя юность прошумела?» — убеждал Сергей Прохорович, без труда разыскав в Харькове Дмитрия Андреевича, открывшего на Сумской улице небольшое кафе в подвале, и тот вспомнил нэповскую карьеру, свое головокружительное обогащение, подумал, прикинул, согласился, только вот не ожидал, что немцы дальше Новороссийска не продвинулись и придется встать и засыпать под грохот орудий в страхе и за себя, и за семью. Недвижимая собственность, два особняка, хотя и уцелели, находились в зоне обстрела, селиться в каком-нибудь из них было опасно, и Дмитрий Андреевич занял пустовавший трехкомнатный флигель неподалеку от своего увеселительного заведения. Каждый день он вспоминал недобрым словом Сергея Прохоровича: втравил в такое рискованное дело!

— Я уж, грешным делом, ожидал неприятностей. Наделает шума, всем нам не поздоровится... День сумасшедший! — жаловался Дмитрий Андреевич, наливая Косте в стакан водки, уже повторно: видно, не по себе было человеку, страдал, хотя и сам уговаривал Аллу отужинать с майором. Расписался в своей бессилии и заливал горе водкой, поминутно поднимает глаза к потолку, точно сквозь него можно что-либо разглядеть.

— Утром заходят с черного хода два солдата, предлагают коньяк в обмен на шампанское, — рассказывал Дмитрий Андреевич. — Посмотрел: все чин чинном, закупорка заводская, этикетка как следует. Три бутылки. Отнес в бар, и что-то меня толкнуло раскупорить одну, удостовериться, что не обман. Открываю, нюхаю, бог ты мой — моча! Вот подлецы. Хорошо, что проверил, а то бы поставил на стол Фрицу Мюллеру мочу его солдат. Что тут было бы, страшно подумать. Ну и денек...

— Налей еще, Дмитрий Андреевич.

— Хватит с тебя, опьянеешь.

— Налей, налей... полчаса уже прошло!

— Так он и отпустит через полчаса. Будет держать, пока досыта не на-  
тешится.

Дмитрий Андреевич умолчал о другом случае, который произошел всего час назад и вогнал его в холодный пот. Подходит к буфету немецкий офицер, но говорит чисто по-русски глухим голосом, от которого по спине побежали мурашки:

«Фашистам служишь, Родину продаешь?.. Выйди на минуту, есть разговор».

У Дмитрия Андреевича подкосились ноги, но в то же время будто кто-то толкнул в спину: иди, не враг! Лицо знакомое, чуть ли не родственное... На улице — сырая, ветреная, снег пополам с дождем, сивая ночь, освещаемая то вспышками по небу дальних бомбовых взрывов, то лучами морских прожекторов. Из-за угла выдвинулась темная фигура:

«Не узнаешь?»

«Никак Тима?»

«Все-таки узнал!»

«Как не узнать родственника! Сто лет не виделись. Напугал ты меня. Думал, разведчик или партизан; ты-то здесь в каком качестве?»

«Не спрашивай. Не скажу. Дело к тебе есть. Как работаешь? Ладишь с немцами?»

«Тоже не спрашивай! Как на углях сажу... Что знаешь о Лизавете, о сынке Викторе? Я тут пытал у жителей, все чужие. Один мужичок мне сказал, что продали дом, переехали в Ростов».

«Это верно. Ну а большего и я не знаю. Пришел к тебе с одной просьбой. Человека надо пристроить в твою богадельню. Неплохой повар, хоть и молодой».

«Повар мне нужен. А как с документами?»

«Есть персональаусвайс, ихний паспорт».

«Кто же он?»

«Ахмет, сын перса Мамед-Оглы. Помнишь, бузой торговал?»

«Припоминаю. Ты-то все-таки где служишь? Форма на тебе немецкая».

«Потом как-нибудь расскажу... Ну что, договорились насчет Ахмета?»

«Пусть приходит».

«Тогда завтра... утром».

Вернулся за стойку бара Дмитрий Андреевич в смятении, уверенный, что Тима хочет подsunуть ему под видом повара разведчика или партизана. Ну и денек!

— Поднимусь наверх... Долго ужинают! — Костя дрожащей рукой, на нервном пределе, отодвинул стакан и расплескал водку по стойке. Дмитрий Андреевич сердито глянул на полицаю.

— Ты что! Не вздумай. Беды наделаешь и себе и другим.

— Нет сил больше торчать здесь.

— Чудак-человек, не нам с тобой у немцев порядки устанавливать. Они сейчас хозяева. — Дмитрий Андреевич старательно вытер тряпкой винную лужицу.

— Хоозя-ева, — выщедил Костя и зло посмотрел в потолок, но оторваться от стойки так и не хватило смелости.

#### 4

Фриц Мюллер догадывался, что Алла девушка образованная, умная, и был сдержан, будучи в состоянии человека, севшего за обеденный стол сытым, больше расположенным к словословию, нежели к действию, да и был уверен, что добьется своего легко. Он старался выглядеть добрым аристократом, но кроме внешних манер, ничего от аристократа в лучшем смысле этого слова не усвоил, а был просто солдафон, вымуштрованный армией, с однобокими понятиями о чести, долге и порядочности, существовавшими в офицерских кругах. И Алла, быстро распознавая людей, поняла, что собою представляет этот прибалтийский немец в расстегнутом на все пуговицы кителе, словно нарочно, чтобы она видела свежайшую белую сорочку.

Он вольготно развалился в кресле и вертел за тонкую ножку пузатый бокал с черным каберне из подвалов Абрау-Дюрсо, которое называл кислотинной, не зная, что пьет лучшее в мире вино этой марки, распространялся о характере русских, в чем тоже ничего не смыслил.

Аллой настойчиво овладевало желание перечить этому спесивому немцу: играть так играть с огнем! И когда он ни с того ни с сего изрек: «Русские ленивые свиньи», она воскликнула в негодовании:

— Ложь!

— Да? Это вас задевает? — Майор ухмыльнулся.

— Ленивые свиньи, — Алла страшно покраснела от волнения, — не смогли бы создать самое большое в мире государство!

— Колосс на глиняных ногах, как сказал фюрер о России.

— А вы знаете, что сказал о русских другой ваш соотечественник?

— Гёте?

— Нет. Бисмарк.

— О, железный канцлер! Что же он сказал о русских? — Сытое, самоуверенное лицо немца выразило неподдельное любопытство: что может знать провинциальная девчонка о самом уважаемом в Германии человеке из прошлых правителей, на которого любил ссылаться в своих речах сам фюрер?

— Русские медленно запрягают, но быстро ездят.

— Да? Он так сказал? Вы много знаете, фрейлейн Алла! Я не ожидал встретить в грязном кабаке такую образованную девушку. Но в эту войну, увы, русские слишком долго запрягают и ездить им уже некуда! — Фриц Мюллер засмеялся: нечаянный каламбур показался остроумным, и он по-

думал, что неплохо будет повторить его в кругу высших офицеров по возвращении в Берлин.

— Почему вы так защищаете русских, фрейлейн Алла? Сами вы метиска, мать гречанка, отец — украинец.

— Но вы тоже не чистокровный немец! Наверняка в вашей крови немало литовской или латышской.

— Я родился, рос в Прибалтике, это верно, но в немецкой семье. В нашем роду, который идет от бранденбургских рыцарей, не было ни латышей, ни литовцев!

— А я выросла в России и душою русская, хотя моя кровь наполовину греческая, и этим я горжусь.

— Я ненавижу русских, этих ленивых свиней!

— А я чванливых немцев!

— О, фрейлин Алла, вы испытываете мое терпение!

Эта строптивая девчонка возбуждала у фрица Мюллера и ненависть и страсть. Он вскочил с кресла, высокий, импозантный, с насмешливыми голубыми глазами и гневно сжатыми губами. Горячность делала его еще красивее.

— Немцев многие ненавидят, но все им покоряются!

Алла напряглась, подобно выгнувшейся дугою кошке, глядя на Фрица Мюллера откровенно презрительно. Он положил руку на плечо девушки, но она резко отстранилась.

— Не трожь меня! Я сама разденусь.

— О, ты молодец, Алла!

— И ты раздевайся!

— Да, да, я сейчас... Майн гот, Алла, какая у тебя красивая смуглая кожа! — Фриц Мюллер потянулся, чтобы погладить обнаженное плечо девушки, но от сильного толчка в грудь полетел на пол и никак не мог встать, бормоча по-немецки ругательства: сильно ушиб колено.

\* \* \*

В то время, как все это происходило наверху, к стойке бара подошел ординарец интенданта Краге, лощеный и надменный ефрейтор, какие бывают среди тыловых солдат, особенно причастных к продуктивно-вещевому снабжению армии. Он отказался от водки, предложенной Дмитрием Андреевичем, и передал, что его вызывает к себе домой капитан для серьезного разговора. Дмитрий Андреевич пытался выяснить, в чем дело, но ординарец лишь пожал плечами.

Капитан Отто фон Краге был на постое в кирпичном особняке, в ста метрах от кафе, у Шурки Анохиной, снискавшей себе славу ветреной девицы на всю Нахаловку еще до прихода немцев, и когда Дмитрий Андреевич постучал в дверь, ему открыла пышнотелая хозяйка в длинной бархатной, в цветах, накидке с распахнутыми полами, открывавшими кисейное сквозное платье, не то ночную рубашку, что Дмитрий Андреевич не понял. Кроме того, у Шурки на голове возвышалась умопомрачительная



прическа «конский хвост», лицо было напудрено и покрашено не в меру, с выщипанными тонкой дугой бровями. «Ни дать ни взять артистка с погорелого театра! — подумал, дивясь, Дмитрий Андреевич. — Что за народ бабы? Даже в трех шагах от смерти фуфьются!»

— Заходите, заходите, Дмитрий Андреевич, Отто у себя в комнате, ждет вас

Шурка была хорошо расположена к хозяину кафе, зная о его связях с войсковым интендантством. Дмитрий Андреевич через нее кое-чего добивался и кое в чем сам ей помогал. Прежде чем войти к капитану Краге, он спросил о его настроении.

— Лучше не надо. Идите, — ответила Шурка, удаляясь в свою комнату и подбивая рукой локоны на затылке.

«Нарядилась, точно в кабаре, — подумал Дмитрий Андреевич, невольно задерживая взгляд на полных Шуркиных бедрах. — Эх, хе, хе! — вздохнул он по-стариковски. — Раньше были дома, а теперь в каждом доме...»

Капитан Краге в сорочке, без кителя, который висел на спинке стула, по-домашнему развалился на диване и просматривал красочный журнал «Нах остен», шелестя глянцевой бумагой. Дмитрий Андреевич заметил на обложке четырех девиц в купальниках, облокотившихся на перила мостика где-то на пляже, с повернутыми к объективу пошловато-улыбчивыми лицами и выставленными напоказ полными бедрами — две блондинки, две шатенки. Русские журналы в сравнении с немецкими, как отметил про себя Дмитрий Андреевич, выглядели застенчивыми девицами, краснеющими до ушей при одном слове «жених».

— Кхе! Кхе! — подал он о себе знать.

— А, герр Озерко! — воскликнул капитан, находясь в хорошем расположении духа и, перехватив взгляд Дмитрия Андреевича, устремленный на цветную обложку журнала с девицами, хлопнул ладонью по фотографии, подмигнул: — Первый класс!... Зитцен зи битте. У меня есть к вам маленький разговор. Вы, конечно, знайт майор фриц Мюллер? Знайт, да? Это сын Карл Мюллер, большой коммерсант, мой старый... как сказать?.. приятель, да! Вы слыхаль о нем? Кто Карл Мюллер не знайт? О, эта величина для Германия! Так вот, мы, офицер наша дивизия, хотим делайт скромный банкет в честь сын Карл Мюллер. Вы меня понимайт? Да?.. Это надо сделать... как сказать?.. красиво, загляденье! Коньяк у вас есть?

Дмитрия Андреевича озарила страшная догадка: вспомнился разговор с Тимой. Вон, оказывается, для чего хотят всучить ему повара Ахмета! Чтобы отравить Фрица Мюллера, а то и... жутко подумать... поднять на воздух кафе во время банкета, как это было, по слухам, в Одессе во время важного совещания старших офицеров (двести человек отдали богу душу) или, на его памяти, в Харькове перед утром, когда начальник гарнизона генерал безмятежно спал. Загрохотало, как в землетрясение. От большого здания, лучшего особняка в центре, уцелела лишь часть крыльца с лестницей. Генераловых и лампас не нашли. Говорили, что глубоко запрятанная

мина сработала по радиации. Саперов, не обнаруживших ее, гестаповцы в бессильной злобе расстреляли, хотя те и не подозревали о существовании радиоуправляемых мин... Чем черт не шутит, подсунут партизаны адскую машину и в здешнее офицерское кафе, взлетишь на воздух вместе с немцами. Занесло же Дмитрия Андреевича в ад, жив останется, век будет помнить фронтовой Новороссийск. Ведь как было хорошо, когда после долгих мытарств вернулся он в Харьков, в семью и дал себе слово не жить, как хочется, а жить, как может...

— Вы слышите меня, герр Озерко? — недовольно спросил капитан, заметив рассеянный взгляд Дмитрия Андреевича.

— Да, да! — спохватился тот. — Коньяку у меня всего пять бутылок осталось, берегу на всякий пожарный случай. Армянский. Передал из Краснодара компаньон... Сегодня утром заходят ко мне два солдата... — И Дмитрий Андреевич не удержался, рассказал про надувательство с коньяком: так жалко было четырех бутылок шампанского, обменных на мочу. Верно говорится: менял тихо, выменял лихо.

Капитан засмеялся, но тут же строго покачал головой:

— Ах, свиньи этот золдатен! Но ничего, герр Озерко, вы не будете внаклад, я вам выдаю на банкет двадцать бутылок французский коньяк из интендантский склад... Большой выдержка! Прекрасный коньяк! Только надо вкусно готовить, искать хороший повар...

Дмитрий Андреевич чуть было не ляпнул про Ахмета, но вовремя прикусил язык.

— Надо красивая девица, официантка. Ваша Вилена, другой дочка... Как ее называют?

— Люба.

— Люба. Любаша... гут!

— Она еще молодая, не годится, — возразил Дмитрий Андреевич. — Всего пятнадцать лет.

— Пятнадцать? Совсем большой девочка!.. Как называется?.. Невеста! Черкесы говорят: «Если не сбил девочка папаха, уже невеста!» О, я знаю кавказский обычай!.. Мой хозяйка тоже пойдет официантка... Шура, где ты есть? — Капитан вошел в роль организатора банкета, зарозовел и, помолodeцки вскочив с дивана, приоткрыл дверь.

Шурка Анохина, с папироской в зубах, млела, от фиговой-миглей наложенного, с нахальной улыбкой ординарца, который стоял у двери ее комнаты в полурасслабленной позе занятого кавалера. Краге помрачнел, замышкал. Ефрейтор стремительно переменял позу и вытянулся по стойке «смирно».

— Я вас прошу ко мне, фрау Анохина! — сухо сказал капитан, не удостоивая вниманием своего ординарца и уходя в комнату. Шурка порхнула следом, распространяя сильный запах духов.

— Ой, до чего же потешный ваш ординарец, если бы вы знали, Отто... — Она запнулась: — Краге!

— Фон, фон! — сердито поправил капитан. — Сколько вам объяснят? Надо знать германский субординаций!

Шурка невинно потупила глаза и капризно проговорила:

— Ну отчего вы такой надутый? Мне это не нравится...

— А мне не нравится ваш флирт с каждым золдатен!

— Зачем наговариваете на меня, Отто фон Краге? Я вовсе не такая шалава, как вы думаете...

— Хватит, хватит... Мне нужен деловой разговор, а не эта... как сказать?... перебранка!

Верно, и в Харькове было нелегко, Дмитрий Андреевич пробавлялся мелкой торговлей на черном рынке: камешками для зажигалок, разными поделками из плексигласа, авиационного стекла, бывшими тогда в ходу. Дело плевое, но все-таки семья кормилась. Неприятности тоже случались: дочерей едва не забрали в Германию, приходилось и прятать, и доставать ложные документы, в чем помог армянин врач, служивший у немцев, спасибо ему превеликое! Дмитрий Андреевич не пожалел царских десятков. Можно было переждать лихое время, кое-как перебиться, но эко счастье — на мосту с чашкой! Потянулся за длинным рублем, послушался Сергея Прохоровича, и вот сидит, как на пороховой бочке. Тот обосновался далеко в тылу, в Краснодаре, а ему подсунил фронтовой город.

Дмитрий Андреевич вышел на улицу озабоченный, не развеселил его и ревнивец капитан Отто фон Краге, которого, по всем признакам, Шурка Анохина прибрала к рукам.

Возле кафе происходило что-то непонятное: стояли машины, одна санитарная. Суетились солдаты, то и дело вспыхивали и гасли карманные фонарики. Дмитрий Андреевич, слабея в ногах, подумал о полице Косте, которого не без тревоги и беспокойства оставил в кафе: такой у него был возбужденный вид, так бегали по-сумасшедшему глаза! Наверняка что-нибудь натворил. С нехорошим предчувствием Дмитрий Андреевич переступил порог своего заведения. Офицер в черной форме СД посреди зала отдавал солдатам резкие команды и уставился на вошедшего оторопелыми глазами, точно Дмитрий Андреевич держал за спиной револьвер и сейчас выстрелит.

— Кто такой?.. Взять! — крикнул он истошно, и солдаты тотчас уставили в грудь Дмитрия Андреевича дула автоматов. Даже после того, как офицеру сказали, что это хозяин кафе, он не изменил своего решения:

— Взять!

Дмитрий Андреевич опомниться не успел, как, обысканный с ног до головы, с вывернутыми наружу карманами и ноющей от удара прикладом лопаткой, очутился в кузове крытой черной машины. Здесь уже кто-то тихонько всхлипывал в углу, похоже, женщина.

— Это я, папа, — отозвалась Вилена.

— О, господи! Что за напасть на нашу семью! Тебя-то за что? Какая стряслась беда?

— Фрица Мюллера тяжело ранили... Страшно, что наверху творилось!

— Этого еще не хватало!.. Кто ранил? Костя?

— Алла.

— Алла? Откуда у нее взялся револьвер? — Дмитрий Андреевич, как уже не первый раз в этот день, вспомнил Тиму, и зловещая догадка окончательно сразила его; пол кузова поплыл из-под ног, он едва не свалился со скамьи, на которую сел, и большим усилием воли взял себя в руки. Немало ударов судьбы перенес Дмитрий Андреевич, вот и еще один, как бы не последний...

А в номере случилось так, что, полетев на пол от толчка Аллы, Фриц Мюллер не сразу поднялся, ушибив колено и оскальзываясь на паркетном полу с багровым от негодования лицом. Алла поняла, что теперь ей несдобровать, потянулась к брошенной на стол португее, расстегнула кобурку и выхватила пистолет. Фриц Мюллер еще не разогнул спины, как грохнул выстрел. Он ухватился обеими руками за живот, захрипел:

— За что?.. За что?..

Выстрел прозвучал одиноко, звучно, в зале примолкли и задрали головы к потолку.

— Это у майора!

— Что там случилось?

Офицеры бросились по лестнице наверх, застучали кулаками в запертую дверь:

— Господин майор! Господин майор!

Расщепилась доска в двери от нового выстрела. Офицеры шархнулись в стороны.

— Надо окружить дом!

— Взломать дверь!

Кто-то дал очередь из автомата по замку. Дверь распахнулась. Открылась часть комнаты. Но полу стонал и корчился Фриц Мюллер, окровавленными руками обхватив живот. В углу сжалась Алла, страшно бледная, с лихорадочными глазами, готовая и принять смерть, и отчаянно защищаться. «Что я наделала?.. Что я наделала, мама?» — шептала она пересохшими губами, прижимая пистолет дулом к груди. К ней не успели подбежать, как она выстрелила.

## 5

Мутные белесые глаза, ощер рта с противным запахом: «Бист ду партизан?» — точно вилы приставил к горлу. У Дмитрия Андреевича пропала всякая надежда вырваться на волю. Кто сюда попадал, назад не возвращался, это он хорошо знал, и вдруг словно праведный глас божий: «Иди закрывай свой кафе!» То ли ходатайство капитана Отто фон Краге, то ли несомненный факт непричастности хозяина кафе к покушению на Фрица Мюллера, — трудно было понять, что тут помогло.

— А Вилена, дочь моя?

— Домой, домой...

Дмитрий Андреевич понял так, что Вилена уже дома, вышел из гестапо, точно получивший помилование смертник. Ноги не несли. Присел на скамейке, насилу отдышался на свежем воздухе, собрался с духом, встал. Первая мысль была о семье: как там Стася, дети, живы-здоровы? Небось переволновались за отца, не знают, что и думать. Безотчетный страх охватил Дмитрия Андреевича. Что-то подсказывало ему: дома не все благополучно и там побывали гестаповцы. Но был счастлив, что и Вилена и он на свободе, вырвались из такого капкана. Если семья вместе, то и душа на месте, как говорится. Он пошел по пустым темным улицам, подгоняемый тревожными мыслями и напористым ветром с моря, который на перекрестке чуть не сбил его с ног. Погодка разыгралась новороссийская, штормовая.

За квартал от кафе наперерез выдвинулись три темные фигуры. Дмитрий Андреевич обомлел: в камере не захотели марать рук, так здесь расправятся. Но, возможно, это обычный ночной воинский наряд, патрули, и жди оклика: «Хальт!.. Аусвайс?» Если патрули, проверят документ и отпустят, аусвайс в порядке. Почему же они молчат? У Дмитрия Андреевича пробежал холодок по спине, сдавалось, что один из троих вот-вот в него пальнет.

— Дмитрий? Ты?

Голос Тимы. Век бы с ним не встречаться! Солдаты, при автоматах, в сапогах с короткими голенищами-раструбами, в длиннополых шинелях, отстали шагов на десять. Тима пошел рядом с Дмитрием Андреевичем, оглядываясь. Дмитрий Андреевич тоже невольно оглянулся и прибавил шаг.

— Что за люди с тобой?

— Солдаты.

— Вижу, что солдаты. Наши?

Тима улыбнулся:

— Немцы. Разве не похожи?

Не ожидал Дмитрий Андреевич, что немцев так легко можно водить за нос: Тима в офицерской форме с двумя переодетыми партизанами или разведчиками открыто ходят по городу!

— Вот что, дорогой родственник, гляжу я, греха с тобой наберешься! А у меня семья, четверо детей. Давай так: я тебя не знаю, а ты меня! Больше не встречаемся.

— Крепко напугали тебя в гестапо... погоди! Куда летишь?

— Некогда годить. И не вздумай завтра прислать Ахмета!

— Договорились ведь...

— Сами справимся. Прощай, Тима! Мы с тобой турусы на колесах разводим посреди улицы, а сторонкой, может, гестаповец идет и слушает.

— Никто нас не слушает. Не бойся.

— Все равно встречаться нам больше не следует! — отрезал Дмитрий Андреевич, дивясь своей смелости и непреклонности. А что, если Тима обозлится? Долго ли пальнуть из пистолета или попросту стукнуть при-

кладом по голове: вон какие верзилы следуют по пятам, точно почетное охранение! Но Тима почему-то был терпелив, видно, хозяин кафе интересовал его живой, а не мертвый.

— Ты разве не знаешь, что у нас случилось? — спросил Дмитрий Андреевич.

— Знаю.

— Чего же ты добиваешься?

— Ох, как дрожишь ты за свою шкуру, Дмитрий!

— Тебя бы туда, откуда я вышел, что бы ты запел...

— Верно, на всю жизнь осталась в тебе торгашеская натура! А ведь артиллерист, гражданскую закончил в красной дивизии!

— Семья у меня, понимаешь, семья! Схватят, расстреляют, ты, что ли, будешь кормить?

— Вот, вот, с этого бы и начинал... Ладно, сиди в своем кафе, жди, как вол, обуха.

— Что? — не расслышал за ветром Дмитрий Андреевич.

— А то я тебе скажу — не такое сейчас время, чтобы о семейном благополучии думать. Слепой, что ли, не видишь, как русские люди, не жалея жизни, бьются с немчурой?

— Тише ты! — Дмитрий Андреевич был уверен, что за ним тайком наблюдают гестаповцы и с минуты на минуту выскочат наперерез, схватят, и снова: «Бист ду партизан?», и снова белесые навывкате глазища, точно рогатка приставленная к горлу... Может, и Тима выдает себя не за того, кто есть на самом деле. Дмитрий Андреевич уже никому не верил.

— Думаешь пересидеть войну в тылу, выжить? А того не понимаешь, что для немцев ты нуль, пешка. Сегодня тебе повезло, сегодня ты им еще нужен, а завтра прибьют, как паршивую собаку!

— Ты мне, что ли, хорошую жизнь обеспечишь?

— Э-э-эх! Человечек! — с досадой сказал Тима. — Ладно, прощай!

— Подожди! Что вы задумали? Хотите взорвать кафе с офицерами, как в Одессе, да? А я куда с семьей? На что я буду жить?

— Шкура ты! — раздалось из темноты. Тима уже свернул за угол.

«А ты кто? Байстрюк!» — с неприязнью подумал Дмитрий Андреевич, вспомнив почему-то отцовское словцо. И снова, как уже не раз в этот день, душа его тоскливо заныла, мысли раздвоились: не круто ли он взял, не свалится ли его телега под откос?

Дверь в кафе была открыта; из шести керосиновых ламп лишь одна тускло освещала пустой зал; у дальнего столика спал вдрызг пьяный офицер, положив голову на руки. Перед ним стояла недопитая бутылка вина, несколько порожних валялись под столом. Дмитрий Андреевич кинулся к буфету. Так и есть: армянский коньяк исчез, опустели полки с лучшими винами, осталась одна дрянь: белое столовое. Дмитрий Андреевич открыл кассу — чисто, даже мелочь выбрали. И такая злость поднялась на пьяницу, набравшегося задарма, что он подскочил к нему, встряхнул за плечи:

— Эй, очнись, забулдыга несчастный!

Немец лишь бессмысленно промычал, выпятил слюнявые губы и откинулся на спинку стула. Руки обвисли плетями. Голова свалилась набок, один глаз с уплывшим под лоб зрачком приоткрылся незряче. Пьяный сделал движение вперед, пытаясь встать, но лишь снова повалился на стол. Это был лейтенант ветеринарной службы. Каждое утро он спозаранку забегал в кафе с синим носом, бросал на стойку полмарки и хрипло, простуженно требовал:

— Русская водка!

Стакан прыгал в его руках. Он жадно выпивал, на глазах хмелел и наливался кровью. Лицо расплывалось в улыбке:

— Карош русский водка! — Ветеринар щелкал пальцами, выбрасывая руку вверх, и напряженной походкой пьяницы, который старался выглядеть трезвым, покидал кафе в веселом настроении. И точно так же в обед, в ужин, ничем не закусывая. Ветеринар был насквозь проспиртован. Как его только терпели лошади!.. Дмитрий Андреевич обшарил его карманы и не нашел ломаного медака. Этого забулдыгу интересовало одно вино. Что с ним делать? Сообщить в комендатуру или вывести из кафе и бросить в канаву, как собаку?

Не успел он что-либо предпринять, как вошли два солдата, подхватили лейтенанта под руки, поволокли к выходу. Дмитрий Андреевич с удивлением расслышал чисто русское ругательство: «Набрался в стельку, скотина!» Он залупал глазами, туго соображая, что происходит, потом мысленно махнул рукой: черт с ним, ветеринаром, баба с возу, кобыле легче, пусть хоть к дьяволу уводят!

Он надеялся застать Вилену за уборкой помещения, но она, наверное, была уже дома: рада до смерти, что на свободе, до уборки ли ей? Поднялся на второй этаж и схватился за голову, увидев погром и разорение — одним днем не обойтись, чтобы навести порядок! Ничего не стал делать, погасил свет, закрыл дверь на замок и поспешил домой, охваченный беспокойством. Казалось, если он тотчас не будет возле семьи, произойдет что-то страшное. Он побежал к своему двору, заливаясь слезами от переполнявшей его любви к жене, к детям. Только подумает, что кого-нибудь лишиться, как безысходная тоска захлестнет душу и комок подступит к горлу. Вот и двор. Калитка настезь. Дмитрий Андреевич остановился, услышав, как хрустнул камень-трескун под чьими-то ногами в саду... Или это порыв ветра сыпанул по крыше дождем? Дмитрий Андреевич прислушался, присмотрелся, не рискуя войти во двор. Но кругом было пусто. Бились дружка о дружку ветки яблонь, раскачиваемые ветром. На море штормило, срывался дождь, и тепло чистых комнат, тесный семейный круг были особенно желанными. Дмитрий Андреевич сделал три условленных удара кулаком в дверь — два подряд, последний после небольшой паузы.

— Кто там? — послышался изнутри голос жены.

— Это я. Открой!

Загремел засов. Без кровинки в лице, с ребенком на руках, стояла Анастасия Кузьминична. Старший сынок Игорек цепко держался за материнский подол и жалко, потерянно смотрел на отца. У Дмитрия Андреевича сжалось сердце.

— Ж-..ж...жи-вы! Стася... де-ти! — Пересохшие губы не слушались. Он с трудом разжал их, проглотил вязкую слюну. — О господи, как же я переволновался!

Дмитрий Андреевич шагнул в комнату, поворошил мягкие шелковистые волосы на голове Игоря, взял у жены младшего сына, недоуменно глядевшего на него заспанными глазами, поласкал, потешил. Анастасия Кузьминична повисла у мужа на шее:

— Родной мой, вернулся... А я уже не знала, что и думать!

— Тише, тише, Стася, — застонал Дмитрий Андреевич, хияясь на левый бок под тяжестью обвисшей на нем жены. — Резанул меня немец прикладом по лопатке, рука отнимается!

Анастасия Кузьминична захлопотала, заставила раздеться мужа до пояса и ахнула при виде взбухшего синяка с ладонь, сделала уксусную примочку, уложила на диване, и лишь теперь Дмитрий Андреевич заметил беспорядок в комнате, сдвинутую с мест мебель, разбросанные вещи и выломанную возле печки половицу. Анастасия Кузьминична, перехватив его беспокойный взгляд, присела на край дивана, закрыла лицо руками и заревела в голос:

— Страхи, страхи какие! Приходили гестаповцы с обыском!

— Вилена дома? — Дмитрий Андреевич поглядел на дверь девичьей комнаты, полагая, что дочери спят, и в то же время озадаченный этим: до сна ли сейчас?

— Как увезли с тобой, как будто в воду канула!

— А в гестапо мне сказали, что освободили. За что же ее до сих пор держат?.. Из меня чуть душу не вытряхнули, хотя сами же понимают: во всем виноват Фриц Мюллер. Пулю получил из своего же пистолета!.. Сейчас пойду к капитану Краге, он должен помочь. Надо вызволить Вилену. Боюсь, как бы с ней чего не сделали!

Дмитрий Андреевич стал быстро одеваться, сбросив уксусную примочку, и Анастасия Кузьминична не перечила ему, скорбно молчала.

— А Люба? Люба где? — с надрывом вырвалось у Дмитрия Андреевича, заподозрившего, что о самом страшном жена умолчала, и то, что она замешкалась с ответом, усилило его тревогу. Пятнадцатилетняя Люба всегда так мило тетешила младшего братика, подбрасывая его на руках с приговорками: «Полетунчики! Ух, какие мы полетунчики!» Или, укладывая спать: «Полягушеньки! Потягушеньки!» При этом поглаживая обеими руками малыша от макушки до пяток, складывая его пухлые ножки, пожимала, целовала, сама еще сохраняя много детского — ямочки-умилки, простодушие на лице. Дмитрий Андреевич больше всего опасался за Любу: долго ли солдатне испортить девчонку?



— Дома. На чердаке прячется, — успокоила Анастасия Кузьминична.  
— Позвать?

— Не надо. Пусть переждет там эту заваруху. На чердаке не холодно ей?

— Перину, тулуп перенесли туда, замаскировали разным хламом.

— Ненадежно, ох, ненадежно это место!

Сколько раз прятались домочадцы от немцев! Сам Дмитрий Андреевич первые недели жизни в Харькове укрывался в щели, вырытой во дворе зигзагом от бомбежки, сверху прикрытой хворостом, землей и дерном. Сунулись бы в нее немцы, пристрелили без допроса, как партизана. Эта мысль потом, когда он получил персональаусвайс и перешел в дом, бросала Дмитрия Андреевича в холодный пот. Что чердак? Если по-настоящему начнут искать, доберутся и до хлама, раскидывать не станут, а прошьют крест-накрест из автомата. Пусть лучше Люба слазит с чердака, только из дому не выходит ни на шаг... Как освободить Вилену — вот что больше всего беспокоило Дмитрия Андреевича. Он вспомнил, как в Харькове пытались увезти в Германию Анастасию Кузьминичну, отобрав у нее аусвайс, и Дмитрий Андреевич ходил в полицию. Откупился. По всему видно, и Вилену без золота не вызволить.

— А тайник? Не тронули? — шепотом спросил он. О тайнике с золотом знали в семье одни супруги.

— Они все по комнатам шарили, во дворе вроде не искали, — тоже шепотом ответила Анастасия Кузьминична.

Дмитрий Андреевич хотел было выйти во двор, проверить, на месте ли кошель, спрятанный в отдушину глухой стены дома, со стороны сада, но передумал: а вдруг за ним скрытно наблюдают гестаповцы? И тут в дверь так сильно застучали, что Дмитрий Андреевич, уже одетый, собравшийся идти к капитану Краге, вздрогнул и в тревоге переглянулся с женой.

— Пойду спрошу, — сказала, поднимаясь с дивана, Анастасия Кузьминична.

— Сиди. Я сам. — Дмитрий Андреевич взялся за засов, но помешкал.  
— Кто там?

— Полиция! Чего ждешь? Открывай!

Голос был знакомый, Дмитрий Андреевич отодвинул засов и пропустил в комнату молодого полиция Петра в мокром плаще с капюшоном и автоматом в руке. Он полез в карман, вынул записку. Дмитрий Андреевич признал торопливый почерк Вилены: «Папочка! Приходи, спаси меня!» Бумажка подмокла, и написанные химическим карандашом слова кое-где расплзлись. Дмитрий Андреевич почувствовал облегчение: главное, жива. Чего только он уже не передумал, какой только не рисовал Вилену в своем воображении!

— Где она? — поднял он на полиция страдальческие глаза.

— У нас. Завтра партию девчат по этапу будут отправлять в Германию. Тебе, хозяин, надо поговорить с сержантом, может, отпустит.

— С Костей?

— Да.

Дмитрий Андреевич сообразил, что молодой полицейский передает желание самого Кости, и живо спросил:

— Сейчас?

— Айда! Я отведу к нему.

\* \* \*

Предвоенные ночные споры с Виктором и Женей были всего лишь звеном в эволюции циника, которую прошел Костя, взрослея и убеждаясь, что при советской власти ничего ему «не светит», как он сам говорил в минуты откровения. Юношей он вбил себе в голову, что с красивым лицом и элегантной внешностью имеет право в жизни на большее, чем кто-либо из его сверстников, что добьется своего легко, даже не вступая в ряды стахановцев. Но с каждым годом убеждался: эта самая проклятая жизнь не делает никаких исключений для красивых и некрасивых, заставляя в поте лица добывать хлеб насущный. Он погнался было за длинным рублем на Север, но серьезно заболел там и вернулся в Новороссийск, жалуясь знакомым, что «ездить туда — только гробить здоровье».

В то же время ничем не приметные одноклассники преуспевали, и жизнь им улыбалась, некоторые стали уже знаменитые, как, например, летчик Коккинаки, которого Костя хорошо знал — учились в одном классе.

Бесплодная погоня за синей птицей оставила в душе глубокую неудовлетворенность. Любые преобразования в стране стали Косте не по нутру, он не верил, не хотел верить, что это здорово, это к лучшему, и скептически кривил губы, слушая известия о стахановском движении, перевыполнении планов, высоких урожаях: «Послушаешь радио, так выходит: всего у нас с избытком, а отчего тогда очереди, ни к чему не подступиться?»

Идолом поклонения для него стал Запад, и от немцев он ждал многого, с готовностью пошел сотрудничать в полицию, хотя Алле говорил, что его заставили силой. Костя был уверен: наступил, наконец, его звездный час. Он с рвением взялся за свои новые обязанности и быстро продвинулся до заместителя начальника полиции. Индивидуалист, скептик, человек с претензиями и слабой волей, он окунулся в такую грязь, узнал такую подноготную полицейских задворков, что поплыл по волнам, потерял всякую ориентировку в жизни: куда вынесет! Немного у него было святого в душе, но и то развеялось в прах. А в день смерти Аллы не раз прежде приходившая мысль о временности немецкой власти окончательно утвердилась в нем, и все показалось трын-травой.

Почти равнодушно, словно этим и должно было кончиться, отнесся он к самоубийству Аллы. Бледная, с покойно закрытыми глазами, она не тронула его сердца. Была ли это для него большая утрата? Душа молчала. Он перевел взгляд на Фрица Мюллера, который корчился на полу, и пошарившись, сказал: «Так тебе и надо, скотина!»

Вилену из гестапо перевели в полицию, так как пришел приказ об отправке молодежи на работы в Германию. Костя увидел ее и поместил отдельно от других заключенных, в небольшой комнатухе, в списки не занес, а послал верного ему молодого полица за Дмитрием Андреевичем, смекнув, что на дочери хозяина кафе можно погреть руки. А деньги нужны ему были позарез.

Вечером полицаи подгуляли, притащив из кафе вина и закусок, уверенные, что из гестапо хозяину не вырваться. Подвыпив, они стали поговаривать о девчатах, вспомнили красавицу Вилену, на которую давно многие заглядывались, но, как говорится, душа просит, да зуб неймет: служившего у немцев Дмитрия Андреевича опасно было обижать. Теперь же обстановка изменилась. Почему бы не воспользоваться этим? Около тридцати девушек сидело через двор во флигеле, превращенном в тюремную камеру, там находилась и Вилена. Золотой вексель...

Костя резался в карты, слышал пьяные разговоры полицаев и был не против девушек, но Вилену трогать не велел. Он сильно проигрался. Хоть стягивай с ног и ставь на кон хромовые сапоги, поэтому Вилена была кстати. Давно Костя подозревал о богатом кошельке Дмитрия Андреевича, зная о его торговом размахе во время нэпа. У такого человека обязательно должно быть золото...

\* \* \*

На дворе шумел проливной дождь, все смолкло и притихло под потоками воды. Оскальзываясь на раскисшей глине, перепрыгивая мутные ручьи, побежавшие с гор, Дмитрий Андреевич и молодой полицай Петр, пройдя квартала четыре, вошли в одноэтажный каменный дом старинной постройки. В таких домах, комнат на пять-семь, жили состоятельные горожане, таких два дома в городе принадлежали Дмитрию Андреевичу, поэтому ему было неприятно увидеть в прихожей раскардаш, обшарпанные панели, натасканную с улицы грязь. Затрапезный вид наверняка приобрели и его дома, занятые солдатней. До сих пор он их не смотрел: боялся попасть под снаряды. Отряхиваясь и снимая плащ, Дмитрий Андреевич прислушивался к шуму в комнатах, какой бывает при попойках, и уже предугадывал разговор с Костей. Полицай толкнул дверь:

— Привел!

— Ага, прибыл мешок с деньгами! — раздался чей-то пьяный насмешливый голос.

— Го-го-го! — отозвался другой. — Надо его раскурочить!

Дмитрий Андреевич переступил порог задымленной комнаты. От спертого воздуха в горле засадило и на глазах выступили слезы. Покашливая, он осмотрелся. Продолговатый большой стол посреди комнаты был сплошь заставлен бутылками, завален закусками и объедками. Дмитрий Андреевич заметил армянский коньяк из своего буфета, да и другие вина несомненно были оттуда же. «Попользовались моим добром. Такие

не то что вино, лошадь из-под тебя украдут и не заметишь!» — загоревал он, не в силах примириться с нанесенными убытками.

Гуляло человек семь полицаев, уже осоловелых. Один поднял на Дмитрия Андреевича мутные глаза, собираясь что-то сказать, но лишь громко икнул, с усмешкой покачал головой и уставился в бутылки: чего бы еще выпить? Как давно заметил Дмитрий Андреевич, эта война для тыловиков проходила в сплошных пьянках и насилении женщин, больше солдат как будто ничего не интересовало. Немцы занимались тем же, что и русские полицаи.

Из соседней комнаты вышел Костя, заулыбался притворно-вежливо, потряс гостю руку.

— С благополучным освобождением! Чего-нибудь крепенького?

Дмитрия Андреевича так и подмывало высказать обиду за разорение кафе, но понимал, что не время. Сейчас нужно вести себя тихо, смиренно, если он хотел вызволить Вилену.

— Ничего не лезет в горло, все назад воротит, — сказал он. — Ты мне скажи, где Вилена? Что с ней?

— Не торопи, Дмитрий Андреевич. Выпей стаканчик! Приняла б душа, а брюхо не прогневется... Выпей, выпей, а то разговор не получится!

Костя взял бутылку армянского, налил полстакана. «Вот нахалюга! — подумал Дмитрий Андреевич с обидой. — У меня украл, и меня же угощает!» Но он все-таки выпил, и коньяк пошел легко, угомонил колотун, который бил Дмитрия Андреевича всю дорогу. Переведя дух, он спросил:

— Вилену из гестапо освободили. Как она в полицию попала?

— Попала, Дмитрий Андреевич! Позвонили из гестапо, приказали забрать... Зайдем-ка сюда, поговорим!

Костя повел было гостя в комнату, из которой вышел и откуда слышались выкрики: «Перебор! Сколько на кону?..», но передумал и уединился с ним в боковушке, с незашторенными окнами. Он не стал зажигать свет, а посадил Дмитрия Андреевича в глубокое старинное кожаное кресло и сам сел в такое же напротив. Постепенно глаза притерпелись к темноте, время от времени разряжаемой вспышками ракет и лучами прожекторов, так что Дмитрий Андреевич хорошо видел лицо Кости и его протитуированную улыбку.

— Ты не пугайся. Я твою дочь в списки не включил, и находится она отдельно ото всех в безопасности. Как-никак, Дмитрий Андреевич, а мы с тобой одним миром мазаны...

— Белый свет не околица, а пустая речь не пословица. Сколько? — резанул Дмитрий Андреевич, не собираясь церемониться и понимая, что Косте от него надо.

Полицай пытался сделать обескураженную улыбку, но получилась бесстыжая.

— Ну ты и догадливый, Дмитрий Андреевич! Я бы от тебя и рубля советского не взял, верь мне, уважаю таких людей, как ты, но, понимаешь,

проигрался в пух и прах. Хоть снимай и ставь на кон сапоги. Так что выручай!

— Тридцать тысяч хватит?

— Советских?.. Мне их и задарма не надо. Немецкие марки тоже невелико богатство. У тебя ведь золотишко есть? — Костя понимающе мигнул своими красивыми черными глазами. — Есть, есть! Знаю. Давай договоримся так: тысячу рублей золотом. Я тоже рискую, оставляя твою дочь дома. Учти!

На черном рынке ходили как немецкие марки, так и советские рубли, и это, пожалуй, красноречивее всего говорило о том, что надежда на возвращение советской власти не пропала в народе. Самой ценной валютой была, конечно, золотая. За царскую десятку давали полторы тысячи советских. Выходило, что Костя требовал сто пятьдесят тысяч рублей выкупа. Ну и нахалюга! «Золотишко есть, господин полицей, да не про вашу честь!» — сказал про себя Дмитрий Андреевич, негодуя.

— Ты что, Костя! Где я тебе возьму столько золота?

— Жалеешь презренный металл? За родную дочь?

— С ума ты спятил! Ей-богу, спятил! Тысячу царских рублей! Мое кафе с потрохами не стоит таких денег! Совесть у тебя есть? Ты ведь знаешь о моих связях с немцами, я могу и без выкупа выручить Вилену. Немецкое командование, я думаю, не собирается закрывать кафе, а Вилена работала и поваром, и официанткой, без нее просто-таки не обойтись! — припугнул Дмитрий Андреевич.

Костя улыбнулся своей противной протитуированной улыбкой.

— Я-то надеялся с тобой поладить. Но, видно, не договоримся. — Он оперся руками о подлокотник кресла, собираясь встать, и помедлил, заметив, как заволновался Дмитрий Андреевич.

— Тысячу рублей золотом! Всякую совесть надо потерять! Мало того, что кафе вычистили до бутылки вина. Убытков столько! Где я денег наберусь на все прорехи?

— А сколько по совести?

— Не знаю, — обидчиво ответил Дмитрий Андреевич. — Сотни три, может, наскребу.

«Стукнуть бы тебя по голове молотом, гляди, отозвалось бы золотом!» — подумал Костя и сказал:

— Не по-твоему, не по-моему, носи пятьсот рублей! Вилену тут же выпущу... Иди, иди за деньгами, Дмитрий Андреевич. Не скупись. Или они при тебе?

— Нету при мне ни рубля, — хмуро буркнул Дмитрий Андреевич, поднимаясь с кресла.

— Ну так тряхни свой чулок!

Дождь с ветром то прямо, то вкось сек лицо, барабанил по спине, как по крыше. Прежде чем повернуть за угол, на свою улицу, Дмитрий Андреевич остановился, вглядываясь в темноту: не следит ли кто из полицейав за ним? Постоял и за углом. Нет, вроде никого не видно. Ах, подлец Кос-

тя! Сколько задарма выпил вина, слопал отбивных, сколько Дмитрий Андреевич безвозвратно ссудил ему денег, но волк он волком и останется, как ни корми, все в лес глядит. А ведь распинался в дружбе, обещал поддержку. Где же его правда? Дмитрий Андреевич мысленно огляделся вокруг себя: ни одного порядочного человека, на которого можно было бы положиться. Он пробрался в сад с гулко бьющимся сердцем: а если золота там давно и в помине нет? Когда он в последний раз проверял? Что-то и не припомнит. Старался пореже, чтобы не привлечь внимания, да и времени не доставало в суете. Присел на корточки, запустил руку в отдушину, вынул прикрывавший нишу кирпич и ткнулся в тяжелый, как гиря, кошель. От сердца отлегло: фу, на месте, а он-то переволновался как! И только привстал, засовывая кошель в карман, как тупой удар в голову, будто обухом, свалил его на землю.

Сгорбленная фигура черной тенью метнулась в глубь сада, затрещала ветками, перевалилась через забор, протопала по улице и — снова пустота, ни звука, даже на передовой прекратилась пальба, лишь дождь шумел и шумел в ветках деревьев. Бочка под водосточной трубой давно переполнилась, и от нее на улицу бежал ручей, урча и побулькивая.

— Ох... О-о-ох! — простонал Дмитрий Андреевич, очнувшись как после сильного опьянения, точно с надвое расколотым черепом. Нашупал на макушке шишку с куриное яйцо. Во время падения шапка свалилась, волосы намокли, и Дмитрию Андреевичу почудилось, что он залит кровью, но как ни всматривался в свои растопыренные пальцы, которыми поминутно ощупывал голову, крови не обнаружил. А кошель? Где же кошель? Он полез в карман — нету, обшарил вокруг мокрую землю — кошеля нигде не было, и так тоскливо, безысходно сделалось на душе, что небо показалось с овчинку. Кряхтя и охая, он поднялся на ноги. Качало, как на палубе. Добрел до двери, постучал. Открыла Анастасия Кузьминична, всплеснула руками, заголосила, увидев мокрого до нитки, расхристанного мужа.

— Что же это такое? Погибель наша, а? — причитал, постанывал Дмитрий Андреевич, когда жена врачевала его йодом и ватой, обнаружив на голове ссадину. — Ох, оплошно, как оплошно я поступил! Зачем пошел к проклятым полицаям, надо было сразу же к капитану Краге. Ах, дурак старый! Ну нет, я это дело так не оставлю!

Он тут же вскочил с дивана, хватаясь за последнюю надежду, как утопающий за соломинку. Как ни безнадежно выглядело положение семьи в этот поздний час, в этом полупустом фронтовом городе, Дмитрий Андреевич все еще хорохорился, хотя и понимал в глубине души: ничего он не значил для немца, чужого человека, с которым его связывали лишь деловые отношения, большей частью выражавшиеся в просьбах. И предложить ему Дмитрий Андреевич, в один вечер разоренный, избитый, униженный, ничего не мог. И все-таки он пошел к интенданту, зная, что тот еще не спит. Немцы бодрствовали чаще ночью, чем днем: все перемещения на передовой делали ночью, ночью русские ходили в ошалелые атаки,

нервы были напряжены, сон не шел, только с рассветом наступало успокоение. Днем и отсыпались.

На лице капитана фон Краге выразился испуг при виде Дмитрия Андреевича с отеком лица и воспаленными глазами: мелькнула мысль, что содержатель кафе бежал из-под стражи (об освобождении Дмитрия Андреевича он не знал), а тот сразу смекнул, что интендант тут ни при чем.

— Герр Озерко! Зитцен зи битте. Вас выпускайт из гестапо за неимением... как сказать?... улик! Да?

— Какой я преступник? — развел руками Дмитрий Андреевич. — У меня семья, дети...

— Я, я... — закивал капитан Краге. — Ах, эта сволочь певиц! Был бы он живой, я свой рука задушил его! Сколько огорчений для мой друг Карл Мюллер!.. Ай, ай, какой неприятность, какой неприятность! — Волнуясь, Краге особенно твердо произносил окончания русских слов. — Все офицер очень злой на русских! Каждый десятый в округе будет расстреляйт. Такой приказ комендант.

Дмитрий Андреевич обмер: не попала ли Вилена в это число? Догадки одна страшнее другой полезли в голову: Костя наврал про Германию, никогда бы он не отпустил Вилену, это не в его власти, ему нужно было лишь любыми способами выманить золото.

Капитан Краге заметил волнение на лице Дмитрия Андреевича и успокоил:

— Но ваша семья вне опасность, герр Озерко! — Капитан положил руку на плечо Дмитрия Андреевича, как бы предполагая и его ответственность, пусть косвенную, за покушение на Фрица Мюллера, но довольный тем, что беда прошла стороной.

У Дмитрия Андреевича вырвались глухие рыдания:

— Дочь... Вилену... забрали! Помогите, капитан фон Краге! Посодействуйте освобождению, поговорите с начальником гестапо!

При слове «гестапо» лицо капитана сделалось мрачным.

— Это серьезный осложнений, герр Озерко, — сказал он и прошелся по комнате. — Ваш дочь, я думай, не расстреляйт, ваш дочь отправляйт арбайтен! Хороший... как сказать?... трудолюбивый девушка сейчас очень нужен Германия на фабрике, поле, ферма! Спокойно... не надо плакать... Вы должен понимает обстановка, герр Озерко!

— Дочь забрали, меня ограбили, все сбережения... царское золото. Две тысячи рублей! — жаловался Дмитрий Андреевич рыдающим голосом.

Капитан досадливо поморщился.

— Я интендант, герр Озерко. Гестапо... как сказать... не мой компетенции! Я вам помогайт не можем... Золото нужен Германия. Война забирайт много золота! Вы должен делать такой жертва для Германия.

Дмитрий Андреевич снял шапку и показал ушибленное место.

— Какой-то бандит подкрался сзади и стукнул...

— Бандит? Это надо сообщать полиция... как называют?... сержант Костя!

Дмитрий Андреевич вышел от капитана фон Краге в безутешном горе, не видя никакого просвета впереди. Он вспомнил слова Тимы, что никому здесь не нужен, пешка. Так оно и есть. Немцы себялюбивы, бездушны, терпят возле себя Дмитрия Андреевича лишь потому, что нуждаются в кой-каких его услугах. А закончится война, победит Германия? Немцы сами работающие люди и могут вполне обойтись без русских, поэтому постараются побыстрее от них избавиться, то есть попросту уничтожить.

Но и другой вывод сделал для себя Дмитрий Андреевич, побывав у капитана фон Краге: труслив... Отчаянного, бесшабашного русского немцу не пересилить, рано или поздно побежит назад в свой Дойчланд, будь он сейчас хоть вдесятеро сильнее, и Дмитрий Андреевич еще острее почувствовал, как зыбка под ним земля, как все ненадежно при немцах. Турецкой границы им не видать как своих ушей. Застрали в Новороссийске и сидят здесь уже несколько месяцев, сами не зная, чего ждут, видно, не хватает пороху наступать. А не сегодня-завтра поднимется во весь богатырский рост Иван и пойдет валить супостата налево и направо. Но он-то, Дмитрий Андреевич, бессилен, даже дочь не может вызволить из неволи. Было золото, откупался, а теперь он разоренный, презираемый человек. Судьба придет, ноги сведет, а руки свяжет... Дмитрий Андреевич словно бы очутился в глухой горной щели, где, кроме зверя, никого не встретишь, рви глотку, кричи о помощи — ни одна душа не откликнется, хотя кругом были люди, в каждом уцелевшем доме стояли солдаты. И наплыло тоскою уже знакомое ощущение безвременья: чем жил, чему радовался, на что надеялся, потеряло смысл. Человек превратился не то в скотину, не то в зверя. Куда идти? Кому жаловаться? А что, если прямо в гестапо? Дмитрию Андреевичу показалось, что это вполне возможно, что там только и может быть решена участь его дочери, и он опрометью побежал по улице вниз, к хорошо знакомому дому. Но с каждым шагом, лишь вспомнит выпученные глаза и хватающий за горло вопрос: «Бист ду партизан?», пыл остывал и ноги тяжелели. Не дойдя до гестапо квартал, Дмитрий Андреевич остановился в раздумье и повернул назад... Идти к полицаям он тоже побоялся: чего ради, прикончат исподтишка, заметая следы. Уже под утро вернулся домой и, как подкошенный, не раздеваясь, рухнул на диван. Анастасия Кузьминична кое-как раздела его.

\* \* \*

День был солнечный, город блестел, обмытый летним дождем, с влажными тротуарами. Народ повсюду сновал нарядный, курортный, а витрины пестрели от разных товаров.

У Дмитрия Андреевича легко на душе, идет по городу, глазеет по сторонам. Он только что покончил с трудным делом и пришел в хорошее расположение духа, даже почувствовал себя счастливым, словно вернулся в беззаботную молодость, словно остановил время. «Вот такая она прекрасная, жизнь, и ты всей душой наслаждайся ею, лови счастливые мгновения!» — подумалось на радостях, но тут же что-то перевернулось в соз-



нании, подобное уже не раз бывало и уходило бесследно, являлись новые заботы, новые тревожения, новые неприятности. Он вдруг увидел свой лучший дом, покинутый после отмены нэпа и занятый городскими властями под детский сад. Но что это такое? В стене — пробоина от снаряда, повсюду осколочные царапины, следы пожара. От дома остались одни обгорелые стены. Под ногами хрустело битое стекло, шуршала бумага. Дмитрий Андреевич проходил комнату за комнатой, испытывая великую горечь утраты, и остановился перед завалом кирпича и всякой рухляди. Дальше хода не было. Он повернул назад, но двери на улицу так и не нашел. Он долго и упорно пробирался по пустым комнатам, оскальзываясь и падая на горы мусора, и, казалось, не двигался с места: ноги сделались ватными, переставлялись с неимоверным трудом. Дмитрия Андреевича охватил ужас ему никогда не выбраться из этого хаоса!

Просыпаясь, он подумал, что явь не лучше сна. Доносился какой-то шум с улицы. Дмитрий Андреевич открыл глаза и увидел Любу, хлопотавшую возле стола.

— Что там такое? — спросил он и потянулся к окну.

— Полиция ходят по дворам, выгоняют молодежь, — ответила Люба, быстро расставляя тарелки для завтрака: из кухни тянуло жареным мясом, острыми специями. Анастасия Кузьминична любила готовить жирно, когда было из чего.

— А ты зачем здесь торчишь? Почему слезла с чердака?

— Мама велела, сказала, что вы так приказали.

— Ладно, будь с нами, авось обойдется. — Дмитрий Андреевич спал в штанах, но босой и в нижней рубашке. Он натянул сапоги, пошел на кухню умываться, пытаясь вспомнить приятное начало сна, но мысль о Виле не вернула его к неприглядной действительности. И грабеж золота, и весь вчерашний тяжелый день навалились, придавили стопудовым грузом и не было сил сбросить его. Не успел он умыться, как на кухню вбежала Люба с искаженным лицом:

— К нам идут!

Дмитрий Андреевич поверх занавески в низком оконце, из которого просматривался двор до калитки, увидел на мощенной камнем дорожке, промытой дождем, вчерашнего молодого полиция Петра с автоматом на шее и сержанта Костю. Ветер стих, дождь перестал, но не прояснилось, наступал пасмурный стылый день, и так же беспросветно, стыло было на душе Дмитрия Андреевича. Отчаянная мысль пришла ему в голову. Он кинулся в спальню, к комоду, выдвинул нижний ящик и сысподу, из-под белья, выхватил увесистый десятизарядный бельгийский браунинг, выменянный у пьяницы-ветеринара за бутылку водки, сунул в карман.

Свежее утро не стерло след бессонной угарной ночи на лице Кости, лишь чуть подсыренило бледные щеки. Сержант сощурил на хозяина свои красивые припухлые глаза, презрительно усмехнулся:

— Пожалел золота за старшую дочку. Теперь прощайся с младшей! — И перевел взгляд на Любу с тарелкой в руке, про которую она забыла и

прижимала к животу. Краска залила лицо девушки. Было видно, что она по-настоящему не понимала беды, и слова, и взгляды, и внимание молодых мужчин, обращенные к ней, воспринимала, как обычно девушка в ее возрасте, смущаясь и краснея.

— Ишь, налилась сочком! Такую в Германию жалко отправлять... А ты чего зверем глядишь? — без перехода спросил Костя Дмитрия Андреевича и положил руку на кобуру с пистолетом, который носил, как немцы, на животе. — Я тут ни при чем: приказ из Берлина! Никто не может ослушаться, так что, свет Люба, собирайся! Анастасия Кузьминична, приготовь продуктов обеим дочерям на две недели!.. Ну что ты на меня вызверилась? — снова глянул он на Дмитрия Андреевича, готовый в любую минуту расстегнуть кобуру и выхватить пистолет.

Дмитрий Андреевич был уверен, что грабеж золота — дело Костиных рук, поэтому от гнева не мог произнести слова, точно с кляпом во рту, и лишь лицо его побагровело, как от удушья.

— Скотина. Гадина, — произнес он с такой лютой ненавистью, что Костя тут же расстегнул кобуру.

— Ну, ну, потише! Попридержи язык! Я не погляжу, что жена, дети, кокну на месте!

— Оставь ты его, Дима! Еще больше беды накличешь! — взмолилась Анастасия Кузьминична, обвисая на груди мужа и как бы защищая его собой.

— Куда уж больше! Гад ползучий, потребовал выкуп за Вилену, а сам выследил меня, по голове двинул чем-то, забрал все золото и смотался. А теперь еще насмешку строит: «Пожалел золота за старшую дочку, прощайся с младшей!..» Гад ты и есть, другим именем тебя не назовешь.

Костя не пришел в ярость, не изменился в лице, а выслушал внимательно и заинтересованно.

— Вон в чем дело, оказывается! А я жду-пожду, нет Дмитрия Андреевича! Посчитал, что поспешил, отправился жаловаться на меня капитану Краге. Хорошо, что фортуна повернулась ко мне лицом, отыгрался, а то подвел бы ты меня под монастырь, Дмитрий Андреевич! Кто же тебя обокрал? Что-то непонятное ты говоришь. Я тебя не выслеживал и золота твоего в глаза не видел.

Дмитрий Андреевич наклонил голову и дотронулся рукою до ушибленного места.

— Вон отметину оставил. Не ты, так кто-то из твоих, больше некому!

— Не брал я твоего золота, родной матерью могу побожиться! — загорячился Костя и строго глянул на Любу. — А ты чего стоишь, уши развесила? Собирайся!

— Папа, мамочка! Я пойду! С Виленой мне легче будет, мы не пропадем, не беспокойтесь за нас! — Люба забегала по комнате, набивая в сумку свои вещи. Ей на самом деле казалось, что в Германии будет не так уж плохо, как об этом говорят, и спешила навстречу новым впечатлениям с юной наивностью.

— Дурочка, ты дурочка, так тебя там и ждут! — залилась слезами Анастасия Кузьминична и пошла на кухню за продуктами. Дмитрий Андреевич словно остолбенел, не трогался с места и был похож на человека, выведенного на расстрел, с опущенными по швам руками и отсутствующим, ушедшим в себя взглядом. Лишь изредка лицо его передергивалось, глаза загорались неистовым огнем. Потеря золота, всего состояния, нажитого не за одно десятилетие в поте и страхе, сделала его почти неменяемым.

С улицы донесся шум, крики, раздался пронзительный женский визг и вслед за тем выстрел. Костя шагнул к двери.

— Заварили кашу!.. Петро, забирай Любашу и веди к машине. Пойду узнаю, что там стряслось. А ты, Дмитрий Андреевич, не балуй! Гляди, беды накличешь на себя и на всю семью, сам знаешь, немцам сейчас не до шуток, обошлось раз, второй в гестапо не попадайся! А насчет золота мы разберемся, как с отправкой покончим.

Снова грохнул выстрел, и Костя с пистолетом в руке кинулся вон из дома.

Один на один с Дмитрием Андреевичем молодой полицейский заметно волновался и торопил Любу. Он произвел отталкивающее впечатление еще в первый свой приход. Узколобый, с тусклыми глазами, с какой-то природной порочностью, выраженной в лице, во всей нескладной, развинченной фигуре, этот парень редко говорил, больше отмалчивался, и трудно было понять, что у него на уме, но, сдавалось, одно скверное. Он то заискивал, то грубил, подгоняя Любу, и поминутно косил боязливый взгляд на Дмитрия Андреевича.

Люба надела зимнее пальто, туго повязалась шерстяным платком и с узелком и сумкой в руках села в передней комнате на стул, сосредоточенная, преисполненная важности заведенного в семье порядка:

— Посидим перед дорогой, маманя!

— Да куда же тебя увозят, доченька моя, да когда же мы теперь свидимся, да я все глаза выплакаю по вас с Виленой, да как же вы там будете одни на чужбине! — голосила Анастасия Кузьминична, не отрывая красных заплаканных глаз от дочери.

Любе стало невыносимо тягостно. Она вскочила со стула, подбежала к матери, торопливо поцеловала, потом обоих братьев, потом повисла на шее у отца, стоявшего без движения, которого любила сильнее матери, зная, что и сама у него первая любимица. Любу будто свела судорога, на силу оторвалась от отца. Полицейский пропустил ее вперед и, когда взялся за ручку, чтобы закрыть дверь, Дмитрий Андреевич неожиданно со всего размаха ударил его рукояткой тяжелого бельгийского браунинга в висок. Удар был тот самый, которым мясник сбивал с ног нагулянных бычков. Петр с грохотом, опрокинув в коридоре ведро, повалился навзничь. Люба обернулась, вскрикнула, ошарашенно посмотрела на отца. Дмитрий Андреевич втащил ее в комнату и следом, подхватив под мышки — бесчувственного полицейского. Закрыл на задвижку дверь, дико вращая глазами.

— Чего стоишь? — крикнул он жене. — Одевай детей! Сама одевайся!

Растянувшегося поперек прихожей полиция, уже с синим отекившим лицом, Дмитрий Андреевич поволок за ноги через порог, в соседнюю комнату. Одежда на убитом задралась к голове, и Дмитрий Андреевич заметил отвисавший карман с чем-то тяжелым. Бросил труп, сунул руку в карман и вытащил свой кошель с золотом. «Ах, гаденыш!» — воскликнул он мысленно, испытывая не столько радость, сколько досаду: Вилена могла быть уже дома, если бы не этот гаденыш. Кого только не подозревал Дмитрий Андреевич, даже Тиму, но вон, оказывается, кто его выследил! Он запихал полиция под кровать, загородил ящиками и коробками, какие попались под руки.

— Папочка, Костя сюда идет! — промолвила Люба, бледная, как стена, заглядывая в комнату.

Дмитрий Андреевич кинулся к окну, держа в руке бельгийский браунинг, надеясь расправиться с сержантом так же легко, как с Петром.

Костя открыл калитку, но остановился: к нему кто-то подбежал, возбужденно заговорил, показывая вдоль улицы, и оба подались туда. Видно, не все у них ладилось. Дмитрий Андреевич, хоть и трясся в волнении, боясь, что будет осажден полицией в своем доме, как медведь в берлоге, пожалел, что Костя ускользнул из его рук.

Анастасия Кузьминична металась по комнате, одевая детей, в то же время увязывая и укладывая самое необходимое и ценное, что можно было унести. Игорь и Люба ей помогали.

— Живей, живей! — заторопил Дмитрий Андреевич. — Уйдем в горы, на хутора!

Он накинул на себя шубейку, прямо на нижнюю рубашку, нахлобучил шапку и топором выбил глухое окно, выходившее в сад, первый вылез сам, а потом стал помогать жене и детям.

## 6

Зима пришла голодная, припасы закончились, и когда Арбуз предложил Лешке «операцию» по добыче зерна, тот без колебания согласился. По словам вездесущего Арбуза, на чердаке дома Шурки Анохиной старая ванна до краев была засыпана пшеницей.

— А знаешь, кто мне подсказал? Костя-полицай! Говорит, немецкий интендант навез ей всякого барахла — сундуки ломаются!

Лешка недоверчиво поджал губы, а его друг, словно не замечая на себе подозрительного взгляда, чинил сапог, накладывая на поднаряд латку.

— С полицаем вожжаешься? Костя, конечно, мной интересовался?

— Ага, спрашивал. Говорит, знаю, что он дома, пусть не боится, не выдам. На немцев стал отчего-то злой... Значит, сходимся на Чеховской?

Лешка посидел у Арбуза еще с полчаса, посмотрел, как он ловко орудует иглой и шилом, думал, может, поделится какой-нибудь жратвой,

но, видно, хозяин сам последний кусок доедал. Лешка поплелся домой, не солоно хлебавши. В голове одна только мысль, где бы что достать, стибрить, набить желудок. Ну и времечко наступило!

Обычно в эту пору ревел норд-ост, бушевало море, крутила метель, но нынешняя зима выдалась дождливая, теплая, лишь изредка срывался снежок и ночью подмораживало. Ровно в полночь, как условились, прихватив с собой мешок, Лешка через кладбище, по мокрым тропинкам, зашагал к дому Шурки Анохиной. С неба сеял ситничек. Голые ветки деревьев поблескивали, усеянные дождинками. Глухо, безлюдно, уныло, точно в разоренном склепе, и Лешка сам себе показался покойником, одним из тех, которые, по слухам, в полночь поднимаются из гробов. В другое время от этой мысли по спине побежал бы мороз, но сейчас голодный, ко всему привыкший, Лешка лишь усмехнулся своему сравнению.

Арбуз его уже ждал, тоже с мешком, сделав из него капюшон от дождя по примеру грузчиков на пристанях.

Можно было пробраться на чердак через слуховое окно, выходящее во двор, но это было небезопасно, и Арбуз решил со стороны глухой стены, по приставной лестнице, которую принес с собой. Лестница оказалась коротковата. Арбуз принялся разбирать черепицу, передавая по одной Лешке, подтянулся на руках и влез в дыру.

— Давай! — прошептал он, склоняясь к Лешке, но тот был невеликого росточка и никак не мог дотянуться до протянутой руки, а когда все-таки это ему удалось, нечаянно толкнул ногой лестницу, отрываясь от нее. Лестница постояла секунду вертикально и шлепнулась на землю. Лешка усиленно заерзал ногами, царапая стенку ботинками и оставляя на побелке грязные полосы. Кое-как вскарабкался, навалился грудью на перекладину с дрожью в ногах и руках: здорово отощал, в другое время взлетел бы перышком.

Арбуз сердито зашикал на него:

— Сколько шухеру наделал! Шурку, наверное, разбудил... Слышишь, заговорили в доме?

Оба притаились, вслушиваясь, но снизу не доносилось никаких звуков. Арбуз успокоился, не подумав, что в доме тоже могли притаиться, прислушиваясь к возне на чердаке.

Ощупью, натываясь на стропила, они разошлись в разные стороны в поисках ванны с пшеницей.

— Черт, фонарик забыл, — ругнулся Арбуз. — Темнота какая...

Лешка налетел то ли на жестяную банку, то ли на старое ведро. Грохнуло, как граната, и тотчас раз за разом снизу пальнули из пистолета. Оба распластались на потолке, но, сообразив, что в лежащих у стреляющего больше вероятности попасть, вскочили на ноги. Они чувствовали себя мишенями, по которым слепо, по шорохам, палил немецкий интендант. Это напоминало дуэль между офицерами в старину, когда противники стреляли друг в друга с завязанными глазами. Разница была лишь в том, что ни Лешка, ни Арбуз не отвечали на выстрелы. В потемках, толкая друг дру-

га, они бросились к светлому пятну на крыше и попрыгали в бурьян, забыв о лестнице. Лешка больно подвернул колено, но не сбавил хода и даже опередил Арбуза. Проломившись сквозь кустарник и какой-то хлам, они выбрались на дорогу и что есть мочи пустились вниз по Чеховской.

— Патруль! Ложись! — прохрипел над Лешкиным ухом Арбуз и повалился в дождевую канаву, Лешка — на него.

По дороге бежали солдаты, привлеченные выстрелами. Навстречу им выскочил из дому в нижней рубашке, с пистолетом в руке интендант, возбужденно загорготал. Покатился желтый свет карманного фонарика вперед, словно на резинке бумажный мячик, пока не наткнулся на Лешку и Арбуза в канаве. Беглецы поднялись, жмурясь от яркого луча.

— Цюрик! Цюрик! — и еще что-то непонятное кричали немцы, колшматя парней по чем попало. Лешка получил удар прикладом в ключицу, аж хрустнуло, следующий — в голову, так и забегали перед глазами огненные сполохи, но он не проронил ни звука, закрываясь от ударов руками и сутулясь.

Ругань, пинки сопровождали парней до самого кафе, куда их втолкнули и повели через пустой зал наверх, в номера, приговаривая насмешливо-презрительно: «Партизан! Капут!»

Поднялись по лестнице в ту самую комнату, где неделю назад Алла выстрелила в майора Фрица Мюллера и где еще оставались следы пуль на стенах, замусоренные полы и изуродованная мебель. Майора умчали на самолете в Берлин для срочной операции: была надежда на спасение. Об этом Лешка и Арбуз знали понаслышке и на допросе, который им тут же учинили, поняли, что они тоже обвиняются в покушении на немецкого офицера и причисляются к партизанам одного с Аллой отряда.

Как оба ни уверяли, что полезли на чердак по голодухе, показывая мешки, которые каким-то образом, несмотря на переполох, сохранили при себе, немцы не поверили и отправили «партизан» в комендатуру, по дороге продолжая избивать, так что на другой день, проснувшись в камере на соломе, Лешка не мог дотронуться до головы. Волосы слиплись и ссохлись сплошной шершавой коркой. Избитое, в синяках, тело словно отстало от костей — больно было притронуться.

Арбуз чувствовал себя не лучше с распухшей скулой, которую он то и дело ощупывал и сплевывал сукровицей: во рту не доставало двух зубов.

— Что они с нами сделали, а? — ныл он, слезливо моргая опухшими глазами.

— Еще хуже будет, — пообещал Лешка, переносивший страдания терпеливее своего друга.

— Что может быть хуже?.. Ой, стерва, ломит челюсть, рта не раскрыть!.. Что еще хуже? — стенал, злясь и плача. Арбуз.

— Кокнут, вот что!

— За какое преступление?

— За то самое...

Загремел засов, открылась дверь, в камеру вошел Костя-полицай:

— Поднимайтесь!

Поддерживая друг друга и кряхтя по-стариковски, Лешка и Арбуз встали с соломы, обменялись взглядами: «Это конец?» Арбуз заканючил:

— Что нам пришивают? На кой леший нам сдался интендант? Ты же, Костя, знаешь, зачем мы лазили на чердак к Шурке Анохиной, сам napravил...

— Не болтай! — рассердился Костя. — Сейчас пойдете на допрос. Обо мне ни слова, слышишь, Арбуз?

— А нас не расстреляют?

— Я похлопочу, отпустят. Айда к дежурному!

Обер-лейтенант рассеянным взглядом окинул Лешку и Арбуза с отеками лицами, усмехнулся.

Допрос был недолгий. Обер-лейтенант, молодой, подвижный, с иронической улыбкой на губах, считал ниже своего достоинства заниматься мелкими делами, наподобие этого. Он поверил на слово полицая и махнул рукой: ясно! Еще раз окинул насмешливым взглядом Лешку и Арбуза, покачал головой, мол, как не стыдно таким здоровым оболтусам воровать, и приказал освободить. Не веря своему счастью, оба без оглядки припустились домой.

...Утро выдалось сырое, в пяти шагах ничего нельзя было разглядеть из-за тумана. Сотканный из струившихся, хорошо видных капелек, он оседал на паутине, как бы проясняя ее по всему мелколесью. Вон на кизиловом кусте, похожая на рыбачью сеть, развешанную для сушки, серебристо блестит тонким плетением, а вон сотканная по всем паучьим правилам, веером, а вон обвисла шматками по терновнику, похожая на ту, которая собирается по углам чуланов. Трава в густой белесой росе, пройдешь по ней — черной мокрой полосой ляжет сакма.

Лешка бродил по лесу, собирал кое-где уцелевший терн — привяленный, потерявший терпкость, с рыхловатой мякотью и очень вкусный. Ягод было мало, и Лешка порадовался, когда, продираясь сквозь чащобу, наткнулся на рясный куст, местами перевитый липкой грязной паутиной. По всему видно, сюда никто не добирался. Лешка рвал ягоды стоя, потом сел, с удовольствием вытянув натруженные ноги, и ему на минуту почувдилось, что он один на всем свете, маленький несчастный человек. Срываюся капли с веток на лицо, просится в рот перезревший терн, мир, тишина, даже передовой не слышно. Построить бы здесь халабуду и жить до конца войны, хорошо бы с надежным товарищем, только не с Арбузом, а таким, как Виктор. Где он сейчас? Уехал незаметно, «прощай» не сказал, правда, Лешка в это время бартыжал далеко от города. Вернулся, слышит дома разговор:

«Виктора послали на писателя учиться. Вот это будет писатель! Путешествовал в Африку, прошел Крым и Рим...»

Лешка усиленно стал искать фамилию своего друга в журналах, на обложках книг, но нигде не встретил, о чем сказал матери.

«Ты какую фамилию ищешь?»

«Лямин».

«Это же материнская, а он на отцовской — Озеров».

Но и Озерова Лешка не находил, потом решил, что еще не выучился.

Может быть, его друг каждый день с Маркотхского перевала рассматривает в бинокль Барклаевскую улицу и видит задрипанного голодного Лешку. Всего-то километров пять-шесть отсюда, но попробуй перебраться к нашим — колючая проволока, мины, пулеметы, пушки. День и ночь палят. Живого места в городе не осталось. Вот бы придумать такой маленький, на одного человека, летательный аппарат, чтобы темной ночью по воздуху незаметно перемахнуть на ту сторону бухты. Но эти мечты безутешные, Лешка слаб, беспомощен, не знает куда податься, что предпринять для облегчения своей горькой участи.

Затрещали ветки, послышались голоса. Никак немцы прочесывают лес? Пропади все пропадом, ну и вляпался: отворотил от пня, да налетел на колоду! Но вроде говорят по-русски? Лешка присел на корточки, навострил уши, как загнанный охотниками заяц.

— Всю обедню испортили. Как теперь быть, ума не приложу. А кто этот Лешка-рыжий? Ты его хорошо знаешь?

— С одной улицы. Учились в одном классе.

Разговаривали двое, один голос мужской, басовитый, другой мальчишеский, знакомый. Лешка весь подался вперед, осторожно раздвинул ветки: с кем это он учился? В тумане трудно было разглядеть лица, обрисовывались лишь фигуры в гражданской одежде. Пешеходы насторожились, замолкли, зачуяв постороннего человека, видно, Лешка чем-то себя выдал.

— Вам показалось, — вполголоса сказал младший. — Кто тут может быть?

— Вряд ли зверь...

Лешка узнал Ахмета и дядю Тиму.

— Это я, Прасолов! — выкрикнул он радостно, выламываясь из кустов, как будто давно выжидал случая для этой встречи.

\* \* \*

В чешской хате на окраине Глебовки было жарко. Печная конфорка раскалилась, как кузнечная поковка. Из поддувала на прибитую к полу жестянку выскакивали угольки, недолго светились, покрывались серым пеплом и угасали. Но чередой с треском падали другие, такие же веселые... На стене — знакомая глянцевиная картинка богоматери, новорожденного в плетеной корзине, плотника и овечек. А на кухонном столе в глиняной миске гора парующей картошки в мундирах, каравай ситного хлеба, постное масло в чашке, сало ломтями и графин рислинга. От такой еды Лешка отвык и проворно, обжигаясь, перебрасывал с ладони на ладонь картофелину с отставшей кожей, дул на нее, глотая голодные слюны.



Дядя Тима поглаживал рыжие усы и слушал Лешкин рассказ о неудачной операции на чердаке в доме Шурки Анохиной, посмеивался. Отцовская уверенность и спокойствие были в его теплом взгляде, неторопливых движениях и добродушной усмешке. Давно Лешка не чувствовал себя так хорошо, так уютно в крестьянском доме. Кусок хлеба добывался тут нелегким трудом, о чем напоминала каждая вещь, простая, прочная и нужная — ни одного предмета роскоши. Возле аккуратной поленицы дров Франц Иосифович на короточках шурудил железным прутом в печке. Все выглядело мирно, обычно, словно за горою, под Новороссийском, не гремел фронт, и бомбы в любой момент не могли разнести в пух и прах Глебовку, словно ей века стоять, а Францу Иосифовичу век в ней жить.

Ахмет и с ним еще двое при автоматах и гранатах, в маскировочных, с коричневыми разводами, шароварах и плащ-палатках, какие видел Лешка на немцах, куда-то собирались. Лешку разбирало любопытство, было завидно, что Ахмет при деле, да еще каком-то таинственном. В военной амуниции он возмужал, не верилось, что Лешка играл с ним под карамельки и спорил чуть ли не до драки из-за какой-нибудь особенной оберточной бумажки с картинками.

— Ахмет, сыграем?

— Что? — не понял тот и мрачновато из-под черных, сросшихся на переносице бровей уставился на Лешку своими огромными персидскими глазами.

— Под карамельки сыграем?

Ахмет улыбнулся, вспомнив барклаевское детство, и глаза его подобрили.

— Я бы с тобой под немецкие автоматные патроны сыграл, — сказал он, снова хмурясь.

— А что?

— Один магазин полный, а второй заряжен только наполовину.

Лешка разбился бы в лепешку, чтобы помочь Ахмету, но как это сделать?

— Вы куда собираетесь, в Новороссийск? — спросил он, подумав, что, может быть, и его возьмут, и он там обезоружит какого-нибудь зазевавшегося фрица. Не раз представлялся случай стащить автомат или винтовку, но тогда Лешка не знал, что с ними делать, одни только неприятности можно было нажить.

— Дальше, — сказал Ахмет.

— Куда дальше?

— К нашим. Связь установить. Никак не удастся. Сильная оборона у немцев.

Лешке это было на удивление: о той стороне еще час назад он думал безутешно. Теперь же, стоило лишь увязаться с Ахметом, как утром он мог бы быть уже в Геленджике. Не верилось. Но попроситься с Ахметом он не решился, понимая, что дело серьезное, не с бухты-барухты, готовилось заблаговременно, и Лешка в нем мог быть просто обузой.

Франц Иосифович ушел седлать лошадей, тех самых, на которых зарился Арбуз. По глухим горным тропинкам с большим риском партизаны будут пробираться к Маркотхскому перевалу, на линию фронта. Дядя Тима знает ходы-выходы еще с гражданской, когда воевал здесь красно-зеленым. Пожилой человек, а снова взялся за винтовку.

Лешка и подумать не мог, что у него под носом такое творится. Зыбкое, в постоянном страхе существование, которое он до сих пор влачил, теперь приобрело смысл, надежность, и немцы уже были как будто ничем.

— С твоим опытом, парень, вполне можно идти в разведку, — посмеивался дядя Тима над чердачной операцией. А Лешка лихо и самоуверенно выпалил:

— Хоть сейчас!

— Я вот кумекаю, нельзя ли тебе поручение дать?

— Хоть два!

— Сумеешь пробраться на станцию?

— Я уже там был! — хвастливо воскликнул Лешка, запихивая в рот картофелину. — С Арбузом лазили за семечками в вагоны.

— Набрали?

— А как же! Два чувала.

— При такой охране?

— А мы плавнями, по камышам, на лодке. Верно, страшновато было. Арбуз сильно трусил. Но обошлось. Трех часовых обманули.

— А того не подумали, что за семечки могли жизни свои отдать! — Дядя Тима неодобрительно покачал головой. — Одному тебе будет не под силу мое задание. Как Арбуз, надежный человек?

— Не очень.

— Тогда обойдемся без него.

— А что такое?

— На путях вагон стоит с патронами. Надо выкрасть хотя бы ящик. Оружие у нас трофейное, и стрелять нечем, по десять патронов на брата, Ахмету собирали на автомат с носу по грошу.

Лешка придал своему лицу глубокомысленное выражение, чтобы дядя Тима, чего ради, не усомнился в его серьезном отношении к делу.

— Не беспокойтесь. С Арбузом мы и черта достанем.

— Но ведь ненадежный человек твой Арбуз?

— А я ему не скажу про патроны. Скажу, что стиральное мыло. Сразу согласится. — Лешка хохотнул и подбросил, играя, на ладони картошку.

\* \* \*

Плавни поднялись на дыбы: грохот, всплеск воды и опадающие дождем шматки вывороченной со дна тины. Лешка и Арбуз лежат ничком в лодке, пережидая, пока по спинам оттарабанит болотная грязь. Только поднимутся, возьмутся за весла, как снова: «И-и-и... ба-бах!». И плавни вверх тормашками, и сердце — в пятки.

— С Сахарной головки бьют! — определил Арбуз, не поднимаясь со дна лодки. — Приняли нас за немцев. Точно. Вернемся назад, а, Лешка?

— Лежи! Это же нам на руку: часовые сидят по окопам, нос боятся высунуть.

Хорошо, что Лешка умолчал про патроны, а то бы Арбуз давно сбежал: попади снаряд в вагон — такая поднимется кутерьма, что подумать страшно...

— Вставай! Недалеко уже, — командует Лешка, берясь за весла, не подавая виду, что у самого трясутся поджилки.

— И-и-и... ба-бах!

Лодку бросило, как в десятибалльный шторм, и она торпедой понеслась вперед, с ходу врезалась в берег. Лешка и Арбуз едва не вылетели на откос железнодорожного полотна, полежали, поднялись, посмотрели друг на друга, живы ли, и не удержались, прыснули со смеха: до того были чумазые, облепленные водорослями и тиной.

— Разнесет лодку в щепки. И от нас живого места не останется, — заныл Арбуз, лицо которого снова исказилось в страхе.

— Молчи! Снаряды рвутся в воде, не опасно. Я пошел. Гляди в оба!

Осыпая гравий, Лешка прытко покарабкался вверх по откосу. Пульмановский вагон с патронами стоял особняком. Часовых не видать, попрятались в окопы. Еще рванул снаряд поблизости. Но отлеживаться некогда. Лешка осмотрелся и — бегом через рельсы, согнувшись в три погибели. Подбежал к вагону, сорвал пломбу, навалился на дверь, боясь, что не успеет, сил не хватит отодвинуть, застопорят часовые. Дверь натужно заскрежетала, с трудом поддалась. Лешка шмыгнул в вагон. Отсюда, с высоты, хорошо была видна лодка и весь в тине, как водяной, зыркающий по сторонам глазами Арбуз. Лешка кивнул ему с улыбкой, подбадривая: не трусь, все в порядке!

На полу вагона грудились ящики с нерусскими надписями и черепами над скрещенными берцовыми костями. А вот оцинкованные с патронами. Лешка подхватил ящик и высунулся из вагона. Стрельба прекратилась. Тишина настораживала. Арбуз махал руками крест-накрест: нельзя, часовые сходятся!

Лешка затаился, не спуская с товарища глаз. Через некоторое время Арбуз сделал условленный знак: давай! Лешка пустил под откос ящик, и он угловато, вразвалку, точно человек на костылях, запрыгал к лодке. Арбуз подхватил его и положил на корму.

Приплелись они в Глебовку ночью, едва волоча ноги, изодранные о колочки и камни, сгибаясь под тяжестью ноши: каждый тащил на своем горбу по два ящика патронов, перевязанных веревками и перекинутых через плечи, как переметные сумы. Веревки врезались в тело, под них подкладывали и шапки, и пиджаки. Попробовали подвесить все четыре ящика на жердь и нести, держась за ее концы, но все равно было тяжело, обрывались руки, трещала, выгибаясь дугой, жердь, пока не переломилась.

Арбуз еще в лодке, подхватывая ящики, понял, какое это мыло.

— На кой ляд нам патроны? — заерепенился он, когда поплыли обратно. — Знал бы, в жисть не пошел с тобой! За эти патроны немцы три шкуры спустят. Мало тебя, рыжий, лупили?

Лешка испугался, что на берегу Арбуз удерет, дело будет сделано лишь наполовину, и наплел с три короба: о годовалом кабане, которого обещал чех в Глебовке за патроны. На что патроны чеху, Лешка не знает, ему и не нужно знать, лишь бы кабана заполучить. Арбуз верил и не верил, а Лешка так до самой Глебовки не сказал правду.

— Хлеба кусок принеси, хоть без сала. С голоду исдохну, — страдальчески попросил Арбуз, валясь на землю, когда Лешка из предосторожности оставил его на опушке леса, а сам направился с тыла во двор Франца Иосифовича. На привязи стояла пара понурых коней со впалыми, влажными от пота боками, как видно, с дороги. Из сарая вышел хозяин, неся охапку сена. Лешка позабыл о собственных мытарствах, желая поскорее узнать, удалось ли отряду Ахмета перебраться на ту сторону.

Франц Иосифович отрицательно мотнул головой:

— Подорвались на mine.

— Ахмет?..

— Вез живого до Глебовки... — Франц Иосифович не мог закончить фразы, опустил голову и пошел к лошадям.

Видеть мертвого Ахмета, с которым только вчера разговаривал, — все Лешкино существо восстало против этого. Он пристально смотрел на покойное лицо, совсем не мертвеца, а скорее спящего, только что оправившегося от болезни бледноватого человека. Ахмета он знал и сопливым трехлеткой, и пацаном оторви голова, и уже рослым застенчивым парнем. Наверное, оттого, что они росли вместе, виделись чуть ли не каждый день, смерть эта казалась невероятной, и Лешка ждал чуда, всматриваясь в лицо Ахмета. Вот как будто дрогнули его губы, вот сейчас откроются глаза, и Ахмет, улыбаясь, скажет: «Ну чего ты на меня уставился? Думаешь, я и впрямь умер? Чего ради в такие-то юные годы!» И так впечатлительно представил это Лешка, что у него по спине пробежал гробовой холодок. Он встряхнулся, приходя в себя, понимая, что никакая сила уже не поднимет Ахмета на ноги, и вышел из комнаты. Во дворе сел на завалинку... Мать Ахмета, всего месяц назад потерявшая мужа, узнает о смерти сына, завоет, будет рвать на себе волосы, может статься, и не вынесет горя, наложит на себя руки или сойдет с ума... Так тоскливо никогда еще не было Лешке. Война одного за другим отнимала самых близких друзей. Идет с топором, валит налево и направо без разбора, как лесомыга, минет или срубит под корень самого Лешку, кто знает.

На завалинке сидел дядя Тима с сигаркой, которую скрыто, пряча в ладонях, покуривал.

— Жалко, жалко Ахмета, — сказал он, как простонал. — Мать надо было бы привезти, да опасно. Как она себя поведет... — Он поднялся и напомнил словно самому себе: — Придется по морю пробираться к нашим. У меня тут припрятан старый баркас, починим и рискнем...

Жизнь Лешки, до сих пор жалкая, полуживотная, в эту зиму изменилась, приобрела смысл, и он сам это понимал, еще недавно нужный немцам разве только, как арбайтеностен для отправки в Германию, а теперь первый боец в партизанском отряде. С каждой вылазкой в Новороссийск он делался отчаяннее и нахальнее.

Арбуз тоже примкнул к партизанам, причем с готовностью, которой не ожидал от него Лешка, и неразлучные друзья, связанные чертом одной веревочкой, среди бела дня на улице Чехова возле кафе унесли ящик тола (партизаны намеревались все-таки взорвать злополучное заведение) и кипу плащ-палаток из грузовика. Плащ-палатки нужны были на парус: дядю Тиму не оставляла мысль связаться с нашими по морю.

Вслед за тем был устроен трамтарарам на станции. Тот самый пульмановский вагон, пополнивший боеприпасы отряда, и, кроме того, пакгауз с военным имуществом, Лешка и Арбуз подожгли, и немцы два дня не могли справиться с пожаром и пальбой взрывающихся патронов.

Снова побывали в доме Шурки Анохиной, нагрывув врасплох, связали веревками интенданта, забрали оружие, документы. Арбуз порывался пристрелить перепуганного насмерть капитана, так как недостающие зубы в нижней челюсти постоянно напоминали ему о перенесенных жестоких побоях, но Лешка не дал: «Живьем доставим в отряд!»

Все-таки Арбуз наставил капитану фонарей.

— А тебе, немецкая шлюха, капут! Прощайся с жизнью! — крикнул он Шурке Анохиной, потерявшей дар речи, без кровинки в лице. Она сидела на кровати, вцепившись трясущимися руками в одеяло, которым прикрывалась по грудь.

— Что я исделала?.. Я ничего не исделала... С голоду подыхала. Через то... — вдруг захныкала она, с ужасом глядя в дуло автомата.

— Ну что с ней делать? Пристрелить и делу конец? — Арбуз посмотрел на Лешку, спрашивая согласия.

— Ой, мальчики, ой, родимые, за что? — Шурка взвизгнула и полезла на стенку в прозрачной шелковой рубашке, розово-белая, какой Лешка не видел ни одной женщины. Что произошло с ним, сам не понял — в какую-то минуту превратился из мальчишки в мужчину, увидев все женские достоинства Шурки, и положил руку на автомат Арбуза:

— Не надо! Задали ей хороший урок, пусть подумает, как дальше жить.

А немцы все усиливали оборону и по суше, и по морю, пробраться через передовую было все равно, что верблюду пролезть сквозь ушко иголки. Связь с той стороной залива оставалась неналаженной, и дядя Тима дерзнул спустить на воду старый, кое-как залатанный баркас. Выбрали для этого безлунную, дождливую ночь. Вместе с дядей Тимой отправились в плавание Лешка и Арбуз. Началось оно не совсем удачно: баркас стал бортом к берегу, а было сильное волнение, и дяде Тиме пришлось пустить в ход весь свой рыбацкий опыт, чтобы вывести утлое суденышко за черту прибоя. Поплыли не вдоль берега, а мористее, опасаясь напо-

роться на патруль или заградительную мину. За бортом вода была, как нефть, густая и черная, и над головой темень, никакого просвета, точно в бесконечной пещере, то ли преисподней. Куда плыли, тоже было непонятно, Лешке сдавалось, что вертелись на месте, и только дядя Тима, время от времени поглядывавший на компас, поддерживал уверенность, что баркас держит правильный курс. Все же на душе было беспокойно. Лешка истомился в ожидании конца слепого плавания: того и гляди, взлетят на воздух или приткнутся к немецкому берегу.

Прошло уже немало времени, все вымокли под дождем и морскими брызгами, усиленно вычерпывая из баркаса воду, которая не убывала, пополняясь и сверху, и снизу, сквозь худое дно. Дул морячок, теплый западный ветер, всегда нагонявший тучи, в противоположность норд-осту, обычно свирепствовавшему при ясной погоде. Мореплаватели были погружены в бесконечные думы, уводящие их то в прожитое, дорогое сердцу, то возвращающие к суровому настоящему и прерываемые на короткое время какой-нибудь работой на баркасе. Разговаривать было неохота и нельзя, обращались друг к другу лишь по делу:

— Арбуз, куда ты черпак задевал?

— Парус подобрать! — командовал дядя Тима, сидя за рулем. — Алексей, подмени! Малость разомнись...

И опять глухое, долгое молчание. Сердито шумело за бортом море, сыпал горохом по парусу дождь, завывал ветер в снастях, и калейдоскоп воспоминаний неумолимо захватывал каждого, словно осужденных перед казнью. Лешке рисовались картины странствий с Виктором Озеровым, поездка в Геленджик на пароходе среди разодетых пассажиров (был воскресный день). Кто-то из ребят разузнал, что в Геленджике можно недорого купить баркас, и будущие мореплаватели думали, что возможно найдут там что-нибудь по карману для путешествия в Африку. Ничего не нашли, хозяева загибали цены впору за шхуну, но поездка все равно осталась в памяти светлой, праздничной. А что сейчас ждет Лешку в Геленджике? С этим городком он почему-то связывал свои лучшие надежды. Только вот удастся ли благополучно доплыть.

— Баркас совсем худой, — зашептал Арбуз, наклоняясь к Лешке и шлепая рукой по воде, которая плескалась на дне, как в озере. — Черпаем, черпаем, а конца нет, даже больше становится. Час не продержимся. Не видишь, что ли?

Арбузу делалось не по себе при одной мысли о гнилых досках под ногами, отделявших его от морской бездны. Казалось, резче повернись или ступни ногой тверже, чем обычно, и провалишься в тартарары.

— Не каркай! — отозвался Лешка, налегая на черпак. — Баркас затонет, вплавь доберемся.

— Куда плыть? Темень египетская...

— Тише ты! — Лешка снял с головы капюшон брезентовой куртки и настроженно примолк.

В шуме непогоды различался рокот мотора, работавшего на полуоборотах. Какое-то судно двигалось навстречу баркасу. Дядя Тима дал знак, чтобы перестали брякать черпаками, и парни замерли, прислушиваясь к уже четко стучавшему мотору. Звук его обрывался, и совсем близко в высокий борт потерявшего ход судна ударила волна. Прогрохотали по железной палубе ботинки — пробежали куда-то матросы. Было непонятно, почему остановилось судно: то ли мотор заглох, то ли капитан потерял ориентировку, но больше всего троих занимало, чье судно?

Лешка как ни всматривался в темноту, ничего, кроме расплывчатого пятна, не видел. Судно стояло с подветренной стороны, волна между ним и баркасом спала, как в штиль, лишь чуть рябило.

Арбуз потянул Лешку за полу куртки, но в ответ получил кулак под нос и угрожающий взгляд вытаращенных глаз. Арбуза беспокоило то, что судно вдруг уйдет и они снова останутся один на один с бурным морем, а вода в баркасе уже доходила до колен.

На судне послышалось движение и немецкий лающий говор, но приглушенно, воровски, за борт полетело что-то со свистом и плюхнулось метрах в пяти от баркаса, обдав его брызгами. Заработал на полуоборотах мотор, шум стал удаляться, затих.

— Пронесло, — облегченно вздохнул Арбуз. — И что эти обормоты делают в таких потемках?

— Дураку ясно: мины ставят, — самоуверенно ответил Лешка. — Давай, Арбуз, берись дружнее за черпак, а то и впрямь пойдем на дно.

Забрезжил рассвет, медленно разгораясь, как всегда в пасмурную погоду. В серой мгле обозначились горы, перевитые, как лентами, козьими тропинками, с белыми домиками Геленджика. Баркас шел точно по курсу, на Освоводскую пристань. Вот так дядя Тима! Не иначе у него рысьи глаза.

Борт к борту у причала покачивались на волнах два истребителя с пушками и пулеметами, стояло несколько других разномастных судов и было довольно оживленно, несмотря на рань: что-то сгружали в ящиках и тюках, шли какие-то приготовления на истребителях. Появление обшарпанного, под парусом баркаса всех удивило. Портовики оставили работы, наблюдая за приближением странной посудины. Какой-то браваый морячок поднял автомат, но тут же и опустил, боясь насмешки: уж очень убого было суденышко, чтобы его опасаться!

— Эй, Прохор! Принимай конец! — крикнул дядя Тима, узнав на пристани своего старого друга. Это был закоренелый черноморец, моряк и рыбак, с загорелым, наподобие копченой рыбы, лицом, да еще изборожденным глубокими, как шрамы, морщинами, из тех, кто с люльки прирастает к порту и уже не расстаётся с ним до самой смерти.

Прохор в фуражке с крабом, в штурманке и парусиновых штанах поверх сапог, без лишних слов проворно принял конец, и баркас пришвартовался к пирсу.

— Каким ветром занесло сюда этого биндюжника, в толк не возьму!  
— приветствовал Прохор дядю Тиму, когда он вразвалку сошел на берег.

— Морячком. Свежим морячком! — как бы с благодарностью к ветру ответил дядя Тима и крепко, по-морскому, пожал Прохору руку.

— Неужели из Новороссийска?

— Оттуда.

— На такой посудине сквозь немецкие кордоны? Как вас не отправили на дно кормить крабов?

— Чуть такое не случилось, только не на тех нарвались. Я на своем корабле до Турции доплыву, ты его не хай! — возразил дядя Тима с ненатуральной обидой. — Как ты можешь такое говорить, а еще старый морской волк!

Пока они балагурили, гостей из Новороссийска окружила толпа любопытных. Довоенная Осводовская пристань, когда после ночевки в гостинице Лешка пришел к морю в такое же раннее утро, была пуста, лишь одинокий рыбак с трезубом на шнуре ходил по краю пирса, высматривая лобаней. И Лешка видел этих медлительных больших рыб, которые стаями паслись на обросших травой подводных камнях, населенных шустрыми рачками. Сейчас и пристань, и сам Геленджик, прежде глухой и малолюдный городок, шумел точно в ярмарочный день.

Подошел военный патруль, строгий офицер в морской форме, при кортике, с двумя матросами, коротко расспросил и повел партизан в штаб. Поднялись в гору, к той самой гостинице, где до войны ночевали юные путешественники, и ожидание чего-то важного и приятного захватило Лешку, словно после долгих странствий он, наконец, достиг заветной Африки.

Из тяжелых низких туч проглянуло солнце, и мокрая мостовая, деревья, дома, горы будто улыбнулись Лешке: «Вот ты и на нашей стороне. Радуйся!» И Лешка не верил своим глазам, видя щеголеватых подтянутых офицеров и молодеватых, уверенных в себе солдат, многих в морской форме, с лихо сдвинутыми набекрень бескозырками, ниспадающими на плечи черными лентами, в полосатых тельняшках.

В городе происходило усиленное движение войск. По улицам шагали взводы и роты, громыхала на конной тяге артиллерия, катили грузовики с боеприпасами и амуницией. Двери штабных домов беспрерывно открывались, входили и выходили озабоченные военные. Во дворах стояли легкие автомашины, мотоциклы и даже легкая зеленая танкетка с двумя пулеметами. Связисты с катушками в руках и за плечами тянули телефонную линию, подвешивая ее на шестах, деревьях и карнизах домов.

Лешка сидел на лавке у входа в дом под охраной часового, ожидая, когда партизан примет важный начальник, пока что занятый, сравнивал наших с немцами, и от этого сравнения немцы проигрывали. Куда же они лезут? Кого хотят победить?.. Ободряющие размышления Лешки прервали два полковника, вышедших на крыльцо, и один сказал другому, рослому, с черными бровями и смуглым лицом:



— Из Новороссийска. Партизаны.

— Да ну! — Чернобровый с любопытством оглядел поднявшихся с лавки дядю Тиму и ребят. — Побеседуешь, пришли ко мне. Я тоже хочу с ними поговорить... Вот только голодны они, верно? А? И все на них мокрое, переодеться надо...

Что потом произошло с Лешкой, было и впрямь похоже на осуществление его давней мечты, и он не раз щипал себя за ноги: не спит ли? Важный полковник в присутствии адъютанта, который записывал беседу, расспрашивал больше всего про береговые батареи и аэродромы и очень заинтересовался ночной встречей с немецким судном. К удивлению Лешки, дядя Тима точно назвал место этой встречи — десять километров западнее Мысхако.

Партизаны пробыли у полковника с полчаса, затем солдат отвел их к чернобровому; тут ждать не пришлось, хотя полковник еще не закончил разговор с каким-то майором, своим подчиненным. Этот майор вернулся с передовой и рассказывал о забавной сцене, какую ему довелось наблюдать в штабной дивизионной землянке. Подходя к ней, он услышал смех, а зайдя, обнаружил, что крутили научный кинофильм об акушерстве. Закончат и тут же перематывают (была всего одна часть) и снова крутят, и так весь вечер, потому что больше смотреть было нечего.

— Попросят прислать «Чапаева» или «Мы — из Кронштадта». Акушерство, говорят, нам ни к чему. Но где взять художественный фильм? — как бы сам себя с сомнением спросил майор.

«Гляди, как они живут на войне! Даже фильмы смотрят», — подивился Лешка про себя, а полковник сказал:

— Об этом надо подумать. Просьба резонная. Ну а как настроение солдат? Какое питание? Как одеты? Не жалуются?

Лешке понравился спокойный, уравновешенный голос чернобрового, и в особенности то, как он заботился о солдатах. В противоположность первому полковнику он расспросил про отряд, его состав, вооружение, связь с населением, а также про настроение немцев, как они выглядят, как себя ведут. Разговаривая с дядей Тимой, он все время поглядывал на Лешку, а под конец беседы спросил, сколько ему лет.

— Двадцать. — Лешка, сам не зная отчего, улыбнулся всем своим конопатым смешливым лицом.

— Прибавил, а? — спросил полковник, тоже улыбаясь.

— Зачем же? Как есть двадцать! В сентябре стукнуло.

— А на вид можно пятнадцать дать. — Чернобровый взглянул на дядю Тиму, словно ожидая от него подтверждения своих слов.

— Роста невеликого, зато отчаянный. — Дядя Тима поощрительно подмигнул Лешке. — В отряде с ним по смелости никто не сравнится! Джигит!

— А какое образование? — Полковник с еще большей заинтересованностью обратился к Лешке, озадачивая парня: что от него хотят?

Узнав, что девять классов, полковник совсем повеселел;

— Хочешь на офицера учиться?

— А можно? — Лешка тайком ущипнул себя за ногу. Чернобровый представлялся ему тем сказочным Дедом Морозом, который под Новый год щедро раздает подарки из своего необъятного мешка.

— Не только можно, а нужно! У меня запрос из военного училища. — Полковник взял со стола и показал документ.

— А про Виктора Озерова вы, случаем, не слыхали? — осмелев, но как-то меланхолично полюбопытствовал Лешка, хотя очень хотел встретить своего друга детства. Может быть, он здесь, в Геленджике?

— Кто такой? Что-то не припомню.

— На писателя учился.

— Про такого писателя не слыхал.

— А про Сергея Зовицкого?

— А это еще какой Сергей?

— Тоже наш, новороссийский. По немцам с водокачки палил из пулемета, когда они город брали. Снаряд угодил в водокачку, разнес в пух и прах, сам видел. Погиб или живой остался Зовицкий, не знаю. Геройский был парень.

— Про такого героя слыхал. Послали учиться на офицера. Ты, Алексей Прасолов, тоже учись. Воевать придется еще долго!

Чернобровый полковник передал Лешку в руки своего адъютанта, попросил подготовить направление в училище и отпустил партизан. Арбуз поскучнел. Расставаться с Лешкой не хотелось, столько раз вместе испытывали судьбу, смотрели смерти в глаза, так сблизились и побратались. Но Лешка сразу стал какой-то невнимательный, отдалился, почужел.

— Через полгода, гляди, будет нами командовать, — сказал дядя Тима, когда все трое вышли во двор.

Лешка ухмыльнулся, но промолчал, утаивая переполнявшее его счастье, уже веря в новую свою жизнь, похожую на синее заманчивое окно в белых облаках, расступившихся над морем.

Тучи прошли, солнце ярко светило, дул легкий приятный ветерок. Издали донеслись три орудийных выстрела подряд, воспринятые Лешкой как праздничный салют, но уже в следующую минуту взгляды людей на берегу тревожно обратились к морю. По кромке горизонта чуть заметными силуэтами двигались два истребителя между вздыбленной от взрывов воды. В них палили, и они отвечали. Дуэль разгоралась. Совсем близко сзади ударила тяжелая береговая батарея, закладывая уши, и снаряды с воем унеслись в синюю даль.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

1

Кирзачи толкут горячий песок, и пыль оседает на желтых колючках по обочине дороги, на засохших арбузных корках, оставленных кем-то на привале. Из-за глинистых косогоров зеленоватым окном проглядывает Волга. Окунуться бы в ней как есть во всем обмундировании, смыть с себя въедливые пот и пыль, но из строя не выйдешь, да и Волга далеко. И солдаты тоскливо обозревают спаленную солнцем степь. Когда-то в эту пору по ней сновали машины и подводы, как обычно в уборочную страду, а теперь вокруг безлюдье, редко пропылит грузовик, только в небе беспрерывно рокочут самолеты, наши и немецкие. И почему-то получалось так, что, когда появлялись немецкие, наши куда-то исчезали, о чем с неудовольствием ворчали солдаты. Они с опаской задирали головы, гадая, не для них ли предназначался очередной бомбовой груз?

— Прива-ал! — пронеслось по расстроенной запыленной колонне. Солдаты уже еле переставляли ноги и шумно повалились в сухую траву, звякая котелками и саперными лопатками. Все же, несмотря на усталость, трое сбросили с себя скатки, подались к бахче. По всему бугру, как выставленные напоказ, лежали арбузы. Хромой сторож заметил в бурьянах солдат, пошел им навстречу, размахивая палкой и что-то крича. Он не успел приблизиться, как налетчики удрали вороватой трусцой, каждый держа под мышками по два арбуза. Сторож не стал преследовать, пожалел солдат.

Месяц назад курсанты Второго астраханского военно-пехотного училища были экипированы по-походному, построены на плацу для зачитания приказа о присвоении сержантских званий и отправлены на пополнение 13-й гвардейской стрелковой дивизии, формировавшейся под Камышином. До лейтенантов не доучились совсем малость. Но к Сталинграду подступили немцы, на фронте создалось критическое положение, и командование пошло на эту жертву.

В маршевый батальон попал Костя Киреев. Он был сильно обеспокоен и подавлен, все время спрашивая себя: «Как же так получилось? Это ужасно! Ужасно!»

Переживал он не оттого, что попал в маршевый батальон — никак не мог примириться с бедой, постигшей семью, о чем он узнал перед самой отправкой на фронт.

Вот как все произошло. Поздней осенью прошлого года Костю с перебитыми ногами вынесли из окружения, положили во фронтовой госпиталь, откуда после операции, как тяжелораненого, отправили в глубокий тыл, в город Киров на Вятке. Он написал письмо в Новороссийск всем

знакомым, каких помнил адреса, и узнал, что жена с дочерью в Белой Калитве на Дону. Списался, и Нина тотчас приехала в Киров.

Дочь она оставила на попечение Тоне, не уверенная, что на Севере, где с продуктами намного хуже, чем на Дону, девочке будет лучше. К тому же Тоня полюбила трехлетнюю шаловливую Катеньку, тетешила, нянчила, как все девушки в ее возрасте, уже мечтающие о материнстве.

Костя поправлялся, перебитая на правой ноге кость удачно срослась, врач обещал полное выздоровление. Почему-то в войну раны заживали быстрее, чем в мирное время, да и хирурги получили такую богатую практику, что ставили на ноги совершенно безнадежных.

Костя договорился с Ниной, что из запасного полка, куда после госпиталя направляли солдат, он сейчас же напишет. Но в полку его держали недолго, послали учиться на офицера, предполагалось, что в Астрахани Костя пробудет не меньше полугода. Узнав об этом, Нина собралась за дочерью в Белую Калитву, чтобы вместе с нею устроиться где-нибудь поближе к мужу. Они так мало были вместе, что совсем плохо знали друг друга и встречались, как жених и невеста.

Летом по всему югу немцы перешли в наступление, Белая Калитва была оккупирована, и Костя попросил жену повременить, не ехать к нему: как сложится обстановка на фронте, трудно было предположить. И вот он под Камышином, совсем недалеко от малолетней дочери, но между ними — немцы. Чуть ли не каждый день уходят на север треугольнички-письма с тревожными вопросами: «Как же так получилось — Это ужасно!» И теперь, на привале, лежа в траве, Костя мысленно сочиняет Нине письмо, похожее на исповедь. Мало было надежды выйти живым из пекла под Сталинградом, куда, по всем признакам, после формирования отправят 13-ю дивизию. Он об этом умалчивал, не желая расстраивать жену, просто писал, что часть готовится на фронт.

«Дорогая женушка! В училище я встретил ребят, которые вместе с твоим дальним родственником Виктором Озеровым работали на авиационном заводе в Баку. Оттуда этой весной, как ты сама мне говорила, случайно увидев Виктора на станции в Сталинграде, его перевели в Москву. Да, это так. Вот его адрес...»

Костя знал об отношениях между Виктором и Ниной в прошлом, но не мог умолчать о важном известии, может быть, не столько для Нины, сколько для родных Виктора.

«В училище я встретил также земляка Сережу Зовицкого, не знаю, помнишь ли ты его. Он был в школе ступенью ниже, белокурый резвый мальчишка. В школе я как-то не обращал на него внимания, четыре года в то время большая разница, а в училище мы сдружились. Сергей прибавил себе два года, как признался, чтобы взяли в армию, потому что ростом не вышел. Зовет меня дядей Костей, я для него совсем взрослый, фронтовик, с ранениями, хотя сам он уже был в переплете при взятии Новороссийска. Он чудом уцелел, стреляя из пулемета с водонапорной башни, в которую угодил немецкий снаряд...»

Так Костя беседовал с женой за тысячу километров, как если бы она была рядом. Он испытывал удовольствие от этого мысленного разговора, советовался с Ниной, делился радостями и горестями и даже сообщал о каком-нибудь степном цветке или явлении природы, поразивших его, что несомненно и ей доставит радость, как он полагал.

Шурша по траве, к ногам Кости подкатил темно-зеленый арбуз, чуть запотевший, бугроватый, с запекшейся на желтом бочке землей. Вслед за ним — другой, покрупнее, эдак на полпуда. Он сочно треснул, ударившись о первый, и в расселине покраснела сахаристая сердцевина.

— Тяжеленные. Руки оторвал! — Сережа Зовицкий достал из кармана перочинный нож, открыл лезвие, продул и вонзил в арбуз, провел с треском от верхушки до хвоста. — Ребята, налетай! Дядя Костя, вам первую скибку.

Сережа отхватил долю шириной в ладонь, глядя на которую невольно проглотил слюну: такая она была сочная, с черными крупными косточками, немного подвяленная на сердцевине. Тотчас собралось все отделение, и нагретый под солнцем, тепловатый на вкус, но все равно такой желанный в походе арбуз был враз съеден.

«На привале Зовицкий сбегал на бахчу и принес два огромных камышинских кавуна, — вернулся Костя к разговору с женой. — Знаменитые кавуны! Ты, наверное, таких давно не пробовала, Нинок. Откуда взяться арбузам в Вятке? Так хочется, чтобы ты отведала камышинских. Если бы можно было, послал бы тебе целый воз...»

Костя то и дело ловил себя на том, что думает о Нине и тогда, когда его внимание привлечено чем-то, не имеющим к жене никакого отношения. Кто-то пожаловался на старшину, который долго не меняет ему истрепанных шаровар. Двое солдат заспорили о дальности стрельбы полковой артиллерии... А чем сейчас, сию минуту озабочена Нина?.. Ястреб припал к земле, схватил полевую мышь и низко полетел над травой, сильно взмахивая крыльями, набирая скорость. Красиво. Вот бы посмотрела Нина!.. Он приглашал ее в судьи, когда с кем-нибудь спорил, и спрашивал у нее совета, когда надо было предпринять что-нибудь важное, и возобновлял прерванные беседы о дочке, оставленной в Белой Калитве, о которой оба ничего не знали и сильно тревожились. В разлуке, которой не было видно конца, в лишениях солдатской службы, чувство к Нине не притуплялось, а, напротив, росло...

В небе послышался прерывистый гул моторов. Высоко возникли самолеты, напоминая утренние угасающие звезды, четко обозначились звенья по три «юнкерса». Они выстроились в одну линию и, вычерчивая в воздухе дугу, пошли на бомбежку невидимой за бугром цели.

Вовсю били зенитки, небо покрылось белыми облачками разрывов, но «юнкерсы» не нарушили строя и, словно бы равнодушные к снарядам, медленно, величаво падали вниз и выходили из пике, извиваясь подобно шелковой ленте в руках танцовщицы.

Издали казалось, что не сбить такой грузноватый самолет просто грех, но почему-то зенитные батареи стреляли впустую.

— Переправу бомбят, — придавленно сказал Зовицкий, положив руку с арбузной скибкой на колено и забыв о ней.

— Нас тоже не обойдут, когда через Волгу поплывем, — заметил росляга, с красноватым лицом, ростовчанин Анатолий Нестеренко, переобуваясь. Это он выражал недовольство старшиной, не меняющим ему истрепанные шаровары, которые, по правде сказать, были совершенно новы, только на видном месте разорваны о гвоздь и зашиты. Нестеренко всегда был чем-нибудь недоволен и капризно оттопыривал губы. Он был недоволен тем, что находился в подчинении одного с ним звания, да еще года на два моложе Киреева, был недоволен учебным походом в жару, во время которого натер себе пятку, был недоволен ясным, безоблачным днем, когда поминутно приходилось задирать голову вверх в ожидании налета немецких самолетов, вообще был недоволен своей судьбой солдата.

Вскоре после отъезда Виктора Озерова в Москву, на Бакинском авиазаводе было комсомольское собрание и запись добровольцев в армию. Записались многие, но отпустили всего нескольких человек. Анатолий надеялся, что его тоже задержат, но, увы, отпустили. Участие в халхингольских событиях и воинское звание решили его судьбу. Вместе с ним разбронировали и направили в Астраханское училище и Митю Лохматова. Анатолий считал, что на заводе их недооценили, чем тоже был недоволен, жалел, что не уехал с Виктором Озеровым. И такая возможность была, но Анатолий испугался холодного и голодного севера, какой ему представлялась в то время Москва.

Отбомбив, «юнкерсы» улетели.

Все были подавлены тем, как безнаказанно разбойничали немецкие самолеты. Где же наши «ястребки»? Почему не разогнали стервятников?

Анатолий Нестеренко переобул ногу с растертой пяткой, натянул сапоги и подал руку Мите Лохматову:

— Подсоби!

Неуклюжий в походной выкладке, Митя жадно доедал арбуз, но с готовностью, даже лакейски-услужливо, помог Анатолию подняться с земли. Неспроста он старался. Для этого была веская причина, о чем речь ниже.

Раздалась команда: «Становись!» Солдаты, не отдохнув, а лишь разомлев на коротком привале, вяло построились и зашагали к совхозу «Пионер», который был уже совсем недалеко, в трех километрах. Сергей Зовицкий шел рядом с Костей, гордясь дружбой с фронтовиком и стараясь показать, что он не спасует перед немцами.

— Эх, зенитчики! Мазилы. Был бы я наводчиком...

Нестеренко тут же передразнил:

— Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела!

Всего год назад Костя помнил себя таким же несдержанным, похожим на Зовицкого. Как он уже был далек от тех наивных представлений о вой-

не, порою чувствовал себя чуть ли не стариком рядом с Сергеем. И верно, испытанное за последний год равняется иной жизни. Среди курсантов мало было фронтовиков, легкомысленные высказывания Костя слышал постоянно и с горечью думал, что первое же столкновение с противником изменит взгляд на войну необстрелянных солдат. Но он не хотел их разочаровывать или предостерегать. Войне не научишь. Война сама учит.

Батальон растянулся километра на два, и голова уже достигла окраинной улицы с деревянными домами, в то время как хвост оставался еще за бугром. Роты сворачивали каждая на свою улицу, распались на взводы, а те, в свою очередь, на отделения и расходились по дворам.

За неделю формирования солдаты привыкли к своим жилищам, точно к родным. Отделение Кости Киреева шумно ввалилось на убитый глиняный двор с раскидистой старой грушей за плетнем в огороде, местом отдыха в летнюю пору (там, под ветками, в тени, стоял стол, врытый в землю ножками, была разостлана солома, уже сильно умятая, на которой приятно было подремать после обеда).

Одни солдаты привалились к плетню, не в силах что-либо делать после изнурительного похода, другие уже приводили себя в порядок, стряхивали пыль, мылись. Сергей разделся до пояса, подхватил ведро и пошел к колодцу. Митя заговорил с хозяйской дочерью, выбежавшей из дома на шум во дворе. Анатолий Нестеренко не преминул заметить:

— Митя, сначала умойся! Смотри, как Зовицкий плескается у колодца. Вымоется, и разлюбит тебя Галина.

Анатолий взял привычку подтрунивать над Митей, заставляя поверить в какую-нибудь обидную выдумку, умело выбирал минуту и говорил с таким убеждением, так серьезно, что усомниться было трудно. Митя обычно попадался на удочку и становился посмешищем всего отделения. Сам Анатолий смеялся редко, больше ехидно усмехался, приговаривая:

— Знай службу, солдат: плюй в ружье, да не мочи дуло!

Митя побаивался своего злоязычного друга, втихомолку накликал на его голову сто бед, а в лицо льстил в надежде оградить себя от издевательств. Но все напрасно. Анатолий оставался для Мити загадкой: он не отталкивал от себя давнего заводского товарища, принимал дружбу и все услуги серьезно, делал вид, что искренен с Митей в дружбе, а между тем исподволь готовился над ним позабавиться.

Митя был незловив, мягок характером, и Анатолий пользовался этой слабинкой. Впрочем, не один Митя был мишенью для его насмешек. Он мог с любым разыграть комедию, лишь бы нашлась зацепка.

Одно время он привязался к Зовицкому, страдавшему куриной слепотой от недостатка каких-то витаминов. Куриная слепота появлялась и пропадала без последствий. В каждой роте ею болело по несколько человек.

На марше ночью Сергей беспрерывно спотыкался и налетал на впереди идущего солдата.

— Что с тобой? — спросил его Костя, придерживая рукой.

— Да это куриная слепота, — определил Анатолий, давно заметивший странное поведение Зовицкого.

— Он мне все пятки отдал, — пожаловался Митя. — Поводыря ему надо!

— Тебя и приставим! — съехидничал Анатолий. И хотя не было сомнения, что Зовицкий болен куриной слепотой и хотя к нему точно приставили Митю, желчный ростовчанин принялся за свою обычную игру:

— Слышь, Зовицкий, а ты не придуряешься?

— Зачем это ему? — вмешался Митя. — Столько неудобства! Тыкается куда попало, того и гляди, в яму свалится или на столб налетит.

Он втайне радовался, что Анатолий переменял предмет своих язвительных нападок.

— Ничего ты не понимаешь, Митя! Поступит приказ идти в ночной бой, а Зовицкий в сторонку, мол, куриная слепота.

— Я не откажусь, пойду с ротой! — загорячился Сергей, чего Анатолий и добивался.

— Митя, что ли, тебя поведет!

— Поведет!

— Это не до ветра! Признайся: придуриваешься? Никакой куриной слепоты у тебя нет.

— Пошел к черту!

— Ты не бранись.

— А ты не приставай!

Но Анатолий уже вошел во вкус, каждый день, а то и по несколько раз на день заводил нудный разговор, и так своими колкостями извел Сергея, что тот в отчаянии запустил в него подвернувшееся под руку полено. Анатолий едва увернулся, но не рассердился, а дурашливо рассмеялся. Заметив Костю Киреева на крыльце дома, он нарочито вытянулся в струнку и козырнул:

— Товарищ сержант, обратите внимание на рядового Зовицкого. Нервишки пошаливают. Так и до беды недолго.

Костя отвел земляка в сторону и сделал дружеское внушение:

— Слыхал такую поговорку: птиц кормом обманывают, а человека словом? Меньше обращай внимания, он и отстанет. А будешь лезть на рожон, еще больше закуражится. Что ты, не знаешь Нестеренко? Ему дай только повод.

— Я ему морду набью, не посмотрю, что старше. Пусть тогда отправляют меня в штрафную роту! — загорячился Сергей, и было видно, что Нестеренко довел его до белого каления.

Галина, хозяйская дочь, была девка лет двадцати без каких-либо достоинств, правда, станом удалась, а лицом дурнушка, да еще с «приветом», как не преминул съязвить Нестеренко. Она сильно косноязычила, не сразу поймешь, что хочет сказать, поэтому редко от нее можно было услышать слово. И когда заговаривала, лицо передергивалось, кривилось, глаза подмигивали, а левый был заметно меньше правого. Но на безрыбье, как го-



ворится, и рак рыба: отдохнув на формировке, ребята вспомнили, что они молодые, и принялись наперебой ухаживать за хозяйской дочкой. Анатолий лишь презрительно усмехался, вот, мол, нашли цацу.

Больше всех старался Митя Лохматов — тихий, тихий, а тут перещеголял всех и в один из вечеров увлек дурнушку далеко в степь. До сих пор солдатам не удавалось добиться такого расположения хозяйской дочери.

— Ну как? Что? — допытывались они на другой день у Мити.

— Погуляли да вернулись. Что еще?

— Ну да! Рассказывай! Даже не поцеловались?

Митя уверял: просто гуляли, да и то молча. Но солдаты сомневались. Что произошло в тот вечер, осталось загадкой, только Галина вдруг круто поменяла свое отношение к Мите (хоть и дурнушка была, а разбиралась, где хлеб, а где мякина) и предпочла ему Зовицкого, который, увы, был к ней равнодушен. Не нравилась Галина, ничем не привлекала, даже вызывала брезгливость.

Стояли душные ночи с высокой ясной луной, и пролетавшие одиночные немецкие бомбардировщики-патрули черными крестами рисовались в небе. Совхоз они не бомбили, подавались к волжским переправам, навешивали там фонари на парашютах и кружили, кружили, как стервятники, выискивая добычу. Время от времени доносились глухие взрывы бомб. А больше ничто не напоминало войну: кричали петухи, строго отмечая за ночь каждый спень, лениво брехали собаки, изредка спросонья промычит корова и — тишина, покой.

Сергей не мог заснуть в душевной хате, взял шинель и пошел на огород, под старую грушу, лег на солому, глядя в густо усеянное звездами небо, и только смежил глаза, засыпая, как что-то близко зашуршало травой. Смотрит — женская фигура. Сергей даже привстал от неожиданности: не привидение ли?

— Дух... дух-хота, — с трудом выговорила Галина и присела рядом.

Сергей молчал, недовольный ее появлением. Галина тоже молчала, и так продолжалось довольно долго. Сергей чувствовал себя не в своей тарелке, но не знал, что делать. Прогнать? Неудобно. Все-таки хозяйская дочь.

— Прилягу, — сказала Галина как бы сама себе и вытянулась рядом с солдатом, всем своим видом показывая, что он может ею располагать как угодно.

Скрипнула дверь в доме. Во двор вышел Анатолий, тайно, в окно, с любопытством следивший за Галиной, хотел было незаметно подобраться к груше, но кому-то еще не спалось. Это был Костя Киреев, страдавший бессонницей в думах о жене и дочке.

— Видел? — сказал Анатолий, кивая на огород. — Наш больной куриной слепотой с молодой хозяйкой милуется.

— Зовицкий?

— А то кто же! Как ночные занятия, у него куриная слепота, а как с девкой — здоров, все видит!

— Оставь ты парня. Что ты к нему привязался?

— Пусть не придуряется! Я давно к нему приглядываюсь: взаправду болеет куриной слепотой или симулирует?

Утром, когда дневальный в заплечном термосе принес завтрак и солдаты с котелками расселись под грушей, переговариваясь и перешучиваясь, Анатолий постучал ложкой по столу, прося внимания. Все притихли в предвкушении очередного домашнего представления. Кое-кто поджал губы, сдерживая улыбку.

— Слышь, Митя, ты, как дурачок, водишь по ночам Зовицкого за руку до ветра, а ведь он притворяется, никакой куриной слепоты у него нет! Не веришь? Своими глазами этой ночью видел, как шастал по огороду. Эй, Зовицкий, верно я говорю? Молчишь? То-то! И еще тебе скажу, Митя: другой у него теперь поводырь. В юбке!

Солдаты с любопытством обратились к Сергею. Он склонился над котелком, сбивчиво забормотал:

— Не знаю сам отчего... прошла у меня куриная слепота. Как и не было. А может, от луны светло было. Вышел из хаты: все видно.

— Вишь, чего придумал! От луны светло, — усмехнулся Анатолий, стараясь обратить внимание солдат на это оправдание. — Вот какой фрукт! Митя, слышишь, у тебя, зрячего, слепой отбил Галину. Как это понимать?.. Зовицкий, ты лучше признайся, что притворялся. Никакой куриной слепоты не было. Симулировал...

У Сергея лицо из красного сделалось белое. Он швырнул свою ложку в котелок.

— Симулировал! Да, симулировал! Никакой куриной слепоты у меня не было! Дурачил всех! И тебя — тоже! Ну что — доволен?

Анатолий прикрыл лицо котелком, боясь, как бы Сергей не запустил в него кашей.

— Теперь мы будем знать, что ты за гусь! — сказал он, торжествуя.

Костя хмуро посмотрел на своего земляка, и это вконец расстроило Зовицкого. Он выбежал из-за стола, не закончив завтракать. Анатолий добился-таки своего — унизил его перед солдатами на веки вечные. Все теперь посчитают Зовицкого притворщиком, лгуном, хотя он и сам не знает, почему вдруг стал зрячим. Как бы хотел он сегодня же, сию минуту отправиться под Сталинград, на самую передовую! Вот тогда солдаты сразу поняли бы, кто притворяется, а кто нет, кто храбр, а кто трус. И Сергей живо вообразил, как Нестеренко делается ниже травы, тише воды. Это он в тылу хорохорится, а на передовой станет кланяться каждой пуле, и Сергей тогда покажет на него пальцем, презрительно усмехнется: «Посмотрите на Анику-воина! Того и гляди, поползет на карачках. Не заболел ли куриной слепотой?» Мстительно-насмешливая улыбка озарила лицо паренька, и облегченный вздох вырвался из его груди.

Понимая, что творится в душе Сергея, Костя отправился его искать и нашел под сараем, на куче огородной суволоки. Он чертил хворостинной

на земле узоры и что-то шептал, кривя губы. Костя присел рядом, положил на плечо руку. Сергей порывисто к нему потянулся.

— Ты веришь мне, дядя Костя?

— Конечно. У Нестеренко дурной характер, все это знают, и ты своей вспыльчивостью лишь даешь повод для насмешки.

— Нестеренко недоволен, что не получил звание офицера. Оттого и злой! — горячо, с трепетно раздутыми ноздрями заговорил Сергей. — Признаться вам, я собирался стать полярником, плавать по Северному морскому пути и после войны, если останусь жив, пойду учиться на капитана.

— Я сам готовился к морской службе, да ничего из этого не вышло, — вздохнул Костя.

— Да? А вы знаете, почему «Челюскин» застрял во льдах? Вы над этим задумывались? На мой взгляд вся беда в том, что Воронин взял курс... — И он вновь принялся чертить хворостинкой на земле острова, очертания берегов Северного Ледовитого океана и путь ледокола «Челюскин».

Разговоры Зовицкого о мирных делах, таких смутных сейчас, изумили Костю, даже стало стыдно за свои думы все об одном и том же — о фронте, о дочери, о жене.

— Сделать безопасным Северный морской путь довольно просто, — с наивной горячностью продолжал Сергей. — Надо на всем его протяжении опустить на понтонах на определенную глубину трубы с отверстиями и накачивать в них воздух. При его циркуляции вода очистится ото льда.

Зовицкий излагал свою полярную теорию, мало понятную Косте, который и не вникал в нее, а с любопытством разглядывал сбоку нежно очерченное красивое юношеское лицо.

«...Сережа еще ребенок, — мысленно обращался Костя к жене. — Мне его жалко, как нашу дочурку. Порою он мне кажется сыном, хотя разница в возрасте у нас небольшая. И, как за сына, я боюсь за него, Нинок. В первом же бою по неопытности, по своей горячности и сильному желанию показать себя храбрецом он погибнет...»

## 2

Среди бела дня батальон получил приказ переправиться в село Николаевку, на левый берег Волги, где находился штаб дивизии, и все поняли, что наступил давно ожидаемый день. Прощай навсегда совхоз «Пионер» с дурнушкой Галиной, сочными полосатыми арбузами, сильно поредевшими на бахче от солдатских набегов! Прощай, старая груша в огороде, прощай, крестьянская хата, пропахшая ситным хлебом!

С бугра открылся город Камышин на берегу Волги. Костя в роте автоматчиков шел со своим отделением впереди колонны, поглядывая на почерневшие деревянные домики, вишневые сады, немощеные улицы. Мостовые тут были и не нужны. Дождь прошел — сухо. Кругом песок.

Широким устьем заблестела речка Камышинка при впадении в Волгу, но камыша на ней и в помине не было, берега лежали голые, заставленные лодками и баркасами. Камышинку хотел использовать Петр Первый при соединении Волги с Доном, и на подходе к городу солдаты видели Петров вал, оставшийся от земляных работ двухсотлетней давности.

Центр городка был застроен кирпичными домами, на одном старом четырехэтажном уцелела дореволюционная надпись: «Реальное училище». Неподалеку от него, в зеленом парке расположился батальон в ожидании переправы. Через Волгу далеко влево на том берегу виднелось село Николаевка, куда держали путь солдаты.

— До ночи просидим, это точно, — заверил Анатолий, примащиваясь спиной к дереву и развязывая тощий кисет. — Эх, хе, хе... Солдат, что муха: где щель, там и постель, где забор, там и двор... Митя, давай дружить. То я к тебе, то ты меня к себе. Табачку не найдется, а то у меня бумажки нет и спички отсырели?

— Надо меньше пить, да свой курить! — несмело отпарировал Митя, опасаясь нового подвоха: настроение Анатолия так же трудно было предугадать, как и прилет немецких «юнкерсов».

— У меня на одну сигарку осталось, — посетовал Нестеренко.

— И у меня не больше.

— Тогда давай одну на двоих закурим. Сперва из твоего табаку, а потом из моего. Чего скис? Ладно, давай поконаемся. По честному.

— Ну давай, — без охоты согласился Митя, уверенный, что останется в проигрыше.

— Значит, так... — Анатолий повернулся лицом к Мите и, кладя ладонь то ему на грудь, то приставляя к своей груди, стал высчитывать: — Аты-баты, шли солдаты, аты-баты, на базар, аты-баты, что купили, аты-баты, самовар. Аты-баты, сколько стоит, аты-баты, три рубля. Аты-баты, кто выходит? Аты-баты, ты да я! — Ладонь указала на Митю. — Ну вот, а ты боялся. Мне выпало закуривать первому... Да сними скатку. Загорать нам здесь до ночи.

Анатолий, чтобы совсем не оттолкнуть от себя Митю, время от времени подсовывал ему пряник.

В батальоне и особенно в роте автоматчиков донцы преобладали — из Новочеркасска, Красного Сулина, верховых и низовых станиц, самого Ростова. Среди них выделялся Митя Лохматов с близко поставленными белесыми глазами. Они почти сливались с молочно-розоватой кожей лица, которую не взял и летний загар, лишь нос облупился.

— Да неужто? — замигал Митя белесыми глазами.

— Чего? — не понял Анатолий, так как вопрос прозвучал минут пять спустя после его замечания насчет долгого привала.

— Неужто до ночи загорать?

— А ты захотел под бомбежку, едрена палка? В Камышине, куда ни кинь камень, немецкие наводчики. Только подойдем к переправе, «юнкеры» тут как тут, дадут чесу!

— Если дружно ударить из автоматов, — задорно воскликнул Зовицкий, лежавший неподалеку в траве, — можно сбить!

— Это тебе не по воронам стрелять! — огрызнулся Анатолий, но позвать над Зовицким, как он предполагал, не удалось: раздалась команда строиться, и батальон повели к переправе среди бела дня, чего никто не ожидал.

На самом ли деле город кишел немецкими наводчиками, про которых тогда много говорили, или это было просто совпадение, но Нестеренко оказался прав: паром и баржа с солдатами еще не достигли середины реки, как послышался знакомый прерывистый гул. Все задрали головы, шаря по небу встревоженными глазами. Казалось, что грузились медленно (уже давно могли быть на том берегу), а плыли и того медленнее. Перевоз будто стоял на месте. «Быстрее, быстрее же!» — каждый мысленно торопил тех, кто вел паром, и готов был сам броситься к ним на помощь.

Затягвали зенитки — дальние, ближние, и еще глаз не обнаружил самолетов, а небо уже покрылось облачками разрывов, точно вспугнутой стаей белых голубей.

— Вон они! — крикнул Зовицкий, тыкая автоматом в небо. — Раз, два... девять! Десять «юнкерсов»!

Самолеты не спеша, словно бы с презрением к зениткам, как прохожий к надсадно лающей из подворотни собаке, выстроились в цепочку и, заваливаясь крыльями набок, посылая на землю солнечные зайчики, понесли в пике.

Солдаты в оцепенении стояли плотно друг к другу, некоторые с закрытыми глазами. Зовицкий что-то прокричал (это было видно, но не слышно из-за душераздирающего рева моторов), приставил автомат к плечу и нацелился прямо в лоб падавшему на него «юнкерсу». Самолет черной тенью накрыл, придавил смельчака, и Сергей вобрал голову в плечи, зажмурился. Открыл глаза, обернулся. «Юнкерс» благополучно вышел из пике, а Сергей остался жив, но в следующую минуту был оглушен грохотом, поднявшимся вокруг. Палуба ушла из-под ног. Паром сильно качнуло. В небо взметнулась стена воды и обрушилась на солдат. Дальше ничего нельзя было понять: грохотало, выло, стонало, казалось, разверзлась бездна и паром провалился в нее. Сергей обхватил голову руками, ожидая конца, забыв про автомат.

Внезапно все смолкло. Был слышен плеск воды о борт парома. Издалека, со стороны Николаевки, донеслось мычание коровы. Солдаты пришли в себя, зашевелились, оглядывая друг друга и удивляясь, что все были целы, и баржа, отчалившая от берега позже парома, плыла позади как ни в чем не бывало.

— Поперлись... не могли до вечера подождать, — проворчал, но не очень сердито Анатолий, мокрый до нитки, словно побывал под ливнем. Солдаты отряхивались, оправлялись, посмеивались:

— Не жарко будет маршировать!

— Ха-ха-ха! — полетело с баржи, обгонявшей паром метрах в пятидесяти.

Митя в недоумении разинул рот.

— Чего они там?

Воздух уже сотрясался от поголовного хохота, присвистывания и притопывания.

— Тю, сбесились! — Недоумение на лице Мити сменилось тревогой: он никак не мог понять причину такого повального веселья.

— Не к добру гогочут, — мрачно изрек Анатолий.

— Над фрицами смеются, — сказал Зовицкий, улыбаясь. — Сколько сбросили бомб и все мимо. Мазилы!

На хохочущую баржу вначале смотрели с беспокойством, а потом и сами захохотали.

Костя удивился, как молодцевато, без паники, солдаты перенесли бомбежку, никто даже попытки не сделал броситься в воду, а Сергей держался прямо-таки герою.

Русоволосый морячок на речном буксире вышел из машинного отделения на палубу с гармоникой и грянул разудалые саратовские переборы. Мелодия звонко, напористо разнеслась по Волге, и перевоз, казалось, пошел быстрее. Вот уже и берег — отлогий, с протоками, озерами, в зарослях тальника и вербы. До Николаевки еще нужно было идти зеленой урмой километра полтора. Село без садов на солнцепеке далеко вытянулось по берегу. Дома все деревянные, хотя лесов поблизости не было, одна голая, ровная, как стол, степь. Лес на строительство шел тот, что в изобилии сплавливался с верховьев Волги и Камы. Когда-то Николаевка была крупным перевалочным хлебным пунктом, населенная богатыми купцами. После коллективизации село вдвое уменьшилось, но и теперь еще было большое. Батальон свободно расквартировался.

Сергей Зовицкий, ходивший куда-то по поручению командира роты, вернулся возбужденный. С порога задорно выкрикнул:

— Эй вы, сони! Не знаете, что на свете делается!

Анатолий Нестеренко перестал умищать в головах вещмешок (отделение лежало на полу впокатную) и заинтересованно обернулся. Все солдаты уставились на Зовицкого, кроме Мити Лохматова. Он уже спал, храпявая — пушкой не разбудишь.

— По твоему лицу можно подумать, что второй фронт открылся, — съязвил Анатолий. — Что ты там такое важное узнал? А вспотел, будто десять немцев за тобой гнались.

Но Зовицкий не удосужил его вниманием, даже ухом не повел, обращаясь преимущественно к Косте Кирееву, занятому просмотром заносенных портянок. Сержант оставил портянки: вид у Зовицкого был такой, что, казалось, сейчас он действительно сообщит что-то необычное, если и не об открытии второго фронта союзниками, то все равно что-нибудь занимательное для солдат.

— Иду по улице. Народ в клуб валит, — говорил Сергей, усаживаясь на табуретку и вытирая на красном лице пот тыльной стороной пилотки, словно впрямь побывал в жарком переплете. — Спрашиваю: что в клубе? Почему такое столпотворение? «Встреча с Шолоховым!» — отвечают...

Разочарованный Анатолий повел плечами: вот невидаль! — и вытянулся на разостланной шинели, но не отвернулся: авось услышит что-нибудь любопытное.

— Мой друг Виктор Озеров много рассказывал про Шолохова, бывал в станице Вешенской. Я, конечно, пробрался в клуб: как упустить возможность увидеть живого писателя, да еще такого знаменитого!.. Зал уже был заполнен до отказа. На сцене в президиуме человек пять. Всматриваюсь, какой из них Шолохов, никак не пойму. «А где же Шолохов?» — спрашиваю соседку: в клубе почти одни женщины. «А вон, говорит, второй слева за столом». Гляжу и глазам своим не верю, не такого я представлял себе Шолохова. Сидит маленький светловолосый человечек и поглядывает в зал с прищуром, чуть насмешливо. На нем военная форма, издали не видно, какого он звания, но, похоже, полковник. А я-то воображал здоровяка, метра два ростом! Что у него приметное, так это высокий лоб, кажется, не один, а два вместе. Семья Шолохова сюда, в Николаевку, эвакуировалась. Вот он и приехал проведать...

— Про второй фронт что-нибудь говорил? — допытывался Анатолий, которого мало интересовали семейные дела Шолохова, да и сам он тоже: сержант читил одного поэта Есенина, знал наизусть «Пускай ты выпита другим...» и еще кое-что в этом роде, но дальше его знакомство с литературой не шло.

Сергей делал вид, что не слышит Нестеренко:

— Женщины наперебой спрашивают, как на фронте, много ли девушек, и как они воюют. «Воюем плохо, — отвечал Шолохов. — До Волги немца допустили, куда хуже!.. Есть на фронте и девушки. Немец нажмет, бегут вместе с мужиками, но знал одну геройскую — сорок раненых вынесла с поля боя...»

— Так что же он про второй фронт — умолчал? — не унимался Нестеренко, сердясь на Сергея за упорное пренебрежение его персоной.

— Насчет второго фронта, когда его спросили, сказал: «Что я вам могу ответить, если сам Сталин не знает, когда откроется?»

— Ну вот. Надейся только на свой горб, — сразу поскущел сержант и, больше не интересуясь рассказом Сергея, повернулся на бок и накрыл пилоткой лицо.

Сергей лежал с открытыми глазами. Сон не шел. Мысли и видения бежали несвязной чередой: вспоминались Виктор Озеров, родной город, черноморское детство. Но тут же память возвращала к сегодняшнему дню. Вот он лежит на шинели среди солдат в чужой, тускло освещенной хате: фитиль в лампе прикручен, пахнет жженой газетой, которой склеено треснувшее стекло. Странно. Писатель Шолохов в какой-то Николаевке.

Далекое детство, далекий Виктор Озеров и близкая война. А что с Сергеем Зовицким будет завтра? Какой ночлег его ждет?

\* \* \*

В эту ночь и последующие дни круговорот событий захлестнул, понес в своем стремительном потоке, не давая опомниться. Прикатили откуда-то грузовики-фургоны с потушенными фарами, роты подняли по тревоге, погрузили и повезли на юг, вдоль Волги. Первые километры ехали в глубоком молчании и напряжении, словно вот-вот произойдет встреча с противником, и каждый рисовал в своем воображении этот бой не на жизнь, а на смерть, и как он будет себя вести в штыковой атаке или в поединке с танками. Но проехали час, второй без происшествий, вдоль дороги тянулась бесконечная степь, темная и глухая. Митя Лохматов высунулся наружу и едва не вывалился на дорогу, его схватили за ноги и втащили в кузов: машину неожиданно встряхнуло на колдобине. Это происшествие вызвало смех, пошли шутки, солдаты оживились, на одном грузовике даже запели «Катюшу», хотя все понимали, куда они едут и что их ждет впереди. Короткое оживление тут же сменилось прежним гнетущим молчанием.

Появились невысокие холмы, где-то близко угадывалась река, машины въехали в заросшую тальником урему и остановились. Отсюда ясно слышалась артиллерийская канонада, — стрельба учащалась с рассветом, и вот уже воздух сотрясаясь от сплошного гула боя, в котором различались басовитые аккорды бомбовых взрывов и надрывный, взметнувшийся на ноту выше, рев выходящего из пике самолета.

В сыроватом лесу Ахтубинской поймы стрелковый полк построился буквой «П». На середину, в сопровождении двух автоматчиков, вынесли гвардейское знамя. Началась присяга, произносимая хором вслед за читавшим ее полковником, целование знамени и весь церемониал клятвы на верность Родине.

Гудели шмели. Под ногами трава пестрела белыми зонтиками тысячелистника. Костя в каком-то отрешении стоял в строю, под деревьями, смотрел на пышную пойменную природу так, словно прощался с ней навсегда и хотел запечатлеть в памяти каждое дерево, каждую былинку.

С наступлением темноты роты снова погрузились в машины. Ехали недолго — до Красной слободы. Сквозь лес просачивалось кровавое зарево над Сталинградом, розовела листва на деревьях, местами иссеченная осколками или увядшая на срезанных ветвях, то и дело попадались свежие бомбовые воронки, отчетливо доносилась пулеметная и автоматная пальба. В лесу было совсем светло и от луны, и от пожаров в городе.

Солдаты получали новенькие, блестящие вороненой сталью ППШ с рожковыми магазинами. На земле стояли раскрытые оцинкованные ящики с патронами и деревянные с гранатами, — бери сколько унесешь!

Заряжали магазины, набивали патронами подсумки и вещевые мешки, засовывали в карманы гранаты.



Вблизи передовой линии люди незаметно для себя менялись, поубавилось строевой выправки, смолкли шутки, говорили коротко, вполголоса. Приглушенно произносились команды, роты строились и уходили к переправе. Как-то сразу все приобрело другую окраску: и на людей, и на природу легла мрачная тень фронта.

Костя вышел на опушку леса, чувствуя легкий озноб, знакомую уже внутреннюю напряженность. Хотелось что-то делать, не стоять на месте. От реки тянуло сыростью вперемешку с гарью. Берег ясно очерчивался в своих извилинах, блестя выплескивающейся на песок волной. Было похоже на раннее утро, хотя до рассвета оставалось полночи.

К пристани подвинулся темный паром, перегруженный людьми. По сходням гуськом потянулись раненые, одни шли сами, поддерживая здоровой рукой простреленную, или прихрамывая, опираясь на палку, других вели или несли на носилках.

С того берега прилетел снаряд и разорвался в реке. Хрусталем засверкала под луной, опадая, вода. Вслед за тем два снаряда разорвались на плесе, рядом с пристанью. Здоровые попадали на землю, но раненые продолжали цепочкой брести к лесу.

«Вот оно... началось. Теперь уже, пока не ранят или не убьют...» — подумал Костя, возвращаясь к своим солдатам, невольно сутулясь при каждом разрыве снаряда.

— Первый батальон, на посадку! Живей! Живей! — резанул предрасветный воздух повелительный голос.

Зашуршал под сапогами песок, солдаты заторопились к пристани. И вот уже отчалил паром, за ним — самоходная баржа. Вой и грохот снарядов не смолкали. В темноте, за густым тальником, в котором залегла в ожидании своей очереди рота автоматчиков, не видно было, есть ли жертвы. Но вроде бы переправа проходила благополучно. Полк почти весь был уже на той стороне, покатали на паром пушки и тяжелые минометы. Рота автоматчиков томилась в тальнике, не понимая, почему нет команды на переправу.

Посветлел восток — разгорался ясный, с утренним холодком и густой росой на травах денек. Обозначился противоположный берег, еще в сумерках у воды и окрашенный зарею на взгорье, дома с пустыми глазницами окон, мертво смотревшими на Волгу.

— Автоматчики, грузиться! — стеганул голос, как пулеметная очередь. Солдаты замешкались, словно не веря своим ушам, не зная, строиться или идти скопом.

— Живей! Живей! — повелительно прокричал все тот же голос.

— Ну вот, дождались дня! Не могли ночью переправить. — Анатолий зло сплюнул. — Прямо какое-то вредительство!

— Не мели! — одернул его Костя. — Нас держали на случай, если немцы сбросят полк в Волгу. Для поддержки. Понимать надо!

Костя сказал это наобум, сам теряясь в догадках, почему рота автоматчиков пролежала до утра в тальнике.

— Поймешь тут! — Анатолий поправил на груди лямку вещмешка и, чуть сутулясь, зашагал к пристани. Тальник ожил, заколыхался, затрещал ветками. Солдаты высыпали на берег, словно потревоженная утиная стая. Казалось, что рота далеко не вся доберется до причала: по дороге дважды приходилось приземляться, один снаряд разорвался совсем рядом, обсыпало песком, просвистели осколки, но никого не задели.

На палубу буксира еще прыгали с ходу последние солдаты, а капитан уже дал команду отчаливать. Пузатый напористый пароходик быстро набрал скорость, разворачивая зеленоватую гладь реки, как плуг целину. На душе полегчало: авось плавание обойдется без жертв, для этого надо всего-то каких-нибудь десять—пятнадцать минут. Костя и Сергей договорились выручать друг друга в беде, если что случится, и держались вместе. Вот уже середина реки, а немцы будто не видят, что делается перед их носом. Еще немного, и буксир войдет в зону, недоступную для артиллерии. Но тут справа по борту взметнулся фонтан воды, вслед за тем поднялись сразу четыре, обдав водой солдат, как из брандспойта. Наверное, опешившие в первую минуту немцы при виде переполненного солдатами буксира среди бела дня опомнились и перенесли на него весь огонь.

— Фриц хочет нас выкупать! Только у него ничего не выйдет, — только успел прокричать сквозь грохот снарядов Зовицкий с мокрым от брызг лицом, как буксир сильно трянуло, солдаты попадали друг на друга: снаряд угодил в нос. Следующий попал в рубку, и она загорелась. Еще один разворотил борт. При каждом попадании буксир вздрагивал, останавливался, точно садился на мель, но снова продолжал двигаться, хотя по всем признакам должен был уже затонуть. Палуба окуталась дымом. Отовсюду слышались крики о помощи, стоны. Буксир сильно накренило на левый борт.

— Тонем! — прокричал кто-то истошно.

Костя лежал ничком, нащупал руку Сергея, крепко стиснул:

— Жив?

— Живой!

— Можешь плавать?

— Я же черноморец!

Искалеченный буксир кое-как достиг мертвой для артиллерии зоны. До берега, крутого и обрывистого, с узкой песчаной кромкой у самой воды, оставалось метров пятьдесят. Волга здесь была глубокая, с сильным течением. До сих пор плывший как бы по инерции, с заглушенным мотором буксир совсем остановился, и его стало сносить вниз по реке.

— Прыгать в воду! Оружия не бросать! — раздалась команда.

Костя сбросил скатку, вещмешок, сапоги. Все это связал в один узел. То же сделал Сергей. Оба разом бухнулись в холодную, но еще терпимую воду. Плывая боком, каждый греб одной левой рукой, держа автомат и одежду в правой. Точно так же мальчишками они тайком переправлялись с берега на мостки купальни, чтобы не платить деньги за вход. Река кипела от барахтавшихся в ней тел. В то время как некоторые солдаты уже вы-

брались на берег, а другие добирались к нему, выбиваясь из последних сил, третьи, не умея плавать, суматошно бегали по палубе, в отчаянии прыгали, как были, в полной экипировке, в воду и тут же захлебывались. Спасать их было некому.

Командир дивизии, генерал Родимцев, в бинокль наблюдая из Красной слободы трагическую переправу, нервно покусывал губы и, когда буксир пошел на дно, стукнул кулаком по брустверу окопа:

— Как не было роты автоматчиков!

\* \* \*

У берега барахтался Анатолий Нестеренко с вещмешком за плечами и надутой пузырями плащ-палаткой, которая его держала на воде. Костя зашел по пояс в реку, протянул ему руку и вытащил на отмель.

— Автомат бросил, — сказал он с укором. — Чем воевать будешь?

— Какой автомат? Сам чуть не пошел на дно.

— А вещмешок при тебе.

— Не успел снять. Да и харч там. Когда теперь до кухни доберемся?

— Он принялся отжимать одежду, ворча: — Автомат что! Автоматов тут сколько угодно, лишь бы стрелять кому было.

Обдувал по-утреннему свежий ветерок, но мокрые солдаты не чувствовали холода: никак не могли прийти в себя от пережитого. Все уцелевшие уже выбрались на берег, и Костя окликал своих:

— Лохматов?.. Нету. Сидоренко?.. Нету. Попов?.. Нету.

— Вон Митя Лохматов идет! — Зовицкий показал на босого солдата, который брел по песчаной прибрежной кромке, пошатываясь и громко икая.

— Воды наглотался... Как не утонул, сам не знаю. Плаваю я плохо, а течение сильное...

Митя икнул, выбросив изо рта струйку, как из резиновой груши.

Костя предполагал, что в лучшем случае спасется половина людей, а берег сплошь заполнили солдаты, правда, безоружные, в одном нательном белье. Генерал Родимцев ошибся: уцелело семьдесят автоматчиков из ста.

— Что же мы теперь будем делать без оружия, голые? Немцы перебьют, как куропаток! — Нестеренко с опаской, задрав голову, поглядел на высокую кручу, словно там могли с минуту на минуту появиться немцы. А были они в самом деле недалеко, по слухам, в районе вокзала, всего с километр от берега. Но что творилось на передовой, никто не знал.

Солдаты набились в дощатый склад на пристани, пропахший соленой рыбой, с горами пустых ящиков и бочек, в которых когда-то была именитая волжская тарань, рыбец, каспийская вобла, а теперь лишь белели остатки соли да чешуя.

До темноты нельзя было подниматься в город, и автоматчики, слоняясь по складу, наткнулись на мешок вяленой рыбы, затерявшейся среди

старой тары. Отвели душу жирной, малосольной воблой. А в городе беспрерывно грохотал бой, временами ожесточаясь, и тогда казалось, что вот-вот на берег выбегут немцы.

Усиленно была наша тяжелая артиллерия из-за реки, с визгом проносились над головой снаряды: залп батареи и тут же разрывы.

Солдаты слушали пальбу, томясь от безделья, в полном неведении, долго ли пробудут на складе раздетые и безоружные. Но интенданты нашлись и на этой стороне, принесли всю необходимую амуницию.

Солдаты переделались в сухое, получили недостающее оружие и боеприпасы. Пришла и кухня.

В темноте покарабкались вверх, пробираясь среди изогнутых вывороченных трамвайных рельсов, спутанной арматуры на развалинах домов, среди воронок от бомб, куч кирпичича, пригибаясь под осколками близко рвущихся снарядов, налетая друг на друга, падая, и все бегом, бегом. Зеленый свет ракет выхватывал из темноты то пролом в стене, то обрушенное перекрытие, то железобетонную глыбу на двадцатиметровой высоте, которая чудом там держалась. Ни живого места, ни уцелевшего дома... Прохладная сентябрьская ночь показалась душной.

Попрыгали в окопы, натываясь на спящих. Но, пожалуй, никто не спал.

— Что за народ?

— Никак смена.

— Эх, отдохнем, братцы!

— Держи карман шире... Отдохнешь, когда в ящик сыграешь. Братцы славяне, закурить у вас не найдется?

— Все курево в Волге осталось.

— Как это?

— А так, что вплавь к вам добирались.

Костя удивился малому числу солдат в окопах. Шли по пустому городу, и тут людей кот наплакал.

— А мы сидим под кручей, ничего не знаем! — возмутился Анатолий Нестеренко. — Досиделись бы, пока немец не накрыл, как в мышеловке... Как же вы тут воевали? — обратился он к солдату, жадно втягивающему дым сигарки, спрятанной в ладони: у кого-то из вновь прибывших все-таки нашлась махорка.

Огонек озарил заросшее, чумазое лицо. Сидел солдат на корточках, держа между ног винтовку и упираясь спиной в стенку окопа.

— Было много. За два дня от роты ничего не осталось. Сержант командует. Лейтенантов всех перебило.

— А если бы немец попер?

— Не робеем, а оробеем, так уйти успеем! — засмеялся солдат и серьезно добавил: — У него, слышь, моторы загудели. Танки подошли. Вы вовремя подоспели.

Анатолий многозначительно посмотрел на Костю, вот, мол, в какой переплет попали. Да, вовремя прибыли автоматчики, хотя и добирались

сюда — надо же! — целые сутки, тогда как в другое время на это не ушло бы и часа.

Осмотрелись. Впереди лежала площадь с рощицей и фонтаном посредине. И рощицу, и фонтан, и темневшее за ними полуразбитое здание вокзала занимали немцы.

— За этот вокзал, будь он неладный, вся рота полегла. — Солдат докурил сигарку, сплюнул в ладонь, затушил огонек, окурок осторожно завернул в клочок газеты и спрятал в карман гимнастерки. — Три раза брали и три раза сдавали... Вон там, возле фонтана, пулемет режет, не дает головы поднять. А на вокзальной крыше — снайперы. Днем носа не показывай из окопа. Предстоит вам, братья славяне, вокзал отбивать у немцев. Это как пить дать. Может, сегодня же!

— Почему, едрена палка, не удержали? — сердито спросил Анатолий.

— Удержишь, когда на тебя поперет тьма-тьмушая. И все пьяные.

— Пьяные?

— А то нет. Шнапсом за версту разит.

### 3

Прав был солдат: перед рассветом рота автоматчиков поднялась в атаку. Втихаря, без единого выстрела, полусогнутые фигуры побежали на темную громаду вокзала, иногда подсвечиваемую отблеском дальних ракет.

Курсанты поднялись дружно, лихо, с решимостью захватить немцев врасплох. Миновали фонтан. Костя и не заметил, как расправились с пулеметчиками: они не успели сделать и одного выстрела. Вблизи вокзала разом поднялась оглушительная трескотня, но, кажется, одних наших автоматов. Костя тоже стрелял и кричал, раздирая глотку, пока не налетел на груды кирпичей. Он сильно ушиб ногу, но боли не почувствовал, вскарабкался вверх, оскальзываясь, падая то на колени, то на руки, и ввалился в проем разбитой снарядом стены. Шагнул по мягкому и только потом сообразил, что по трупу. Гулко загрохотали сапоги в огромном пустом зале, вымощенном метлахской плиткой. У открытой двери Костя трясущимися руками, боясь промедления, словно немцы могли захватить его врасплох, сменил в автомате рожок и послал длинную очередь вслед убегающим темным фигурам на полотне железной дороги.

Дальше автоматчики не пошли. Левое крыло вокзала и гвоздильный завод, как выяснилось, все еще занимали немцы. Отрезанные от своих, они отчаянно отбивались за баррикадами обрушенных стен и были перебиты все до одного.

Передышка продолжалась не больше часа, на вокзал полетели снаряды и мины, немцы поднялись в контратаку. Отделение Кости потеряло треть солдат и наступали минуты, когда уже не оставалось ничего другого, как бежать без оглядки до Волги: противник превосходил и в числе, и в оружении. Все-таки автоматчики не оставляли вокзал. Косте даже в голо-

ву не приходило покинуть окоп с бруствером из кирпичей и амбразурой для автомата. Порою казалось, что воюет он один, все товарищи уже погибли. Он падал на дно окопа, ничего не чувствуя и не желая, накатывало что-нибудь из детства. Мать укрывает одеялом, сонного, набегавшегося за день, и шепчет добрые, баюкающие слова. Вспоминалась Нина в трудовом лагере под Анапой вечером на берегу моря. К ногам подкатывала волна, у берега шныряли и кричали чайки, далеко на горизонте виднелся пароход, и на душе делалось так хорошо, так умиротворенно...

Пулеметная очередь или снаряд возвращали к войне, милые видения пропадали, Костя высовывался из окопа:

— Нестеренко, жив?

— Жив, да покойника не стою.

— Лохматов?

— Живой.

— Зовицкий?

— Все в порядке. Запишите, дядя Костя. Восемь фрицев успокоил!

Сергей держался молодцом.

В сумерках выносили раненых, пополняли боеприпасы. Прибыла кухня. После ужина отдыхали. Кое-кто уснул. Надеялись, что ночь пройдет спокойно. Да не тут-то было. В двенадцать часов, как землетрясение, на вокзал обрушилась лавина снарядов. От взрывов разлетались на куски камни, приобретая такую же убойную силу, что и снарядные осколки. Все смешалось, и трудно было разобраться в кромешной темноте, что происходит. Еще не стихли пушки, а уже поднялась автоматная пальба, истошно заорали немцы, вплотную подобравшись к нашим позициям за огненным валом... Вокзал пришлось оставить.

С переменным успехом минули четыре дня. Немецкие автоматчики проникали до рощицы, к фонтану, и нелегко было их оттуда выкурить. Вокзал и сдавали, и вновь брали уже бесчисленно раз. Пережил Костя много чужих смертей, бомбежек, артиллерийских смерчей, когда плавился кирпич и было непонятно, как выживал человек.

Прежних солдат, подтянутых, с белыми подворотничками на гимнастерках и в помине не стало, куда только девались молодецкий взгляд, армейская выправка, какими щеголяли они на формировке! У одних шинели нараспашку или на одну-две пуговицы, хлястики оторваны, полы прожжены, пробиты осколками или просто изодраны о колючую проволоку, на других — ватные, пропахшие гарью стеганки, подпоясанные ремнями. Лица, руки закопчены, глаза воспалены, взгляд суров. Ходят полусогнутые, говорят коротко, сухо, каждый ушел в себя, в свои невеселые думы. И душевное напряжение не спадает ни на минуту, разве только в коротком чутком сне. Шутили и теперь. Но «шутили» сквозь зубы, и песни пели грустные.

У Кости под глазами появились темные провалы. Нос обострился, в его крыльях, в бровях, ушах набились пыль и гарь, залегли в складках рта и шеи. Длиннополую шинель он сменил на короткую, удобную в движе-

ниях фуфайку, за пояс заткнул две ручные гранаты, еще две «лимонки» лежали в карманах галифе. Автомат на груди и два запасных рожка на поясе в любую минуту были готовы к действию.

Нину он не забывал, но вспоминал мимолетно и писем не писал: каждую свободную от боев минуту отдавал сну. Усталость валила с ног.

Пожалуй, из всех солдат отделения оставался резвым, неунывающим один Сергей Зовицкий, хотя и он за эти дни сильно изменился: во взгляде появилась взрослость и что-то упрямо-злое. Тяготы передовой он переносил легче других. Обрушится шквальный огонь на окопы, все попадают ниц, притаятся. Пронесет — поднимутся, отряхиваясь от земли, бледные, угрюмые. А Сергей вскочит, погрозит кулаком в сторону немцев: «Ну, фриц, погоди!» — и даст длинную очередь из автомата.

Сентябрьские дни выдались ясные, с белесой изморосью по утрам. Солнечным было и это двадцатое сентября. Иной солдат пройдет войну, побывает во многих переплетах, получит не одно ранение, но из всего пережитого навсегда врежется в память единственный «его» день. Он и через сорок лет припомнит те час за часом, минуту за минутой с таким же волнением, как если бы все повторилось заново.

Солдаты поеживались на утреннем холодке, дымили сигарками, лениво переговаривались, поглядывали в сторону противника: что он сегодня предпримет? И разом головы задрались кверху. От гула моторов затрясалась земля. В окопах еще было сумеречно, а на крыльях «юнкерсов» уже играло солнце. Так рано и в таком множестве прежде они не появлялись.

Заклубился одинокий разрыв зенитного снаряда. Вслед за ним второй, третий, и небо зарябило белыми облачками. На этой и той стороне Волги ударили тяжелые зенитные батареи, скорострельные пушки, спаренные и счетверенные пулеметы. А «юнкерсы», не расстраивая рядов, властно рокотали, уходили за Волгу, разворачивались там и устремлялись на город. Весь бомбовый груз предназначался на горстку людей, цепочкой расположившихся на передовой. Что могло быть проще, чем расчленив, разбросать эту цепочку по звеньям, по осколкам, и тогда вот она Волга, плоские азиатские степи, не за что зацепиться взгляду — катись безостановочно хоть до самой тропической Индии!

Но противник ничего не мог поделать. Русский солдат видел перед собой немца, такого же человека, каким был сам, с теми же человеческими слабостями и достоинствами, и умело пользовался его промахами, знал уязвимые места и уверенно наносил ответные удары.

Душераздирающий визг падающих бомб, усиленный ревом пикирующих самолетов, обвальный грохот взрывов, и одна только мысль: «Сейчас, сейчас... Вот на этом заходе...» Костя обхватил голову руками, ткнулся в угол окопа. Спиной он ощущал, куда летели бомбы, где взрывались, и не в силах был оторваться от матушки-земли, которая ходила ходуном.

«Последний заход. Пронесло!» — подумал он с облегчением, прислушиваясь к замирающему рокоту самолетов. Приподнялся, отряхиваясь от земли и всматриваясь в безучастное голубое небо. Нет, не пронесло. Ро-

кот снова стал нарастать под учащенную пальбу зениток, и снова — душераздирающий визг и грохот взрывов. Казалось, нервы не выдержат, не усидишь в окопе, выскочишь и побежишь сломя голову куда глаза глядят — вытарашенные, безумные. Каким-то образом нервы выдерживали. Пошел на убыль и постепенно смолк вдали гул самолетов. Костя поднялся на ноги — неправдоподобная тишина. Или заложило уши? На немецкой стороне никакого движения. Поднялся Зовицкий, Нестеренко, Лохматов, поднялись другие солдаты. Оправляли одежду, прочищали уши. На душе неспокойно, по опыту знали: бомбежка — предтеча чего-то другого, еще более страшного.

Костя прокашлялся и окликнул Нестеренко. Получилось невнятно, с хрипотцой. Собирался показать твердость, а вышло пискляво:

— Слышь, сержант... кхе... кхе... я так считаю: тебе надо выдвинуться вон в те развалины. Как появятся немцы, ударишь по ним с фланга. У соседей пулемет молчит... Нас могут обойти.

Анатолий не обернулся, не пошевелился, но Костя видел, что он хорошо слышал.

— Не медли!

— Срежут. Головы не дадут поднять.

— Я тебя прикрою.

Анатолий молчал.

— Отказываешься?

— Я пойду! — вызвался Зовицкий и выпрыгнул из окопа. Костя не успел крикнуть, вернуть, как он, пригибаясь, с автоматом в одной руке и гранатой в другой, уже бежал между развалин. Эх, Сергей, Сергей, отчаянная голова, не иначе решил отплатить Нестеренко за обиды в совхозе «Пионер», только не понимает того, что на передовой обид не помнят, счета не сводят.

Костя выпустил по немецким окопам длинную очередь из автомата. Посмотрел на Зовицкого — не видно. Куда же он делся? Спрятался в воронке? Нет, вон лежит на кирпичах, выжидает момента, чтобы вскочить и побежать. Осталось шагов десять до укрытия, из-за которого удобно встретить немцев фланговым огнем. Прошла минута, другая, а Сергей не шевелился, и то, что сразу можно было понять и чему не хотелось верить, стало очевидным.

Костя посмотрел на Нестеренку, как бы ожидая подтверждения своей догадки. Тот отвернулся, сказал с раздражением:

— Ну что ты на меня глазищи пялишь? Я тебе говорил: срежут. Не Зовицкого, так меня. Рано или поздно всех нас перебьют как мух, ни одна живая душа отсюда не выберется!

Костя досадливо поморщился:

— Не каркай...

«Я виноват. Самому надо было...» — тоскливо думал он, вглядываясь в распластанное тело Зовицкого на кирпичах, еще надеясь на лучшее. Но он уже столько перевидел смертей, что ошибиться не мог. Не стало, не



стало Сергея, умного, искреннего парня, верного в дружбе. Почему-то вспомнилась книга о Древней Руси и слова одного иностранца о том, что русичи идут на смерть, не жалея себя. И Сергей не пожалел себя...

— Немцы! — ошалело крикнул Митя Лохматов, хватаясь за автомат. Раньше при этом слове Костя всегда торопился, боялся, что не успеет, немцы добегут до окопов скорее, чем он откроет огонь. А теперь спокойно оттянул затвор, глядя на людей в темно-зеленых, с распадающимися в беге лапами шинелей и, словно на учебном стрельбище, приложился щекой к прикладу — раз, другой, чтобы было половчей. На мушку попал прямой, как палка, в сапогах с короткими голенищами, по всему видно, офицер. Костя нажал курок. Автомат выбил короткую очередь. Офицер остановился, точно налетел на столб, и рухнул лицом вперед.

Кто-то придавил Косте ногу. Он обернулся. На него повалился солдат. Губы чуть искривлены, словно в недоумении. Глаза закрыты. Костя отступил, освобождая ногу. Солдат повалился в проход траншеи, с головы свалилась шапка, обнажив слежалые светлые волосы... Дождался своего часа и бесхитростный, не бойкий, исправный и безотказный в своем солдатском деле Митя Лохматов. Костя мало его знал, Митя держался в тени и умер молча, как будто свалился от усталости.

А вдоль железнодорожного полотна кипела схватка. У гвоздильного завода дошло до рукопашной. Контузило командира взвода, тяжело, в грудь навывлет, ранило командира роты, и его заменил младший лейтенант. Девушка-санинструктор пробиралась по окопам, искала раненых, перевязывала, успокаивала, шла дальше: выносить с поля боя было некому.

Чувства притупились, даже страха не было. Появилось безразличие к себе: убьют, что ж, чему бывать, того не миновать. Костя забыл о времени, не знал, сколько осталось в отделении солдат, видел одного Нестеренко. В каком-то чугунном отупении, услышав противный знакомый гул, поднял глаза к небу, зарябленному самолетами. Опять бомбежка! Последний «юнкерс» еще прошивал пулеметными очередями окопы, а из-за железнодорожного полотна уже выползли танки... три... пять... восемь!

Забухало бронебойное ружье. Кто-то кричал, требуя гранаты.

Танки били по окопам: выстрел — разрыв! Выстрел — разрыв! Костя ждал: сейчас в него. Но снаряды делали перелет. По траншее протиснулся Нестеренко с двумя противотанковыми гранатами в руках, как с пудовыми гирями, прохрипел что-то сержанту на ухо. Тот не разобрал. Совсем оглох. Передний танк взбирался на груды кирпичей, показывая черное брюхо и стертые о камни треки гусениц. Вздрогнул, опаленный взрывом, попятился. В сплошном грохоте нельзя было расслышать, подорвал ли его гранатами Нестеренко или подбила наша артиллерия, открывшая огонь с того берега. Столбы дыма и пламени закрыли танки, и они убралась за полотно. Попятилась пехота. Костя припал к автомату, послал вслед темным сгорбленным фигурам длинную очередь — разрядил весь рожок.

Стихало, реже и реже перестрелка. Чадил, догорая, подбитый танк. Костя сел на оцинкованный ящик с просыпанными вокруг него патронами, которые хрустели под сапогами, как стекляшки, прислонился спиной к окопу, смежил глаза, вслушиваясь в негромкие голоса и возню. Эти звуки, казалось, доносились к нему в могилу, где он лежит, не в силах шевельнуться, дать о себе знать. Санитары волокли на плащ-палатке раненого, и тот просил по-хозяйски, словно о какой-то ценной вещи, которую могли повредить при транспортировке:

— Потише, братцы... потише...

И раненый, и санитары тоже были вне чувствительного восприятия реального, точно спросонок. В бок уперся рожок автомата, но Косте лень было переменить положение. Что-то гудело над ухом, как шмель. Откуда ему тут взяться? Гудение беспокоило, а Костя все ленился открыть глаза, посмотреть, что это. Открыл, когда уже прямо на него падал «юнкерс», разрастаясь в размерах, как надуваемый шар.

Костя просунулся по стенке на дно окопа, не отрывая глаз от голубого, в частых заклепках, фюзеляжа. Черная тень закрыла солнце. Туго ударило в ушные перепонки. Сознание померкло...

#### 4

Виктор еще не нюхал пороха, даже не попадал под серьезную бомбежку, в то время как многие его товарищи уже погибли или были неоднократно ранены, и от этого постоянно испытывал угрызения совести.

В Москву он приехал в марте и нашел ее почти такой же, какой знал до войны, не встретив по дороге на завод ни одного разрушенного дома, только обклеенные крест-накрест бумажными лентами окна, обложенные мешками с песком витрины магазинов, да в камуфляже Красная площадь и Кремль (намалеванные разными красками дома) придавали ей фронтовой вид.

Виктор вышел из поезда во время воздушной тревоги. Стрелка и надпись на стене вокзала указывали на бомбоубежище, но никто в него не поспешил, видимо, вражеским самолетам редко удавалось проникнуть в город.

Квартира дяди Лени была на замке, соседка сообщила, что его жена с двумя маленькими сыновьями эвакуировалась за Волгу, а дядя был в командировке. Больше ни родственников, ни знакомых в Москве не было, и Виктор поехал на завод. Поселили его в совершенно пустой комнате, даже стола не было. Жил здесь еще пожилой рабочий, который никогда не ночевал дома. О «присутствии» соседа напоминала лишь свернутая в углу на полу постель.

На заводе делали новый, с остроконечным носом, стремительный в полете истребитель Як-7. Виктор чувствовал себя одиноко, никто из рабочих не пришелся по душе, а тут еще не давались зализы, отличные от тех, которые были на «ишаке». Виктор бился над ними два дня, заперол заго-

товку, схватил выговор от мастера... И с продуктами в Москве было хуже, чем в Баку. Питался только тем, что получал по карточкам, а этого не хватало, и на толкучке были спущены все оставшиеся ценные вещи вместе с выходным костюмом. Выменял за него круг колбасы, буханку хлеба и ненужный ему серебряный портсигар. Впрочем, вскоре и портсигар пошел за батон белого хлеба. На толкучке можно было достать все, что душа пожелает, даже «Столичную» с белой головкой, было бы что менять. Но менять уже было нечего.

Мама написала в письме, что с какой-то знакомой женщиной передала продуктовую посылку. Этой посылки Виктор не дождался.

Неловко чувствовал себя двадцатилетний парень в гражданской одежде, когда его сверстники сражались на фронте: косо смотрели прохожие и только не говорили: «Отлыниваешь? Прячешься за чьей-то широкой спиной?»

Чашу терпения переполнил случай в трамвае. Женщина с бледным болезненным лицом, которую Виктор вроде бы задел локтем, набросилась на него с такой руганью, так ожесточенно, что пассажиры вокруг стали ее урезонивать, защищая парня. А тот стоял в растерянности краснее вареного рака, не зная, что ответить на брань.

— Такие, как он, давно на фронте! Сколько ребят уже погибло. Вчера на сына похоронку получила. А этот в тылу околачивается, да еще толкается!

По городу были расклеены листовки ЦК комсомола с призывом к молодежи добровольно вступать в Красную Армию. Виктор махнул рукой на Москву, на завод и пошел в военкомат, подал заявление. Побудила его к этому и давняя мечта. «Какой же я буду писатель, если не хлебну фунт лиха в окопах? — спрашивал он себя. — Только там, там происходят важнейшие для меня, для страны, для всего мира события!» Но попасть на фронт было не так просто, как он считал. Его вызвал начальник особого отдела и давай отчитывать:

— Если все уйдут добровольцами, то кто же будет делать самолеты?

— Пока я один ухожу.

— Вы так думаете? — Особист выдвинул ящик стола и вытащил пачку заявлений, потряс перед лицом упрямого парня.

— Там люди больше нужны! — стоял на своем Виктор, и особист заволновался, покраснел, возможно, он и сам так считал, и ему было неловко сидеть за столом в тихом кабинете.

В заводууправлении Виктора не отпустили, и он без расчета ушел на призывной пункт, откуда был направлен в здание, похожее на школьное, напротив бывшего немецкого посольства, в которое перед этим угодила бомба — символическое попадание!

Здесь формировалась десантная рота. Все добровольцы. В тот же день сходили в баню и были наголо острижены. Виктор не успел и глазом моргнуть, как лишился своих волнистых красивых кудрей. Не раз слышал завистливые восклицания девушек: «Зачем такие волосы парню?», и с го-

речью посмотрел на себя в зеркало, уже без чуба, с торчащими невыстриженными клоچьями по голому черепу и смешно оттопыренными ушами.

После бани роту обмундировали, каждому добровольцу выдали пластмассовый черный «медальон смерти», внутри которого лежала свернутая трубочкой анкета. В ней следовало указать сведения о себе вплоть до адреса родителей или родственников. Гражданские вещи укладывались в посылку и отправлялись домой. Во всем этом было что-то прощально-похоронное, но Виктор, живя будущим и принимая настоящее по необходимости, то есть продолжая плыть в свою Африку, никак не мог представить себя мертвым, недоуменно повертел в руках медальон и сунул в пистон шаровар.

Утром рота выстроилась во дворе, по четыре в ряд, и зашагала к гостинице «Москва», под уклон пустынной в этот час улицы Горького. Виктор шел самым последним в строю, хотя и был немалого роста. Ребята подобрались здоровые, чеканили шаг так, что дрожала мостовая, и высоко держали головы. Редкие прохожие останавливались, оглядывались, дивясь молодцам на подбор: немцам перед такими не устоять! И Виктор уже не опускал глаз, как в гражданке, маршировал с легкой душой и чистой совестью.

...Прошел день, второй, десантники бездельничали, не понимая, почему их держат в Москве, не отправляют на фронт. Вечером прибыло высокое начальство, в «директорскую» стали вызывать добровольцев по одному. Виктор услышал фамилию полковника Чернова, которая ничего ему не сказала, но по тому, как она с уважением произносилась другими, можно было понять, что это важная птица, чуть ли не командир десантной дивизии.

Подошла очередь Озерова. Офицер наставлял его перед тем, как впустить в «директорскую»:

— Войдешь строевым шагом, остановишься перед столом. Доложишь: «Товарищ гвардии полковник! Рядовой Озеров прибыл по вашему приказанию!..» Понял? Повтори!

Виктор повторил срывающимся голосом, пропустив половину того, что надо было сказать, не зная сам почему. Наверное, потому, что волновался и сам наставляющий его офицер. Пришлось начинать все сначала, и так несколько раз. Но чем чаще Виктор повторял, тем больше путал.

— Ногу, выше ногу! — зашептал офицер, открывая дверь и пропуская мешковатого солдата в комнату. Загрохотали сапоги по деревянному полу. Виктор напряженно выбрасывал то одну, то другую ногу и едва не налетел на стол, за которым сидел в кругу военных темно-русый, с пристальным взглядом полковник Чернов.

— Прибыл по вашему приказанию... — Виктор козырнул и вытянул руки по швам, так и не сказав всего, что надо было. Офицер, будь он неладный, нагнал страху.

— Кто? Что? — недовольно спросил Чернов.

— Рядовой Озеров прибыл по вашему приказанию, товарищ гвардии полковник! — поправился Виктор, досадуя на себя и ожидая команды проделать все сначала. Но Чернов лишь усмехнулся и показал на стул:

— Садитесь... Винтовку держали в руках?

— Мелкокалиберку. В тире.

— Понятно. Какое образование?

— Десять классов.

Чернов задал еще несколько второстепенных вопросов и отпустил. Виктор откозырял, попытался было выйти строевым, да неловко повернулся, чуть не упал, заплетаясь ногами, и с горем пополам выбрался из комнаты, красный от смущения, как стыдливая девица.

Наставляющий его офицер покачал головой, но бранить не стал.

А перед отбоем, во время переключки, старшина назвал по списку до десятка фамилий, в том числе Озерова, и приказал покинуть строй.

— В каптерку! — последовала команда. — Сдать обмундирование. Получить гражданское!

Гадая, чем не угодили и куда их теперь отправят, отчисленные из роты уныло поплелись в каптерку, переоделись в свою опостылевшую одежду и легли спать уже в отдельной комнате. Судили-рядили чуть ли не до рассвета, но ничего путного не придумали: кто говорил, что вернуть на завод, кто утверждал, что отправят на Дальний Восток.

Утром все выяснилось: отобранные десять человек получили сухой паек на два дня, железнодорожные билеты и предписание явиться во Львовское военно-пехотное училище, эвакуированное в город Киров, бывшую Вятку. Это сразу приподняло настроение. Все десять имели среднее образование, поэтому и отправились учиться на лейтенантов. Так рассудил полковник Чернов.

\* \* \*

На окраине города, в бывшем женском монастыре, казарменном и мрачном на вид, разместилось военно-пехотное училище.

Холодный июньский день, студеное глубокое небо, высокие растрепанные ветром березы, подбеленные кучевыми облаками, то и дело набегающие тени, негреющее солнце, его желтые блики на длинных дощатых столах с вбитыми в землю ножками, плотно прижатые друг к другу курсанты на уроке топографии, — таким осталось в памяти это лето, незаметно пролетевшее в учебе: довоенную программу, рассчитанную на два года, надо было осилить в один.

Уже в октябре ударили морозы, выпал снег, курсанты стали на лыжи. В первом же походе Виктор натер ноги и на половине пути в изнеможении свалился в молодой ельник, не чувствуя колких игл.

Не дался ему и спуск по крутому берегу Вятки, такому высокому, что внизу покрытая льдом река смотрелась, как с самолета. А за нею — сплошной хвойный лес, таежные дебри, белое безмолвие, наверное, до самого Тихого океана!

Виктор оттолкнулся палками — была не была! — и лыжи понесли под уклон в снежном вихре.

Ветер жег лицо, нервы сдавали по мере ускорения бега, казалось, разнесет на куски до того, как спустишься к реке. Свернул и полетел кубарем. Одна лыжа торчком стала в снегу, другая умчалась вниз, к маленьким фигуркам курсантов, которые съезжали с обрыва на ровное ледяное поле и там останавливались.

Все училище выходило на расчистку леса для стрельбища. Стояли лютые морозы, и во время работы разводили гигантские костры из веток очищенных стволов. Виктор впервые видел, как буйно полыхала смолистая хвоя. К такому костру ближе пяти метров не подойти: обжигал лицо.

Близорукость не прошла, Виктор вышел на огневую позицию в очках, но с первого же винтовочного выстрела попал в яблочко мишени, открыв в себе меткий глаз. Сложнее было наловчиться стрельбе из пистолета на вытянутую руку, держа рукоятку не очень крепко, так, чтобы при отдаче пуля не сбилась с полета. Виктор и это освоил без труда. Но больше всего ему нравилась стрельба из пулемета, будь то ручной или станковый, чувствовать огневую мощь, вдесятеро возросшие собственные силы — это было ново и увлекательно.

Изнуряли ночные занятия с дальними походами и встречным боем. К утру, еле волоча ноги, входили в какую-нибудь деревушку, будили неприветливых хозяев. Срубы в два этажа с крытыми дворами, плотными высокими заборами, стояли, как крепости, и хозяева встречали курсантов, точно какую-нибудь вражью силу и, если не окатывали кипятком с крепостных стен, то обращались с ними, как с пленными: куска хлеба не дадут, не то что горячих щей или чаю, и спать укладывали в чуланах, одну ночь Виктор провел в подполье на картошке в доме с просторным залом и антресолями. Ну и народец!

За несколько месяцев учебы он похудел и вытянулся. От хронических недосыпаний на классных занятиях голова тяжелела, глаза слипались, лишь неимоверными усилиями воли можно было заставить себя слушать преподавателя, не сваясь с лавки.

В шесть утра, когда черные окна в бахrome инея и не намекали на утро, раздавался голос дневального: «Подъем!» И Виктор очумело вскакивал на туго набитом соломой матраце на втором ярусе нар, как будто не спал. Вроде бы только сейчас был отбой, десять часов вечера, когда он, едва приклонив голову к подушке, провалился в забытие, как в колодец, лишь иногда на миг пробуждаясь от судорог, сводивших ноги: за день приходилось отмеривать десятки километров. И вот — подъем! Потягиваться некогда. Времени до команды «Становись!» всего пять минут, надо успеть одеться, но главное — обуться в английские тупоносые ботинки со шнурками и намотать полутораметровые суконные обмотки. Виктор редко успевал, обычно бежал к строю с волочившейся следом по полу портянкой. Заканчивал туалет уже за спиной товарища, что, впрочем, приходилось делать не одному ему.

Старший сержант Кравцов, помкомвзвода, фронтовик, с перебитым средним пальцем на руке, который не сгибался, поджарый, на худых ногах коромыслом, что выразительно подчеркивали туго намотанные обмотки, выходил чеканным шагом перед строем. Голос у него был хрипловатый и от простуды, и от курева.

— Шеренгой по два во двор ша-агом а-арш!

Помкомвзвода не имел среднего образования, как большинство курсантов, и выслуживался перед начальством, был строг. Так и жди от него два наряда вне очереди — потолок наказания помкомвзвода, — меньше он не давал. Полагалось каждый день мыть в казарме полы и кому-то это надо было делать. Кравцов обязательно находил козла отпущения, хоть взвод до последнего солдата отличался примерным поведением. «Два наряда вне очереди», — так курсанты прозвали помкомвзвода между собой.

Еще темно, далеко до рассвета, но блеск снега и свет из окон создают на дворе полумрак. Курсанты трусцой, поеживаясь, выбегают на спортивную площадку, где их уже ждет дежурный по роте лейтенант Рыжов — выпускник училища, оставленный на преподавательской работе, одетый в форму военного времени, — не кадровую из тонкого сукна, как у других офицеров-львовцев, а хлопчатобумажную. Он был старателен, но многое, видно, не знал по программе и всегда, ведя урок, держал в руках наставление по оружию или боевой устав, не стесняясь в них заглядывать. Лет двадцати восьми, с сеточкой первых морщинок под глазами, он казался Виктору уже немолодым.

Рыжов становился впереди роты и, выкрикнув по-мальчишески звонко: «Бегом за мной!», размеренной иноходью направлялся со двора к железнодорожному вокзалу проходившей неподалеку ветки на Котлас — еще дальше на Север, за Полярный круг.

Гулкое топанье сто двадцати пар сапог, шумное дыхание, покашливание, скрип снега — задние налетают на передних, происходит перебой в размеренном беге, но никто не бранится, бегут молча. Достигнув вокзала, Рыжов заворачивает к училищу и на полдороге резко командует:

— Рота вправо, в цепь! Ложись! По-пластунски вперед!

Распаленные бегом курсанты падают в пушистый обжигающий снег и остервенело работают руками и ногами, поднимая белое искристое облако. Только что был введен новый боевой устав, по которому прежнее групповое развертывание роты в атаку из-за больших потерь на фронте заменено цепью, и офицеры использовали любую возможность потренировать курсантов.

Вываленные в снегу, красные с мороза, они вваливаются в казарму с грохотом, шумным дыханием, негромким говорком. Умывальная комната наполняется перезвоном рукомойников, плеском воды, фырканьем.

До завтрака еще полчаса. Кто спешит подшить свежий подворотничок, кто перемотать обмотки, переобуться, надраить пуговицы, потому что на построении к завтраку лейтенанта Рыжова сменит придирчивый

старшина Курашов, сверхсрочник, который не постесняется дать за не-ряшливый вид четыре наряда вне очереди — на полную катушку!

В коридоре — торговля и мена, ротный черный рынок. Какой-то про-нырливый курсант поделил двестиграммовую пачку турецкого табака спичечным коробком на кучки, выручая втрое больше, другой отдает та-бак за сахар, третий меняет десяток пирожков с мясом из домашней по-сылки на теплые носки: в английских ботинках с прессованными, кро-шившимися на морозе подошвами страшно мерзли ноги.

Кормили в училище хорошо для военного времени: и мясные, и рыб-ные блюда, компоты с изюмом, сливочное масло к чаю, дома Виктор ни-когда столько не съедал, но после десятичасовой беготни на холоде аппе-тит разыгрывался зверский, и желудок всегда был полупустой.

В речушку, пробегавшую мимо училища, кооперация спустила на зимнее хранение бочки с солеными огурцами, кто-то пронюхал про этот клад, извлек бочку из воды, и вот уже вся рота хрустит в обед огурцами.

Вятские края в сравнении с черноморскими выглядели скудными, да-же яблони здесь не родили, цвела какая-то дичка, давая плоды с гороши-ну. Капуста, огурцы, морковка, турнепс, о котором Виктор прежде и по-нятия не имел, — вот и все растительное, что подавалось к столу. На ры-нок бабы ведрами выносили чернику и голубику, но курсантам ягоды ред-ко попадали. Виктору лишь снились дыни, арбузы, виноград, абрикосы, такие обычные дома и такие немислимые здесь. Как-то на проходной он обратил внимание на женщину из вольнонаемных, которая бережно очи-стила вареную картошку и, чуть ли не священнодействуя, отправила в рот, подставив ладонь другой руки, чтобы крохи не упали на пол.

— Вкуснее яичка! — прочмокала она губами, и ела эту картофелину на самом деле, как яичко.

Умытые, подобранные, с белыми подворотничками, курсанты вы-строились к завтраку в казарме лицами к нарам, на которых спали. Стар-шина Курашов с неразличимым лицом, затененным козырьком фуражки, одетый в офицерскую кадровую форму — темно-синие диагональные га-лифе и зеленую тонкого сукна гимнастерку, в хромовых надраенных са-погах, быстро прошел перед строем, зыряя глазами по поясам, у одного оттянул и подергал ремень: «Подтянуть на три дырки!», другому хлопнул ладонью по животу: «Убрать!», кому-то приказал выйти из строя, в две минуты подшить свежий подворотничок и вернуться в строй. Курсанты живо выполняли приказания, удивленные тем, что старшина не дает наря-ды вне очереди. Видно, Курашов был в хорошем расположении духа и звонким натренированным голосом подал команду:

— Смиррна! Рравнение напра-во!

Строй напряжился, головы, как одна, дернулись вправо. Курашов остался доволен и тут же сказал:

— Отставить. Вольна...

Он явно кого-то ждал, глаза его то и дело обращались к двери, и кур-санты тоже стали поглядывать на дневального, стоявшего у тумбочки в



коридоре перед входом в казарму. И вот уже послышался быстрый говорок рапорта, Курашов построжел, одернул по поясу гимнастерку, поправил фуражку, и только теперь ясно обозначилось его круглое мясистое лицо, по которому не пробежало ни мыслей, ни чувств, даже озабоченности оно не выражало, а было безлико, как строевой устав.

В двери появился сам командир роты, тонкий, с бледным лицом рыцаря печального образа, а за ним — все три командира взвода.

— Рррота! — гаркнул старшина Курашов, едва офицеры переступили порог. — Смир-на! Ррравнение напра-во!.. Товарищ старший лейтенант, вверенная вам первая стрелковая рота первого стрелкового батальона Львовского военно-пехотного училища построена!

Старший лейтенант Ткаченко принял «под козырек», по уставу, рапорт, резко, но не без изящества отдернул руку от козырька и негромко поздоровался с курсантами, которые дружно ему ответили: «Здравжелтовстарлейтнант!»

— Вольна-а! — раздался следом зычный голос Курашова.

Курсанты приняли свободные позы, отставив одну ногу и слегка расслабившись, с любопытством глядя на Ткаченко и ожидая от него какого-то важного сообщения, потому что такого церемониала, как сегодня, в роте еще не было.

Офицеры преподавали военные науки и почти не вмешивались в солдатскую службу, перепоручив это командирам отделений, помкомвзвода и старшине, которые были в казарме полновластные хозяева и вершители курсантских судеб, во всяком случае так представлялось Виктору. Курсанты боялись младших командиров больше, чем офицеров, некоторых, наиболее рьяных службистов, просто ненавидели и собирались со временем, когда все сравниваются в званиях, повесив на петлицы кубари, отомстить за обиды, которых все больше набиралось по мере того, как труднее становилась учеба. И верно, сержанта Дубину в день присвоения лейтенантских званий вроде бы шутя накрыли одеялом и отдубасили. Виктор в «темной» не участвовал, узнал о ней позже и не без удовлетворения, так как этот Дубина и ему немало насолил за год учебы.

Офицеры поддерживали о себе мнение добрых отцов роты, хотя возрастом годились курсантам лишь в братья. Они, конечно, сразу бы отменили незаслуженное наказание вредного сержанта Дубины или помкомвзвода Кравцова, обратись к ним с жалобой пострадавший, но таких не находилось: офицеры были недоступны, как боги. Получив наряд или два вне очереди, сказав в ответ: «Есть наряд вне очереди!» (почему «вне очереди», Виктор до конца учебы так и не понял, словно в наказании могла быть какая-то очередь), провинившийся покорно отправлялся на кухню чистить картошку (в лучшем случае), но чаще брал фанерку, таз с водой и драил полы в казарме после отбоя.

Командир роты Ткаченко, разжигая нетерпение курсантов, громким девичьим голосом, с хохлацкой хитринкой в голубых глазах, спросил:

— Если бы вам, товарищи курсанты, предложили выбрать между стрелками и пулеметчиками, кем бы вы хотели стать?

— Пулеметчиками! — в один голос, не раздумывая, выкрикнули курсанты, для которых пулемет «максим» на колесах был конечно же солидней трехлинейной винтовки образца 1894—1930 годов.

— А между пулеметчиками и минометчиками? — еще хитрее сузил глаза Ткаченко.

— Минометчиками! — единодушнее прежнего ответили курсанты, так как миномет уже приравнялся к артиллерии, богу войны.

— По решению командования училища отныне наша рота, — Ткаченко помолчал, нагнетая любопытство, — будет именоваться ми-номет-ной! — с расстановкой сообщил он.

По рядам пробежало радостное оживление, раздались возгласы и аплодисменты сто двадцати пар крепких рук.

По дороге в столовую, на завтрак, старшине уже не нужно было, как прежде, по несколько раз выкрикивать: «Запевай!» Курсанты дружно подхватили фронтовую:

Эх, махорочка, махорка,  
породнились мы с тобой!

А после завтрака первый взвод отправился на склад получать новую матчасть, и в казарме на почетном месте встали три 82-мм миномета (батальонных), два 50-мм (ротных) и один 37-мм, миномет-лопата, в которой черенок одновременно служил стволом, а полотно — опорной плитой. Надраенные, смазанные «самовары» как будто гордились собой: вот, мол, мы какие, глядите, вам же очень хотелось, чтобы мы тут стояли! И курсанты осматривали, ощупывали минометы, выкрашенные в зеленую краску, стертую до металла на захватанных местах, крутили маховики, перемещая ствол влево и вправо, вверх и вниз.

Этот день закончился не как все: поужинали на час раньше, из-за стола напрямиком отправились в баню, после которой предстояло посещение театра, случай исключительный в однообразных буднях учебы.

Баня и смена белья происходили раз в десять дней, мылись в городе и ходили в баню строем, поротно, на мытье отводилось десять минут, париться было некогда, попенистее намыливались жидким мылом, остервенело драили друг другу спины дерюжной мочалкой, ополаскивались под душем и — одеваться. До сих пор, несмотря на морозы, ходили в пилюлках. Каждый следил за впередиидущим, оповещая его, как только на щеке или кончике уха появлялось белое пятнышко. Пилюлка, разломанная, как пирожок, надвое и натянутая потуже на голову в нарушение устава, что командиры разрешали из-за сильных холодов, прикрывала уши до лопатки, и мочки мерзли. В строю то и дело слышалось:

— Эй, Петров, потри нос!

— Эй, Шевченко, правая щека белеет!

Виктор не заметил, как подморозил уши, и они опухли, долго невозможно было положить боком голову на подушку. Кожа шелушилась и немела даже от легкого мороза. Как же Виктор обрадовался, когда в раздевалке после мытья увидел гору шапок с цигейковыми голубыми ушами и старшину, возле которого уже толпились одетые курсанты, примеряя обновы. В противоположность гражданке, где Виктору всегда было трудно подобрать головной убор шестидесятого размера, в армии это было просто, больше страдали «малоразмерные» солдаты: то шапка налезает на уши, то галифе обвисают, как запорожские шаровары.

Из бани вышли в темноте, при тусклом уличном освещении (город не затемнялся, немецкие самолеты сюда не долетали). Над крышами из труб поднимались белые столбы дыма, а под ногами скрипел, стонал, снег... бодрый морозец, градусов на тридцать! Распаренному, в чистом белье, было легко и тепло. Быстро построились по четыре в ряд, сразу взяли в ногу, вехомые двумя курсантами с красными флажками. Рота окуталась паром, как паровоз.

Виктор всего раз или два бывал в городе, встречаться было не с кем, идти некуда, разве только на рынок купить что-нибудь съестное, что однажды он и сделал. Из всего здесь увиденного ему, южанину, показалось необычным замороженное в тарелках молоко и составленное в стопки, как лепешки. Проходя рядами, Виктор почувствовал на себе взгляд, обернулся. Молодая женщина, повязанная пуховым платком, в теплом пальто, в валенках, смотрела укоризненно-недоуменно, точно сомневаясь, этот ли в действительности человек, за кого она приняла Виктора. Он тоже в первую минуту не признал молодую женщину с заиндевелыми ресницами, тепло укутанную, точнее, никак не мог представить ее на кировском рынке.

— Виктор! — вскрикнула она со слезами на глазах и, не стесняясь любопытных торговков, повисла на его шее. Они неловко расцеловались. Ее искренность, душевность передались застенчившемуся Виктору. Почему Нина очутилась в Кирове, он никак не мог понять, забыв, в какой город она ехала к раненому мужу, когда они встретились весной на Сталинградском вокзале, потом вспомнил и пожалел, что до сих пор не попытался ее разыскать.

Костя уже давно выписался из госпиталя и уехал в часть. Нина собиралась в Белую Калитву, к дочери, и уже получила расчет на заводе, где работала плановиком, как вдруг пришло известие об оккупации немцами Ростовской области. Осталась в Кирове на неопределенное время. От Кости давно нет писем. Последнее прислал в сентябре из Сталинграда.

Виктору было и радостно и грустно. Кто ему Нина? Друг детства, больше ничего к этому не добавишь. У нее есть муж, к которому, несмотря ни на какие военные трудности, она добралась за тридевять земель и готова хоть сейчас отправиться за ним на передовую, если это будет возможно.

Как ни наивно было у Виктора представление о передовой, он понимал, что уцелеть там не просто, и жив ли до сих пор Костя, трудно было сказать. Сегодня Нина читает его письмо, спешит ответить, а Кости уже нет в живых, он погиб через день или даже через час после того, как передал фронтовой треугольник старшине, и в руках Нины послание с того света. Понимала ли она это? Наверное, понимала. «Она ничья. Ни жена, ни вдова», — рассудил Виктор и находил подтверждение своим мыслям в выражении ее лица, растерянном и жалком. С какой радостью она потянулась к единственному близкому человеку в чужом северном городе! От Нины Виктор узнал адрес Лешки Прасолова, находившегося в Астраханском военно-пехотном училище, и друзья уже обменялись письмами.

...Постановка была злободневная, о том, как в оккупации сопротивлялись врагу и умирали русские люди. Пьеса, хоть и построенная на внешних эффектах, как многие пьесы и кинофильмы того времени, волновала, вызывала ненависть к немцам. Так сильно накалилась атмосфера в эти дни решающей битвы на Волге. Курсанты жадно вслушивались в сводки Информбюро, вставали и засыпали с мыслью: а как там в Сталинграде, кто кого?

В антракте Виктор во все глаза смотрел на толпу, повалившую из зала: Нина обещала быть в театре и вышла в пуховом платке, откинута на каракулевый воротник шевиотового темно-синего пальто в талию из довоенного гардероба (в театре было холодновато, зрители не раздевались). Она встретила Виктора доброй доверчивой улыбкой.

— Что слышно о Косте? Получила письмо? — спросил он сочувственно, без фальши, в самом деле беспокоясь о друге детства и не испытывая неприязни к своему сопернику.

Нина грустно покачала головой.

— В Сталинграде сейчас жарко, некогда письма писать — поспешил успокоить Виктор. — Но немцу там обязательно сломят хребет, — добавил он убежденно вовсе не потому, что предвидел ход сражения: как и все, был в неведении, что на самом деле происходит в Сталинграде, сдан уже город или продолжаются бои, — в Викторе с самого начала войны жила убежденность, как у всех его сверстников, что Россия непобедима.

Он старался показать себя высоко нравственным человеком, не позволял никаких вольностей по отношению к Нине, и страшно мучился от неопределенности своего положения, весь антракт они проговорили не о том, о чем хотели. Наверное, Нина испытывала то же самое, и, когда они расходились по своим местам и уже не могли встретиться, так как после окончания спектакля рота на улице сразу же строилась, спросила:

— А в воскресенье ты сможешь взять увольнительную?

— Попробую. Вообще-то я никогда не просил. Ходить было не к кому. Должны дать, если не схвачу наряд вне очереди.

— Приходи ко мне чай пить. Я буду одна. Хозяйка уезжает в деревню. Пил когда-нибудь чай с черникой? Нет? Вот я тебя угошу.

Как бы не лишиться увольнительной, не получить наряд, на которые так щедрЫ младшие командиры, — с этой мыслью Виктор жил всю неделю. В субботу отделение Дубины целиком шло в караул охранять по городу военные объекты, к каким почему-то причисляли и пекарню. Часовые сменялись через каждые три часа. Тяжелой была ночная смена. Виктору нужно было стоять с двух ночи до пяти утра. Сон валил с ног, он то и дело спохватывался, испуганно озирался. Тянуло завалиться в круглые плетеные корзины, сваленные на задворках пекарни под навесом вместе с другим хозяйственным хоботьем. Поспать бы с полчаса, не больше, и уже чувствовал бы себя бодрее. За это время наверняка сюда, в глухой угол, никто не заглянет. Коварный Дубина, обычно выраставший перед часовым, как из-под земли, и тот, верно, спит без задних ног в караулке. Дремота притупила даже голодные позывы желудка, вызываемые запахом печеного хлеба, густо наполнявшего двор.

Виктор ходил от угла здания до ворот, держа карабин на изготовке, как требовало военное время. Он поглубже нахлобучил новую теплую шапку-ушанку, завязал матузки на подбородке и поднял воротник шинели, что разрешалось в мороз, и пританцовывал, притаптывал снег караульными валенками. Пальцы ног все равно стыли, а у ворот сквозняком задувало в рукава и под полы шинели. Бррр... Ежедневное пребывание на холоде без обогрева (лишь в постели немного отходил) настолько настудило, наморозило всего, что Виктор хронически мерз, как и хронически испытывал голод. Но вот что удивительно — никогда не простужался, даже «малярия» не выскакивала на губах, как бывало дома.

Под навесом казалось теплее. Виктор укрывался там, мысленно сооружая себе ложе из корзин. Можно было очень недурно устроиться, подобрав вокруг кое-какое тряпье. В углу лежал растрепанный тюк прессованного сена (за стеной в конюшне сонно пофыркивали и перестукивали копытами лошади). Составить две корзины, настелить в них сена, в одну лечь, перекинув ноги в другую — лучшего и желать не надо... Вообразив себя на этом ложе, Виктор тут же представил над собой и младшего сержанта Дубину, толкающего в бок прикладом:

— Проснись, горе-часовой! Стишки сочиняешь: «Я стою на посту, и врагу не пройти, не пролезть...» А самого бери с потрохами!

Такие стишки Виктор, верно, сочинил: для роты нужна была своя песня, об этом не раз говорил перед строем старший лейтенант Ткаченко, и Виктор, подлаживаясь под мотив одной фронтовой песни, набросал «рыбу». Песню пел уже весь батальон. А Дубина то ли по своему природному ехидству, то ли из зависти не преминул уколоть:

— В стишках пишешь одно, а делаешь другое. Опять на построение опоздал. Одеваешься, как барчук. Дождешься наряда вне очереди!

После того как пошла в ход песня, Виктор реже драил фанеркой полы и чистил картошку на кухне, и Дубине, конечно, это не нравилось.

Все же прислонился к столбу под навесом, поставил карабин между ног, не решаясь завалиться в корзины, и позволил себе чуток прикорнуть. Тотчас веки слиплись, появилась чья-то уродливая рожа, вслед за ней промелькнули человекоподобные огненные фигуры и откуда-то справа, из тьмы возникло лицо Нины.

— Я буду ждать...

Голос прозвучал так ясно, что Виктор очнулся. Карабин вывалился из рук. Виктор подхватил его на лету, взял наперевес и огляделся, нет ли кого поблизости. Никого не было. Пофыркивали за стеной лошади, и Виктор чуть ли не физически ощущал тепло конюшни; приглушенно гудели форсунки в печах, из окошка глухой стены на снег падала полоса света, которую пересекал Виктор, прохаживаясь по двору. Запах печеного хлеба раздражал, утробно урчало в животе, словно кто-то там сердился. Виктор сейчас съел бы, наверное, буханку в один присест, ждал, что кто-нибудь из пекарей выйдет во двор, угостит горбушкой, но никто не выходил, будто в пекарне и людей не было. Чтобы отвлечься от голода и сна, он стал думать о Нине. В последние полтора года не вылезал по суткам из заводского цеха (в военном училище тоже не знал отдыха). Было не до любви. И вот негаданно-нежданно явилась Нина, совсем не такая, какой он знал ее до сих пор. Внешне построжела, но душой подобрела, и казалось, ярче на бледном лице светились большие глаза. Так бы смотрел в эту синеву зачарованно, не отрываясь, как в таинственную морскую глубину.

Послышался скрип снега, во двор вошел разводящий Дубина и сменный часовой. У Виктора как гора с плеч: хорошо, что перетерпел, не соблазнился корзинами.

В жаркой караулке, пропахшей солдатским потом, на столе горбился свежее испеченный, еще горячий каравай. Дубина разрезал его на равные доли, потом заставил Виктора отвернуться к стене и, показывая концом ножа на ломоть, спрашивал:

— Чей?

— Петрова.

— Чей?

— Власова.

— Чей?

— Мой!

До чего же вкусен пшеничный серый хлеб после трех часов на морозе! Что ни говори, а пост на пекарне был лучший в городе, курсанты шли сюда с охотой, и Дубина, пусть и был типус, не забывал позаботиться о солдатском желудке, заодно, разумеется, и о своем. А фамилия его вполне соответствовала комплекции, мог в один присест умять каравай.

Еще вчера Виктор подал рапорт на увольнительную и уже знал, что попал в список отпускников. После завтрака он привел себя в порядок, подшил свежий подворотничок, перемотал обмотки, наваксил ботинки. И тут дневальный прокричал о построении. Как-то не верилось, что все

обошлось благополучно и через час можно будет распивать чаи с Ниной в теплой избе.

Вошел помкомвзвода Кравцов, ноги коромыслом, придирчиво осмотрел шестерых отпускников, достал список, сделал переключку. Каждый, чья называлась фамилия, выходил из строя. Последний остался Виктор.

— Курсант Озеров, вы лишаетесь увольнительной за нерадивое отношение к материальной части!

Ничего не соображая, Виктор сдавленно спросил:

— То есть... как?

— А так, что на вашем карабине ржавчина, не протерли после караула. Стыд и позор! Следуйте за мной!

Кравцов подошел к пирамиде, выстукивая каблуками, словно по голове Виктора, и безошибочно взял злополучную винтовку:

— Полюбуйтесь!

На стволе легкими разводами, как мазут на воде, лежала ржавчина.

— Я сейчас протру!

— Протирайте, да лучше! Но в город не пойдете.

— Из-за этого лишать увольнительной?

— Будете пререкаться, получите наряд вне очереди!

— Я буду жаловаться. Я...

Виктор кинулся в командирскую комнату: надо во что бы то ни стало попасть в город, иначе погибель. Конец. Его судьбу решает эта увольнительная.

— Отставить! — хрипло прокричал помкомвзвода. — Что за расхлябанность? Как вы отходите? Наряд вне очереди!

Виктор остановился, пораженный:

— За что?

— Разговорчики! Повторите.

— Я буду жаловаться командиру взвода...

— Разговорчики! Еще наряд вне очереди. Повторите.

— Есть два наряда вне очереди. Разрешите идти? — Виктор трясся в негодовании. Повернулся на каблуках.

— Отставить!

Пришлось повторить все сначала и отойти строевым шагом, как того требовал устав.

В командирской комнате Рыжова не оказалось, был выходной, и Виктор отважился обратиться прямо к Ткаченко, командиру роты. Ткаченко был занят, пришлось долго ждать, и когда Виктор вошел к нему в кабинет, он, по-видимому, уже знал о нарядах, посмотрел недружелюбно, выслушал жалобу хмуро и... прочел длинную нотацию об обязанностях курсанта военно-пехотного училища. Виктор слушал с глупым лицом, не перебивал. Нет, не видать ему сегодня Нины.

— У вас есть в городе родственник? — подобрел Ткаченко.

Не зная сам почему, Виктор постеснялся назвать Нину, покачал головой, и когда вышел из командирской комнаты, пожалел об этом. Возмож-

но, Ткаченко хотел ему помочь. Ах, растяпа, растяпа ты, Виктор! Не сумел постоять за себя, вот и драй теперь полы два дня подряд!

Давно отбой. В казарме полумрак. Тускло светят ночные лампочки в длинном помещении с двухъярусными нарами. Рота спит, лишь кто-нибудь во сне забормочет, кто-нибудь заспанный слезет с нар и в одном белье прошморгает английскими ботинками на босую ногу в туалет. Бодрствуют лишь дневальный возле своей тумбочки у входа в казарму, да Виктор с Власовым, тоже штрафником. Этот курсант, призванный в армию с первого курса Московского театрального института, наивный, женственный, за что ни брался, все делал неумело. И накричать на него нелегко: какой-то беззащитный, покорный. Виктору приходилось работать за двоих, а ноги уже не держат. Разливают воду по полу, скребут фанеркой, а затем начисто и насухо вытирают тряпкой. Первый час ночи, а работы еще непочатый край. Виктор сгребает грязную воду, в то время как Власов собирает ее половой тряпкой и выжимает в ведро.

— Поживей, поживей, Власов! Я тоже дома не мыл полов, а пришлось — мою! Посмотришь, проканителемся до утра! — сердился Виктор, видя, как Власов вместе того, чтобы скрутить жгутом половую тряпку, мнет ее в руках, как тесто. Виктор отобрал у него тряпку и показал, как это надо делать.

— Понял?

С отсутствующим взглядом, точно занят совсем другим, может быть, какой-нибудь театральной ролью, Власов взял отжатую тряпку и неумело заерзал по полу.

— Эх, скорей бы на фронт! Надоела казарма, как горькая редька! — Виктор остервенело скребет фанеркой, спешит.

— Не говори! — поддакивает Власов. — Я тоже хоть сейчас пошел бы рядовым солдатом.

— Представляю, какой был бы солдат!

Власов не обижается. Солдат, конечно, из него вышел бы плохой. И офицер получится не лучше. Об этом, пожалуй, он и сам знает, но скорей всего представляет офицерскую службу на фронте чем-то вроде дирижирования оркестром в театре. Вместе с однокурсником Кальманом, в противоположность ему разбитным, скрытным, лишнего слова не скажет, с карими строгими глазами (у Власова большие голубые и ласковые на бледноватом тонком лице), он организовал драмкружок, в который вовлек и Виктора. Втроем готовили постановку о диверсантах и бдительности советских граждан, предотвративших взрыв крупного военного завода. Участников художественной самодеятельности освобождали от некоторых занятий и отпускали в город, Кравцов и Дубина были к ним снисходительны, разумеется, после соответствующего внушения командира роты. До сих пор Власов избегал наказаний, хотя поводов было предостаточно: нерадивее курсанта, по мнению сержантов, в роте не было. Но вот и он схватил два наряда вне очереди. А Виктор надеялся с его помощью все-таки попасть к Нине, если не по увольнительной, так с каким-нибудь



поручением — принести из драмтеатра реквизит или еще что-нибудь для постановки.

— Поживей, поживей, Власов! — торопил Виктор и еще ожесточеннее ерзал по мокрому полу фанеркой. Успокаивало только то, что не он один нерадивый курсант, рядом был не лучше.

Во втором часу ночи они покончили с уборкой и повалились в постель, как убитые. Виктор спал, не спал и пробудился от всеобщего непонятного возбуждения в роте:

— Под Сталинградом наши наступают!

— Наши наступают! Ура! — Эта весть пришла в казарму с криком дневального «Подъем!»

Тяжелые стены раздвинулись, лампочки загорелись ярче. Курсанты, слушая сводку Информбюро о развитии событий на Волге — окружении трехсоттысячной немецкой армии, прорыве обороны на широком фронте и быстром продвижении наших войск к Ростову-на-Дону, — считали, что это победа, войне скоро конец! Может случиться так, что никто из них не успеет попасть на фронт или попадет к шапочному разбору.

Прошла обида на Кравцова и Ткаченко, Виктор мысленно обращался к Нине: как она там? Наверное, тоже подпрыгивает от радости. Дня через три удалось добыть и увольнительную. И вот он уже пробирается по заснеженным улицам с протоптанной в сугробах дорожкой, вдоль сплошных деревянных заборов. Тротуары плохо расчищены, дорожка петляла, как по горному хребту, кое-где посыпанная золой, местами залитая помоями. Виктор много ждал от этого свидания... Сколько переоценено, переосмыслено за войну! Нина приехала в Киров всего месяца на полтора раньше, чем он, полгода жили бок о бок, не зная этого — непоправимо утерянное время! Виктор очень сожалел об этом, и Костя тут был словно ни при чем.

Вот и дом Нины. Виктор взбежал на резное деревянное крыльцо в сильном волнении. Дверь была наглухо закрыта, как обычно в деревянных домах, выходящих фасадами на улицу. Вход был со двора. Сейчас, сейчас случится что-то ужасное: он не застанет Нину дома. Зашел во двор и столкнулся с пожилой женщиной в стеганке, с охапкой поколотых дров на руках. Это была хозяйка, уже вернувшаяся из деревни.

— Вам кого надо-те? — спросила она с характерным вятским растягиванием окончаний.

— Нина у вас квартирует... из Ростова. Дома?

— Нету-те Нины. Уехала. В свой Ростов-оть, только не в самый Ростов...

— В Белую Калитву?

— Вот, вот! А уж торопилась, торопилась-та... — Хозяйка пристально всмотрелась в лицо Виктора. — Что нюни-то распустил? Кем ей будешь? Фамилия у тебя какая-ать?

— Озеров.

— Погоди! — Она занесла в дом дрова и вернулась с треугольником из листка школьной тетради.

Виктор тут же развернул его. «Дорогой друг!.. («Дорогой... И та, которая его так назвала, уже далеко!») Сегодня узнала из сводки Информбюро: Белая Калитва освобождена! Нет больше мочи сидеть в Кирове. Взяла расчет и уезжаю. Желаю тебе всего хорошего, а главное, уберечься от пули».

Виктор страшно переживал свою неудачу, казалось, ему не смириться с нею, как с потерей руки или ноги. Но, странное дело, вернулся в казарму и успокоился, и понял, что это был лишь отголосок давно пережитых чувств. Одно желание осталось — побыстрее, побыстрее на фронт!

## 6

Костя очнулся в госпитале на станции Эльтон. Из окна открывалась желтая осенняя степь с белой чашей соленого озера, над которой волнами переливался воздух. Тут еще жарило так, что днем настезь распахивали все окна. Вокруг ни деревца, ни человека. Один облезший грязно-желтый, как породившая его степь, старый верблюд стоял и смотрел куда-то равнодушно, вяло пережевывая колючую траву.

В палату зашли люди в белых халатах, разговаривая между собой, а голосов их Костя не слышал, видел только шевелившиеся губы и понял, что контужен, лишился слуха.

Физически Костя чувствовал себя неплохо, вставал с постели, прохаживался по палате, а через неделю сходил с соседом по койке в село, на рынок за арбузами. Поднялся ветер, завивая пыль, и она гуляла с одного конца горбатой улицы в другой. Вид унылый: глиняные мазанки, некоторые брошенные, полуразваленные, всего несколько кирпичных и деревянных домов. Все желто: постройки, глина, не земля, а камень, пожухлая трава. У ворот на лавке морщинистая бабка сучила на веретене шерстяную нитку; голый казашонок, с грязными подтеками арбузного сока на животе, засунув палец в нос, оторопело смотрел на госпитальных больных в куцых застиранных халатах. Госпиталь был как бы продолжением поселка: двор зарос бурьяном, весь изрыт ямами и траншеями. Асфальтированные дорожки разрушены, того и гляди запашешь носом. Канализации нет, душевых тоже, уборные во дворе залеплены мухами. Забор завалился, и на территории госпиталя паслись коровы и птица. На кухне готовили на соленой воде. Первые и вторые блюда еще терпимы, но горько-сладкие компоты и чай вызывали тошноту. «И это все, что осталось от России?» — спрашивал себя Костя.

Юность так занята собой, что мало обращает внимания на неустройство быта, и Костю занимало совсем другое. После Сталинграда он много размышлял. Собственные невзгоды притупились (слишком грандиозные надвигались события, чтобы можно было думать только о себе). Что же происходит? Крах? Уничтожение тысячелетнего государства, Мамаево

нашествие XX века и снова двухсотлетнее иго? Но лица солдат, соседей по палате, не выражали тревоги, да и разговоры (слух у Кости постепенно восстанавливался) вертелись вокруг госпитальной жизни: о просьбе к врачу с каким-нибудь пустяком, о вредности или полезности пищи, приготовленной на соленой воде, перевязках, грязевых ваннах, медсестрах и меньше всего о фронте, о судьбе России, правда, сводки Информбюро все слушали жадно, но, обменявшись мнениями, тут же как будто забывали о войне и переходили к насущным заботам.

Косте всегда было дело до того, что происходило в мире, и прежде всего в России, как будто его судьба целиком зависела от благополучного перелета через Северный полюс Чкалова, строительства Комсомольска-на-Амуре или хорошего урожая кубанских и донских нив. Помнится, в тридцатых годах печать и радио были заполнены сообщениями о героической эпопее челюскинцев. Костя с мальчишеской взволнованностью переживал за людей, высадившихся с потерпевшего крушения корабля на льдину, а на улице греки иностранного подданства, падкие до всего антисоветского, распевали злопыхательскую песенку: «Капитан Воронин судно проворонил...» Не с тех ли пор появилась ненависть к пошлости, неприязнь к людям, которые пеклись лишь о собственном благополучии и не хотели знать ни о чем другом?

И здесь, в Эльтонском госпитале, было тягостно слушать мелочные разговоры о еде, лекарствах или женских достоинствах медсестер, в то время как под Сталинградом решалась судьба России. Состояние Кости усугублялось фронтовыми потрясениями, от которых он до сих пор не отошел, и ходил мрачный, нелюдимый, раздражался по пустякам.

Жара, пыль убивали всякие желания. Не хотелось покидать чистую прохладную палату, но Костя каждый день совершал далекие прогулки в степь, увлекаемый капитаном Бибеевым из соседней офицерской палаты, с простреленной рукой, которую он носил на черной косынке, подвязанной за шею. Ходили они к роднику в сторону озера. Сколько охватывал глаз, лежала полупустыня полынь до колючки.

Из железной трубы, поставленной на попа, бил ключ, оплывая хрустальными струями. Он давал начало речушке с обрывистыми глинистыми берегами, затянутой буро-зеленой тиной. Рыбы, наверное, никакой, разве только лягушки, но и тех что-то не замечалось. Трава такая жесткая, что прилечь невозможно. Возле родника так и не выбрали места. Поглядели вдоль берега, на пышный зеленый ковер, но там было сыро, болотисто, рой насекомых, а выше, на солнцепеке — жесткая полынь и земля, как камень.

На Эльтоне располагались грязелечебницы. Костя в одних трусах пошел по соленому озеру с редкими лужицами воды в надежде искупаться, и казалось, что голый человек идет по снегу. Ветер дул от берега и воду согнал на другую половину чаши. Но и там глубина не превышала метра. Вдали, в молочной дымке, очерчивался противоположный берег и устье степной высохшей речки. До нее было далеко, и Костя вернулся назад.

«Жизнь здесь стоит, как заснувшее озеро Эльтон», — думал он, оглядывая унылую степь. — И это все, что осталось от России?..» С неделю назад слабо начал различать звуки, а сегодня обнаружил, что слышит уже довольно прилично. Ему, как многим, прописали грязи. В комнате отдыха, куда он зашел с озера, сидели солдаты, некоторые с костылями, одни после ванн, другие в ожидании своей очереди. Кто-то иронически заметил:

— Одни и те же!

— Сейчас будут свежие! — тотчас отозвался бойкий солдатик, показывая костылем на дверь. И верно, вошли двое, поздоровались. — И чего вы приперлись? Чего вам тут надо? — набросился на них бойкий солдатик с напущенной задиристостью.

— Попер, как колхоз на землю! — в тон ему ответил один из трех вошедших, вызвав общий смех.

Солдаты были довольны госпитальной жизнью, это видел Костя, довольны несколькими неделями отдыха вдали от передовой. Отчего же он сам не испытывает этого маленького счастья, а все время тяготится ничегонеделанием? Его будто загнали на край света, где жизнь для русского человека невозможна. А ведь оно так и есть!

— Следующий мужчин! Давай! — заглянула в комнату казашка-санитарка, приглашая очередных больных на грязи.

После ванны, вернувшись в комнату отдыха, Костя смотрел в окно, мысленно продолжая свой взгляд дальше на восток, где казахские степи переходили в среднеазиатские пустыни, и чувствовал себя, как загнанный в тенета волк. Мысль о потере Родины, близких людей не выходила из головы. Он вспоминал Сталинград, те критические сентябрьские дни когда казалось вот-вот наша оборона сползет в Волгу. Но до сих пор солдаты Родимцева удерживали правый берег, значит, не хватает у немцев пороху, и Костю тянуло к однополчанам разделить с ними тяжелую окопную жизнь. Лучше умереть с пулей в груди, чем чахнуть от тоски в этих обделенных природой степях, противоположенных русскому человеку.

Капитан Бибеев, особист, который увлекал Костю в дальние прогулки, разделял его мысли, был интересным собеседником и по всему видно культурным человеком. Они познакомились в библиотеке. Бибеев обратил внимание на то, как сержант упорно читает «Историю» Ключевского. Госпитальная библиотека, вывезенная с запада, представляла собой случайный, но довольно разнообразный подбор литературы, и Костя много часов проводил здесь.

— Почему вдруг Ключевский? — спросил Бибеев молодого человека, листая подшивку газет. Костя с неохотой прервал чтение, окинул Бибеева не очень приветливым взглядом и ответил с иронией:

— Хочу, капитан, узнать, кто мы, кто были наши предки, что за страна, которую мы теряем? — Последнее слово Костя произнес желчно, вкладывая в него всю пережитую горечь поражений и потерь. — К сожа-

лению, капитан, это вопросы мы редко задаем себе, может быть, поэтому и плохо бережем свою Родину.

— Сейчас время борьбы, а не философствования, — возразил Бибеев с напускной строгостью, но во взгляде его было сочувствие настроению сержанта.

В то время уже повсюду в войсках поднималось национальное самосознание. Вводились ордена Александра Невского, Суворова, Кутузова, Нахимова, и в своих речах Сталин часто обращался к историческим примерам самоотверженности и героизма русского народа.

Капитан и сержант разговорились. Человек живого, насмешливого ума, Бибеев многое обращал в шутку, как бы подтрунивая над собеседником, поэтому первый же разговор получился острый. Несмотря на то что перед ним был офицер, Костя рассуждал свободно, не уступая в иронии.

Бибеев, хоть и был болдырь, то есть помесь русского и татарина, но в таком отдалении, что от татарина уже мало что осталось, разве только фамилия: нос прямой, глаза синие, волосы русые, лицо чуть скуластое. Более чем внешностью, он духом, всем своим открытым прямым характером был русский, и Косте порой даже казалось, что капитан преднамеренно это подчеркивает.

Чтобы показать свое равное отношение ко всем национальностям, в том числе к татарам, предкам Бибеева, Костя заметил, что казанские татары в сталинградских боях не уступали в храбрости русским. Бибеев выслушал, против ожидания Кости, без подобострастия.

А вообще-то беседы их переходили в горячие споры, вскакивание со стула, размахивание руками, обращение то к энциклопедии, то к толковому словарю Даля, желая как можно точнее разъяснить свои соображения. Особенно сильный отпор вызывал у Бибеева пессимизм Кости, его желчные слова о новом «монгольском» иге, крахе русской культуры, уничтожении нации и ее духа. Бибеев спорил умело, тонко, не обижая, и Костя, к своему стыду, лишь от него по-настоящему узнал, что за народ русские, к которым сам принадлежал.

— Монгольское иго, да будет тебе известно, сержант, было номинальным. Повоевав Русь, монголы убрались в степи, предоставив князьям править своими княжествами и платить ясак. Русская кровь не приняла монгольскую, отвергла начисто...

Костя усмехнулся, глядя на полутатарское, полурусское лицо Бибеева.

— Да, да! Небольшой монголоидный налет остался еще с неолита, когда из Азии в Европу по Северу вытянулся язык азиатских народов. Он заметен и у скандинавов, и у немцев. В средние века русские были более монголоидны, чем сейчас, — заключил Бибеев с таким видом, словно давал возможность убедиться в этом на собственной персоне, потом, улыбаясь доброй, чуть смешливой улыбкой, сказал: — Будь спокоен сержант, и новый фашистский порядок, и немецкую кровь русский народ тоже не примет!

Костя удивил Бибеева после того, как уже выписался из госпиталя, пожал крепко руку и глянул почти что хмуро:

— Я одно понял, капитан: перебьют обе ноги, пуля застрянет в плече, кровью будешь истекать, но все равно стреляй! — Он поправил лямки вещмешка, закинутого на одно плечо, и, уходя, добавил с улыбкой: — От такого раненого и здоровый отступит! Верно?

Распрощались друзьями, и Бибеев долго смотрел в окно, как сержант с вещмешком на спине пробирался по сугробам на станцию. Обернулся, чувствуя прощальный взгляд капитана, помахал рукой и увидел ответный жест в заиндевелом окне.

Слух полностью восстановился, но еще остался тик — нервное подергивание головы, все же Костя настоял на досрочной выписке из госпиталя, получил направление в запасной полк и двухнедельный отпуск. Наме-рился во что бы то ни стало побывать в Белой Калитве, повидать жену и дочурку, которая и отца-то не знала.

Он поехал через Сталинград. Тянуло посмотреть на места последних боев и гибели стольких товарищей по оружию! Стоял вьюжный холодный февраль. Сталинград открылся со стороны степи горами развалин. Казалось, там не найти живой души, но уже на окраине повстречались пешеходы, а в центре было совсем оживленно. Костя спрыгнул с попутного грузовика и пешком направился к вокзалу. Пробирался среди сплошных руин, по кое-как расчищенной мостовой в рывтинах и воронках. Жизнь уже брала свое. В нижних, кое-как залатанных этажах, открылись магазины, в то время как верхние представляли из себя скелеты или нагромождения бесформенных железобетонных глыб, и Костя проходил под ними, как под нависшими, готовыми вот-вот рухнуть скалами. С крыш домов свисали то хвост, то крыло рухнувшего самолета, а на площади возвышалась гора исковерканного дюралюминия. Сюда свозили и сваливали в одну кучу наши и немецкие сбитые самолеты.

Еще хранили следы боев разбитый в пух и прах вокзал, торчащие из земли палки бывшей рощицы, отбитый парашют фонтана, как очищенный от скорлупы орех, полузасыпанные снегом окопы. Вон груда кирпичей, на которой нашел свою смерть Сергей Зовицкий, вон окопчик Мити Лохматова, а вон его, Кости, от которого всего метрах в трех огромная бомбовая воронка. Снежинки, вертясь, медленно оседали на землю в полной тишине, а в голове грохотал день двадцатого сентября, его, Костин, день. Он пошел вдоль окопов, но был остановлен сердитым окриком:

— Здесь ходить нельзя!

Впереди на дощечке, прибитой к столбику, была надпись белой краской: «МИНЫ!»

В городе еще работали саперы.

Много времени спустя, на фронте, от одного солдата Костя узнал о судьбе своего гвардейского батальона. Почти все погибли. Горстка солдат, окруженная немцами, отбивалась до темноты и глубокой ночью на ура прорвалась сквозь кольцо, выбралась на берег Волги и переправилась

на остров. Уцелело всего пятеро вместе с командиром первой роты, которого Костя не знал.

Он словно посетил собственную могилу, побывав в Сталинграде, и по выметенной ветрами, сиротливой степи, с пепелищами разбитых хуторов, на второй день добрался до Белой Калитвы. Сельсовет выглядел пустым, с одиноким обшарпанным письменным столом, покрытым линялым, в пятнах чернил, кумачом, и портретом старика в пенсне и бородкой клином, Калинина, на стене. Костю встретил молодой, без правой руки и правого глаза, с синими пороховыми крапинками по лицу, председатель. Он посчитал, что солдат приехал из армии подчистую, инвалид, как и сам, и приветливо высыпал на стол горсть лесных орехов.

— Рад бы лучше угостить, да нечем!

Разбежавшаяся по столу лещина напоминала автоматные патроны.

— Я на побывку. Из госпиталя. К жене, — объяснил Костя и заметил разочарование на искаленном лице председателя, которому, по всему видно, очень нужен был помощник.

— Часто вижу какую-то женщину с дочкой. Не твоя ли фамильница?.. Во-он там живут. — Он показал в окно на дом бывшего «Центроспирта» в ста метрах от сельсовета.

На площадь выползла подвода на низких, почти игрушечных колесах, нагруженная бедным скарбом — домой возвращались беженцы. Тошную лошаденку погонял мальчик лет двенадцати, повязанный поверх шапки драным материнским платком. Следом брела женщина в старом, с мужского плеча кожухе и держала на руках девочку лет двух. Все были усталые, еле переставляли ноги, включая и лошадь. Найдет ли эта семья свой очаг уцелевшим или одно пепелище? Костя представил мытарства и бедствия собственной семьи, и сердце больно сжалось... Председатель повернулся от окна к гостю, но его и след простыл.

«Неужели я сейчас их увижу?» — сглотнул Костя радость. Он шагал через истоптанную, с замерзшим конским пометом и желтыми разводами мочи, станичную площадь, не веря в свое счастье, боясь, что какая-нибудь случайность помешает встрече с женой и дочкой. Вот и ворота почему-то нараспашку. Посреди двора — американский «виллис» с откинутым капотом. Шофер возился в моторе.

Костя остановился в глубокой тоске, не в силах сделать больше шага: «виллис» почему-то отнял надежду. В счастье не верилось, настолько оно казалось невероятным, как это бывает во сне, когда понимаешь, что спишь, что пробуждение доставит одно разочарование.

На крыльце старого казачьего дома женщина в шерстяном платке, концами затянутом на шее, грызла семечки, глянула на человека в воротах и отвернулась, но тут же, пораженная, снова уставилась на него, не веря своим глазам, с открытым искаженным ртом, и семечки посыпались из ее рук. Она что-то кричала, сбегая с крыльца, но Костя не слышал из-за взревшего на высокой ноте мотора, включенного шофером.

Нина приникла к груди мужа, обмякла и долго, словно в забытьи, судорожно прижималась, а когда подняла голову, лицо ее было мокрое. Слова не шли, они и не нужны были, говорили глаза, и так, молча, в обнимку, они направились в дом.

Нина, как полоумная забегала по комнатам, хлопоча об обеде и бане.

Дочь Катенька, большелобая, с широко расставленными глазами, лицом похожая на Костю, вначале поглядывала на отца диковато, но не прошло и часа, как уже сидела на его коленях, а к концу дня не отходила ни на шаг. Костя поднес дочку к зеркалу, поднял ее лицо на уровень своего и сказал не без отцовской гордости:

— Видишь, как мы похожи друг на друга?

— Вижу.

— Признаешь своего папу?

— Папочка, родной! — Она крепко обняла за шею обеими ручонками. И Костя, наконец, полностью уверился в том, что все происходит наяву, что он в кругу семьи, что долгий, трудный путь, которым они шли друг к другу, закончился благополучно, и пусть эта встреча коротка, впереди предстоят не менее тяжелые испытания, он был счастлив как никогда в жизни.

В доме был раскардаш, как обычно во время дорожных сборов. Появление Кости всего на несколько минут прервало суматоху, хлопанье дверц гардероба, возгласы: «А где лежит синий шарф? Куда запропастились валенки?»

На полу, посреди комнаты, стоял открытый чемодан. Тонкая, белокурая девушка укладывала вещи. Она чуть прихрамывала на левую ногу после осколочного ранения, ранка на пятке уже зажила, но на рубец было больно наступать. Приехав в Белую Калитву перед войной погостить, Тоня прожила здесь полтора года, узнала и фронт, и оккупацию, и в свои шестнадцать лет выглядела совсем взрослой. Отец ее, командуя большим воинским соединением, прислал ординарца на машине (это был тот самый «виллис» под зеленым тентом во дворе) и велел ехать к матери в рязанский город Скопин. Оживленная, раскрасневшаяся Тоня уверяла, что в Скопине долго не пробудет, уедет к отцу на фронт. Костю она видела первый раз, почему-то до этой встречи совмещая его образ с милым ей образом Виктора Озерова, и, увидев совершенно другого человека, с другим лицом, другой манерой говорить и ходить, разочаровалась и отнеслась к знакомству с Костей равнодушно. Но очень была привязана к Катеньке, как и та к ней: столько перенесли страхов и лишений при немцах! Девочка называла Тоню то мамой, то няней, вертелась возле нее, помогала укладываться. И если бы не приезд отца, Катенька наверняка разревелась бы на весь дом, когда Тоня, уже закутанная в тулуп, привезенный ординарцем, садилась в «виллис».

— Приезжай, няня Тоня! — Катенька, подпрыгивая, махала рукой с крыльца. Тоня уже всех перецеловала с полными слез красными глазами



и тоже махала одной рукой, в то время как другой утирала слезы. «Виллис» зарокотал и покотил со двора.

Косте Тоня понравилась, и за то короткое время, которое он провел с нею в доме, видя, как сдружились женщины, испытывал к ней большое расположение и всячески старался это высказать, но, встречая равнодушные, не понимал, в чем дело. Тоня уехала, оставив в его душе неприятное чувство, которое, впрочем, вскоре исчезло без следа. Костю целиком заняли жена и дочь. Нина рассказывала, как Тоня оберегала их дочурку в неметчине. Жили под постоянным страхом, холодные и голодные, страсть сколько перевидели расправ и издевательств: перед самым уходом из Белой Калитвы эсэсовцы загнали в сарай пленных красноармейцев и сожгли.

Это потрясло Костю, прежде ничего подобного не слыжавшего.

— Шакалы! Зверствуют от своего бессилия, — проговорил он сквозь зубы, возвращаясь к тягостному Эльтонскому состоянию.

Нина испугалась бледного лица и чужих лихорадочных глаз, поспешила развлечь, вспомнила встречу с Виктором в Кирове. Так для нее это было неожиданно и радостно, что Костя ревниво заметил:

— Старая любовь не забывается!

— Ой, не подумай что-нибудь плохое! Просто было приятно увидеть земляка в чужом городе. К Виктору у меня совершенно не лежит сердце! — заверила она и крепко прижалась к мужу, рассеивая всякие сомнения.

\* \* \*

В странах, далеких от бурных событий истории, семьи компактны, с устоявшимся бытом. Совсем не то у нас: безотцовщину, сиротство породили войны и голодовки вплоть до середины века. Ребенок еще всеми помыслами в родном доме, на озорной улице, с друзьями детства, и верит, что этот добрый, светлый мир будет с ним всегда, а черные тучи уже сгущаются над его головой. И вот он, безусый паренек, нежданно-негаданно захвачен водоворотом лихолетья, понесся щепкой по крутым волнам, и на какой берег его выбросит — бог весть!

Так и наших героев разбросало далеко от семейного гнезда по долам и весям, и каждый пошел своим неведомым путем. Для одних он закончился в самом начале, для других впереди еще долгая нелегкая дорога. Но уже никогда она не приведет в родной дом, к родному очагу, разрушенных войной, только память нет-нет да вернет то золотое время, согреет на минуту душу, вселит надежду на лучшие дни.

ПОСЛЕ ДНЕПРА, В ДЕКАБРЕ

1

Виктор Озеров приехал из училища на Юго-Западный фронт и долгое время болтался по резервам — пересылали из одной армии в другую, из одного корпуса в другой. Давно вошли в обиход погоны, а он все еще носил кубики, зимняя форма сменилась на летнюю, а он все еще парился в шинели. Причину своих мытарств младший лейтенант видел в том, что штабисты опасались доверять солдат необстрелянному офицеру, поэтому и старались поскорее сбить его с рук.

На базаре прифронтового села раненый сержант продавал кожаный ремень с портупей, потряхивая над головой:

— Отдаю за литруху самогонки!

Он шкандылял на одном костыле, неся впереди себя простреленную ногу в носке, натянутом поверх бинтов.

Виктору хотелось обзавестись настоящей амуницией взамен брезентового ремня, который обличал в нем некадрового офицера, и он пошел следом за раненым, предлагая деньги.

— На кой хрен они мне! Хочу друга помянуть, умер в госпитале. Его портупея. Литр самогонки есть — бери!

— За эти деньги вы купите полтора литра. Вот... тысяча рублей!

Сержант рассердился:

— Катись ты со своей тысячей, младшой! На кой ляд она мне?

— Вы за эти деньги...

— Эй, младшой, отвяжись, не продам я тебе портупею! — Он зло помахал костылем в сторону фронта, где погромыхивало и полнеба было затянуто пылью и гарью: — Вон там кожаный ремень добудешь! А тут хорош и в брезентовом.

Виктор застыдился, отстал от сержанта. И этот безошибочно признал в нем нефронтовика. Было загадкой, что же выдавало его, ведь и на фронте не все офицеры носят портупеи. И чего его мотают по штабам? Вон уже и кирзачи еле дышат, каши просят, подошва на левом отстала и медные гвозди блестят, как щучьи зубы. Только в полку можно было получить новые сапоги, да как туда попасть?

Будь кирзачи по ноге, продержались бы еще не один месяц. Но в училище Виктор так наморозил ноги в английских тупоносых ботинках с прессованными подошвами и свиным верхом, что рад был любым сапогам. Собственно, офицерского он ничего не получил при выпуске, кроме полевых зеленых кубарей на петлицы, все остальное было солдатское: бумажная гимнастерка без карманов, грубая шинель, брезентовый пояс, шапка-ушанка из поддельного бобрика. Сапоги своего размера он не хо-

тел братъ, (боялся обморозить ноги) и выкрикнул на всю казарму шумно экипировавшимся курсантам, у кого есть на два размера больше. Однокурснику Власову по ошибке выдали сорок пятый размер, и он с готовностью поменялся. На дворе хоть и был март, весной не пахло, наверное, зима протянет до мая на северном участке фронта, куда Виктор мог попасть, следовало ноги побережь, поплотнее намотать портянки. Как же он вскоре пожалел о кирзачах сорок третьего размера! Его направили на юг, где уже разгулялась весна. Ноги прели, пришлось перейти на летние портянки и шморгать в кирзачах, как цирковой клоун в туфлях с задранными носками!

Помнится, приехал он на станцию Старый Оскол, забитую воинскими эшелонами. В комендантском ларьке получил сухой паек и пробирался к своему поезду тамбурами плотно стоявших на путях составов, как вдруг низко, на бреющем полете, возник немецкий самолет: в желто-коричневых разводах удлинённый фюзеляж, чёрный крест, чёрная свастика в красном овале, наполовину отодвинутый фонарь, под которым спокойное лицо летчика в шлеме, как будто на вечерней прогулке. Виктор не испытал никакого страха, только любопытство; и немецкий самолет, и летчика-немца в такой близости он видел впервые. «Ну и нахал!» — подумал Виктор, опомнившись и поняв, что эта встреча вовсе не миролюбивая.

Самолет пролетел вдоль железной дороги, навесил фонарей на парашютах (уже смеркалось), но почему-то не бомбил словно нарочно для этого скопившиеся составы, наверное, был разведчик. Все же Виктор поскорее убрался со станции от греха подальше.

В апреле потеплело, прояснилось, и налеты участились, немецкие эскадрильи появлялись из глубины неба, как стая рыб со дна моря, и выглядели безобидно, казалось, шумны на них — разбегутся в разные стороны.

«Юнкерсы» выстраивались цепочкой в затылок друг другу и, заваливаясь набок, образуя в воздухе чертово колесо, с ревом устремлялись в пике. Чертово колесо вертелось и вертелось, а на земле люди забивались в окопы, подвалы, затаив дыхание от страха, под грохот обвальных взрывов и визг осколков. У Виктора поубавилось любопытства. Он понадежнее подыскивал укрытие, как только слышит прерывистый надсадный рев моторов или заметит далеко в небе голубоватые миражные очертания немецких самолетов.

На его глазах подвергся ожесточенной бомбежке армейский штаб, в который он направлялся и не дошел какой-нибудь километр, лег в траву. Над ухом пролетел и неподалеку шлепнулся шальной осколок. И в этом не было ничего удивительного. Два дня назад среди степной тишины Озеров, шагавший по проселочной дороге, услышал знакомое жужжание и шлепок о землю. Трудно было понять, какой силой занесло кусок металла так далеко от разрыва снаряда.

После бомбежки село лежало в сплошных развалинах. У одной рухнувшей хаты из-под обломков торчали девичьи ноги в летних сапожках,

сшитых из плащ-палатки, и Виктору показалось дико, что женщины умирали там, где положено одним мужчинам.

В тот же день его направили в часть, которая формировалась под Купянском. Он получил взвод солдат-новобранцев и усердно принялся обучать их стрельбе из 50-мм минометов, бывших тогда в каждой стрелковой роте. Эти небольшие минометы с дальностью полета мины всего восемьсот метров так и назывались «ротные». Виктор, истосковавшийся по делу, оказался довольно-таки ретивым взводным: без усталы муштровал своих уже немолодых солдат — призванных в армию из окрестных сел мужичков, да еще заставлял их надевать противогазы во время марш-бросков, которыми заканчивал ежедневные занятия. Мужички заливались потом, пошатывались и едва переводили дыхание на финише, но не роптали.

Вторую линию обороны занимал Степной фронт, спешно возводя укрепления в преддверии ожесточенных летних боев. Солдаты рыли зигзагами траншеи в человеческий рост, огневые позиции для артиллерии по всем саперным правилам и строили землянки до восьми накатов бревен. Это была та оборона, в которой, прорвав первую линию укреплений, увязли немцы в Орловско-Курской битве. Виктор оборудовал взводный участок с уверенностью, что не просто будет выкурить отсюда минометчиков, немало врагов ляжет перед окопами. На столб, вбитый в землю, он надел старое колесо от повозки, установил на нем ручной пулемет с диском и палил по немецким самолетам, все наглее бороздившим небо. Соседи с такого же приспособления из противотанкового ружья сбили «раму», разведчик и корректировщик, со спаренными фюзеляжами, до сих пор считавшийся неуязвимым. А в один погожий день, с глубоким синим небом, Виктор был свидетелем того, как два наших «ястребка» пленили и посадили на свой аэродром «мессершмитта», нависнув над ним, прижимая к земле и озорно постреливая короткими очередями из пулеметов, мол, садись, садись, а не то худо будет!

Повоевать с ротными минометами не удалось: их сняли с вооружения, а Виктора отослали в резерв под Курск. Было жаль расставаться с поднаторевшими в военной науке мужичками, уже настоящими солдатами, видел, что и они к нему привыкли, хотя и крепко доставалось от юного взводного. Неужели опять мытарствоваться в прифронтовой полосе вечным резервистом? Хорошо, хоть успел поменять сапоги.

После короткой службы в полку, как ни странно, отношение фронтовиков к Озерову изменилось, они почему-то признали его своим. В чем тут было дело, тоже осталось загадкой, ведь до сих пор Озеров в глаза не видел немцев, разве только стрелял по самолетам, и не носил медали или нашивки за ранение. Очевидно, приобрел в полку какие-то признаки кадровика.

Во фронтовом резерве находилось тысячи полторы офицеров разных званий. Озеров приятно удивился такой армии безработных, но вряд ли это был переизбыток кадров. Уже на вторую неделю Орловско-Курской битвы догадка его подтвердилась. Резерва как не было, все получили на-

значения в части. А пока жили по глухим лесным селам. Жили вольготно. «Как у тещи на блинах!» — шутили офицеры. Утром звуки горна звучно разносились окрест, будоража петухов, которые топорщили перья, словно зачуяв грозного соперника. После построения и переклички — занятия, большей частью формальные. Расходились группами по лесу и до обеда кто читал, кто собирал грибы, а кто резался в карты. Денег было много, их не на что было тратить, банк поднимался до двадцати—тридцати тысяч рублей. Виктору везло, карманы отдувались от денег. Но что с ними делать? Перед страшным ликом войны все приобретения теряли смысл, как сытый обед перед казнью. Разудалый его друг детства, с волнистым рыжим чубом Лешка Прасолов, лейтенант, тоже «загорал» в резерве. Для обоих это была неожиданная и радостная встреча, и однажды по инициативе Лешки они отправились в большое соседнее село на посиделки. Был уже июль. Лунными теплыми вечерами на лавках под плетнями собирались девчата, пели песни. У Лешки уже была на примете хата с молодежцей. Предупрежденная заранее хозяйка, мать этой самой молодежи, приготовила раннюю картошку в сметане, изжарила сковородку красношляпых подосиновиков, налила чашку меда и выставила бутылку самогона. Обед обошелся в полторы тысячи рублей, просто мелочь по тем деньгам и тому времени.

Будучи фронтовиком и раненым (в резерв он попал из госпиталя), с орденом Красной Звезды, уже бывалый офицер, Лешка держался с Виктором на равных, без намека на превосходство, даже не поинтересовался, был ли тот в боях, да и о себе ничего не рассказывал, только приглашая на посиделки, многозначительно заметил:

— На передовой с девчатами не погуляешь!

Вечером на бревне, приваленном к плетню и облюбованном молодежью, вытертом до блеска не одним поколением, Виктор познакомился с бойкой молдаванкой, эвакуированной из Кишинева. Звали ее Катей.

— Я живу в Валуйках, в село приехала менять барахло на продукты, — сообщила она откровенно, без тени смущения, как о вполне понятном деле, хотя Виктор и не спрашивал ее об этом. Он знал, что Валуйки — узловая железнодорожная станция, отсюда километрах в двадцати, и что весной там были жаркие бои.

— Ну и как, наменяла?

— Ага, молодой картошки, сала. Приезжай в Валуйки, угощу борщом.

— А почему ты там живешь, сюда не переберешься? Немец небось бомбит каждый день?

— Бомбит, проклятый! Но куда переезжать? В Валуйках у меня тетка, хата.

— А муж есть?

— В армии. Такой же белый, на тебя похожий. Поэтому ты мне понравился. — Она взглянула на кудри Виктора, как малыш на забавную игрушку, которую ему очень хотелось потрогать.

То, что Катя была не девушка, замужняя, значит, доступная, и то, что Виктор был похож на ее мужа, придало ему смелости.

— Когда едешь домой?

— Завтра.

— Так скоро?

Она не ответила, поднялась с бревна.

— Пойдем погуляем.

Посиделки опустели. Пары разбрелись по селу, притаились в тени деревьев, на завалинках, укрылись в садах, и яркий одинокий месяц, до этого во все глаза глядевший на шумное сборище молодежи, стыдливо отвернул свое круглое рябоватое лицо и спрятался за крышу хаты.

Катя сделалась ласковой, поухаживала за Виктором, застегнула пуговицу на его гимнастерке, выказывая симпатию и доброту. А парень в мыслях был боек, да на деле робок, все хотел обнять молодую женщину и никак не решался. Забрели на чью-то леваду, сели под стожок. Катя откинулась на сено, выдернула стебелек, прикусила:

— Чабрецом пахнет, чуешь?

Виктор понимал, что теперь остановка за ним, но словно прирос к земле. В голове — мешанина, как от плохо выученного урока, когда не знаешь, с чего начать, хоть бы вспомнить первую фразу, а там, гляди, придет на ум и все остальное. Он подумал о том, что не сегодня-завтра попадет на передовую и умрет нецелованным, хотя мертвым никак не мог себя вообразить, сдавалось, все равно останется среди людей, только уже в другом образе, который представлялся ему, по правде сказать, очень смутно.

«Так и умру девственником, — размышлял он как-то отвлеченно, не глядя на Катю, словно она была тут ни при чем. — Нет, я должен обязательно узнать, что это такое. Ведь многие, многие безумные ребята умерли, не узнав этого...» И ему стало жаль их до слез, а заодно и себя, к горлу подступил комок, тянуло уйти в какой-нибудь глухой уголок сада и там разреветься, и он едва не встал и не ушел. «Что же я? — спохватился Виктор. — Покинуть этот свет, не испытав наслаждения и счастья, о которых столько читано в книгах?» Рядом лежала, тянулась к нему черноокая молдаванка, а он робел, чужак. До войны не успел, а в войну было не до этого, да и случая такого, как сейчас, не представлялось. «Сейчас, сейчас я должен обнять ее, поцеловать! — подстегивал он себя и боялся показаться наивным, несведущим, таким же тютей-матютей, как Подколесин, выпрыгнувший от невесты в окно, роль которого он играл в школьном спектакле. — Возьму лягу рядом, будто так, играя, и дальше все получится само собой...» Но едва он пошевелился, как ход мыслей его круто поменялся: «Ложится неловко, дурно обо мне подумает. Сначала надо... Что же сначала? Просто обнять за плечо и погладить волосы. Да, вот с этого и начну...»

— Ой, кто там? — приподнялась молдаванка, показывая рукой на куст, в то время, как Виктор потянулся к ней, и рука его повисла в воздухе.

— Нет там никого, — сказал он с досадой, оглядываясь, и обнял Катю, но уже не от избытка чувств, а лишь для того, чтобы вернуть ее на сено. Катя напряглась, запротивилась, и Виктор понял в унынии, что с таким трудом выстроенная теория любви рухнула. Он не знал, как себя вести в новой ситуации, то ли внять призыву Кати и проверить куст, то ли не обращать ни на что внимания, действовать, как задумал. Возможно, это просто женская уловка, которой следует пренебречь. Он еще раз попытался вернуть Катю на сено, но из этого получилось только то, что, почувствовав ее упорство, он увидел всю комичность своего положения.

— Там кто-то есть, я слышу голос! — настаивала Катя.

— Да нет там никого!

— Пойди проверь.

— Ну хорошо.

Виктор встал без охоты и направился к темному кусту шагах в двадцати. Под ним была пара. Девушка испуганно оттолкнула от себя парня, в котором Виктор признал Лешку.

— А, это ты, — сказал тот, улыбаясь, и по этой улыбке нетрудно было догадаться, что его друг оказался куда проворнее Виктора.

— Домой? Пожалуй, пора. А ты с кем? С молдаванкой? Где же она?

— Тут рядом.

— Иди прощайся. Жду через пять минут. — Лешка подтянул ремень, одернул гимнастерку и подал руку своей молодке, помогая встать с травы.

Добрались кавалеры до своего села на рассвете, расстояние было порядочное, километров восемь, и всю дорогу Лешка рассказывал о хозяйской дочке, с которой был знаком уже недели две, и о том, как просто добился ее любви.

— Война все спишет, — присовокупил он. — А у тебя как? Молдаванка прямо-таки конфетка! Хороша, очень хороша. Я еще на бревне подумал: «Губа не дура у Виктора, разбирается в женщинах!»

И Виктор, чтобы поддержать это мнение, не зная сам для чего, насочинял такое, что самому стало стыдно. Лешка слушал внимательно, двусмысленно улыбаясь, и Виктор уже не сомневался, что опростоволосился. «Ну и скотина я, чего наплел!» — подумал он с презрением к самому себе. И с этим отвратительным чувством, еще более усугубившимся тем, что Катя рассталась с ним холодно, он лег в постель и долго не мог уснуть. Лешка поднял его на построение с большой головой.

## 2

По оживленным разговорам офицеров в строю было видно, что ожидалось важное сообщение, и Виктор тревожился, что не успеет повидать

Катю до ее отъезда в Валуйки, как обещал: какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешает этому. Крутая перемена на фронте будет крутой и в его судьбе. Тревожился не он один, все офицеры прислушивались и поглядывали на запад, откуда уже несколько дней явственно доносился гул большого сражения. С рассветом словно что-то закипало, клокотало в огромном котле, и вот-вот перельется через край, потечет вглубь и вширь. К вечеру бой стихал, но не прекращался: полыхало зарево, ухали фугаски и тяжелые снаряды, отчетливо слышные в ночной тишине, и офицеры засыпали с мыслью, как бы утром, открыв глаза, не увидеть у своей постели немца с автоматом. Виктор вспоминал свой любовно отрытый окоп и всю оборону, которую он усердно, не жалея рук, строил с минометным взводом. Достигли или нет немцы этого рубежа? И если достигли, то как от них отбиваются его старательные мужички?

К строю подошел озабоченный полковник, не стал слушать рапорта дежурного офицера, вызвал к себе командиров и раздал какие-то бумаги. «Предписания», — сообразил Виктор. И верно, вслед за этим ротный вручил ему направление в часть, на фронт, где, как видно, уже требовались офицеры на место убитых. Разъехались группами по восемь—десять человек. Виктор был назначен старшим в своей команде, куда вошел и Лешка Прасолов, с радостью узнавший о направлении его в полк, в котором до ранения он провёл почти год.

— Путь наш лежит через Валуйки, — сказал Озеров. — Там и заночуем. Молдаванка обещала борща наварить.

В прифронтовых селах и городах солдат в любом доме мог найти приют, никто не посмел бы ему отказать в ночлеге. Дом, выбранный офицерами, был не тот, где жила молдаванка, команда сюда попала случайно, один из офицеров ночевал прежде, до резерва. Но молдаванка знала хозяйку, вместе с нею наварила борща, принесла самогонки, позвала подружек, и составила веселая компания.

В сумерках она увела Виктора к себе, а жила у самой станции. Кругом на несколько кварталов не было ни души, на ночь жители уходили от греха подальше: железную дорогу каждый день бомбили. Страшная и прекрасная была эта ночь для Виктора, не сомкнувшего до рассвета глаз. Слышалось гудение ночного бомбардировщика, окна освещались ракетами. Виктор острил ухо, готовый тотчас, как засвистит бомба, скатиться на пол. Молдаванка тоже настораживалась. Гул самолета удалялся, и они льнули друг к другу, а как только приближался, откидывались на край кровати и ждали. Уже под утро низко, прямо-таки над крышей, проревел немец, и Виктор прижался к молдаванке всем телом: погибать, так в крепких объятиях. Но самолет пробомбил в стороне и довольно далеко.

— Ты не боишься? — спросил он, садясь на кровати и шаря по карманам шаровар, где у него были папиросы.

— Боюсь. Прикуривай под одеялом.

— Ну и живешь! У самой станции. Как еще ваш дом уцелел...

— Я тут редко ночую. Тетя и теперь на хуторе. Утром придет.



Ночные немецкие бомбардировщики убралась с рассветом, как черти с первым криком петуха. Молдаванка выскользнула из объятий Озерова в то время, когда он пребывал в полной любовной забывчивости: у голодного вырвали поднесенную ко рту ложку! Он попытался вновь уложить юркую подругу в постель, но она спрыгнула на пол, стыдливо прикрывая одной рукой груди, а другой срывая со спинки стула юбку, приставила палец к губам и выразительно показала глазами на дверь.

На кухне гремели казанки, шаркали чьи-то шаги. Хозяйка уже была дома, и Озеров с сожалением потянулся к шароварам.

Когда он вернулся в свою команду, там уже закончились сборы в дорогу и ждали его одного. Впервые за долгое время прифронтовых странствий Виктору не захотелось в полк, только представить передовую, откуда еще ни один человек не выбирался невредимым, так занует душа. В Наркомзем или Наркомздрав — другой дороги не было, как шутили фронтовики. И Озеров позавидовал гражданским, даже своей молдаванке. Фронт все дальше и дальше отодвигался на запад, и скоро немецкие самолеты совсем оставят Валуйки в покое, хотя и сейчас жить здесь не бог весть какой риск, куда более страшное ожидало Виктора впереди. Но он об этом лишь думал, а внешне не подавал виду, был весел, бодр и нежно распрощался с храброй подругой, обещая писать. Она стала упрашивать его остаться еще на ночь, и можно было бы задержаться, и очень хотелось задержаться, да предписание лежало в кармане, передать его другому, тому же Лешке, было не по-товарищески. Офицеры зашагали по пыльной дороге к контрольно-пропускному пункту на выезде из Валук.

У шлагбаума дежурили задорные девчата-регулирующие с красными флажками в руках, останавливали проходящие машины и усаживали в них солдат. На обочине собралось человек двадцать, кое-кто, развязав вещевой мешок, завтракал или, положив его на колени, писал письмо. Чубатый сержант в пилотке набекрень пробовал лады баяна, задумчиво поглядывал на девчат-регулирующих. «Сыграй! Сыграй!» — просили они, сержант вдруг хватил вальс, да так ладно, что девчата, обнявшись, завертелись посреди дороги, взвывая пыль своими летними брезентовыми сапожками. «Тут можно до конца войны провоевать», — подумал Виктор, невольно запоминая все, что видел вокруг себя, каким-то прощальным взглядом.

А на запад все мчали трехтонки, полуторки, американские «студебекеры» и «виллисы». Водители не возражали против пассажиров, если машина не была загружена боеприпасами, и команда офицеров недолго ждала. Девчата-регулирующие усадили всех на порожнюю полуторку, в кузове которой уже находились две тетki с корзинами. Полуторка резво покатила по летней накатанной дороге. Чем ближе к фронту, тем меньше обгоняло и встречалось машин, дорога заметно пустела, из ровной, зачищенной грейдером, превратилась в избитую, с заросшими обочинами, отброшенными в сторону разбитыми повозками, сгоревшими машинами и другим исковерканным военным немецким имуществом.

Впереди, в серо-голубой дымке, обозначились хаты и сады Белого Колодезя, где располагался штаб корпуса и куда следовали офицеры. На спуске полуторка отчего-то перевернулась на бок, хотя уклон был вовсе не крутой, и пассажиры посыпались из кузова, как яблоки из корзины. Падая, Виктор боялся стукнуться головой о железную пустую бочку из-под бензина, возле которой стоял. Но приземлился благополучно, без ушибов, и, лежа в траве, приходя в себя от испуга, увидел Лешку, залитого чем-то непонятным, похоже мозгами. Виктор похолодел, а Лешка как ни в чем не бывало провел рукой по лицу, и тут стало ясно, что оно было в яйцах, высыпавшихся из бабьих корзин. Лешка, пригорюнясь, сидел среди них, как наседка. Бабы подхватили свои наполовину опустевшие корзины и дали деру без оглядки.

Офицеры окружили шофера с намерением намять ему бока, только подступиться к бедняге было совершенно невозможно: на него вылилось машинное масло из ведра, стоявшего в кабине. Шофера лишь крепко обругали и оставили в покое, благо никто не пострадал, если не считать вывиха руки у одного лейтенанта. Несколько охотников пытались ее выправить, причиняя лейтенанту сильные боли, но не помогли, а сделали хуже. Рука опухла, лейтенант поддерживал ее здоровой, постанывал. В Белый Колодезь пришли пешком, по дороге нагнали бабок с корзинами, и они указали на дом лекарши, вправлявшей вывихи. Лекарша куда-то запропастилась, ждали, не дождались, разыскали медицинский пункт, куда и сдали охавшего лейтенанта. «На месяц вышел из строя, не меньше», — заверил Лешка с возмущением, словно лейтенант искалечил себя умышленно, и Озерову стало совестно за свои не очень героические мысли: вон как его друг рвется на фронт! Но, может быть, ему тоже было не по себе перед неизвестностью, которая их всех ожидала на передовой, и он, подобно Озерову, скрывал свое настоящее душевное состояние, даже бравировал: «Ну-ка, где тут фриц, поглядеть бы на него после Курска!»

Фрица они не увидели, но стали свидетелями суда над самострелом. В сосновой роще, посреди П-образного солдатского строя, восседал за столом трибунал, а поодаль под охраной двух автоматчиков стоял бледный парень без погон и ремня и слушал, как майор-юрист читал приговор. Подсудимый прострелил себе ладонь, пытаясь уйти с передовой, но в медсанбате был разоблачен и арестован. Приговор прозвучал сурово — расстрел! Не веря собственным ушам, парень растерянно забегал глазами по солдатскому строю: «За что же, братцы? Помогите!» Его увели автоматчики, а он все оборачивался с ожидающим молящим взглядом: авось судьи смилостивятся и отпустят. Но чуда не произошло. В напряженной тишине за сосновой рощей четко простучали автоматы, вспугнув крикливую стаю галок. Она пронеслась над поляной с шумом и гвалтом, покрыв негромкий говор расходившихся по палаткам солдат.

Виктором овладело тягостное чувство: увиденное как бы наслоилось на то, что уже давно тревожило. Очень зримо, с неприкрытой откровенностью он представил свое ближайшее будущее. Именно туда, на самый пе-

редний край, в самое пекло войны, где сдали нервы только что расстрелянного солдата, пошлют и его, Озерова. Рассчитывать на какую-либо поблажку, на доброго дядю смешно, пора забыть ласковые слова мамы, от которых он еще не отвык, заботливые руки бабушки, выкормившей и вырастившей его, пора освободиться от детских пеленок, найти в себе мужество не заплакать, не струсить!

И вот передоваядохнула на него смертью. Где-то южнее Харькова по пыльному пустому шоссе Озеров добирался в свой полк один, сзади осталось какое-то село, где во дворах мужики и бабы цепами, как в старину, молотили хлеб, что Озеров прежде видел только в кино. Земля эта недавно была отбита у немцев. Слева, в сосняке, резко рвались снаряды, били пулеметы. Озеров то и дело пригибался, слышав жуткий свист, но осколки до него не долетали, видимо, до передовой было все-таки далеко, расстояние скрадывал лес. Вправо от шоссе тянулось поле зрелой пожелтевшей кукурузы, с кое-где обнаженными золотистыми початками. Озеров прошел уже километра два и не встретил ни одного человека. Вдруг в глаза бросилась цепь наших солдат по сосняку вдоль шоссе. Крайний стоял во весь рост, выглядывая из-за ствола, второй целился с колена, третий лежал в кювете, четвертый изготавился к перебежке, и так до поворота шоссе, точно рота по команде офицера остановилась перед броском в атаку. Озеров, к своему ужасу, увидел, что все солдаты были мертвы. Смерть застала их мгновенно. Похоже, роту расстреляли сзади, в спину, засевающие на деревьях «кукушки». Несмотря на августовскую жару, Озеров почувствовал озноб и ускорил шаг, будто на каком-то страшном параде.

За поворотом начался лесной проселок. Сосняк сменился орешником, в нос шибанул сладковатый трупный запах. На поляне в разных позах лежали четыре немца, сраженные одной миной. Между ними, в центре, зловеще чернела воронка. Трупы сильно распухли — прямо-таки гиганты. Оглядываясь на них замороженно, будто на что-то сверхъестественное, Озеров углубился в орешник. Он невольно вспомнил, как в военном училище берегли каждый боевой патрон, как строго учитывались отстрелянные гильзы. Попробуй потеряй хоть одну — сядешь на гауптвахту! А тут под ногами хрустели, точно опавшие с веток орехи, нерасстрелянные винтовочные и автоматные патроны, возвышались горками в траве и попадались даже целехонькие оцинкованные ящики. Вокруг валялись гофрированные цилиндрические чехлы от противогазов, железные коробки с красными минами в пазах, солдатские ранцы с верхом из ярко-рыжей собачьей шерсти, канцелярские бумаги, журналы — все немецкое. Там каска, там скатка шинели, а там из кустов торчит нога в яловом сапоге с коротким голенищем раструбом. Повсюду витал дух нашествия: смесь гари, брошенного имущества и трупного зловония. Противник отсюда ушел вчера или даже раньше, но дух нашествия стойко держался. Воздух, лес, земля — все пропахло немцами, войной... Виктор поднял с земли иллюстрированный журнал «Нах остен», на обложке которого четыре молодые немки в купальниках на морском пляже, облокотившись на парапет, вы-

ставили напоказ свои круглые задницы. Лица повернуты к публике, милостивые и бесстыдные: «Смотрите, солдаты, какие девочки вас ждут дома после победы над Россией!»

Перелистывая журнал, Озеров наткнулся на любопытную фотографию: дым пожарища, силуэт танка и на переднем плане бегущий немец с легким пулеметом в руках — воровато пригнулся, во всей фигуре не столько порыв вперед, сколько боязнь получить пулю в лоб. А под снимком надпись: «Новороссийск гефален» («Новороссийск пал»), но, как теперь точно знал Озеров, его родной город до конца не покорился и недавно был полностью освобожден черноморскими моряками.

Палило солнце, во рту пересохло, было душно, и Озеров расстегнул ворот гимнастерки, снял и по-армейски туго скатал шинель, все делая в каком-то оцепенении. Один среди мертвецов, он не испытывал никакого страха, не боялся наткнуться на оставших немцев и приглядывался к следам их бегства, как антиквар к редким вещичкам. Обостренная память отбирала и накрепко фиксировала все, что попадалось на глаза необычного. А необычное тут было все.

Между сосен замелькали люди, лошади, повозки — тылы какой-то части. Там и сям желтели свежевыврытые бугорки земли — щели от осколков. Озеров не ожидал найти тыловиков в такой близости от переднего края: снаряды свистели и рвались с оглушительным треском, будто в десяти шагах. При каждом разрыве неудержимо тянуло в укрытие, но солдаты, словно глухонемые, спокойно занимались своим делом: кормили лошадей, устанавливали палатки, перетаскивали грузы. «Неужели не бояться?» — удивился Озеров, держась поближе к щелям.

Выяснилось, что это тылы не батальона и даже не полка, а дивизии, еще глубокий тыл, по понятиям фронтовиков, и штаб, куда надо было сдать Озерову документы, впереди. Пройдя с километр, уже под снарядами, которые пролетали над головой и рвались позади, он заметил несколько палаток под деревьями, связанной зеленой броневик, кучу телефонных катушек и ни одного окопа, видно, штаб не собирался долго задерживаться на одном месте. Офицер взял у Озерова предписание, ушел в палатку и через некоторое время вернулся с отказом: минометные роты полностью укомплектованы, придется побыть в дивизионном резерве. Офицер был очень занят. Происходили какие-то приготовления. Подъехали три бронетранспортера, и в них, грохоча по железу сапогами, попрыгали солдаты. В одном Озеров узнал Лешку Прасолова в каске, с автоматом на груди. Он командовал десантниками, посылаемыми среди бела дня прорвать немецкую оборону, надеть как можно больше переполоха и обеспечить наступление основных сил. Второй день наши не могли взять небольшое село Борки, препятствующее продвижению вперед целой армии.

Озеров обрадовался другу, но на его шумное приветствие Прасолов лишь сурово кивнул. Бронетранспортеры взревели моторами, подняли вокруг себя тучи пыли и покатали между сосен, по бездорожью. Озеров выбежал на опушку, наблюдая, как они на полном ходу помчались по-над

лесом, потом круто свернули на поле и сразу же очутились между всплесками разрывов; поднялась невообразимая пулеметная трескотня, и трудно было понять, чей сильнее огонь — наш или немецкий. Вон где, оказывается, передовая, еще километра два впереди, жутко подумать, если бы туда сейчас послали Озерова. Как он ни вглядывался, не мог разобрать, прорвались десантники сквозь немецкую оборону или были остановлены. Все там смешалось в дыму и пыли. Ну и крепкий же орешек эти Борки!

Передовая непрерывно, весь день, ухала, грохотала, выбивала пулеметную и автоматную дробь, ревела моторами на земле и в воздухе. Не было минуты затишья. Немцы так прочно удерживали село, что наше командование занервничало. Озеров в резерве, бродя по дивизионным тылам, наткнулся на палатки медсанбата. Вокруг на траве сидели и лежали раненые, одни уже после операции, другие на очереди. По закопченным лицам, спутанным грязным волосам, изодранному обмундированию было видно, что они не больше часа, как с передовой, непонятной и таинственной для Озерова. И люди оттуда, смотревшие смерти в глаза и чудом оставшиеся живыми, были непонятны и таинственны, держались отчужденно, словно узнали что-то сокровенное, что не всякому дано знать.

Позади палаток в корзинах лежали окровавленные бинты, издавая тошнотворный запах, из операционной вышла сестра и выбросила еще охапку. В продолговатой и довольно просторной палатке с завернутыми полами, как у солдата шинель в мокрую погоду, работали хирурги. На операционном столе из-под простыни торчало полноги с обломанной белой костью, выступавшей из окровавленного мяса. В руках хирурга мелькала игла с длинной серой ниткой: штопал. Раненый с оголенной грудью, в крупных каплях пота стонал, скрежетал зубами, хотя и был в забытии, под морфием. Голова его каталась по подушке. Рыжие волнистые волосы разметались, налипли на лоб. Озеров не сразу узнал Лешку, не мог поверить в такую превратность судьбы бывалого фронтовика: ведь он и два дня не пробыл на передовой!

Хирург взял блестящую никелированную пилу и, придерживая одной рукой кость, другой стал ее пилить, как сук на дереве. Озерову тоже будто провели по сердцу пилой. Он поспешно отошел поодаль и стал поджидать окончания операции. Однако обмолвиться словом или просто взглянуть на друга не удалось: два санитары унесли его к фургону, обтянутому брезентом, с большим красным крестом. Лешка все еще не приходил в сознание.

— Ну и отчаянный лейтенант! — услышал Озеров разговор двух солдат, сидевших у палатки, и догадался, о ком шла речь, подошел поближе.

Со слов солдат выходило, что, если бы не лейтенант, дивизия до сих пор бы топталась под Борками, только что полностью очищенными от немцев. Виктору хотелось сказать солдатам, что он тоже знает Прасолова и гордится дружбой с ним, но побоялся показаться бахвалом. Надо не потерять из виду Лешку, чем-то помочь, поддержать морально. Озеров

обернулся к фургону с крестом, но его уже не было, а после расспросов узнал, что оперированных увезли в Харьковский фронтальной госпиталь.

Дивизионный офицерский резерв насчитывал человек двадцать и располагался возле палатки заместителя командира дивизии по тылу, полковника-еврея, холеного и самодовольного. Когда Озеров пришел сюда (было время обеда), полковник спрашивал офицеров, кто из них в прошлом имел отношение к торговле. Офицеры переглядывались, пожимали плечами, но было заметно, что заинтересовались: предстояло что-то, не связанное с войной.

— Я имел отношение, — сказал Озеров и тут же оговорился: — Немного...

— Как немного? — спросил полковник.

— Помогал отчиму. Завмагу.

— Хорошо. Кто еще?

Объявилось человека три.

— Ладно, достаточно. Зайдите ко мне в палатку.

### 3

Словно провидение вмешивалось в судьбу Озерова, остерегая его от передовой: не прошло и часа, как он уже трясся на грузовике по проселочной дороге на восток, и грохот боя постепенно гаснул позади. Возле хутора в три хаты шофер остановил машину и, захватив помятое, в масле ведро, побежал к колодцу. Озеров вышел из кабины и поразился тишине. Голосисто прокукарекал петух, взлетев на крышу сарая, залаяла собака, закрипел валик колодезного сруба. Баба в темном платье, босая, с расплюснутыми порепанными ступнями подошла к шоферу, и, когда он вернулся с водой и стал ее заливать в радиатор, Виктор поинтересовался, о чем спрашивала баба.

— Нет ли мыла.

Баба печется о куске мыла в нескольких часах езды от страшной людской бойни. Как совместить тыловую обыденность с только что виденным и пережитым? Эта душевная раздвоенность усиливалась по мере того, как Виктор дальше и дальше уезжал от фронта, но совершенно забылась уже на вторую неделю жизни в селе, будто начисто излеченная болезнь.

Озеров отправлял по нарядам овощи для дивизии. Собственно, ему самому делать было нечего, лишь подписывал наряды: отгрузкой занимался колхоз. Свободного времени было в избытке, от безделья он завел усы, чтобы выглядеть посолидней, на все село один военный и, пожалуй, единственный молодой мужчина. С другими командированными офицерами в соседних селах встречался редко, за два месяца виделись всего раз, уже перед отъездом. Недалеко были Валуйки, и Озерова потянуло к молдаванке, хотя чуть ли не в каждой хате были девушки и еще хоть куда его хозяйка. А в соседнем доме жила семнадцатилетняя чернявая красавица, и

Озеров ей нравился, замечая это по веселым взглядам, которые она бросала через плетень по утрам, когда он, обнаженный до пояса, умывался во дворе из рукомойника, прибитого к старой шелковице, по тому, как она прихорашивалась к его возвращению из правления колхоза и старалась попасться на глаза.

Прежде Виктор считал Катю единственной в мире женщиной, которой он многим обязан после того, что между ними произошло, что уже к другим он будет безразличен, но теперь увидел, что и другие ему могут нравиться. Больше того, вовсе не Катя, опытная и замужняя, а именно соседская девчонка, возрастом моложе, ему пара, с ней естественней, благородней. Но думал так он лишь тогда, когда ловил на себе взгляды через плетень. Все-таки Катя оставалась самой желанной, их крепко связывало прошлое, и Виктор поехал в Валуйки и нашел все как прежде. Катя очень удивилась, словно любовник явился с того света, а узнав, что ему два месяца жить в селе, запрыгала и захлопала в ладоши:

— Я буду к тебе приезжать!

В первую минуту Виктор узрел покушение на свою свободу, чему не мог найти объяснение, так как тоже был рад часто видеть Катю (не приехала ли тут юная соседка?), но в следующую минуту с готовностью согласился. Приезжать Катя обещала по субботам, все-таки расстояние было порядочное, километров двадцать, правда, из Валук, железнодорожного узла, всегда можно было найти попутную машину. Субботы Виктор ждал с нетерпением, накануне обоих переполняло столько чувств, что они со стоном бросались друг другу в объятия и уходили за село в лесопосадку: Виктор стеснялся показывать Катю хозяйке.

...Участились дожди, иной зарядит по-осеннему на всю неделю. Дорожки покрыли комья вязкого чернозема, отлетавшего от обуви. Трава была еще густая, белесая от дождинок. Пройдешь по ней — сапоги быстро набухнут и сзади потянется темная сакма. Огороды опустели, лишь кое-где, как усидчивые торговки на базаре, когда уже и покупателей нет, белели и желтели тыквы.

Рассеялись тучи, выглянуло солнце, заметно тусклее, чем неделю назад. Просохла земля, над выгоном поплыли серебристые тенета — пришло бабье лето, такое же короткое, как и вольготная жизнь Озерова в селе. Мысли его неотвратимо обращались к фронту, бездельничать, нежиться на перине было стыдно перед людьми.

Катя давно не приезжала, наверное, отправилась куда-нибудь менять барахло на продукты. Виктор шел с полей и радовался солнечному деньку. У лесопосадки, на взгорье, остановился и окинул взглядом село вдоль балки, как все села на Украине — одно переходило в другое, и так без конца. Кое-где во дворах вился сизый дымок, бабы топили печи. Прогромыхала телега, и эхо, двоясь и троясь, разнеслось окрест. Совсем мирный вид. Село немцы ни разу не бомбили, пока жил в нем Озеров, только однажды нахулиганил ночной бомбардировщик, сбросив продырявленную железную бочку, и она с жутким воем упала на выгоне. Здешним крестья-

нам война уже ничем не угрожала, и заботы о хлебе насущном целиком поглощали их. «Приезжай сюда через год или даже через пять лет, все найдешь неизменным», — думал Озеров. О своем положении он этого не мог сказать. Там, на фронте, все переменчиво, неопределенно, и такая нелепица войны никак не укладывалась в голове. Вчера приходил офицер из соседнего села уточнить какую-то неясность в документах.

— Слыхал? — сказал он, крепко пожимая Озерову руку, видно, истомившись от безделья в своей деревне и стыдясь халтурной роли заготовителя, как и его коллега. — Наши форсировали Днепр. Бои идут адские, а мы тут живем, как у Бога за пазухой.

Известие не столько обрадовало, сколько омрачило Озерова. Отсрочку от передовой он считал, как временную отмену операции больному. Больной с облегчением вздохнет, узнав об этом, но мысль о хирургическом ноже по-прежнему не оставляет его ни на минуту.

В лесопосадке ему попалось семейство каких-то крупных грибов, и, не зная, съедобны ли они, сорвал один, чтобы показать хозяйке (вспомнилось, как в резерве собирали и жарили с картошкой очень вкусные красношляпые подосиновики). Загоревшись азартом грибника, он набрал полную фуражку, а по дороге встретил юную соседку и спросил, съедобные ли грибы. Она с сомнением покачала головой:

— У нас такие не едят. Попробуйте тетю Катю, она лучше знает.

Тетя Катя была хозяйкой Озерова, но девушка, верно, имела в виду молдаванку и отсылала к ней намеренно, чтобы уязвить. Впрочем, могла и не знать (хотя в селе трудно что-либо скрыть). Она лукаво поглядывала на Виктора, явно не тяготясь встречей и разговором, до сих пор они и двумя словами не перебросились, были одни переглядки.

— А где вы нашли грибы? — спросила она, медля уходить.

— В лесопосадке. Там их много. Пойдемте соберем? — вдруг предложил он, загадав про себя: если согласится, то ничего не знает о молдаванке, если откажет, то знает.

— Ну их! Наверно, поганки.

«Знает», — приуныл Виктор.

— Мне сейчас не до грибов, надо капусту солить.

«Может, и не знает», — обрел он надежду и сказал:

— Тогда давайте вечером. Приходите к пруду, под ветлы. Придете?

— А во сколько?

— В девять часов.

— Темно будет. Какие же грибы?

— Просто погуляем, — осмелел он, не получая отпора.

Юная соседка засмеялась лукавым невозражающим смехом.

Виктор и сам не знал, для чего добивался свидания. Скорее всего потому, что с Катей любовь притупилась, да и была она замужем, получала письма с фронта. Виктор одно читал, испытывая большую вину перед солдатом, находившимся в жестоких боях на Днепре, в то время как он крутил любовь с его женой. В последние встречи он и Катя возвращались



из лесопосадки молчаливые, подавленные, словно совершив преступление. Не заходя в село, крадучись, полями, выбирались на шоссе, и Озеров «голосовал», усаживая Катю в машину, и, если водитель случался молодой и бойкий, ревновал, но как-то по обязанности, неискренне.

— Гляди мне! — шутливо журил он Катю, помахивая рукой. — В субботу жду. Приезжай! — И ловил себя на том, что нет прежней страсти. Почему-то все меньше находилось нежных слов, общих интересов, не о чем было говорить после того, как они покидали лесопосадку. Виктор укреплялся в мысли, что Катя приезжает к нему всего лишь для постельных встреч, живут они одним днем, одним часом, будущего у них нет.

Все это и побудило его назначить свидание юной соседке, увезти с собой на передовую хоть какую-нибудь светлую надежду.

Ровно в девять, как условились, он был у пруда, под старой дуплистой ветлой, с оголенной обтертой корой, видно, не одна пара проводила возле нее вечера. Виктор пристально вглядывался в белевшую стежку, ожидая на ней тонкую фигурку соседки, прождал напрасно до десяти и вернулся домой, гадая, в чем дело, ведь должна была прийти: как она живо согласилась на свидание!

Утром надо было смолоть муки. Продукты Виктор получал в натуральном виде и ходил с оклунком пшеницы на мельницу, как все колхозники. В очереди он заметил юную соседку. Она чуть скосила глаза и отчужденно отвернулась. Виктор подошел к ней, сбросив мешок на пол.

— Что же вы обманули?

— А вы меня ждали?

— До десяти часов.

— Не могла. С капустой не управилась.

— Вот неправда!

— Молдаванки побоялась.

«Знает, все знает», — упал духом Виктор. Но так не хотелось терять юную соседку, с которой весело и непринужденно началось знакомство, что поспешил заверить:

— Что ее бояться? Она не кусается, да и больше не приедет.

— А как приедет?

Виктор не стал объясняться и принял вид незаслуженно обиженного человека.

— Встретимся сегодня?

— Не знаю. Погляжу.

Уверенный, что девушка все-таки придет на свидание, он вернулся домой. Хозяйка передала ему письмо от Лешки Прасолова. Виктор тотчас, как прибыл в село, написал в госпиталь, но ответа так долго не было, что уже пропала надежда получить, и посчитал, что его друга увезли дальше в тыл. Лешка чувствовал себя хорошо и просил приехать. «Что хорошего без ноги? Верно, и жизни не рад», — подумал Виктор и вспомнил, что сегодня направлялась в Харьков единственная колхозная машина.

Через несколько часов он уже сидел на диване в госпитальном коридоре рядом с Лешкой, который, составив костыли, положил на них свою туго забинтованную культю — осторожно, точно стеклянную. Он усвоил какие-то несвойственные его живой натуре стариковские привычки, что неприятно поразило Виктора: побряхтывал, был придирчив, капризен. В гражданку возвращаться не хотел и жизнь там свою не представлял.

Виктор спросил о Борках, как тогда, на бронетранспортерах, удалось прорвать немецкую оборону?

— Эти Борки мне в печенках сидят! — раздраженно ответил Лешка, поглаживая колено ампутированной ноги, как видно, еще побаливающей, не желая вспоминать место, сделавшее его калеккой, но немного погодя, подумав, сказал: — Впрочем, тебе, нефронтовику, стоит кое-что узнать, пригодится, как попадешь на передовую. Счастливым ты — до сих пор пороха не нюхал, а война уже третий год!

Неожиданное признание, сказанное с оттенком пренебрежения, поколебало Виктора, почему-то считавшего, что Лешка видел в нем себе равного.

— Борки, будь они неладны, шесть раз переходили из рук в руки, — говорил он, словно на кого-то в обиде, кривя губы, при этом нижняя нервно вздрагивала. — Сколько раз бывало, не успеет наша пехота занять село и окопаться, как появляются немецкие танки и, конечно, драп-марш! Комдив попросил подмоги, но командующий фронтом Николай Федорович Ватутин вознегодовал: «Вы что, уже всю дивизию положили под Борками? Воюйте не числом, а умением, берите Борки теми силами, какие у вас есть, ни одного солдата не дам. А не возьмете, головой ответите. Борки весь фронт сковывают!» Снова пехота поднимается в атаку, выбивает немцев из окопов, но на окраине села выходят из-за укрытия танки. Стреляют на ходу по нашим... Откуда они брались, где укрывались, разведка никак не могла установить.

Случилось так, что в штабе дивизии, когда я туда прибыл из резерва, находился Ватутин. Не знаю, чем я ему понравился, вышел из палатки вместе с комдивом и пристально на меня уставился:

«Воевал?»

«Так точно, товарищ генерал армии! — отчеканил я, нисколько не тусуясь, хотя и знал, кто передо мной. — Под Лозовой в здешней части был ранен. Сейчас из резерва».

Ватутин повернулся к комдиву:

«Вот тебе фронтовик, назначай командиром десантников, и с Богом! По фамилии как тебя, рыжик?»

В тот же день с десантом на бронетранспортерах я попал в такой переплет, что не приведи другому. Окопы мы проскочили легко, но сразу же напоролись на самоходку. Два транспортера были подбиты, один из них едва успели взять на буксир и переправить в наше расположение.

Вечером вызывает меня комдив:

«Не выполнил задание на бронетранспортерах, иди в окопы, сиди день и ночь, но выясни местонахождение «тигров» и «пантер»!»

Я пробыл на передовой сутки и ничего не обнаружил: из окопа видимость ограниченная.

«Ну, что выяснил?» — спросил комдив, вызвав меня на свой наблюдательный пункт.

«Танки, как в омут, пропадают».

«Зря время убил. Тогда вот что. Пробирайся к немцам в тыл. Ты уже бывал в Борках, знаешь где и что. С тобой пойдет старший лейтенант из особого отдела. Но у него свое задание, вы не знакомы. Понял?»

В ту же ночь я отправился с особистом в поиск. Саперы сделали проход в минном заграждении, но я для верности взял с собой длинную жердь с рогатиной на конце... Примечай, Озеров, пригодится на передовой! Такая палка не раз служила мне под Лозовой, когда я был в разведке. На опасной зоне я ее выставлял вперед, сам припадал к земле. Подвигаю, пошарю. Свободно. Ползу дальше. Вот так с особистом перебрались к немцам в село. На заросшем бурьяном дворе еще прежде, с бронетранспортера, я заметил заброшенный подвал. В нем укрывались хозяева от бомбежек. Но теперь дом был разрушен, хозяева куда-то подевались. В подвале лежали замызганные матрац и подушка, всякое тряпье, ведро с водой, была и гильза-коптелка. Влезли мы в этот подвал, отдышались и кодом по телефону (я тащил на спине бухту провода, а особист — аппарат) сообщили, что добрались благополучно. Спрятали аппарат в тряпье и условились, как действовать дальше. Возвращаться нам предстояло порознь, у каждого было свое задание. Кто раньше его выполнит, должен был в подвале, уходя, положить гильзу плашмя на постель, дать знак: все в порядке, отправился через линию фронта. Телефонный аппарат забирал последний.

Не знаю, куда подался особист, а я выбрался на дорогу, нащупал гусеничные следы и по вмятинам определил направление танков в укрытие. Следы повели меня в поле, к коровникам. Неподалеку от них стояли стога соломы. Подбираюсь ближе, вижу вплотную к стогам, под маскировочными сетками, танки и самоходки. Вон где, окаянные, прятались!

Ночи еще были по-летнему короткие, и я поспешил назад, к подвалу. Спускаюсь, нащупываю на постели гильзу. Ага, особист уже управился и ушел, не дожидаясь меня.

Я взял телефонный аппарат, закинул за спину и выбрался на воздух. Слышу крики, топот, выстрелы. Не иначе особист выдал себя, взбудоражил немцев, теперь, думаю, черта с два выберешься отсюда. Смотрю: пулемет в окопчике без прислуги, куда-то отлучилась. Сам Бог мне его послал, чтобы устроить трамтарарам в тылу немцев. Выстругиваю деревянный клин и вставляю в спусковую скобку так, что, если выбить клин, пулемет заработает. Развернул я его на запад. Клин затянул в петлю из телефонного провода, отполз подальше и дернул. Пулемет молчит. Что за черт! Оказывается, забыл сбросить предохранитель. Сбросил. И пулемет

заработал как часы, чешет по своим. Переполох! Немцы отовсюду обрушились на свой пулемет, даже гранаты стали в него бросать. Не знаю, помог ли я особисту скрыться, но сам без происшествий добрался до крайней хаты, откуда начиналась линия окопов. Залег. Предстояло самое опасное — проползти открытое место.

Впереди вдруг — столб пламени. Грохнул взрыв. Не иначе особист напоролся на мину. Вот незадача! Испортил всю обедню и сам, верно, дал дуба. Притаился, лежу, а времени в обрез. Звезды побледнели, повеяло утренним холодком. Надо торопиться. Только встал — заскрипела дверь, из хаты вышел полицаи, нагнулся к нашему убитому солдату, обшарил карманы, забрал документы, потом к другому, третьему, и у всех берет документы. А наших тут немало полегло. Я не дышу, сжимаю в руке финский нож и жду, когда до меня дойдет очередь. «Ах ты, паскуда, — думаю, — хочешь подобрать себе по возрасту красноармейскую книжку, замаскироваться, когда наши придут. А может, и для шпионских целей!»

Полицай приглядел хорошие сапоги и давай стягивать, да никак не словчится, ноги убитого распухли, тужится, дергает туда-сюда, аж вспотел бедняга. Я приподнялся и — нож ему под левую лопатку. Даже не вскрикнул. Забрал красноармейские книжки и айда перебежками, ползком. Добрался к своим благополучно. Узнал, что особист действительно напоролся на мину, вытащили его чуть живого. Бедняга доложил о выполнении задания и умер.

Комдив ждал меня с нетерпением, остался очень доволен сведениями о танках, вызвал начальника артиллерии и представителя авиации, а меня отпустил отдохнуть.

Слушая, Виктор подозревал, что его друг фантазирует: так много в его рассказе казалось не под силу человеку, да и говорил ненатурально: газет начитался в госпитале, что ли? Однако не перебивал, подогреваемый любопытством «нефронтовика».

— Поспать удалось не больше часа, — продолжал Лешка, побрякивая по-стариковски и поглаживая культю. — Вызывает командир полка, у него уже сидит командир батальона.

«Отдохнул?» — спрашивает.

«Когда же! — говорю. — Разбудили».

«Отдохнешь, когда Борки возьмем. А сейчас слушай задание: даем тебе восемнадцать солдат, бывалых фронтовиков. С ними ты должен незаметно пробраться в село и устроить среди немцев панику, отвлечь на себя огонь. А тем временем полк поднимется в атаку на другом фланге. Ты в Борках уже знаешь все ходы и выходы, да и огневые точки противника, тебе и карты в руки!»

Комбат повел меня к отряду. Народ, вижу, бывалый, ни одного моего возраста. Оглядывают меня с недоверием, явно пришелся не ко двору, но ничего не говорят. Вдруг кто-то крикнул:

«Танки!»

Гляжу, мои солдатики вострепнулись, всматриваются вперед, тревожатся: как быть? Через бугор к нам перевалили пять танков, постреливают из пулеметов. Я сразу определил: танки легкие. Надо кому-то выйти с гранатами навстречу. А кого послать — не знаю, да и послушаются ли старые фронтовики молокососа-лейтенанта, каким они меня посчитали? Ничего не говоря, беру четыре гранаты, две за пояс, две в руки. Прикинул, где лучше встретить танки. Слева был кустарник. Танки, конечно, его обойдут, побоятся сюрприза, и я перебежками подался к кустарнику. Оглядываюсь — за мной бегут двое, тоже с гранатами. «Ага, — думаю, — все-таки заговорила совесть!» Втроем по кустам живо сближаемся с первым танком, который, по всем расчетам, должен пройти от нас метрах в десяти. Ждем. Только танк прогрохотал мимо, я вскочил и бросил ему на решетку гранату. Танк завертелся на месте. Второй проходил подалее, но граната все-таки долетела до гусениц. И этот завертелся и задымил. Остальные повернули назад. Вот так-то, младший лейтенант. Учись!

«Бахвал! Ну и бахвал! — подумал Озеров. — Ведь врет. Сочиняет. Но, может, и верно. Я-то не бывал на передовой...»

Лешка, поглаживая культю, взглянул на крепкого, отъевшегося на колхозных харчах младшего лейтенанта с завистью и не скрывал пренебрежительной усмешки.

— Ну а дальше что? — спросил Озеров без обиды, готовый все снести от калеки-друга.

— Что дальше? Дальше из люков стали выпрыгивать танкисты. Солдаты открыли по ним огонь. Немцы — в кусты. Гляжу, ползет один шагах в двадцати. Я наставил на него автомат: «Ком! Ком, фриц!» Прибежал, как ручной.

Отряд признал меня своим, кто-то даже крикнул с восхищением: «Ай да лейтенант!» Но меня беспокоило уже другое. По всем признакам танки делали отвлекающий маневр, под их прикрытием за кустарником сосредоточилась пехота для атаки: слышался говор, команды, в небо взвились две зеленые сигнальные ракеты. Не теряя времени, я отделил половину отряда и — снова в кусты. Подкрался к немцам, забросали гранатами, обстреляли из автоматов, подняли панику. «Самый момент проникнуть в Борки!» — решил я и послал связного за остальным отрядом, а сам как говорится, на плечах отступающего противника ворвался в село. Встретили нас плотным пулеметным огнем, но мы успели достигнуть домов и повернули к центру. Из школы бил МГ, очень мешал продвижению. Пробегая по улице, я наткнулся на молодую женщину, повисшую на штакетнике. Пуля пробила ей грудь, кровь смешалась с молоком, видно, была кормящей матерью. Забегаю в хату — посреди горницы люлька с грудным ребенком. Я — к люльке, но меня остановил солдат:

«Как бы не заминирована. Поглядите!»

Верно, от люльки тянется по полу проводок под кровать. В комнату входит солдат с пленным танкистом. Стали гадать, где спрята-

на мина. Проводок был привязан к ножке кровати. Перерезали, но это ничего не дало.

«Мина в люльке, под ребенком», — предположил солдат, сопровождавший пленного танкиста. Я потянулся к люльке, но немец закричал благим матом:

«Никс! Никс!»

— Испугался, гад! — воскликнул Лешка, загораясь ненавистью. — Вот что делают, Озеров, детей минируют! Ладно, осмотрел люльку, определил мину натяжного действия под спящим ребенком. Надо было его чуток приподнять, чтобы вынуть капсулю. Я попросил об этом солдата, а сам осторожно подсунул под ребенка руки. Пальцы словно кто-то схватил щипцами и проколол до костей. «Сюрприз» был рассчитан на то, что всякий от боли выдернет руки и взорвет мину. Эта мысль поразила меня с такой силой, что боль в пальцах притупилась. Я окаменел, боясь шевельнуться. Вижу, солдат, который приподнял ребенка, побледнел, как стена, и хилится, хилится, сейчас упадет в обморок.

«Капсюль! Капсюль!» — крикнул я нечеловеческим голосом и, кроша стиснутые от боли зубы, локтями поддержал ребенка, которого готов был выпустить солдат. Он пришел в себя и вынул капсулю. Взрыв был предотвращен и мина обезврежена. Она оказалась круглой, с капкановидным устройством. Солдаты забинтовали мне руки. К этому времени была налажена телефонная связь с комбатом. Он спросил, почему мы топчемся на месте, не продвигаемся к центру, а, узнав в чем дело, рассердился: «Какого черта отвлекаетесь? Выполняйте главное задание!»

Пулемет в школе по-прежнему не давал хода. Надо было подавить его во что бы то ни стало, и я приказал одному солдату отвлечь огонь на себя, а другому броском пересечь площадь, по-над стеной подбежать к окну и забросать пулемет гранатами. Ворвались мы в школу, подбегаем к немцам, а они прикованы к пулемету, один за левую руку, другой — за правую.

— Штрафники? — спросил Озеров, первый раз слыша о таком.

— Наверное, черт их знает, оба были мертвы. Немцы перенесли на школу весь свой минометный и артиллерийский огонь, приняв нас за главную ударную силу, чего и добивался командир полка. И тут меня хлестануло осколком по ноге, да так, что я потерял сознание. Тем временем полк поднялся в атаку, прорвал оборону немцев и взял Борки уже бесповоротно.

Каким-то образом Ватутин узнал о моем тяжелом состоянии (наверное, по телефону интересовался «рыжиком») и выслал собственный самолет, чтобы меня срочно доставить в госпиталь. У летчика был пакет, не знаю, какого содержания, но будто бы о представлении меня к награде, такой разговор я слышал. В кабину поместили еще одного тяжелораненого. Только поднялись в воздух, как на наш «кукурузник» налетел «мессер» и отсек ему хвост, а летчику угодил пулей в плечо. Не знаю, как ему удалось приземлиться. Так вместо госпиталя я попал в медсанбат. Может,

в госпитале сохранили бы ногу? А?.. Ну на что я гожусь с культей? Под забором с кружкой сидеть? Лучше с костылем в атаку!

— А как же пакет? — спросил Озеров, болезненно переживая страдания друга и стараясь переменить разговор.

— Не знаю. Был тут недавно начальник нашего медсанбата, я его пытал, говорит, что при летчике никакого пакета не было. Верно, потерял...

#### 4

После встречи с Лешкой жизнь в селе представилась Виктору до того праздной, ложной и даже преступной, а его любовные похождения такими пошлыми, что он решил тотчас, как вернется домой, передать наряды офицеру в соседнем колхозе и вернуться в дивизию. Но это уже было излишне: дома Виктора ждало письмо о прекращении его миссии заготовителя. Наряды были полностью закрыты, и председатель, когда Виктор сообщил о своем отъезде, попросил оставить колхозу мешки, обещая заплатить по пятьдесят рублей за штуку. Виктор согласился, так как на дорогу у него не оставалось ни гроша. В бухгалтерии, получая расчет, он поймал на себе взгляд юной соседки, но тотчас отвернулся. Выходя из комнаты, снова перехватил ее укоризненный взгляд и снова сделал вид, что не заметил намерения девушки с ним заговорить, очень удивленной его поведением. «Зачем? Все пустое!» — подумал Виктор, выбегая из правления колхоза. В первый же день приезда в село он почувствовал ее симпатию, пусть даже в переглядках, но вот не мог по слабости характера порвать с Катей. Рвать-то, собственно, нечего было, она могла и не знать об этой командировке, сам набился. Теперь и раскаивайся! Вина настолько подавляла его, что он не заехал в Валуйки, как намеревался. В Харькове через справочное бюро попытался разыскать отца, выявилось несколько однофамильцев, однако все не то. По одному адресу проживал кто-то с похожим именем мачехи, но далеко, чуть ли не на окраине города, а трамваи еще не ходили, и он оставил поиски. (Между тем, вся семья вместе с Виленой, счастливо избежавшей угона в Германию, — освободили наши наступающие войска, — находилась в городе, и как бы обрадовался, загордился Дмитрий Андреевич, узнай, что его старший сын советский офицер!.. Виктор не меньше был бы рад повидать отца, но, увы, этому не суждено было случиться.)

Был канун ноябрьского праздника. В холодной квартире старого дома, с высокими, лепными потолками, в обществе одинокой хозяйки, пустившей его переночевать, Озеров не по-праздничному скромно поужинал, но все же с вином, купленным на вырученные за мешки деньги, и отправился спать на продавленный дерматиновый диван.

Добрался он в свою дивизию не без происшествий. На переправе через Днепр с песчаными отмелями, лесистой поймой на левом берегу и крутогорьем на правом, изрытом аккуратными, по уставу, немецкими траншеями выше человеческого роста (можно было только удивляться,

как при такой обороне удалось форсировать широченную реку, в чем Озеров тоже, увы, не принимал участия), его задержали пограничники.

В душной хате, при керосиновой лампе, допрашивал майор в фуражке с зеленым околышком, изучающе медленно перелистывая отобранную офицерскую книжку.

— Минометчик?

— Там же написано.

— Вы отвечайте, а не пререкайтесь! Какой калибр минометов?

— Восемьдесят два.

— А как они заряжаются?

Майор, верно, пытался сбить Озерова с толку вопросами по материальной части миномета, плохо зная это оружие. Озеров вначале озлился: «За дурака меня принимают, что ли?», но потом, как бы взглянув на себя со стороны, отъевшегося, праздного, с лихо закрученными усами, подумал, что сам бы принял такого ухаля за дезертира, и уже терпеливо отвечал на дотошные вопросы с полчаса, после чего был отпущен.

А утром отчитывался перед заместителем командира дивизии по тылу.

— Больше для вас работы нет. Отправляйтесь в часть! — сказал полковник, как показалось Виктору, с сожалением, наверное, полагая, что младший лейтенант не прочь бы остаться в тылах до конца войны. И во всей его холеной фигуре еще было:

«Для меня война — не война, а вам, молодой человек, придется-таки узнать, почему фунт лиха!», что, однако, могло быть лишь плодом фантазии Озерова: от долгого непризнания начальством его офицерских способностей обострилась мнительность.

Но и теперь он не сразу попал на передовую, с полмесяца проволынил в полковом резерве, правда, передовая была уже рядом, чуть ли не перед окном штабной хаты, на огородах и по болотистому дну балки рвались мины — шквально, залпами, каждые четверть часа. Даже за саманными стенами Озерову было не по себе, и в который уже раз он подивился обыденности в поведении военных и гражданских, не покинувших село, хотя передний край лежал сразу же за бугром, в каком-нибудь километре.

В полковом офицерском резерве Озеров встретил бывшего курсанта, помкомвзвода Кравцова и очень обрадовался ему, хотя в училище не питал симпатий к «двум нарядам вне очереди», которые тот лихо раздавал налево и направо, за что курсанты между собой так и звали его: «Два наряда вне очереди». Кравцов тоже был приятно удивлен и обнял Озерова по-товарищески. Год учебы вспоминался самым светлым из всех военных лет. Кравцов вроде бы стал другим. Озеров еще не знал, что на передовой люди меняются к лучшему, что нигде потом он не найдет такой дружбы и взаимовыручки, как здесь.

В резерве было человек пять, среди них таджик, Яхьязаде, на гражданке учитель, и немолодой, из запаса, капитан Селиванов, какой-то чудаковатый, с густой кучерявой шевелюрой, посеребренной на висках, и блед-



ным тонким лицом. Весь резерв был на постое в одной хате, на ее чистой половине. В кухне ютились хозяева. Чудаковатый капитан сидел на кровати в накиннутой на плечи шинели (эта половина хаты плохо отапливалась), посасывал трубку и расспрашивал Кравцова, писавшего письмо за столом:

— Баня, говоришь, палаточная в овраге? Да ведь там холодно, в палатке-то?

— Почему же? Две железные бочки топятся. Пары много. Санпропускник действует.

— Гм, да. А что же я скажу, придя в баню? Меня не пустят «Кто такой? Почему в баню?»

— Как кто такой? Из резерва. Капитан Селиванов. Пустят!

— Гм. Да. Ну, предположим, пустят. А дальше что?

— Мойтесь! Что еще в бане делать?

— Хорошо сказать; мойтесь! А чем? Где взять мыла, мочалку?

— Там есть. Дадут.

— А в чем мыться-то?

— Как в чем? В ряске.

— Ну ладно, в ряске. А белья чистого у меня нет. Придется грязное надевать?

— Зачем же грязное? Вам сменят.

— А как не подойдет, дадут малое или большое?

— Подберете по росту.

— Гм. Да. Ну а если... — И так далее и тому подобное. Этот нудный разговор напоминал сказку про белого бычка. Капитан был брюзга, то ли пытался острить, Озеров не мог понять и удивлялся, как у Кравцова хватало терпения выслушивать всякую белиберду. Капитан был нетороплив и основателен до педантизма. Вещмешок его заполняли тщательно подобранные, нужные в дороге вещи, довольно изношенные, но вполне пригодные к употреблению, — хозяин с ними не желал расставаться, как ребенок с полюбившимися игрушками. Все-таки в конце концов он собрался и ушел в баню.

Кравцов закончил письмо и повернулся к Озерову, неприкаянно сидевшему у входа на табуретке. Вещмешок его валялся рядом на полу.

— Что притих по-сиротски? Располагайся, как дома, не забывай, что в гостях... Из госпиталя?

— Почему? Нет... — Озерову было бы приятней ответить «да», но пришлось признаться об овощной командировке.

Кравцов присвистнул:

— Вот житуха-то была!.. А капитан свойский человек, хотя и чудаковатый. Сегодня у него день рождения. Сорок лет стукнуло. Из бани придет, надо отметить. Самогонки бы достать.

— Где ее возьмешь? В этом селе жителям не до самогонки.

— Есть тут бабы, гонят из буряков. Только деньги не берут. Мыло или там носильное что-нибудь, плащ-палатку, например. За плащ-палатку

можно взять два литра первака! Я бы свою отдал, да сильно поношена и разорвана в одном месте. Не возьмут.

— У меня новая, только как же остаться без плащ-палатки?

— Ты не бойся. Вернем такую же! — Кравцов оживился, словно самогонка стояла уже на столе.

— Не понимаю, каким образом вернете. По щучьему велению?

— А это уже не твоя забота!

Виктор достал со дна вещмешка зеленую, аккуратно свернутую трубкой плащ-палатку, всего два надетанную, и отдал не без сожаления, не надеясь получить назад. Если и получит, то наверняка не такую, а б/у\*.

Пока капитан Селиванов мылся в бане, на столе появились две бутылки первака, как заверил Кравцов, килограммовая банка «рузвельтовской тушенки» с маленьким ключиком на боку для вскрытия, увесистый кусок сала, выменянный впридачу к самогонке, с десяток луковичных головок и кирпич черного пайкового хлеба. Офицеры перебрасывались шутками в предвкушении выпивки и живо орудовали за столом, готовясь к встрече виновника торжества. Он вернулся из бани распаренный, довольный, с трубкой в зубах; концом ее постучал по бутылке:

— Что сие значит?

— Хотим отметить ваш день рождения, товарищ капитан! — бойко за всех ответил Кравцов.

— Откуда вы знаете, что у меня сегодня день рождения?

— Вы сами сказали.

— Я не говорил.

— Как же! Говорили, мол, сегодня сорок стукнуло, а в бане две недели не мылся.

— Гм, да, вспомнил, говорил. Но зачем такое торжество: самогонка, тушенка! — Капитан скептически оглядел стол. — Где вы могли достать вина?

— А вот за плащ-палатку новичка. Узнал про такое дело, вынул из вещмешка, нате, говорит, от меня подарок капитану. Сразу видно — настоящий фронтовик!

Капитан посмотрел на Виктора, как на явление Христово:

— Вы отдали свою плащ-палатку? А как же сами?

Виктор переглянулся с Кравцовым, который заgrimасничал, прося поддержать его.

— Э, нет, тут что-то нечисто! — смекнул Селиванов. — Я виновник торжества и обязан накрывать стол. Отдаю вам свою плащ-палатку, младший лейтенант!

— Товарищ капитан, что вы! Обидите! — взмолился Кравцов. — Младший лейтенант не останется внакладе, не волнуйтесь!

— Вы меня не уговаривайте! — Селиванов полез под подушку на своей кровати и достал спрессованный зеленый пакет, насильно всучил Виктору: — Возьмите!

— Вот черт... Ладно, бери, Озеров, потом возвратишь. Иначе он не отстанет, — шепнул Кравцов на ухо Виктору.

...Стол опустел, самогонка была выпита, и офицеры, надымив табаком, щеголяли друг перед другом анекдотами, вспоминали разные тыловые любовные истории, отдаваясь веселью с беззаботностью молодости, забыв и о немецких минах за окном, которые, правда, уже перестали рваться.

— Пойдем, Озеров, за твоей плащ-палаткой, — сказал Кравцов, вставая из-за стола. — Только, чур, молчок, никому ни слова!

— Куда же идти так поздно?

— Увидишь, пошли!

Оставлять капитана без плащ-палатки было неловко, и Озеров поплелся следом за Кравцовым, не понимая, каким образом вернет свою. На дворе была глухая темень, лишь время от времени небо озарялось светом немецкой ракеты, выплывавшей из-за бугра, как сказочная золотая рыбка из моря-окияна, чтобы сотворить чудо. Но ракета гасла, под ногами чавкало, моросил дождь, где-то далеко ухали взрывы и совсем близко простучал пулемет, напоминая о суровом времени, в котором была ценной одна лишь жизнь, но и она висела на волоске. Ах, почему в сказке, а не наяву является золотая рыбка!

Взойдя на крыльцо какой-то хаты, Кравцов кулаком постучал в дверь, и она стукнулась о неплотно прилежавший к ней деревянный засов изнутри.

— Кто там? — отозвался женский голос в приоткрытую дверь из хаты в сени.

— Военный патруль. Отворяйте!

Женщина отодвинула засов. Виктор вслед за Кравцовым вошел в полутемную комнату с земляным полом, русской печью, ситцевой заборкой, отгораживающей кровать, и длинной лавкой вдоль стены с кадкой для воды на краю. Больше ничего не привлекало внимания в этом убогом жилище, лишь в ноздри ударил кисловатый запах дрожжей. Кравцов дернул Виктора за рукав шинели, как бы напоминая об уговоре держаться с достоинством.

— Проходите, проходите, родимые, — засуетилась хозяйка, бегая глазами по рослым фигурам офицеров, пытаясь понять причину их позднего прихода. Она прислонилась спиной к печи и обе руки спрятала под фартук, когда Кравцов и Виктор сели на лавку.

— Вот какое дело, хозяйка! — строго начал Кравцов, постукивая пальцами по чисто выскобленному столу и пытливо осматривая комнату, покосился под кровать, и хозяйка невольно проследила за его взглядом. — К вам днем, часа в три, приходил лейтенант, такой белобрысый и длинный?

— Приходил, родимые, приходил. — Хозяйка беспокойнее забегала глазами. Ее волнение почему-то тешило Кравцова. Он допрашивал при-

страстно, как провинившегося курсанта, которому намеревался дать два наряда вне очереди.

— И поменял плащ-палатку на две бутылки самогонки?

— Поменял, родимый, поменял.

— А вы знаете, что казенными вещами торговать запрещается? — еще суровее спросил Кравцов, и хозяйка растерянно замигала.

— Не знала, родимый.

— Теперь будете знать! Лейтенанта мы накажем, а плащ-палатку конфискуем... И не стыдно вам заниматься такими делами?

— Нужда заставила, родимый. Пообносились. Зима на дворе, а пальто старенькое, верх совсем обтрепался, не греет, думала покрыть плащ-палаткой, поэтому и самогонки наварила, хоть и жалко буряков, самой есть нечего... Берите, что же делать, нельзя, так нельзя.

Женщина, волнуясь, достала с печи свернутую трубкой, как была, плащ-палатку Озерова, словно заранее готовилась с ней распрощаться, и положила на стол, провела по ней ладонью с сожалением, отступила к печи, робко спрятала руки под фартук.

Во дворе Кравцов рассмеялся:

— Таким манером мы за одну плащ-палатку выменяли литров десять самогонки... Куда ты?

Виктор круто завернул к двери, которую хозяйка еще не успела закрыть на засов, и бросил на лавку злополучную плащ-палатку.

— Покрывайте пальто! Мы пошутили.

— Вот дурило! — выругался Кравцов, когда Виктор вернулся с пустыми руками. — Зачем отдал? Столько бы еще самогонки наменяли! Поблизости, домов через пять, вчера гнали, сам видел Сейчас бы сделали новый заход...

Утром чудаковатого капитана вызвали в штаб полка и направили командиром батальона на место выбывшего по ранению. На передовой он оказался куда бойчее, чем можно было предположить. Яхьязаде, проверявший оборону батальона (резервистов часто использовали для этого), рассказал, как вместе с капитаном попал под шрапнель. Прямо над головой с визгом разлетались стальные шарики, и Яхьязаде spryгнул в окоп, хотя и в нем вряд ли можно было найти спасение от шрапнели. А Селиванов продолжал шагать во весь рост, чему-то улыбаясь, словно под летним дождичком. Вскоре его батальон удачно провел разведку боем, пленив шестерых немцев, из них одного офицера. В полку о Селиванове заговорили как о смелом командире, а в его чудаковатости видели лишь лукавность ума.

Кравцов ушел в батальон Селиванова командовать стрелковой ротой. «Все одно в пехоту сунут, да еще взводным, — сказал он Виктору, покидая резерв. — Вакансии в минометной роте не дожدهшься, там народ живуч, сидят по оврагам!»

В декабре немцы подтянули дальнобойную батарею и стали обстреливать Верблюжку по ночам. Жутко было проснуться в кровати от стреми-

тельно нарастающего визга тяжелого снаряда, сдавалось, летевшего прямо в тебя. Снаряд громоподобно рвался на болоте, жертв не было, но сон уже не шел, на что, видно, и рассчитывали немцы. Каким-то образом они узнали о своей пустой стрельбе, изменили прицел и разнесли в пух и прах хату резервистов, к счастью, в ней никого не было, да и осталось в резерве всего двое, Озеров и Яхьязаде. Теперь на ночь оба забирались в яму под горой, из которой крестьяне брали глину, тесно жались друг к другу, укрываясь плащ-палаткой таджика (Селиванову Виктор вернул его плащ-палатку). Утром просыпались с занемевшими членами, помятые, кое-как приводили себя в порядок и отправлялись к походной кухне завтракать. Таджику вскоре повезло: в полковую тяжелую минометную батарею потребовался офицер, и он принял огневой взвод. А следом пришла очередь и Озерова. Наконец-то после стольких отсрочек предстояло хлебнуть настоящей войны. Как ни страшно было перед неизвестностью передовой (в какой-то мере Озеров уже понимал ее, чувствовал всей кожей ее роковое дыхание), он отнесся к направлению в стрелковую роту довольно спокойно, не стал возражать и доказывать, что не стрелок, а минометчик, что назначение его сделано в нарушение приказа Министра обороны...

## 5

Стояла студеная ночь, по календарю уже зима, но настоящих холодов еще не было, срывался снежок вперемешку с дождем. Погода промозглая, пронизывающая до костей, хуже морозов. Когда Виктор Озеров из штабной землянки отправился на передовую, с неба перестало сыпать, но по-прежнему было пасмурно, дул ледяной ветер. Вкривь и вкось темноту прочеркивали красно-зеленые трассеры немецких пулеметов, точно выстегивая небо цветным шитьем.

Сопровождающего Озерову не дали. Офицер-штабист в душегрейке без рукавов, закрывающей наполовину погоны, показал на бугор через балку:

— Видишь чернеет лесопосадка? Дуй прямо на нее. За лесопосадкой, шагов через сто, ротная землянка. Немец тебе дорогу покажет, будет освещать, не заблудишься.

В небо врезались сразу две зеленые ракеты, послышалось шипение, и Озеров удивился такой близости противника. Мигающий мертвенно-бледный свет раздвинул мглу, ничего в ней не высветив. Вслед за ракетами небо прошел красный пунктир пулеметной очереди. «Будто на карнавале», — подумал Озеров, но красота эта была жутковатая. И немцы пускали ракету за ракетой и палили из пулеметов ночь напролет не на праздничном пиру, а из боязни быть захваченными врасплох. В то же время наша сторона молчала, немая и глухая. Наверное, чем безответнее она была, тем большую внушала тревогу и не давала спокойно спать противнику.

Офицер вернулся в землянку, а Виктор пошел вперед на ракеты, которые в самом деле время от времени освещали ему дорогу и были хорошим ориентиром: как ни плутай, все равно дальше передовой не уйдешь.

На взгорке обозначились люди, подвода, неподвижная понурая лошадь. Солдаты подняли с земли что-то грузное. Ветер донес голоса:

— За что берешь? За что берешь?

— Больно тяжелый.

— Все мертвецы тяжелые.

Виктор догадался: работала похоронная команда.

«А сегодня утром, как и я, — подумал он подавленно, — надеялись увидеть конец войны, дом, матерей, невест. И вот... лежат заоченелые далеко от родных, которые еще думают о них, как о живых. Уже завтра я могу быть такой же. Какой там завтра! Через час!»

Озеров вспомнил мать, бабушку, друзей детства. И тот далекий тыловой мир показался ему неправдоподобным, точно он не жил в нем и о своем прошлом слышал от кого-то красивую сказку. Мертвым себя представить Озеров не мог, было непонятно, что вдруг он перестанет ходить, думать, слышать, смотреть. Он был полон сил, жизни и противился смерти всем своим существом, хотя каждый день видел убитых и в особенности был поражен смертью однокурсников Власова и Кальмана, с которыми вместе на выпускном вечере в военном училище ставил детективную пьеску о разоблачении диверсантов, какие были тогда на любительской сцене в большом ходу. Оба не провоевали и недели. Собственная гибель все же никак не укладывалась в голове.

Он миновал солдат, подбиравших трупы, и они не обратили на прохожего офицера никакого внимания. «Те-омная но-очь, только пули свистят по степи...» — вспомнилась недавно появившаяся на фронте грустная песня, созвучная настроению Виктора и холодной ночи. Правда, у него не было жены и ребенка, о которых говорилось в песне, не успел обзавестись, были родители, друзья детства, но где они сейчас и живы ли, здоровы, он не знал, давно ни от кого не получал вести: война разбросала людей, перепутала их судьбы, как горный обвал все на своем пути. Песню о темной ночи он пел не в голос, а про себя — тянул одну мелодию, не зная всех слов, и она вызывала в нем такое же чувство, как тоскливое гудение телеграфных проводов.

Дорога была тяжелая, на сапоги налипал раскисший чернозем, и напутывалась мокрая пожухлая трава. Виктор то и дело останавливался, стряхивал «подушки». Комья, отлетая, звучно шлепались о землю, словно кизяки о плетень. Лесопосадка, одна из тех, какие протянулись по степной Украине из конца в конец от суховеев, уже хорошо различалась. Наискосок от нее, шагов через сто, должна быть землянка ротного, как Виктору объяснил штабной офицер, направляя на место убитого сегодня утром взводного, младшего лейтенанта. В полку три минометные роты были полностью укомплектованы офицерами (там потери невелики, в атаку не ходят), а в пехоте, да еще в наступлении, самое большее провоюешь неде-

лю-полторы, — обязательно убьют или ранят, и Озерова послали в пехоту на время, из-за нехватки офицеров. «Освободится должность минометчика, отзову», — пообещал штабист. Но Озеров хорошо знал, что из матушки-пехоты еще никого никогда назад не отзывали, все же возражать не стал: надо, так надо. «Кто же будет гнать врага с родной земли, если не такие, как я?» — подумал он патетически, в духе поставленной в училище пьески.

\* \* \*

На фронте самая активная жизнь наступала, пожалуй, ночью, и солдаты в темноте ориентировались не хуже, чем днем. Озеров сам удивился, как безошибочно нашел землянку ротного. Он откинул отяжелевшее мокрое байковое одеяло, прикрывавшее вход, и протиснулся вовнутрь. Землянка освещалась гильзой-коптилкой из ниши. На земле лежали оцинкованные ящики с патронами, куча ребристых «лимонок» и несколько увесистых противотанковых гранат. С ложа, устланного соломой, свесил ноги Кравцов, приветливо поздоровался, и Озеров заподозрил, что это он выхлопотал своего однокурсника в роту.

— Добрался? Присаживайся на ящик. Есть будешь? — Он показал на нишу для продуктов.

Виктору хотелось есть. Он взял круглый алюминиевый котелок с проволочной дужкой, достал из-за голенища сапога трофейную складную ложку-вилку и зачерпнул что-то похожее на студень — остывший пшенный суп. Пока Озеров хлебал баланду, Кравцов объяснил обстановку:

— Завтра утром наступаем. Приказано отогнать немцев от северной окраины Верблюжки. А солдат в роте — кот заплакал, шестнадцать человек.

Озеров знал, что во всем полку, сведенном в два батальона, и сотни нет: обескровились наши войска, наступая с Северного Донца, брали Харьков, Красноград, Полтаву, форсировали Днепр и уже продвинулись километров на сто по правобережной Украине. У немцев тоже сил мало, тоже измотаны. Наши толкнут — отступают, останутся — и немцы останавливаются.

— Сколько же у меня во взводе людей? — спросил Озеров, ставя в нишу пустой котелок и ладонью вытирая губы.

— Ты будешь седьмой! Святое число, — улыбнулся Кравцов и по-отечески посоветовал: — Береги себя и солдат, не бравируй. Голову держи ниже, ноги выше!.. Личное оружие есть? Нету? Вот тебе автомат! — Кравцов взял стоявший в углу ППШ\* и подал Озерову. — Во взводе найдешь второй диск, если одного будет мало. Уразумел: голову держи пониже, ноги — повыше! — повторил он не то шутя, не то всерьез, глядя на Озерова сочувственно, чуть ли не трогательно, и они выбрались из землянки в кромешную темноту.

— Пойдемте, комвзвода, я вас провожу, — раздался рядом чей-то голос. Озеров с трудом различил в двух шагах от себя солдата, который был

и за часового, и за связного одновременно. Озеров молча пошел за ним. По сапогам хлестал пожухлый мокрый бурьян. С неба сеяла мга, и после теплой землянки, представив всю ночь и, может быть, не одну в окопе, Озеров поехал и глубже спрятал голову в воротник шинели. Был уже второй час ночи, немец утихомирился, реже стрелял и пускал ракеты.

Едва Озеров сделал несколько шагов от землянки, как ощутил себя беззащитным, оторванным от всего мира, точно шел по канату над бездной и с каждым шагом терял уверенность, что благополучно переберется на противоположную сторону. Теперь он понял, в чем для него заключалась загадка передовой, эта жестокая бескомпромиссность, где или ты или тебя. По сути дела, он был один на один с немцами, если не считать жидкой цепочки наших солдат, противостоявших огневой мощи, возможно, усиленной роты или даже батальона с артиллерией и танками. Почему бы немцам не сосредоточиться для контрудара на слабом участке нашей обороны?.. Озеров чувствовал себя вывалившимся из гнезда галчонком: некому предостеречь от неверного шага, и, пожалуй, кравцовское напутствие было последним дружеским словом.

Низко, на уровне колен, точно светлячки, стремительно пронеслись трассирующие пули. Озеров невольно пригнулся, хотя такое предостережение было излишне: идти во весь рост даже безопаснее. Но вот и окопчики, заподлицо с землей, можно запросто пройти мимо в расположение немцев: перед нашей обороной, как сообщил Кравцов, не было ни минного, ни проволочного заграждения. Странно, как держалась горстка русских солдат и, мало того, собиралась завтра наступать.

— Комвзвода пришел, — сказал связной кому-то, приседая на корточки. Ответа не последовало. Озеров разглядел солдата, который по всем признакам спал и проснулся от голоса связного. Он поднялся, не вылезая из окопа, — худенький паренек из последнего пополнения по фамилии Вальков, как потом узнал Озеров.

— Ну как немцы? Не беспокоят? — спросил связной, и тут же бухнул выстрел, похожий на охотничий — высоко вверх взметнулась ярко-зеленая ракета, отчетливо высветила каждую былинку вокруг и, сделав в небе дугу, шлепнулась шагах в двадцати с шипением, дробясь на огненные осколки. Она с минуту догорала в бурьяне в то время, как связной и Озеров пластом лежали на земле, сдерживая кашель от саднившего горла фосфорного дыма. Ракета потухла, но внезапно ослепленные глаза не сразу притерпелись к темноте.

— Так близко немцы? — удивился Озеров, подавленный этим открытием.

— Шагов сто отсюда. Разговоры слышны, — сообщил Вальков, как нечто обычное.

Рыть себе ячейку Озеров не стал и заставить мокрых, усталых солдат не мог, а спрыгнул в окоп, который был попросторнее других, к молодому солдату.

— Не возражаешь? — спросил его Озеров.



— В тесноте, да не в обиде, — дружелюбно ответил Вальков, теснясь.

— Когда мы стояли на Донце, — продолжал связной негромко, — с той стороны кричали по-русски: «Зачем пришли на украинскую землю? Убирайтесь, пока целы!»... А мы кто, разве не украинцы?

— Тут власовцы тоже есть, — вставил Вальков. — Среди них калмыков много. Карательный отряд. Цивильные жаловались: хуже немцев.

— Калмыки больше в обозах, — возразил связной.

— Есть и в обозах, — согласился Вальков, — да хрен редьки не слаще.

О власовцах Озеров уже слышался. И о самом Власове тоже, видел его портрет, читал биографию. Шатаясь по тылам, он однажды наткнулся среди поля на увесистые бумажные пачки, перевязанные шпагатом. Они были сброшены с самолета, но не рассыпались и сильно подмокли под дождем. Листовки призывали сдаваться в плен, вступать в освободительную армию генерала Власова. На обороте, в красном ободке, наискосок было крупно напечатано: «ПРОПУСК». На другой листовке — портрет Власова. Худощавый. В очках. Лицо интеллигента. Предательство добропорядочного на вид человека никак не укладывалось в голове наивного Озерова. А немцы, видно, и рассчитывали на уважение к такому портрету, печатая его.

— Против нашей роты власовцев нет, — осведомленно сообщил связной.

— А вы с самого Донца воюете? — спросил его Озеров заинтересованно: не часто встретишь на передовой долгожителя.

— От Сталинграда.

— Даже от Сталинграда! И ранены не были?

— Нет, — задорно ответил связной. — Пули и осколки мимо пролетают. В роте я один такой остался.

Озеров взгляделся в связного, улыбчивого, с заметными и в темноте конопущками на круглом лице. Каким чудом ему удалось пройти живым-невредимым тысячи полторы километров и не в обозе, не в штабе, а здесь, на передовой, Озерову было невдомек, и он в какой-то мере успокоился насчет себя: авось тоже провоюет не один день.

Связной поднялся с корточек.

— Пойду. Телефонист просил принести катушку. Завтра наступать, а провода мало.

Он пропал в темноте, и Озеров, привыкший в это время уже спать, опустил на дно окопа, поджал под себя ноги и поглубже вобрал голову в поднятый воротник шинели. Он не стал знакомиться с солдатами, которых в темноте все равно не разглядел бы, отложил до рассвета, лишь спросил двух пулеметчиков, располагавшихся недалеко позади слева, достаточно ли у них лент. Огнеприпасов было впрок, только стреляй. Тревоги студеного декабрьского дня сразу же отодвинулись, но совсем не оставили Озерова и во сне. Он увидел себя в немецкой форме тайным агентом, которому поручено убить Гитлера, опасался, что его вот-вот разобла-

чат, задание не будет выполнено. Он ехал с Гитлером в одной машине, пробирался по каким-то развалинам, спускался в сырое, тускло освещенное бомбоубежище с кабелем в несколько рядов по стене, ходил по пустым, с выбитыми окнами классными комнатам, усеянными растерзанными ученическими тетрадами, и все никак не мог выбрать момент, чтобы выстрелить. С Гитлером был еще офицер, адъютант, пристально следивший за Озеровым, даже как будто знавший о его намерении. Как только Озеров брался за пистолет, адъютант оказывался рядом и смотрел сердито. Виктор все-таки изловчился, выхватил пистолет, нажал на курок. Осечка. В ужасе он взглянул на адъютанта, который торопливо расстегивал кобурку. Озеров метнулся за какой-то шкаф, потом — в дверь и помчался по бесконечному коридору, слыша сзади топот. Силы ему отказывали, ноги подламывались, сейчас, сию минуту настигнет погоня...

— Комвзвода, комвзвода! — толкал Озерова в плечо солдат. Виктор открыл глаза. Над головой нависал серый клочок неба, затянутый тучами.

— Что такое?

— Немцы!

\* \* \*

Озеров с необыкновенным проворством вскочил на ноги и тут же пригнулся, заслышав фыркающие мины на излете. Они разорвались далеко сзади, где-то возле землянки Кравцова. Озеров высунулся из окопа и увидел бегущих прямо на него грузно, вперевалку, словно чем-то нагруженных немцев. Их широкие, отяжеленные ранцами фигуры отчетливо вырисовывались до пояса на фоне светлеющего предрассветного неба. Бежали они ровной цепью, или так казалось издали, стреляли, не стреляли — Озеров не разобрал, пораженный близостью противника. Все шесть его солдат и два пулеметчика занервничали, одни схватили винтовки и натужно передергивали затворы, словно отдирали их от чего-то липкого закованевшими пальцами, другие торопливо выкладывали на брустверы гранаты. Пулеметчики, два юнца, возились с лентой, что-то не ладилось, наверное, перекашивало: они то вставляли ленту в замок, то рывком вынимали. Солдаты нетерпеливо поглядывали на пулеметчиков, но не кричали, не ругались, боясь совсем сбить их с толку. И Озеров не пытался командовать, хорошо понимая, что если бы он и начал давать какие-либо указания, то его все равно никто не понял бы и не услышал, поэтому, как только Вальков крикнул: «Немцы!», младший лейтенант схватил свой автомат, бросил на бруствер, нажал на спусковой крючок, но выстрелов не последовало. Подергал затвор — патроны не подавались из магазина в патронник. Автомат был в налете ржавчины, как видно, давно без хозяина. Вчера в полутьме ротной землянки Озеров этого не заметил, посчитал, что Кравцов отдал свой, а теперь стало ясно, что под дождем, в грязи бесхозный автомат потерял боеспособность, приводить его в порядок не было времени, секунды решали судьбу взвода. Но, может быть, диск пустой? Озеров выдернул его из пазов, сбросил крышку и увидел «улитку», плот-

но заставленную медными тупоносими патронами. Взял один, вставил в ствол и бесприцельно выстрелил.

До наших окопов немцам оставалось метров пятьдесят, вот-вот донесется победоносный клич, и уже ничего их не остановит, но у Озерова мысли не было спастись бегством, напротив, он словно врос в землю, вставлял по одному патрону в ствол, как в охотничье ружье, и стрелял, плохо целясь, весь в лихорадочной спешке, понимая, как слабы и ничтожны все его усилия остановить немцев. Наверное, добежав до наших окопов, они таким бы, с автоматом без диска, взъерошенного, и прикончили младшего лейтенанта, но тут зашуршали, зафыркали мины, уже наши, и наступающую цепь затянул дым от частых разрывов. Озеров наметанным глазом минометчика определил на удивление точные попадания (недаром, как утверждал всезнающий «солдатский телеграф», сам Гитлер с похвалой отзывался о русских артиллеристах, сожалея, что у него нет таких же). Длинную очередь выпустил пулемет. Его четкое, рубленое «та-та-та» отдалось в ушах Озерова приятной музыкой, и он сразу успокоился, снял шапку и вывернутой подкладкой устало вытер мокрые волосы и лицо.

Уже совсем рассвело. Утро было пасмурное, тучи ползли по земле низко, как туман, впереди лежало ровное поле, постепенно скатываясь в балку. Выглядывали верхушки деревьев лесопосадки, уходившей куда-то вправо, в серую мглу. Немцев, как и не было. Хотелось вылезти из окопа и пройти до лесопосадки, посмотреть, куда они делись.

— Связной ползет, — сказал Вальков. Озеров оглянулся, первый раз за все утро вспомнив о тыле, настолько его внимание было приковано к противнику, и увидел припавшего к земле человека. «Что он извивается по-ужиному? Встал бы и пошел. Немцев-то нет», — проворчал Озеров с неудовольствием, даже подумал, что вот такая чрезмерная осторожность и бережет связного от пуль и осколков с самого Сталинграда.

— О чем-то кричит, — доложил Вальков, прислушиваясь. Ветер относил голос в сторону, и Озеров разобрал лишь одно слово: «Комвзвода... Комвзвода...»

— О чем он?

— В атаку вроде.

Озеров приподнялся на носках, собираясь вылезти из окопа и пойти навстречу, но тотчас юркнул назад: с треском шлепнулась в бруствер разрывная пуля, а другая, просвистев, чмокнула связного, и он как-то странно обмяк, съежился, точно развязанный мешок, из которого высыпалось зерно. Озеров пристально взгляделся в неподвижную, сунувшуюся головой в землю фигуру, веря и не веря в то, что случилось у него на глазах.

— Наповал, — подтвердил догадку младшего лейтенанта Вальков.

Озеров не знал, как быть, точно ли надо в атаку, но скорее всего мешкал из-за обыкновенной трусости. После смерти связного храбрости заметно поубавилось, соваться под пули, да еще такие меткие, было боязно, и все-таки он голосисто прокричал:

— Приготовиться к атаке! Вы, слева, вперед!

Трое медленно, будто подневольные, осыпая землю сапогами, вылезли из своих окопчиков и легли на брустверы.

Озеров повернулся вправо:

— А вы чего ждете? Вперед! Вперед!

Солдаты замялись, словно спросонья.

— Живей, живей! — покрикивал Озеров, и они вяло повиновались, взяли в руки винтовки, вывалились из окопчиков, легли кто ниц, кто на бок, точно на большом привале после утомительного марша, вот сейчас достанут кисеты и задымят «козьими ножками». В их расслабленных позах и намека не было на готовность к рывку вперед. Видимо, надо было показать пример самому командиру, но как же не хотелось покидать укрытие! Озеров оперся руками о края окопа и заметил, что трое слева сползли с брустверов назад, в свои ячейки.

— Куда же вы! — закричал на них Озеров, осерчав, и замахал рукой. — Вылазьте, вылазьте! Вперед!

Солдаты с неохотой подчинились. Озеров повернулся вправо, и трое до этого лежавшие на брустверах, уже были в окопах (когда только успели сползти!) и, словно провинившиеся школьники, стыдливо отводили глаза в сторону. Что тут будешь делать?

— Эй, что же вы! А ну, за мной! Вылазьте! Вперед!

Послышалось отдаленное глухое «Ура-а-а!», — соседний взвод поднялся в атаку. Была не была, Озеров выскочил из окопа, и вслед за ним все шестеро солдат. Не ползком, не перебежками, а точно так же, как только что немцы, они пошли во весь рост. У Озерова в голове вертелась лишь одна мысль, пока он грузно бежал по мокрому полю: «Куда? В ногу? В живот? В грудь?... Только бы не в живот!» — просил он кого-то неизвестного, наслышавшись о мучительной смерти при ранении в живот. То, что нужно стрелять, Озеров позабыл, хотя автомат к тому времени уже наладил. Солдаты, кажется, тоже не стреляли, Озеров не слышал, точно был один на один с немцами, которые стреляли в него, не стреляли, он тоже не слышал. Побыстрее, побыстрее бы пересечь поле, достичь окопов противника! Осталось пятьдесят, сорок, тридцать шагов... Озеров закричал нечеловеческим голосом отдаленно похожее на «ура», и ему казалось, что кричит он один. Но кричали все шестеро и тоже по-звериному. Добежали до окопов, попрыгали в них — никого. Пусто. По полю вразброс — трупы. Неужели минометчики всех до одного перебили? Всех, пожалуй, не могли. Просто немцы драпанули сразу же, как только увидели нашу цепь.

Озеров сел на край окопа, свесив в него ноги, не зная, что делать дальше. Солдаты разбрелись по передовой. У одного в руках появилась буханка хлеба, другой нес байковое одеяло, третий стягивал с убитого немца совсем новые кожаные, с короткими голенищами раструбом сапоги, чтобы сменить свои разбитые. Взвод потерял боевой вид, напоминая варварские времена, когда на откуп войскам отдавали захваченный город, и они

делали в нем что хотели, — сравнение, конечно, бледное: перемерзшие, грязные, голодные солдаты Озерова вызывали лишь сочувствие.

Разглядывая немецкую оборону, Озеров подивился сапожному крему, зубной пасте, одеколону и другим, по его мнению, совершенно излишним на передовой принадлежностям туалета, какие валялись в окопах и землянках, брошенные впопыхах. Потом мысли его вернулись к атаке, от которой еще не прошло оупение и которая никак не была похожа на все то, что он до сих пор слышал, о чем много раз читал в газетах и как учил в боевом уставе. Одно лишь чувство самосохранения владело Озеровым, когда он бежал по полю, и мысли были примерно такие же, как во время падения из полуторки при аварии под Белым Колодезем: как бы не стукнуться головой о железную бочку, стоявшую в кузове!.. Но все-таки куда убрались немцы? Преследовать их дальше, войти в соприкосновение, как требовала теория боя, или закрепиться на занятых позициях? От Кравцова почему-то не поступало приказаний, и сам он не появлялся, вел себя на редкость осторожно, если не сказать большего. От бывалого фронтовика Озеров ожидал иного поведения, правда, ничего лестного не мог сказать и о себе, сдавалось, все он делал под страхом, а, следовательно, трусовато. Очень, очень далек был от Лешки Прасолова под Борками.

Надо было что-то предпринять. Боевой устав предписывал преследовать отступающего противника до полного его уничтожения, правда, обстановка мало походила на уставную. Кое-как Озеров собрал своих солдат и повел нестройной цепью к лесопосадке. По всей ее длине темнели квадратные ямы, отрытые под офицерские землянки. Покрыть их, однако, немцы не успели. Озеров с двумя солдатами, один из которых был Вальков, державшийся к нему поближе (за это короткое время они успели подружиться), спрыгнул в яму и осмотрелся. Туман поредел, и было видно, как на той стороне балки, метрах в двухстах, немец отрывал себе окоп малой саперной лопаткой без всякой осторожности, точно работал на огороде. Озерову это показалось нахальным, и он дал по нему автоматную очередь. С непонятной быстротой и точностью, словно лесопосадка была заранее пристреляна, зафыркали и зашлепали вокруг мины. Озеров упал на дно ямы — и вовремя: с оглушительным треском блеснул огонь и резко запахло пороховым дымом. Озеров полежал, ощупал себя — вроде бы цел. В самом углу чернела лучистая воронка с запекшейся землей. Не хватало всего нескольких сантиметров, чтобы мина влетела в яму. Все же солдатам досталось по осколку.

— Товарищ лейтенант, мы ранены, мы ранены! — запрыгали они от радости, один показывая надорванный и окровавленный выше локтя рукав шинели, а другой, Вальков, — рассеченную шею. Озеров не стал их задерживать, отпустил в медсанбат, и солдаты резво побежали по неубранной, посеченной пулями кукурузе, примыкавшей к лесопосадке, Вальков даже не обернулся, и Озерову стало немного грустно.

Погода изменилась. Похолодало. Пошел снег и довольно густо. Кругом побелело, и приход зимы, в другое время желанный и светлый, не

тронул солдатских сердец, а лишь отозвался в них беспредельной тоской по теплой хате, по семейному уюту. От Кравцова пришел связной с приказом оставить лесопосадку и возвратиться на прежние позиции, оказывается, взвод слишком увлекся атакой и выдался вперед. Ну и ну! А Озеров считал, что действовал нерешительно. Покидать готовые укрытия не хотел, уже «обжился» и присмотрелся вокруг. Всякое более или менее безопасное место на передовой, удобное для обороны, дорого, и солдат к нему быстро привыкает, выкурить его оттуда немцу трудно, а тут на тебе — убраться восвояси за здорово живешь.

— Да в чем дело? Почему отходить? Не напутано что-нибудь? — сердито спросил Озеров связного.

Оказывается, справа в наши порядки просочились немецкие автоматчики, комбат Селиванов едва не попал в плен. Вот и приказано выровнять линию!

Ну что ж, отходить, так отходить. Озеров дал команду, и четверо уцелевших солдат поплелись назад. Пулеметчики покатали следом свой «максим». Усталые бледные лица выражали крайнее напряжение сил. То ли немцы заметили движение, то ли уже хорошо окопались и пробовали оружие — по кукурузе захлопали разрывные пули. Огненные стрелы пронеслись слева и справа от Озерова на высоте колен, и он то и дело пригибался, хотя понимал, что это не безопаснее, чем идти прямо.

Черномазый солдат, похожий на морячка (хотя откуда в степях Украины взяться моряку?), насмешливо выкрикнул:

— Бога вспомнил, лейтенант?

Озеров промолчал, стыдясь, и уже больше не кланялся пулям до самых окопов. За весь день (а уже начало темнеть) у него во рту не было крошки хлеба. Нашупал в кармане твердый, как дерево, сухарь и принялся грызть. Побаливал большой палец на левой руке, нарывая под ногтем, похоже «волос». Озеров подумал о санчасти, чистой землянке, пропахшей йодом. Эх, разнесло бы палец, а то и всю руку, чтобы отправиться на лечение, побыть какое-то время в тепле! Он вконец изнудился, все в нем протестовало против грязи, холода, голода, против наступающей ночи под открытым небом — негде обсушиться, приткнуться голову. Пожалуй, еще можно было терпеть физические лишения, но необстрелянный выпускник военного училища столько перевидел, пережил в первый же день на передовой, что в его смятенной душе шло противоборство сил, как в вулкане: что из него вырвется, бог весть!

Палец и впрямь разболелся. Озеров обмотал его грязным носовым платком и подозвал «морячка»:

— Как фамилия?

— Дудченко.

— Вот что. Дудченко, останешься за меня, а я схожу к командиру роты. Есть к нему дело.

О больном пальце Озеров умолчал, боясь новой насмешки, и зашагал в тыл. Снова на степь опустилась кромешная темень, немцы что-то и ра-

кет не пускали, лицо секла снежная крупа, ветер задувал в воротник, добирался до спины. Жутко представить одну ночь под открытым небом в такую погоду, а неделю, месяц? Как это вынести?

Озеров прошел уже метров двести, но землянку Кравцова не приметил. Вернулся назад, присел, всматриваясь в темноту. Вон что-то горбатилось, наверное, она и есть. Озеров пошел в том направлении и тут же озадачился: что сказать Кравцову, чем оправдать свой уход из взвода? Сослаться на палец? Смешно. Не доходя до бугорка, он понял, что обознался, это была не землянка, и решил оставить поиски командира роты. За весь день они так и не увиделись, Кравцов зря под пули не лез, недаром советовал, отправляя в цепь: «Голову держи пониже, ноги повыше!» Полушутливое наставление тоже как бы оправдывало поступок Озерова, вернее, он надеялся на снисхождение, но чем дальше уходил от передовой, тем непригляднее выглядел в собственных глазах. Куда он направляется? Ах, да, в санчасть, палец нарывает. Озеров прислушался — слегка подергивало. Может, вовсе не «волос», а просто заноза попала под ноготь. Возвратиться назад? Но так он думал, а ноги влекли его вперед.

## 6

Полковая санчасть стояла в овраге. Фельдшер, молоденький лейтенант, с тонкими щеголеватыми усиками (видно, была возможность блюсти красоту, сам Озеров сбрил свои усы, как только вернулся в дивизию), осмотрел палец и предложил рассечь.

— Конечно. Пожалуйста, — с готовностью согласился Озеров, довольный тем, что все-таки ему нужна была медицинская помощь.

Пока фельдшер рылся в инструментарии, Озеров оглядел землянку: уютно, покойно. Не верилось, что отсюда какой-нибудь километр до непокрытых, засыпаемых снегом окопов, замызганных небритых солдат и постоянного ожидания: вот сейчас, вот эта мина твоя!

Озеров легко перенес рассечение пальца. Если бы фельдшер совсем отхватил его, то и тогда бы не вскрикнул от боли. После операции, с забинтованным пальцем, замешкался, не зная, как быть — вернуться на передовую или на ночь остаться в селе? Фельдшер не предложил, а Озеров постеснялся попросить.

— Не опасно? — Озеров кивнул на толсто забинтованный палец.

— Заживет в три дня!

«В санчасти остаться нельзя, — размышлял Озеров. — Пойду в село, часа два посплю в хате, немного отогреюсь и вернусь на передовую. Имею я право отдохнуть или нет после такого дня?»

Попросить у фельдшера отсрочки до утра он не решился, боясь показаться слабаком, и направился в хату офицерского резерва, который, как он знал, снова пополнился. Надо сказать, что Озеров не позволял уронить себя во мнении других, но был наивен и беспечен, когда надо было постоять за свои права, легко согласился пойти в пехоту и так же легко поки-

нул ее. Спросить у Кравцова разрешения сходить в санчасть, в чем тот наверняка не отказал бы, а у фельдшера законную отсрочку от передовой хотя бы на несколько часов, что в какой-то мере оправдывало бы его поступок, он постеснялся, найдя свою просьбу ничтожной, умалявшей его достоинство, и в то же время поставил себя в положение куда более тяжелое.

Резервисты уже спали, ни одной койки свободной не нашлось. На столе вразброс лежали письма, Озеров машинально перебирал их, давно потеряв надежду на весть из дома, и с удивлением прочел свою фамилию на одном из треугольников, развернул, предполагая письмо от мамы, но это было от Кати. Она обижалась на то, что он, отправляясь в часть, не заехал в Валуйки, и спрашивала, когда снова будет в командировке, а закончила такими словами: «Смотри не увлекайся девчонками, помни о любящей тебя Кате!!!»

«Что я, по бульварам тут гуляю? — подумал Виктор с досадой. — И как она может писать так при живом муже?» Ко всему прочему он насчитал до десятка грамматических ошибок. Письмо не согрело. Виктор прилег в углу на соломе. «Два часа, не больше...» — оправдывался он перед кем-то и уснул... до утра.

В заиндевелое окно светило солнце. Покрепчал мороз. Наконец-то распогодилось. Было уже не рано, комната опустела, и Озеров проснулся с сознанием ничем неискупимой вины, в глубокой тоске. Перед ним стоял черномазый «морячок» Дудченко с автоматом, строго глядя на младшего лейтенанта.

— А-а?.. Что?.. — несмело, с хрипотцой, произнес Озеров, ожидая для себя всяких неприятностей.

— Вас вызывает капитан Селиванов!

— Зачем?

Хотя и так было ясно, что не для похвалы, и Озеров, кое-как приведя себя в порядок, с помятым, небритым лицом пошел с Дудченко на КП батальона, как под конвоем. Вспомнился судимый самострел, бледный и потерянный. «Виновен! Виновен! — вихрем носилось в голове. — Не зря вызывает капитан. Бросил взвод, дезертировал! Палец не оправдание...»

Озеров щурил глаза от сплошной белизны вокруг (за ночь снега намного прибавилось), проследил с удивлением, как, взметая искристую пыль, прошмыгнул между кустов заяц, не то кролик, чудом уцелевший на опаленной войной земле, а в голове все то же: «Виновен! Виновен!» Они шли по гребле, обсаженной ветлами с напорной стороны. Весной балка превращалась в бурливую речку, но сейчас было просто болото в сплошных черных воронках от мин и снарядов. Немцы продолжали усердно его обстреливать, полагая, что балка забита войсками и обозами. Озеров с опаской поглядывал на воронки, ожидая знакомого жуткого свиста. Но греблю миновали благополучно и поднялись на взгорок. Отсюда началась лесопосадка и уходила к немцам. Один за другим в морозном девственно-чистом воздухе рванули снаряды, нарушив покой зимней природы, как



хулиганы, Озеров и Дудченко не успели даже пригнуться, но разрывы были далеко впереди, метров за двести.

— Бьют по КП батальона, обнаружили и садят все утро, — сообщил Дудченко, которого Озеров все было хотел расспросить про взвод, не произошло ли что-нибудь за время его отсутствия, но боялся резкого ответа: «Вам-то что до взвода? Бросили на произвол судьбы!»

Лесопосадка была изрыта окопами, да только добираться к ним надо было по открытому месту, упасть не успеешь, выстрел и разрыв происходили мгновенно: бум-тррах! Бум-тррах! Немецкая батарея стояла где-то близко, чуть ли не на прямой наводке. И только Озеров вслед за Дудченко спрыгнул в окоп, как вот он, снаряд! Второй... Третий... По спине забарабанили грудки земли. Шмелем прожужжал и шлепнулся в бруствер шальной осколком. «Знает, что КП пристреляно, и сидит здесь!» — подумал Озеров о Селиванове, поведение которого было точно в его духе, правда, саперы вырыли окопы глубокие, вместительные, со ступеньками, прямое попадание маловероятно, да все равно не дело командовать под прицельным огнем. Капитан располагался впереди, шагов через двадцать, и эти шаги надо было пройти не по траншее, а поверху и доложить о прибытии, стоя на открытом месте, под прямой наводкой немецкой батареи.

Селиванов смотрел в бинокль из окопа, куда Озеров не рискнул спрыгнуть из чувства вины и опасения показать себя трусом.

— А, младший лейтенант!.. Где же ты, голубчик, пропал? — сказал Селиванов мрачно, не отрываясь от бинокля.

— В санчасти, товарищ капитан. Палец нарвал. Разрезали. — Озеров выставил напоказ толстый, в проступившей сукровице и уже с загрязнившимся бинтом, большой палец.

— Гм, палец. Надо было доложить командиру роты, а потом идти в санчасть.

— Не мог разыскать...

— Как это не мог! Что это у вас была за связь!

Озеров хотел было сказать, что за весь день не видел Кравцова ни разу, чем мог бросить тень на командира роты, и промолчал. Капитан нахмурился, долго что-то разглядывал в бинокль, словно забыв об Озерове, а тот стоял в ожидании артналета, который мог произойти с минуты на минуту. И если бы сейчас рванул снаряд, он все равно не сдвинулся бы с места, настолько чувствовал себя виноватым, пусть его лучше разнесет в клочья!

— Поди-ка сюда, голубчик! — позвал капитан, отняв бинокль от глаз и уже полностью переключив внимание на Озерова. — Сюда, сюда, в окоп. Посмотри вон туда. Что видишь?

— Стога сена, — сказал Озеров, глядя в бинокль капитана.

— А еще что?

— Дым. Горят стога. Люди какие-то...

— Кравцов! Вон куда вылез, чужак! Под самый нос к немцам. Я его вчера выругал за то, что отрывается от взводов и теряет управление, из-за

чего едва в окружение не попали, а он возьми заберись в самые цепи. Храбрость показывает. Давай-ка, голубчик, бегом к стогам и передай Кравцову, чтоб немедленно убирался оттуда.

— Есть, товарищ капитан! — радостно воскликнул Озеров, ожидавший худшего, и повернулся, чтобы стремглав выполнить приказ. «Плащ-палатка помогла!» — ободряюще мелькнуло в его голове.

— Солдата с собой возьми! — крикнул вслед капитан.

«Плащ-палатка, плащ-палатка помогла!» — снова подумал Озеров с легким сердцем и, выпрыгнув из окопа, махнул рукой Дудченко: пошли!

Они подались вверх по лесопосадке, выбирая кратчайшее расстояние до стогов, — торчали как на ладони, среди открытого поля, в небольшой ложбинке. Озеров прикинул расстояние — метров четыреста, но каких! Надо было бежать на виду у немцев по свежему снегу, ослепительно сверкавшему под солнцем. Одно только утешение — солнце светило в глаза противнику. Оценив ситуацию, лежа в бурьяне, на краю лесопосадки, Озеров невольно усомнился, спасла ли его плащ-палатка? «Подстрелят, как куропатку, не дадут шага сделать», — подумал он, но без страха, готовый и на это.

— Вот что, Дудченко, — сказал он, оглядываясь на лежавшего позади в акации солдата. — Я побегу один. Ты не трогайся с места, пока не достигну стогов, понял?

— Куда переться по открытому полю? Давайте подождем темноты, — недовольно проворчал Дудченко.

— Какая там темнота! Ты что!

Озеров и подумать о таком не мог, полный решимости искупить вину, пусть даже жизнью, и полез вперед, к границе бурьяна, откуда началось ровное, чуть покато к стогам поле.

— Вряд ли ты добежишь, комвзвода! — Дудченко сердито смотрел вслед безрассудному младшему лейтенанту, уверенный, что его уложат на первом же шагу, но отговаривать больше не стал.

Озеров оперся на ладони, чтобы быстро вскочить и побежать, и вспомнил парашютную вышку в приморском саду имени Демьяна Бедного, летний вечер, барклаевских ребят и девочек (как это было давно и далеко!). Они кричали, махали руками, приглашая его прыгать. Он подходил к самому краю площадки, стянутый лямками крест-накрест, еще один шаг и — устремится вниз под разноцветным шелковым куполом, но решительного шага сделать не хватало духа. Он подступал и отступал, и друзьям надоело ждать, они перестали кричать, лишь уныло задирали головы вверх. «Прыгай! Прыгай же! Опозоришься на всю улицу!» — подстегивал себя Виктор. И не прыгнул. Но теперь, вспомнив, как ему тогда было невыносимо стыдно, он рывком вскочил на ноги и помчался к стогу, точно выпущенная на зайца гончая. Бежать было трудно, ноги увязали в снег без наста, на слабо схваченной морозом пашне. Трах! Трах! — защелкали выстрелы, и Озеров упал, представляя, как выделяется серой шинелью и черными сапогами на белизне поля, обеими руками быстро-быстро нагреб

на себя снег, затаился, будто убитый. Стрелять перестали, наверно, решили, что готов. А он, отдышавшись, собрав силы, снова вскочил, но бежал уже не по прямой, а зигзагами, как наставляли в военном училище. Фюи... Фюи... — запели пули, да так часто, что Озеров, не сделав и десяти шагов, зарылся головой в снег, затих. Как только смолкли выстрелы, он снова бесшабашно рванулся вперед, и в этот раз, петляя, пробежал метров тридцать. Сердце прямо-таки выскакивало из груди. А стога были еще далеко, как Луна от Земли.

Едва он падал, стрельба прекращалась, то ли немцы считали его убитым, то ли он делался для них невидимым. Хватая ртом воздух, прикикая пылающей щекой к снегу, он мысленно переносился к тем, кто за ним охотился. Сколько их? Один, два или целый взвод? Он пытался обмануть немцев выдержкой, точным расчетом, выбором момента для броска. Недостигаемые стога уже рисовались ему как спасительный берег для потерпевшему кораблекрушение. Там, только там можно было надежно укрыться от пуль, прошивающих вокруг землю. Озеров намеревался покрыть хотя бы половину расстояния одним рывком, но неожиданно к винтовочным выстрелам присоединился пулемет. Снег вспенился. Озеров лежал, не дыша, боясь шевельнуть рукой, выдать себя, и мысленно ощупывал свое тело с ног до головы, казалось, уже все изрешеченное.

В ответ на дробь немецкого МГ деловито-четко заработал наш «максим».

«Момент самый подходящий — осенило Озерова. — Не тяни. Капитан, весь КП смотрит на тебя. Ну раз, два... три! Беги!» — Но точно прилип к снегу.

«Максим» вступил в настоящую дуэль с МГ, оба выдавали дробь, как на барабане. Озеров прикидывал взглядом, хватит ли пороху добежать до стогов, и рванулся вперед, либо пан, либо пропал. По низине снег был глубже, силы отказывали, грудь разрывалась. Озеров с размаху, точно споткнувшись, бухнулся плашмя. Падая, отметил, что до стогов еще метров сто, уже видны бугорки свежевырытой земли, то ли истлевшей соломы, но людей никого. Попрытались или все уже побиты?

Озеров захватывал губами приятно холодный снег, и в поле его зрения была лишь одна белизна и голубизна. Стрельба прекратилась, на какую-то секунду показалось, что нет немцев, нет передовой, Озеров вышел в поле побродить, был заморожен чистой, пушистой порошей и зарылся в нее лицом. Как хорошо! В небе появились черные точки, какие-то птицы резвились, неслись наперегонки к земле. Но нет, это что-то другое, противно фыркающее. Мины! Озеров сжался, припал всем телом к снегу в грохоте разрывов. Не пулями, так минами. Столько огня на одного человека! Не иначе Озеров вывел немцев из терпения своей неуязвимостью. Одно спасение от мин — бросок вперед, как наставлял боевой устав, и Озеров, будь что будет, пустился к стогам безостановочно. Ткнулся в солому и зашарил по земле глазами: куда спрятаться? Рядом была яма по

колени, подле нее лежал труп, прикрытый плащ-палаткой. Озеров обошел стог и увидел людей. Кто сидел, кто стоял, появление нового человека никого не удивило. Услышав приказ об отходе, Кравцов с планшеткой в руках (рассматривал топографическую карту) буркнул, не глядя на Озерова:

— Стемнеет, и отойдем.

«А ведь верно, — подумал Озеров. — Сейчас и носа не высунешь из-за стогов. Но хоть бы окопы вырыли, черти полосатые!»

Окопов не было. Командный пункт Кравцова находился в довольно узком проходе между стогов. Угоди сюда мина, ни один человек не уцелеет. Бравировал, что ли? Но и сам Озеров потом никогда не рыл себе окопа, даже тогда, когда об этом почему-либо не побеспокоился ординарец.

Он притулился к стогу, размышляя: зачем послал его сюда капитан? Разве нельзя было каким-либо другим способом передать приказ? Правда, телефонная связь прервалась, связист был убит (это его видел Озеров, прикрытого плащ-палаткой). Но ведь Селиванову было ясно, что до темноты из стогов все равно не выбраться. Хотел испытать мужество Озерова? Подумал; если погибнет, туда ему и дорога, потеря невелика. Если уцелеет, будет урок, гляди, станет настоящим офицером. И послал... на верную смерть. Да вот Озеров выкарабкался, а что это ему стоило, не хотелось и вспоминать.

## 7

Рота продвинулась еще немного, наступая по необранному кукурузному полю, и, как залегла, прижатая пулеметным огнем, кто где, извилистой цепью, так и окопалась. Сперва вырыли ячейки, потом окопы в полный рост, а когда пришел приказ на оборону — землянки. Уже по-зимнему было холодно, а топить нечем, кругом поля да поля, и солдаты принялись за кукурузные початки. Горели жарко. Растапливали их толком. Взрывается тол только от детонации, а, подожженный спичкой, горит ровным синим огнем. Обозников кукуруза тоже выручала — кормили лошадей. Пришлась она по душе и полковым поварам: на завтрак готовили солдатам кукурузную кашу, на обед — вкусный кукурузный суп, а на ужин — опять же вкусную кукурузную кашу. Убрали початки с полей почище колхозников и стали лазить за ними на нейтральную зону, а смельчаки с мешками забирались даже к немцам. Когда пришли сюда, кукуруза стояла в рост человека, а теперь от пулеметного и минометного огня лишь кое-где торчали бодылья.

Перепадало солдатам и мясо, когда немецкие самолеты пробомбят наши тылы и побьют лошадей. Озеров первый раз отведал конины. Недурна, немного жидковата, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба.

На войне не только страшно, бывает и смешно. Ночью наше кухня с поваром проехала мимо окопов к немцам. Повар каким-то образом успел удрать, а лошадь с кухней и кукурузным супом поминай, как звали!

Два «комрада» с мешками, набитыми початками, по ошибке забрели на нашу сторону. Кравцов в землянке услышал снаружи немецкую речь, подумал, что разведчики, схватил гранату, но немцы стоят, о чем-то гортчат, видно, никак не ориентируются. Тогда Кравцов с телефонистом набросились на них и взяли в плен... А под Новый год немецкая кухня с праздничным ужином и подарками для солдат, как и наша давеча, проскочила свои окопы и подъехала к минометчикам. Вот уж разговелись!

Взвод Озерова пополнился людьми, преимущественно из местных жителей (набралось человек двадцать), был усилен станковыми и ручными пулеметами. Винтовок ни одной, все передали в обоз. Крепкий мужичок лет тридцати пяти, отец четырех детей, просил, заискивал перед Озеровым так, что неприятно было слушать:

— Возьмите мэна в ординарци, товарищ лейтенанту. Хата моя зразу, як выйдышь з яру. Завжды можу сбигаты, самогонки, харчив принэсты... Буду за вами, як за малою дитыною доглядаты.

Озеров искоса рассматривал солдата, еще не утратившего своего крестьянского ситного запаха, домовитого, приятного для огрубевшего фронтовика. Он и одет был во все гражданское, как новобранец: старшина не успел получить военную форму на вещевом складе.

— Ладно, оставайся, — жалился Озеров больше из-за детей, хотя не видел разницы в солдатской службе возле пулемета или ординарцем у командира взвода: приходилось мотаться по передовой больше других, быть и за связного, и за стрелка, когда приспичит.

В обороне стояли уже второй месяц, день и ночь безвылазно в земле. По обыкновению Озеров ходил по траншее взад-вперед, подняв воротник шинели, засунув руки в рукава, нахлобучив шапку с опущенными ушами, бывало по три дня небритый и неумытый, с нагноениями в глазах, с красным, снулым носом. Время от времени он зябко поводил плечами, постукивал носками и задниками сапог, приседал, похлопывал себя крест-накрест руками.

Обзор из окопа немецкой стороны ограничивался тригонометрической точкой — невысоким бугорком с торчащим столбиком, это метров двести напрямик — и примерно таким же расстоянием в тыл. Озеров не видел ни немцев, ни наших, располагавшихся позади него: пушки и минометы отсюда не просматривались, как и НП роты, батальона и полка. Позиции взвода находились в пологой ложине, как бы изолированные от внешнего мира, словно на острове. Едва обозначались, припорошенные снегом, немецкие окопы. Какого-либо движения в них не замечалось. Чужой, загадочной представлялась та сторона.

Проходили однообразные дни, недели. Иногда придет сосед-взводный посетовать на собачью жизнь, и снова нудно тянется время в обороне. Мысль вертится вокруг одного — ранит или убьет? То или другое неизбежно. И нет возможности избавиться от животного страха, деликатно называемого чувством самосохранения. Но даже самый последний солдат

не сознается в трусости. Вглядится Озеров в людей — обычные выражения лиц, и самому сделается неловко: что же ты дрожишь за свою шкуру?

Хода сообщения в тыл до сих пор не отрыли, траншеи кое-где доходили всего до колен, солдаты считали, что рано или поздно придется наступать, а не обороняться, да и мерзлая земля плохо поддавалась саперным лопаткам (за всю зиму так и не довели эту работу до конца, несмотря на то, что из села приходили помогать девчата). А взводный участок обороны протянулся на километр, впору роте полного состава. Озерову трудно было командовать и в особенности проверять боеспособность солдат. Днем из одного окопа в другой не перебежишь: немцы уже расставили снайперов, и на глазах Озерова уложили солдата, которому зачем-то понадобилось в тыл. Вначале он полз по-пластунки, но, видно, надоело, поднялся и побежал, пригибаясь к земле. Раздался выстрел. Пуля сочно шлепнулась в зад, точно палка по туго набитой сумке. Солдат упал и зачихал. Навсегда.

И немецкая артиллерия хорошо пристреляла наши позиции, что Озеров испытал на себе. Заслышав выстрел, он едва успел сесть на дно окопа. Оглушительно треснуло над головой. Засыпало землей и снегом, заложило уши. Озеров поднялся, как пьяный, отряхнулся, выглянул из окопа. Воронка была в полуметре... Он уже точно различал, когда недалет, перелетит или прямое попадание, что за оружие, какой калибр. При перелете слышались выстрел и шуршание снаряда, рассекающего воздух, будто кто-то ворошил бумагу, при недалете — только разрыв, при прямом попадании — угрожающий визг летящего прямо в тебя снаряда.

Наступила оттепель. Над полями поднялся туман. Озеров с ординарцем рано утром отправился проверять оборону, надеясь вернуться до того, как встанет солнце. Шли будто в дымовой завесе — в пяти шагах трудно что-либо разглядеть. Озеров завернул в землянку, к старому знакомому Дудченко. Теперь он был при станковом пулемете и настороженно приглядывался к чему-то впереди.

— Что заметил, Дудченко?

— Как будто железо брякнуло. Того и гляди немец забросает гранатами. Погода самый раз для разведчиков.

Оба помолчали, прислушиваясь к неясным шумам на немецкой стороне, потом присели на ступеньки, закурили, в то время как у пулемета встал второй номер. В обороне Дудченко принарядился (как-никак виделся с девчатами, приходившими на окопы, да и бывал в Верблюжке), подшил белый воротничок к гимнастерке, брился, держался с достоинством, как подобает первому номеру, и Озеров считал его лучшим солдатом во взводе. Как-то в разговоре выяснилось, что Дудченко год прожил в Новороссийске при немцах, знал Лешку рыжего, дружил с ним, оба были в партизанах. Озеров удивился и обрадовался земляку. Стал расспрашивать про родных и знакомых, но осведомленность Дудченко ограничивалась одним Лешкой.

— Не зря я тебя за морячка принял. Ты и на самом деле черноморец, — заметил Озеров. — А Лешка отвоевался. Ногу ампутировали.

Дудченко хмуро сдвинул брови, и, когда на немецкой стороне снова слышались неясные звуки, он рывком поднялся к пулемету.

— Пусть сунется фриц. Я ему врежу — пух полетит! За Лешку! — И обернулся к Озерову: — Это снайперы меняются. Никак не выслежу гадов! Вы осторожней, товарищ комвзвода.

Землячество еще больше сблизило их.

Озеров выпрыгнул из окопа и пошел дальше по передовой, ускоряя шаг. Его беспокоили два узбека. По понятиям русского человека зима была теплая, но черноглазые парни мерзли и вояки были неважные, глаз да глаз нужен был за ними. По молодости Озеров не делал скидки на южное происхождение узбеков, требовал от них того же, что и от других солдат, и был очень рассержен, найдя ручной пулемет заржавевшим, на боку, а узбеков в землянке, завешенной байковым одеялом. Обы спали, прижавшись друг к другу, укрытые шинелями. Как только Озеров откинул одеяло и, ругаясь, заглянул в землянку, солдаты испуганно приподняли головы, встали с виновато опущенными глазами.

Землянка была тесная, Озеров присел на нижней ступеньке, а ординарец, верблюжевский мужичок Петро, устроился повыше.

— Приходи немец, забирай пулемет и вас заодно... Откуда вы взялись на мою голову! — бранился Озеров, в то время как солдаты, словно замороженные, кое-как приводили себя в порядок после сна. — Почему заржавело оружие? Почему посменно не дежурите у пулемета?

Он дернул затвор — не поддался, вспомнил, как отказал его автомат в первый день на передовой, и разошелся пуще прежнего, заставил солдат сейчас же, при нем, разобрать, вычистить и смазать пулемет. Для них это оказалось чем-то вроде ребуса. Пока Озеров растолковывал что и как, туман поредел, обозначились немецкие позиции.

«Вот еще оказия! Сиди теперь здесь до вечера, — подосадовал ретивый комвзвода. — Раз так, буду муштровать, пока не сделаю из них настоящих солдат!»

Ординарец Петро, сидевший ступенькой выше (землянка не могла вместить всех), повалился на спину Озерова. Узбеки, не проронив слова, испуганно замерли, словно были виновными в том, что произошло. Озеров с ординарцем в самом деле мог бы уже вернуться к себе, если бы не их крайняя нерадивость.

Пуля оцарапала Петру ухо, только и всего. «Снайперский почерк», — определил Озеров, так как голова ординарца выглядывала из окопа всего-то на вершок, заметить можно было лишь в оптический прицел.

— Вон немец! Наверно, снайпер! — вполголоса тревожно сообщил узбек, дежуривший у пулемета.

В легком тумане, почти рассеянном солнцем (оно уже проглядывало бледным пятном, как луна), шагал во весь рост человек, так свободно, точно был уверен в своей неуязвимости. Был ли это снайпер или кто дру-

гой, Озеров не раздумывал, вскинул к плечу автомат и дал длинную очередь. Немец грохнулся оземь, как сраженный наповал. Но тут же, не прошло и минуты, проворно вскочил и побежал. Озеров удивился своему промаху, правда, впервые стрелял из автомата на таком расстоянии (было метров триста), и снова дал очередь, уже тщательно целясь, и снова немец упал, теперь как будто навсегда. Озеров подождал минуты три и хотел было опустить автомат, как немец вскочил на ноги и дал деру, только пятки засверкали. Точь-в-точь как сам Озеров ловчил посреди снежного поля, добираясь к стогам.

Расстояние до немца было порядочное, а ППШ бил прицельно лишь на сто метров, дальше делал большое рассеивание. «Уйдет!» — пожалел Озеров, глядя на быстро удаляющуюся темную фигуру. Но тут четко, в три выстрела, простучал «максим», и немец как бы споткнулся, сделал шаг-другой, упал. Дудченко не отрывал пальцев от гашетки, удостоверившись, точно ли попадание. Озеров тоже поглядывал на немца, уже не сомневаясь в этом, и у него шевельнулась секундная жалость, как, помнится, над убитой в новороссийских плавнях горлицей, которую он долго в азарте выслеживал, а потом с сожалением смотрел на дело своих рук. Но как совместить жалость к врагу с пальбой по одинокому Озерову из всех видов оружия, когда он добирался к стогам?

По брустверу чиркнула пуля. Озеров опустился на дно окопа... Просидеть с узбеками пришлось до темноты в безрадостном ничегонеделании.

Кравцова Озеров видел раза два-три, на бегу, больше переговаривались по телефону. Командир роты не любил разгуливать под пулями, особенно после того, как не стало капитана Селиванова, тяжело раненного осколком мины при обходе позиций, зато на проводах висел днем и ночью, отдавая порой несуразные приказы. Однажды он потребовал провести разведку боем, а был ясный день, с редкой, необычной для передовой тишиной, когда слышались крики птиц высоко в небе.

Озеров не понимал, как могло Кравцову прийти в голову смехотворное решение: без артподготовки поднять взвод в атаку, когда за зиму немцы пристреляли каждый метр нашей обороны. Он готов был умереть, если надо, только не бессмысленно. Досадно отдавать жизнь не за понюх табаку.

— Головы не дадут высунуть из окопа, перебьют, как кроликов! — горячо возразил Озеров. — Да и немцы не дураки: чего ради при виде десяти наших солдат они раскроют свои огневые точки, одного пулемета будет достаточно на всех!

Кравцов не стал спорить, подумал и сказал:

— Вы сделайте так: откройте автоматную стрельбу и кричите «ура», но из окопов не вылазьте.

Тут уж ничего не скажешь, лишь разведешь руками. Озеров не раз убеждался, что далеко не все командиры представляли себе обстановку на передовой, были в неведении, что можно, что нельзя, когда можно и когда нельзя, следствием чего и был приказ о разведке боем, принадлежав-



ший вряд ли Кравцову, который, конечно, лучше вышестоящих начальников знал передовую. Наверняка творцом его был какой-нибудь штабист, изучавший боевую обстановку по оперативной карте и пожелавший уточнить огневые точки противника.

Среди тыловиков ходить на передовую охотников было мало. Чаще всех появлялся старшина, обычно ночью, при раздаче ужина, но и он торопился побыстрее управиться, весь какой-то взвинченный, с беспокойными глазами, точно порядочный человек, по ошибке попавший в дурную компанию. Вообще гости из тыла менялись на передовой до смешного. Так называемые проверяющие были на редкость вежливые, говорили вполголоса, не требовали от младших по званию соблюдения субординации. Было забавно наблюдать за каким-нибудь майором с глазами ребенка, оставленного родителями в пустом доме, где на него, чудилось, из каждого угла смотрели черти. А иной вел себя с напускной храбростью, шумливо — не подступись, и даже тогда, когда пуля все-таки заставляла его пригнуться, рассерженно оборачивался в сторону противника, точно хотел поставить по стойке «смирно» и отчитать не вовремя стрелявшего немца. Но те, кто жил в окопах, относились к таким «храбрецам» подозрительно, того и гляди наломает дров: придумает какую-нибудь разведку боем или бросит офицерский резерв в атаку, как в летнем наступлении под Харьковом. Того генерала, говорят, судил трибунал, да от этого не легче: положил зря столько офицеров!

Вот такой полковник из штаба дивизии, поругиваясь, сердитый, появился на передовой темной ночью.

— Черт ногу сломит! — ворчал он, следуя за Кравцовым, когда глубокая, во весь рост, траншея оборвалась и пошла мелкая, ниже колен, кое-как вырытая, с незачищенными стенками и дном. Полковник согнулся в три погребели, с опаской поглядывая в сторону немцев.

Стеганула пулеметная очередь, красные трассеры низко, вровень колен, прочертили ночную темень. Кравцов и ординарец полковника упали на дно траншеи. Полковник, напротив, выпрямился с грозным видом и помахал стрелявшему кулаком, понимая, что пулю не опередишь, если она предназначена тебе. То ли услышав шаги, то ли просто для порядка, немец пустил еще очередь, и полковник рывком пригнулся. Пули, однако, и теперь пролетели мимо.

— Почему не отрыли по уставу? — требовательно спросил полковник, когда миновали опасное место и мелкая траншея снова перешла в глубокую.

— Фриц не дает, — оправдывался Кравцов. — Бьет из пулеметов и минометов, как услышит стук лопат. Местность здесь хорошо просматривается, до немцев метров пятьдесят, можно гранату с длинной ручкой добросить. И очередь из пулемета пустил — услышал ваш голос.

Полковник недоверчиво и не без страха обернулся, словно хотел своими глазами убедиться, так ли это, и ответил уже вполголоса, но по-прежнему строго:

— Чтоб завтра же траншея была отрыта в полный профиль! Приду, лично проверю.

— Будет сделано... Вот и землянка командира взвода!

Полковник решительно откинул прикрывавшее вход байковое одеяло и втиснулся вовнутрь, а его ординарец и Кравцов остались снаружи: в землянке больше двух человек не помещалось.

— Как ведет себя немец? Что слышно? — не давая Озерову отрапортовать, спросил полковник и впился требовательным взглядом в младшего лейтенанта, замызганного, неумытого, в прожженной в нескольких местах шапке с опущенными ушами, имевшего довольно жалкий вид рядом с импозантным полковником.

По вечерам Озеров слышал моторы и какое-то движение на чужой стороне, но не успел сказать и двух слов, как полковник сердито перебил:

— Какого же лешего вы сидите? Зарылись в землю, как кроты, и дальше своего носа ничего не хотите видеть!

Нетрудно было догадаться, что значили эти в сердцах сказанные слова и сам приход офицера из штаба дивизии, глубокого тыла, каким он представлялся всякому на передовой. Озеров перевел взгляд на командира роты, сидевшего на корточках у входа. Кравцов виновато потупился.

— Кровь из носа — сегодня же достать языка!.. Как вас? — Полковник посмотрел на полевые погоны, выгнувшиеся на плечах Озерова коромыслом.

— Младший лейтенант Озеров.

— Так вот, младший лейтенант, берите с собой понадежнее солдат и айда к немцам!

Голос полковника звучал, как с другого света — холодный, чужой, и Озеров почувствовал себя изгоем, брошенным на произвол судьбы, хотя и прежде существование его было зыбким. Согревала лишь надежда: если ранят, то среди своих. Помогут. Теперь же, отправляясь к немцам, полагаться нужно будет на одного себя.

Озеров торопливо завязал на подбородке матузки шапки-ушанки и поднялся с нагретого места, словно в чем-то сильно провинился перед начальством. Во всяком случае, что-то похожее он сейчас испытывал.

— Я буду вас ждать здесь. Без фрица не возвращайтесь! — грозно предупредил полковник. — Егор! — обратился он уже к своему ординарцу, вольготно располагаясь в землянке, которую поспешно покидал ее хозяин. — Давай сюда флягу и вещмешок, что там у тебя на ужин приготовлено? Проголодался, намерзся, как собака!

«Меня отправляет к немцам, а сам как ни в чем не бывало собирается пить водку и болтать с Кравцовым», — подумал Озеров с обидой, выбираясь из землянки. Но приказание полковника нельзя было назвать глупым, как давешнее командира роты, посылавшего взвод в разведку боем среди бела дня.

— Эй, младший лейтенант, подожди! — остановил Озерова требовательный голос, и тот обернулся, не понимая, что еще от него надо: не со-

бирался же полковник обнять на прощание? Или захотел поднести стопку водки из своей фляги для храбрости?

Озеров перехватил взгляд, уставленный на кирзачи.

— Эта обувь не для разведки. На дворе мороз градусов двадцать. У тебя какой размер, младший лейтенант?

— Сорок три.

— Годится. Бери мои валенки, а мне давай свои кирзачи.

Доброта штабиста обескуражила Озерова. Он засовестился, заколебался, думая, что стеснит пожилого человека, лишив его валенок.

— Снимай, снимай! В разведке всякое бывает, прижмет фриц, ночь пролежишь на снегу, — благожелательно говорил полковник, цепляя носком одного валенка пятку другого.

Приятную теплоту и сухость сразу же отметил Озеров, сунув ноги в валенки.

## 8

В землянке у него еще была какая-то надежда на успех затеи полковника, но в студеной, глухой темноте, поглядев в сторону загадочной немецкой обороны, он ощутил неуверенность и даже страх: куда идти? Как брать языка? И где его брать? Можно запросто напороться на пехотные мины или попасть под истребляющий кинжальный огонь пулеметов. Правда, дивизионные разведчики вроде бы присмотрели подходящее место для взятия пленного, недели две дежурили в окопе, приходили греться в землянку Озерова, но передумали и перебрались на другой участок. В общем младший лейтенант шел наобум. А все потому, что полковник поставил невыполнимую задачу, если не сказать нелепую, как теперь казалось. «Провалится разведка, это точно, как сто бабок нашептали», — подумал Озеров и суеверно прогнал от себя мрачную мысль. Продвигаясь по траншее, он собирал солдат, которых намеревался взять с собой, и они молчаливо следовали за ним гуськом. Подошел к землянке своего ординарца и заколебался, жалея малолеток, вдруг представив их сиротами, и обругал себя: всегда он кого-то жалел, а вот его не пожалели, послали к черту в пекло, иначе не назовешь приказ полковника. Озеров остановил свой выбор на Петре потому, что хотел заручиться хорошим проводником, местным жителем, и когда сказал ему: «Пойдешь в разведку. Бери автомат, четыре гранаты и догоняй меня», — Петро передернулся, изменился в лице и чересчур торопливо, явно нервничая, принялся выполнять приказание.

В просвете откинутого байкового одеяла, загораживавшего вход в землянку, Озеров увидел часть женского лица, с грустинкой в глазах. «Глаша, — сообразил Озеров. — Опять принесла мужу харч. Смелая баба». В обороне смотрели на подобные свидания сквозь пальцы, тем более, что женщины приходили из села углублять траншеи. Глаша, раз побывав с бригадой, стала сама навещаться к мужу, и солдаты шутили, предлагая зачислить ее на ротное довольствие. «Чого вы регочите, як скажени?

— нарочито сердилась Глаша, а серыми глазами улыбалась. — Треба буде, пиду в стрелки. Я бы и зараз пишла, думаете, гарно одний, да диты мали».

Как-то после бани Озеров зашел с Петром в его дом и раздал малышне печенье, полученное по офицерскому допайку. Дети приняли подарок робко и, хотя были голодны, не ели, стеснялись, лишь самый младший, посапывая, старательно запихивал в рот печенье.

— А шо треба казаты? Шо треба казаты дяди? — пристыдила его мать, ревниво следившая за тем, чтобы дети, беря подарок, благодарили. — Ну? Ну?.. Чи у тэбэ язык отнявся? «Дякую!» — треба казаты.

— Дя-ку-ю, — сопя, тягуче, произнес карапуз, и довольная Глаша, оставив детей, захлопотала возле печи. Она орудовала чугунами с легкостью и проворностью молодой женщины, которой любая домашняя работа не в тягость.

Стол был накрыт, и зардевшаяся Глаша, вытирая руки о фартук, сказала с поклоном и прижитой за войну грустью:

— Не погребуйте, дороги гости. Чим богати, тим и ради! — Мужа она тоже назвала гостем.

И от семейного уюта, такого случайного на фронте, и от ловкой, доброжелательной хозяйки, которая в свои тридцать лет выглядела молодой, у Озерова осталось приятное воспоминание, словно он побывал у себя дома.

Поджидая Петра, Озеров гадал, проболтается ли тот жене о разведке, и сердито подумал: «Пришла не вовремя!» Он боялся, что Глаша кинется просить за мужа, и сцена эта рисовалась гадкой. Лучше было бы вовсе не брать Петра, как он хотел поначалу. Но теперь было уже поздно. Наконец, ординарец вышел из землянки. Один.

Собрав всех солдат, Озеров коротко, торопясь, объяснил приказ полковника, и вся группа двинулась на правый фланг, к стыку немецкой обороны. Это туда, где не так давно наш ездовой, не разобрав дороги, привез на двуколке солдатский ужин к немцам. «То-то потешались фрицы, уминая русскую кашу...» — вспомнил Озеров курьезный случай, но как-то отвлеченно. Мысли были отрывисты, мимолетны, обо всем и ни о чем, только душа ныла об одном и том же. Да, надо было полагаться только на себя, никакой дядя не поможет. И тягостное чувство оторванности и бесприютности овладевало Озеровым.

А мороз давил законно: стягивало щеки, немел нос, приходилось усердно тереть лицо байковой варежкой с двумя пальцами, какими снабжали стрелков. Вернулись саперы, и по команде Озерова солдаты один за другим тяжело перевалились через бруствер и поползли по проходу в минном поле, отмеченному колышками. Озеров вперед послал Петра, пропустил всех четырех взятых с собой солдат и полез замыкающим. Он усиленно работал руками и ногами, загребая под себя снег вперемешку с мерзлыми комьями земли. Поле вокруг, перерытое снарядами и минами, с

яминами черных воронок, было похоже на спекшуюся, избитую метеоритами лунную пустыню.

— Та-та-та... Та-та... — то в одном, то в другом месте пускал фриц очередь из пулемета. Летели в небо ракеты, темноту прорезали разноцветные трассеры, рвались мины. Фриц как бы предупреждал: «Смотри, Иван, не вздумай наступать ночью». Иван отвечал гробовым молчанием. На его стороне всегда была глухая темнота, и Фрица пугала неопределенность, не давала спать.

Но и русский солдат никогда не забывал об опасности. Она ежеминутно напоминала, как желудок о голоде. Надо Ивану перебежать из окопа в окоп, и чувство тревоги многократно возрастало. Бежит, согнувшись в три погибели, и ждет снайперской пули в ногу, голову, в спину, но бежит. Ночью уходит за боеприпасами или ужином, зная, что фриц время от времени накрывает из миномета тропинку, вострит ухо в его сторону. Пушка выстрелит — слышно за три версты, а миномет — тише охотничьего ружья, только мина зашелестит над головой, да уже поздно... И обзор у Ивана не дальше немецкой траншеи. А когда выберется из окопа, распрямится во весь рост, то удивится земному простору.

Жизнь на передовой усложнена из-за постоянной опасности и в то же время проста, безыскусна. Здесь люди не ломают себе шеи на послужной лестнице, не печалются над несправедливыми ударами судьбы. Никому нет дела до того, важный ли ты был начальник в гражданке или простой работяга, в почете или опале и какие у тебя документы в левом кармане гимнастерки. Главное, чтоб был хороший товарищ, не подвел в беде. Передовая начисто лишена завистников, подхалимов, хвастунов, скряг. Все, кого знал Озеров, были люди на редкость добрые, готовые поделиться с товарищем последней затяжкой сигарки. Правда, одна только правда жила в окопах. Солдаты не говорили «гитлеровцы», «фашисты», «нацисты», а просто немцы, фрицы, гансы. Румын называли с иронией «мамалыжниками», итальянцев — «макаронниками». Солдатский дух надолго заставлялся в окопах, по нему безошибочно угадывали противника, даже хлеб его пахнул иначе, чем наш. Как уже говорилось, много лишнего таскал с собою фриц. Наш солдат, не обремененный вещами, просто одетый, неприхотливый к еде, пересилил-таки своего «галантерейного» противника стойкостью и выносливостью и уже второй год, не давая опомниться, гнал на запад.

Передовая и фронт не одно и то же. Фронт на глубину уходит на десятки километров. В тылах не слышно пулеметов, сюда не долетают снаряды самых дальнобойных пушек. Летом на открытой площадке, в каком-нибудь вишневом саду, тыловики каждый день смотрят кино, какое видел и Озеров однажды проездом из военного училища в часть. Это было в штабе корпуса. Жили тут в домах, спали на кроватях, раздевались до нижнего белья, и только одна у тыловиков тревога — ночной немецкий бомбардировщик. Нагоняет он страху не столько бомбежкой (кое-когда сбросит фугаску или ящик гранат), сколько всеобщим кружением над голо-

вой. Так что в армии считали далеко не всех, кто носил военную форму, фронтовиками.

На передовой, в окопах людей реже, чем в тыловых частях, и жизнь у них не та. Темная, продыmlенная землянка — рай, а то довольствуйся воронкой, дорожным кюветом, трубой в железнодорожной насыпи, кто где приткнулся после боя. «Дом наш покрыт дождями, огорожен ветрами, — шутили солдаты. — Никакая болячка не пристанет!» И верно, многие забыли о простудах, донимавших их дома, хотя приходилось спать и на сырой, и на мерзлой земле. Только в мирное время, говорят, болячки «отыгрываются» за прошлое на фронтовиках.

Вот такой была передовая, по которой сейчас пробирались пятеро к немецким окопам. Мороз уже не чувствовался, они забыли про него, ползли в слепом рвении. Никто из них никогда не брал «языка», лишь понаслышке знал, как это делается, и остервенело работал руками и ногами с одним лишь желанием побыстрее и незамеченным добраться до вражеских окопов. А там видно будет...

Ракета с гусиным шипением пронеслась над головами, пущенная, казалось, совсем рядом, метрах в двадцати, и Озеров заметил в ее свете запоздало упавшего солдата. «Какого дьявола поднимается! Ведь было сказано ползком», — чертыхнулся про себя младший лейтенант и ткнулся головой в снег, выжидая. Еще догорала на земле ракета, дыма и шипя, а пулемет рыгнул пламенем чуть ли не в упор, вслед за тем утробно одна за другой разорвались две ручные гранаты. Кто-то пробежал мимо Озерова, шумно, напуганно дыша. Лейтенант не пытался остановить солдата, понимая, что поиск сорвался и выход один — уползти назад подобру-поздорову.

Разгоряченные, запыхавшиеся, наваливаясь друг на друга, незадачливые разведчики попрыгали в траншею. Озеров пересчитал их глазами — кого-то не хватало — и чутко прислушался к тревожной ночи. Враждебно и глухо глянула на него немецкая сторона. Поднялась ракета, теперь уже бесшумно, с дальним ружейным хлопком, и высветила поломанные, сильно изреженные бодылья кукурузы, сквозные до самых окопов противника.

— Кого нет?

— Петра, — подавленно ответил Дудченко и еще тише: — Гранатой. Напавал. Сам видел...

Солдаты молчали, и понять их было трудно: то ли испытывали глубокую вину от того, что не вынесли убитого, что осиротели четверо малышей, то ли ими просто владел страх от встречи с глазу на глаз с костлявой, когда жизнь висела на волоске и каждый дрожал за свою шкуру. До Петра ли было?

У Озерова на душе скребли кошки: потерял ординарца и поиск не удался. Как докладывать об этом полковнику, он не знал и предвидел для себя одни неприятности.

— Надо Петра вытащить, — сказал младший лейтенант не то себе, не то солдатам.

— Пусть немец немного успокоится, — возразил Дудченко.

— Да, да. Подождем... — Озеров не договорил: из-за поворота траншеи, запыхавшись, протиснулась Глаша в полушубке, сапогах, повязанная крестьянской шалью с кистями. Она растерянно забегала глазами по согбенным фигурам, вглядываясь то в одну, то в другую.

— А де ж Петро?

Дудченко отвел от женщины виноватые глаза, робко сказал:

— Убило его... гранатой.

— Як так? Якой гранатой? Да цьего не може бути! — Глаша не верила. В глазах ее были и страх и надежда. Лицо казалось мертвенно-бледным в зеленом свете ракет, которые беспрерывно пуляли в небо встревоженные немцы.

— Де ж вы его залышылы? — вдруг выкрикнула она в голос.

— Там, на ничейной остался! — махнул рукой Дудченко в сторону немцев и почему-то перешел с русского на украинский. — Он, он пид той гиркою. Трошке левише и лыжить твий Петро. Потягнул я его, дуже важкий. А тут, як на лыхо, фриц прижал — ледве утик.

Дудченко хорошо знал жену убитого, и ему сделалось неловко и скорбно, точно он был виновен в несчастье.

Глаша перестала выть, но слушала невнимательно, словно думая о другом, вся напряглась, и лоб собрался в морщины.

— Та знаю, знаю, цэ, мабуть, там, дэ стан був... — И прытко, высоко подобрав юбку, полезла через бруствер.

— Куда ты? Стой! — с запозданием, никак не ожидая такого порыва, метнулся вслед за Глашей Дудченко, но стащить ее назад в окоп не успел. Вспыхнула ракета. Приседая, Дудченко заметил, как женщина быстро ползла в сторону немцев и была уже далеко.

— Вот дурная баба. Мужа убили, и ей будет каюк. Совсем осиротят детей, — проворчал он, подходя к Озерову. — Как бы не пришлось вытаскивать двоих с нейтральной полосы. — Пулеметчик вздохнул, угадывая настроение младшего лейтенанта. Озеров не мог себе простить неудачу, а тут еще бросил, не вынес тело ординарца, и за мужское дело взялась баба.

Затрещали бодылья кукурузы. Глаша изо всех сил волокла за собою Петра, уложенного на разостланную шаль с кистями, замерла, припала к земле: в воздухе зафыркали мины и пошли звонко лопаться по всему полю.

— Бросай! Бросай! Потом вынесем! — закричал Дудченко, едва утих грохот разрывов.

— Не могу, не могу! — плачущим голосом отвечала Глаша, крепко прижимаясь к мужу.

И снова по полю залопались мины, завизжали осколки. В какую-то паузу, не выдержав, Дудченко кинулся к Глаше, с трудом оторвал ее от

бездыханного тела. Обмякшая и бесчувственная, она уже просталась с жизнью, не видя другого исхода под огнем минометов, растратив последние силы. Все в ней притупилось. Пусть её лучше закопают в землю вместе с любимым «чоловиком».

Подбежали еще солдаты, подхватили и потащили Петра к траншее, и каждый надеялся на какое-то чудо: авось мертвец оживет всем на радость. Он и на самом деле вроде шевельнулся или просто померещилось: до того невыносимы были страдания Глаши.

— Ой, серденько мое, да що ж це диється! Та за що, за що? — причитала Глаша, целуя и обнимая бледного, недвижимого мужа. Она никак не могла примириться с его смертью. Своим теплом, своей любовью словно пыталась воскресить его. Петро и впрямь приоткрыл затуманенные глаза, тяжело простонал.

— Живой, гляди-ка! — загомонили солдаты.

— Надо побыстрее в санчасть.

— Серденько мое, серденько мое... — плакала Глаша, целуя и обнимая Петра пуще прежнего. Она металась над телом, подавшим слабые признаки жизни, ломала руки, смеялась, рыдала, и солдаты уже побаивались за ее здоровье.

Раненого уложили на плащ-палатку и понесли по узкой траншее в тыл. Отсюда по балке до пункта первой медицинской помощи было недалеко, с километр. Долго еще в морозном воздухе слышались причитания Глаши, не отстававшей ни на шаг от кормилица их детей.

На передовой остались трое: Озеров, Дудченко и Подопригора из местных, верблюжеских. Опустившись на дно окопа, солдаты закурили, пряча огоньки в отвернутых бортах шинелей. Лица их выражали отупение, какое бывает после сильной душевной встряски, казалось, и краном теперь никого не поставит на ноги.

Озеров терялся: только подумает о полковнике, как на душе снова заскребут кошки. И к немцам идти все равно, что на расстрел. Немецкая сторона смотрела мрачно, как преисподняя, остаться живым там не было никакого шанса. Но позор казался хуже смерти. Эх, была не была! Семи смертям не бывать, одной не миновать. Сколько раз отчаянный поступок, который из благородства принято называть смелым, выручал Озерова из беды!

План созрел моментально. Собственно, планом то, что пришло в голову, назвать было нельзя, просто кое-какие соображения, основанные на фронтовых наблюдениях и рассказах бывалых разведчиков, которые уверяли, что для успеха дела часто требовались не столько сила, сколько хитрость и психологическое воздействие на неприятеля.

— Подопригора! — обратился Озеров к здоровенному солдату, взятому в разведку с расчетом, что у такого из рук никакой язык не вырвется.

— Чого? — встрепенулся пригревшийся в землянке и задремавший Подопригора.

— Ты когда-нибудь человека убивал ножом?



Солдат смутился и оробел, не понимая, что хотел от него младший лейтенант.

— Ни... не доводилось.

— А ты, Дудченко, когда-нибудь убивал человека ножом?

— Человека не убивал, а кабанов резал.

— Вот и добро. На тебе нож, а гранаты и автомат отдай Подопригоре. Живей, живей!

Недоумевая, Дудченко исполнил приказание.

— Пойдем вдвоем за «языком».

Дудченко оторопело уставился на младшего лейтенанта.

— Что же я с одним ножом буду делать у немцев?

— С перепугу еще начнешь пулять не вовремя. Хватит тебе одного ножа. А ты, Подопригора, останешься здесь и в случае неудачи поддержишь огнем наш отход.

Дудченко не без зависти отметил, с какой охотой, сразу повеселев, солдат кивал каждому слову младшего лейтенанта:

«Ишь обрадовался, что ему в окопе оставаться!»

— Вот Глаша вытащила мужа под каким огнем, а нам и бог велел взять языка. — Озеров, видя, как пулеметчик огорчился и растерянно вертел в руках финку, словно еще не веря превратности судьбы, подбодрил его, а заодно и себя: — Сколько времени? Пятый час? Самый раз. Не отставай и вперед не забегай, держи дистанцию десять метров! — И полез через бруствер. Он отважился попытать счастья вдвоем с Дудченко — незаметно и нахально, пользуясь предутренним покоем на передовой, когда немцы и ракеты уже не пускают.

## 9

— Темнота хоть глаз выколи, а комвзвода требует, чтобы я держал дистанцию не меньше десяти метров. Какая там дистанция! Я боялся на шаг от него отстать, того и гляди угодишь фрицу в лапы. Одним ножом не отобьешься. Доползли до окопов благополучно. Смотрю, комвзвода остановился, шарит рукой по земле: «Здесь». Я тоже остановился, вижу телефонный провод. «Сейчас перережу, — говорят, — а ты давай вон к тому кусту. Как только прибегут немцы, крикнешь или затрешишь ветками, чтобы привлечь к себе внимание. Если трое, то убьем двоих, если двое — одного. А если один, то не убивать, брать живым. Понятно? Дуй под куст!»

Дудченко в сбитой набок шапке, с глубокой царапиной от виска на всю щеку, положив на колени автомат, сидел на ящике от боеприпасов, раскуривал «козью ножку» и рассказывал собравшимся возле него солдатам, как он брал «языка». Вяло шел снег, и стояла утренняя безрадостная тишина, какая бывает на передовой после боевой ночи с ожесточенной перестрелкой, утробными взрывами пехотных мин и ручных гранат, тяжелыми ранениями и смертями.

Дудченко жадно глотал махорочный дым, поминутно шморгал носом, утирая его кулаком, еще не совсем придя в себя после ночного переплета. Возвращение с той стороны было равнозначно воскрешению из мертвых, и на разведчика смотрели с любопытством и уважением, стараясь не пропустить ни одного его слова.

— Перерезал Озеров провод и тут же залег, а я в кукурузе, метрах в пятнадцати, лежу и думаю: «Что же это получается? Только я крикну, как все пули в меня. Выходит, комвзвода я понадобился, как червяк рыбаку». Подумал так, и в пот бросило. Давай долбить ножом землю, чтобы хоть голову укрывать за бугорком. А немец, будь он неладный, тут как тут. Бежит, согнувшись, с проводом в руке. Наткнулся на разрыв, ругается, соединяет провода. Нужно крикнуть, отвлечь его на себя, а у меня язык прилип к небу, не могу. Приподнялся, шуганул ножом по кустам и голову за бугорок. Немец повернулся в мою сторону — комвзвода на него сзади. Я подоспел. Сунули в рот кляп, связали руки. Промучились мы с ним — не дай Бог! Брыкастый попался.

Дудченко посмотрел на землянку, где полковник из штаба дивизии вместе с Кравцовым и Озеровым допрашивали пленного ефрейтора, самого нижнего чина в немецкой армии. Замкнутый, слова не выдавишь. Верно, с перепугу. Он сердил полковника, и Дудченко уже побаивался, как бы тот снова не послал в разведку — за офицером.

— Ладно, отведем его в штаб, там разберемся! — сказал полковник и выбрался из землянки, повернулся к Озерову, похлопал по плечу: — Молодец. Не ожидал, что так быстро обернешься. Ну иди, младший лейтенант, отдыхай (допрос пленного происходил в землянке Кравцова), ты меня крепко выручил, не забуду!.. Егор, где ты? — позвал полковник своего ординарца, слушавшего Дудченко с раскрытым ртом. Егор оставил солдат и поспешно подошел к полковнику.

— Налей по чарке разведчикам!

— Не стоит, товарищ полковник, — смущенно сказал Озеров.

— Пайковую водку комвзвода сахаром заменяет, — вмешался Дудченко с улыбкой, приободрившись в предвкушении чарки из полковничьей фляги. — А я могу и за двоих!

Он подошел к ординарцу с геройским видом, вытирая губы ладонью в ожидании угощения.

— Сахара у меня нет, — сказал полковник, — но от коньяка, я думаю, младший лейтенант все-таки не откажется... А этого ведите к моей машине! — приказал он конвойному, кивнув на пленного, поджарого, с худым, костлявым лицом и большими, в синих дугах, испуганными глазами. Немца увели, вслед за ним ушел и полковник. Но вскоре прибежал его ординарец с сапогами Озерова. Полковник вспомнил о своих теплых валенках и велел вернуть.

\* \* \*

Начав еще в резерве, Озеров продолжал в обороне тщательно заносить в толстую ученическую тетрадь фронтовые впечатления и пейзажные зарисовки, понимая важность событий, участником которых он оказался. Но после пережитого в разведке дело это показалось лишним, и он без сожаления пустил исписанные аккуратным почерком листки на растопку. «Убьют, зачем потом кому-то рыться в моем грязном белье?» Было и суеверие: поверять бумаге свои сокровенные чувства перед лицом смерти — последнее дело. В то время газеты увлекались выдержками из записных книжек немецких солдат, и создавалось впечатление: убивают чаще тех, кто ведет фронтовой дневник.

Озеров уже чувствовал себя больше солдатом, чем штатским, хотя, каким должен быть солдат, затруднялся бы объяснить. Просто в каждом русском, наверное, до поры, до времени живет тот самый воин, о котором у других народов сложилось мнение: неприхотливый, выносливый, стойкий, — живет не в строевой выправке и парадной форме, не в уставном поведении, а в крови, в человеческой сущности. С большей очевидностью, чем когда-либо прежде, Озеров представлял сейчас своих далеких предков на полях сражений то с восточными, то с западными завоевателями. Вот он и сам оказался в таком же положении и на собственной шкуре, а не из книг узнал, что значит быть солдатом.

Он стал настоящим хозяином передовой, и не потому, что перестал бояться смерти, таких героев на войне не бывает, а потому, что хорошо изучил повадки немцев, знал время их отдыха и «работы», когда та или иная батарея открывала методичный огонь — по одному выстрелу через полчаса, когда разгуливал по передовой кочующий миномет, скрывая местонахождение основной позиции, какие участки нашей обороны наиболее подвержены артналетам и как безопаснее пройти по открытому месту.

По-прежнему взводная оборона была невероятно растянута. Прислали пополнение и тотчас прирезали земли по фронту. При осмотре нового участка, лазая по пояс в повлажневшем снегу, Озеров промок и промерз. К утру подул сиверко, шинель встала колом. Возвратившись в землянку глубокой ночью, он нашел ее остуженной. Некому было поддержать огонь, ординарцем Озеров до сих пор не обзавелся и, отправляясь на позиции, брал с собой Дудченко.

Задубеневшая шинель заерзала по стенкам землянки и затрещала, ломаясь, когда Озеров устало повалился в угол. Он дышал на заочневшие руки и вздрагивал всем телом.

— Тут не согреешься, наружи теплее, — скептически заметил Дудченко, зажигая коптилку в нише и осматриваясь. — Печку растопить нечем?

— Ввсё... ддрова... вышли, — с трудом выдавил младший лейтенант, не попадая зуб на зуб.

— Пойду поищу.

Пулеметчик выбрался из землянки, расположенной в самом начале балки и напрямик уходящей в село, а Озеров, дрожа от холода, засунул руки поглубже в рукава шинели так, что пальцы доставали локтей, и по-

пытался уснуть. Это ему удалось без труда, как всем на фронте. Замелькали обрывочные видения, и, как уже не первый раз, прилепился Гитлер, которого Озерову надо было убить, снова никак не мог изловчиться, чтобы выстрелить, мешало то одно, то другое, тогда он решил взорваться вместе с фюрером, незаметно выдернуть чеку из гранаты, спрятанной в пазухе. Полыхнуло пламя, грохнул выстрел. Озеров в страхе открыл глаза. Потрескивал огонь в печке, Дудченко раздобыл два ящика от снарядов. Но землянка не нагрелась, от всех углов веяло холодом, как в погребе. Озеров потянул руку к веселому, слепящему глаза пламени.

— Смотри-ка, достал дров! — сказал он с похвалой.

— Ловкость рук, и никакого мошенства, — отшутился солдат ходячей фразой.

— Слышь, Дудченко, мне Гитлер приснился.

— Тот-то вы кричали во сне.

— Правда? Вот черт! Я в него гранату бросил.

— Всем он так насолил, что ему мало гранаты...

Не один Дудченко, любой солдат поступил бы точно так же, как во сне Озеров. На фронте давно передавались из уст в уста разные истории покушения на Гитлера. Наши разведчики и бежавшие из плена солдаты уверяли, что фюрера уже нет в живых и что Германией правит подставное лицо, двойник. Этому верили, и Озеров предавался наивным мечтам о герое, освобождающем народы Европы от фашизма. Казалось, пусти он пулю в лоб фюреру, и война прекратится.

— Чаю бы согреть. Что-то лихорадит. — Озеров, ежась, потирал руки над огнем, ослепленный пламенем, которое отбрасывало на его лицо трепетный свет, и, еще совсем не отойдя от сна, мысленно прослеживал свои причудливые сновидения. Приятное тепло разливалось по телу, голова тяжелела, набрякала, что-то распирало ее изнутри. «Как бы не заболеть», — встревожился Озеров, поеживаясь.

Дудченко проворно смотался наружу с котелком, набил его плотно, с горой, снегом, поставил на печку. Нашелся и сахар. Напились кипятку. Озерова бросило в жар, тело покрылось испариной.

— Простыл, видно, — сказал он, обтирая лицо замызганным вафельным полотенцем, висевшем на гвозде. — Чирей вскочил на ногу, дергает, спасу нет.

— Позвоните в санчасть. — Дудченко застегивал шинель, собираясь уходить.

— Куда ты? Оставайся, ночуй здесь.

— Как же без меня второй номер.

— Я попросил командира пульроты направить вместо тебя сержанта из нового пополнения.

Озеров смотрел на Дудченко, как сквозь запотевшее стекло.

— Ого, как вы покраснелись! Небось температурит.

Озеров и сам чувствовал, что жар усилился. Ногой не шевельнуть. Он позвонил по телефону командиру роты, и тот вначале не понял его.

— Молодец! Раненый не ушел с поля боя. Представлю к «Звездочке»! — загорячился Кравцов на другом конце провода, всегда доброжелательный, словно в чем-то виновный перед Озеровым, может быть, потому, что меньше рисковал жизнью. А узнав, в чем дело, постно пообещал утром прислать на смену офицера.

В санчасть Озеров добрался, опираясь на палку и плечо Дудченко, при каждом шаге морщась от боли: нога пониже колена отекала, и чирей туго подергивал, нарывая. Ни кашля, ни воспаления легких, а только проклятый чирей, как протест организма невыносимым условиям передовой.

Франтоватый, с усиками, фельдшер ошупал пухлую покрасневшую ногу и покачал головой:

— Классический карбункул! Можно запросто получить гангрену!

Пинцетом он извлек три гнойных стержня, сидевших гнездом, и оставил Озерова на излечение в санчасти, при этом подмигнул, как старому знакомому:

— Неделю отдохнешь, младший лейтенант!

Еще неделю он пробыл в резерве, уже на ногах, чуть прихрамывая. А тут ранило командира минометного взвода, и Виктор наконец получил назначение по своей военной специальности.

Бывает на войне и так. За два месяца, проведенных Озеровым в пехоте, его могли убить наверняка раз двадцать: когда он ходил в атаку и когда добирался по чистому снегу к стогам, когда, захваченный рассветом, остался в землянке узбеков под прицелом снайпера и когда добывал «языка» — по приказу полковника, не говоря уже о том, что на передовой солдат вообще рискует ежеминутно. Остаться здесь целым и невредимым все равно, что выиграть первый приз в лотерею. Но Озерову в который раз выпал счастливый билет. Судьба его берегла, и, когда Кравцов пообещал «Звездочку», не поняв по телефону, что случилось, младший лейтенант искренне пожалел, что не был ранен в ногу. Видно, воевать ему еще долго, как тому конопатому ротному связному, прошагавшему в пехоте полторы тысячи километров от самого Сталинграда.

## Часть восьмая

### К ДНЕСТРУ!

#### 1

Виктор Озеров и не предполагал, что наступление наших войск на юге Украины ранней весной 1944 года будет потом, после войны, признано военными историками «Вторым из десяти сокрушительных ударов, поставивших Германию на колени». Такие мысли не приходили в голову не только Озерову, но и всем тем тысячам солдат, которые сейчас в полковых колоннах растянулись по вязким фронтовым дорогам. Они делали обычное на войне, не вдаваясь в стратегию: безропотно вытаскивали из грязи намертво застрявшие орудия, проклинали «фрица» (иной раз два пулеметчика ночь держали полк в открытом поле), ходили в атаку, прощаясь с жизнью, и с нежностью вспоминали маму, засыпая на полу битком набитой солдатами хаты в отвоеванном полуразрушенном селе, но чаще в наспех вырытом окопчике или прямо на земле, да еще в дождь, под плащ-палаткой, только в снах избавляясь от душевного напряжения, шутили, если опасность была далека, мечтали о конце войны или хотя бы легком ранении, чтобы отдохнуть на чистых госпитальных простынях, а еще лучше — там, в недоступном тылу, услышать наконец о мире и больше не возвращаться на проклятую передовую.

Весна на Украину пришла на месяц раньше обычного, была сырой, холодной. Моросил затяжной дождь, по балкам стлались туманы. А балки, глубокие, разветвленные, тянулись, казалось, бесконечно и были единственным укрытием для армии в южной безлесной степи. Так бы идти, идти по ним до самого Берлина...

Едва минометный взвод Озерова оставил насиженные окопы и продвинулся немного вперед, как воровато, из-за туч, на бреющем полете вынырнули немецкие истребители и чуть ли не заходили по головам, прочесывая балку вдоль и поперек пулеметными очередями. Не столько они нанесли урону, сколько нагнали страху, потому что никто не ожидал их в такую нелетную погоду. Озеров лежал на открытом месте, не спуская глаз с «мессера», выкрашенного в желто-коричневый цвет, с черными крестами на плоскостях и хорошо различимым летчиком в плексигласовом фонаре. Видел ли тот Озерова или нет, пожалел ли перепуганного насмерть младшего лейтенанта или уже израсходовал боевой комплект, только проревел над ним и скрылся в тучах, не выпустив ни одной пули.

Вот и немецкие позиции, развороченные нашей артиллерией. От прямого попадания в блиндаж рухнули бревенчатые накаты и придавили офицеров. Они лежали в несуразных позах, кого как захватила смерть. Солдат в камуфляжной плащ-палатке шнырял между убитыми, будто кого-то опознавал. Блеснула золотая коронка. Солдат повертел ее на ладони

и сунул в карман, недружелюбно покосился на младшего лейтенанта, осуждавшего мародера, и взгляд этот говорил: «Не пропадать же добру?»

Озеров не понимал, зачем солдату золото среди разрушений и трупов, когда на каждом шагу всех их поджидала смерть. Он отвернулся, подавленный, в предчувствии и своей такой же участи. Прежние тыловые представления о войне, где, конечно, рвутся снаряды и умирают солдаты, но не обязательно умирать ему, Озерову (а если это случится, то непременно в героическом деле, о котором тотчас узнают все друзья, мама, бабушка, и страна оденется в траур), давно прошли. Но несмотря на неприглядность фронтовой обстановки, Озеров не оскотинился, сохранил в себе дух добра и нежности, и ко всему бесчеловечному относился с омерзением. И еще было убеждение: возьмешь что-нибудь чужое — обязательно убьют.

— Надо же, — покачал головой ординарец Дудченко, вылезая из немецкой землянки и кивая на солдата в трофейной камуфляжной плащ-палатке. — Меня бы враз стошнило, а ему хоть бы что. Как только взвод такого терпит!

— Чей он? — Озеров недавно прибыл в минометную роту и плохо знал солдат.

— Подорожный. Из третьего взвода.

— А сам ты зачем по немецким землянкам шарить? Тоже, небось, проверяешь у фрицев челюсти.

— Что вы, товарищ комвзвода! Будь они неладны, еще приснятся. На кой ляд мне золото, если того и гляди, стукнет... Тфу, тфу, тфу! — Он поплевал через левое плечо. — Я пластмассовую коробочку ищу, в которых немцы масло держат. Круглую. Завинчивается. Можно в карман положить. Давно хочу занять. Думал, пойдем в наступление, достану. Что-то не попадается.

— Попадется, подожди.

Озеров ускорил шаг, и Дудченко поспешил за младшим лейтенантом, оправляя на плечах лямки от вещевого мешка — тощего, ерзающего по спине, сразу видно: человек не падкий на трофеи.

Между тем заняли лесопосадку. Открылся бугор с одинокой хатой. За бугром угадывалось село. В рощице акаций, с голыми мокрыми ветвями, расположился командир полка. Связист снял со спины зеленый ящик рации. Забулькало, засвистело, полилась легкая мелодия. Она звучала чужеродно, как с другой планеты. Озеров и не помнил, когда последний раз слушал радио.

В лесопосадке уже был тыл, снаряды не рвались, пули не лопались — «запретная зона» для огневого минометного взвода. Место его было там, впереди, где стреляли. Озеров почувствовал себя возле командира полка, как незванный гость на пиру, и заторопился к бугру, где белела одинокая хата.

Шли по пашне, волоча на ногах огромные «подушки», обливаясь потом, пересекли поле, выбрались на толоку с уже пробившейся травой и задергали, замотали ногами, разбрасывая во все стороны ошметья грязи.

Кто-то из солдат крикнул: «Немцы!» Слева, метрах в трехстах, посреди голого сада, стоял сарай с навесом. Озеров заметил там людей. присмотрелся: точно немцы. Проспали, что ли? Они тоже заметили минометчиков и открыли огонь по стогу соломы, за которым укрылся взвод. Били трасирующими. Красные стрелы впивались в стог. «Выкурить хотят», — подумал Озеров, отстреливаясь из карабина. Стог задымил, но разгорался медленно, благо была сырая погода, солома сильно промокла. Под огнем установить минометы было трудно, кое-как справился с этим один расчет. Первая же мина угодила в черепичную крышу, поднялось облако бурой пыли и дыма. Немцы, бросив пулемет, один за другим удрали по ложине. Наверное, наш левый фланг никем не прикрывался. А если пойдут танки? И минометчики повернули назад, на старые огневые. Бежали по вспаханному полю. Всех опередил солдат в камуфляжной плащ-палатке. Она надулась на ветру и хлопала, как парус.

— Эй, Подорожный, трофеи растеряешь! — крикнул ему вдогонку Дудченко, переходя на шаг, едва волоча ноги.

Подорожный тоже сбавил скорость, оглянулся, тяжело дыша. На бледном лице блестел пот.

— Я не из вашего взвода.

— Ишь ты! Трофеи собирать с нами, а воевать — не наш?

Как видно, Подорожный на самом деле ушел с передовым взводом поживиться трофеями. Дудченко хотел выдать ему по первое число, когда неожиданно-негаданно увидел комдива Лазарева. Шел во весь рост. Лицо озабоченное, с выражением крайней напряженности: тревожила неопределенность обстановки, обостренное чувство опасности, как всегда на передовой. Ему было невдомек, что за драп-марш, когда немцы отступают. На открытом поле, неизвестно чьем, нашем или немецком, бравирование вызвало бы у солдат лишь подозрение в трусости. А Лазарев не был трусом, напротив, слыл отчаянным командиром. Это был высокий, смуглый, с пористым лицом, строгий на вид человек, настоящий комдив, каким он представлялся солдату. В полках нарекли его «Александром Невским» (он был награжден одноименным орденом). Любил говорить: «Девятнадцатая дивизия и тогда будет сражаться, когда в ней останутся я и мой адъютант!»

После форсирования Днепра на плацдарме не хватало людей и боеприпасов. Лазарев собрал солдат со всех хозяйственных взводов, оголил тылы, что всегда делалось в критические ситуации, и сам пошел на передовую. Немцы беспрерывно атаковали, намереваясь сбросить наших в реку. Стороны сближались на бросок гранаты.

В разгар боев прибыл начфин с полной сумкой денег для выдачи зарплаты офицерам. Время, надо прямо сказать, он выбрал совсем неподходящее, но был по-военному точным, поддерживал престиж дивизии «Александра Невского». Попался на глаза Лазареву. «Что вы тут делаете?» — «Привез деньги...» — «Какие сейчас деньги!.. Адъютант, выдайте



начфину автомат и — в боевые порядки! Не покидать окоп до тех пор, пока не закрепимся на плацдарме!» Вот таким был комдив Лазарев.

Он остановил минометчиков, но не заорал благим матом, не выхватил пистолет из кобуры, как некоторые слабонервные офицеры, смотрел на докладывающего командира взвода так, словно хотел лучше понять, что же случилось, а, поняв, успокоился и сказал с издевкой:

— Из-за трех фрицев дивизия отступать не будет! Занимайте огневые позиции и в случае чего поддержите меня огнем.

Лазарев зашагал по вспаханному полю вперед, и адъютант еле поспевал за ним.

Небольшая заминка никак не повлияла на общий ход наступления, и Озерову казалось, что оно развивается, набирает силу, подобно пущенному под откос колесу. Колесо подпрыгивает на колдобинах, кое-где сворачивает, наскакывая на кочку, но катится, катится безостановочно и неизвестно где упадет...

Весь путь к Днестру для Озерова был словно долгий безалаберный сон. Возле хатки, на бугре, лежала маленькая старушка, сжимая в руке узелок, пристреленная каким-то злодеем. Видно, ее угоняли в неметчину, а потом передумали: какой толк в старухе? Но, может быть, она сопротивлялась, не хотела покидать родную хату, хотела дожидаться с Красной Армией внука или сына? Маленькая старушка на мокрой земле в пасмурный день, под морозящим дождем, с фиолетовым пятнышком от пули, величиной с копейку, на виске, все время стояла перед глазами, пока шли на запад. Уныло, серо вокруг, как и на душе Озерова. Помнится, такое же чувство он испытывал однажды перед войной, отнесенный штормом на утлой лодке далеко в открытое море. Не было никакой надежды пристать к берегу, снова увидеть родной дом. Куда ни посмотришь, одни холодные волны да низкое мрачное небо...

А глухой ночью заняли село. Озеров толкнул дверь крайней хаты и при тусклом свете керосиновой лампы увидел сбившихся кучей на полу людей, взрослых и детей, едва ли не со всего села. Они испуганно уставились на вошедшего, приняв за немца (надо было видеть их расширенные, полные тоски глаза!). Оцепенение продолжалось какие-то секунды.

— Да это же свой, — произнес кто-то тихо. Сельчане разом заревели, запричитали и от радости, и от всего пережитого в проклятой неметчине.

Нечто подобное произошло в соседней хате. Младший лейтенант встретился взглядом с бледной, жавшейся к печи молодухой. Она вся трепетала, вглядываясь в Озерова, но, узнав в нем русского офицера, навзрыд заплакала. До самого утра (Озеров остался на ночлег в этой хате) она то и дело вскакивала на печи, где спала, и тревожно вглядывалась в синее окно: все мерещились немцы, все казалось, что они вернутся.

Утром вошли в большой совхозный поселок. Навстречу солдатам выбежали четыре девушки (они первые заметили своих), обнимали, целовали, подпрыгивали от радости.

На крыльце соседнего дома хмурилась пожилая женщина, явно не одобряя эти восторги.

— С кем вы целуетесь? С немецкими шлюхами? Лучше спросите их, как они гулянки устраивали с офицерами.

Солдаты растерялись, не зная, как быть, в них еще жили тепло и радость, которые принесли с собой девушки. Кто-то закричал, что на огороде в картофельной яме прячутся немцы, и несколько охотников, взявшись за автоматы, подались туда, а девушки остались посреди дороги неприкажные. Пожилая женщина сыпала на их головы проклятия, выливала все, что накопело у нее на душе за горькие дни в оккупации.

Солдаты пошли дальше, к центру поселка, уже позабыв тех четырех посреди улицы с мокрыми от слез глазами. Они так и не решились помахать вслед своим освободителям.

Озеров с минометным взводом, посланный вперед для поддержания пехоты, каким-то образом опередил ее (обычно не очень торопившуюся в наступлении) и в одном селе наткнулся на военнопленных. Ударяя, немцы не успели ни расстрелять, ни угнать их с собой. Пленные лежали вповалку на соломе в колхозной конюшне, человек семьдесят, увидели минометчиков и замерли в испуге.

— Мы Красная Армия! Выходите! Вы свободны! — крикнул Озеров, распахивая двери.

Молчат. Не верят. То ли впервые увидели офицерские погоны, год назад сменившие кубари, то ли заподозрили подвох. Пришлось звать старосту из села, чтобы рассеять сомнения. Несчастные повскакивали с соломы и ошалело бросились обнимать освободителей. До рассвета минометчики пробыли с пленными, а вышли за околицу и почувствовали что-то не то. Пригляделись друг к другу. Бог ты мой, по одежде ползают паразиты! Мириады! Озеров объявил привал и послал двух солдат в село за топорами и пилами. Нарубили дров, разожгли костры, разделись догола и принялись жарить обмундирование. Потом над кострами на рогатинах повесили ведра с водой, благо река была рядом, вымылись с мылом. Весь день убили на эту процедуру. Ночь шли ускоренным маршем и к утру догнали своих.

\* \* \*

Старшина Неделя привез пшенный суп, в котором не провернешь ложкой, и гречневую кашу наподобие замазки, чем и ограничивались его кулинарные познания, других блюд Озеров не помнил за все время службы в роте. Из двух армейских зеленых термосов, с потеками супа и присохшими крупинками гречки, Неделя половником, не слезая с повозки, шлепал немудреное варево, первое и второе, в один котелок.

— Ни то, ни се прикипело, да и то пригорело, — шутили солдаты, рассаживаясь неподалеку от повозки, кто на чем — ящике с минами, бревне, камне, приткнувшись спиной к дереву. Но кое-кто обедал обстоятельно, развязывал вещевой мешок, доставал вафельное полотенце, выкладывал

на него алюминиевую ложку с выцарапанной на ручке фамилией, соль в спичечном коробке.

— А вы почему не обедаете, товарищ младший лейтенант? — окликнул Неделя Озерова. — Где ваш ординарец?

— К немцам побежал. Трое или четверо отстали от своих, — ответил за Озерова старший сержант Нестеренко и махнул рукой на край поселка. — Сейчас трофеи принесет. Что-нибудь попримечнее твоей баланды!

Анатолий Нестеренко прибыл в роту минометчиков с пополнением перед самым наступлением. Виктор сразу заметил перемену в характере заводского друга, уже несколько раз раненного и отлежавшего в госпиталях в общей сложности около года.

Виктору было трудно с ним, встречал противодействие почти на каждое свое приказание. Нестеренко не говорил, но давал понять, что имеет право на привилегированное положение во взводе, и Озеров, чтобы избежать конфликтов, делал ему поблажки, поручал другим то, что намеревался поручить старшему сержанту, понимал, что поступает дурно, но ничего не мог с собой поделаться и мучился от бессилия. Так что, встрече с Анатолием он был не рад, постоянно чувствовал стеснение, как если бы во время похода в сапог заскочил камешек, а переобуться некогда, и приходится терпеть.

Немного погодя появился Дудченко, на ходу развязывая вещевой мешок, где у него были вложены один в другой котелки — свой и Озерова, крикнул издали, довольный:

— Достал!

— Что достал? — спросил Нестеренко, задерживая ложку над котелком. — Показывай и нам.

— Да вот. — Дудченко вытащил из-за пазухи пластмассовую круглую коробку морковного цвета. — Давно искал. Удобная для масла. А то комвзвода получит доппаек — приходится съедать в один присест.

— Пузо лопнет — наплевать, под рубахой не видать, — съязвил Нестеренко. — Тоже мне трофей! Я думал шнапса достал.

Разочарованный, он отвернулся и заскреб ложкой по дну котелка, вычерпывая остатки супа.

— Тяжелая коробка. Я еще и не смотрел, что в ней.

Дудченко пытался отвинтить крышку, но она не поддавалась: заклинило резьбу. Нестеренко с усмешкой наблюдал за потугами ординарца, облизывая алюминиевую ложку.

— Дай сюда. Не осилишь натошак.

Дудченко неохотно отдал коробку и, когда она затрещала в медвежьих лапах старшего сержанта, испугался не на шутку:

— Потихе! Раздавишь!

— Ну и закрутил фриц. Что он в ней носил?

Нестеренко с хрустом отвинтил крышку. В коробке заблестели, засверкали золотые кольца, монеты, браслет, пустой корпус от часов и среди них тяжелая брильянтовая подвеска.

Нестеренко с удивлением уставился на драгоценности, потом посмотрел на Дудченко, а Дудченко на него. Оба были в недоумении.

— Вот так коробочка! Вот так фриц-мародер! Где он набрал столько золота? — Нестеренко двумя пальцами приподнял брильянтовую подвеску, примерил к шее и, дурашливо улыбаясь, повернулся туда-сюда, словно перед зеркалом. — Ну как, похож на принцессу?

— Ты мне коробок отдай, а эту штуку бери себе, подаришь какой-нибудь медсестре, — сказал Дудченко. — Часики мне быгодились, да какой в них теперь толк? — Он с неудовольствием разглядывал золотой корпус от часов. — Дурак, фриц, ей-Богу, дурак. Это же надо испортить часы!

Дудченко повертел корпус с крохотным своим отражением в золоте и перевел взгляд на стоявшего рядом старшину Неделю с половником, которым он уже опорожнил все свои термоса:

— Хочешь, возьми?

— Ты лучше дай мне обручальное кольцо. Жив буду, невесте подарю.

Дудченко с готовностью протянул коробку, словно в ней были конфеты: угощайся! Солдаты побросали ложки, столпились возле ординарца, разбирали золото, восхищались, цокали языками, смотрели на кольца и разные украшения, как на диковинки, на забаву, только и всего. У одного Подорожного глаза лихорадочно горели и бегали то за одной, то за другой вещичкой, переходившей из коробки в солдатские руки. Он все пытался что-нибудь взять, но Дудченко относил коробку в сторону, подавал другим, пока на ее дне остался пустой корпус от часов.

— Хоть часики дай! — канючил Подорожный, следуя по пятам за Дудченко и нетерпеливо теребя за рукав шинели. — Всех оделил, а мне ничего! Ведь выбросишь пустой корпус. На кой леший он тебе?

— А тебе зачем? Сегодня жив, завтра нет.

— От золота на душе теплей.

— Хватит тебе фрицевских коронок. Пусть они твою душу согревают.

— Я тебе свою водку месяц буду отдавать.

— Пошел знаешь куда!.. Ничего от меня не получишь!

У Подорожного заблестели на глазах слезы, так сильно был расстроен: столько видел золота, а ничего не досталось, будто в сказке: и я там был, и мед пил, по усам текло, да в рот не попадало.

Послышалась команда выступать, хотя солдаты надеялись заночевать в поселке и уже приглядывали квартиры. Верно говорят: «На войне ничего не загадывай наперед».

Ночью на западе полыхало зарево, воздух колыбался от гулких взрывов: на станции Долинской немцы подорвали склад с боеприпасами. Какая-то железная чурка, поднятая взрывной волной, просвистела мимо Озерова и плюхнулась в грязь, хотя до станции было еще километров десять. Всю ночь шли солдаты, и всю ночь грохотали, вскидывались кроваво-красные всполохи, в небе рассыпались огненные брызги, будто над разворошенным гигантским костром.

Кажется, немцы уже растеряли по дорогам последние автомашины, повозки, артиллерию, а погода все не потрафляла им: то на целый день зарядал дождь, то порывистый ветер сек по лицам мокрым снегом, как хвостинами, и на солдатах не оставалось сухой нитки, некоторые не выдерживали, приваливались к стогу сена, а то и падали от усталости прямо на дороге. Сквозь низкие тучи изредка пробивалось негреющее желтое солнце, глянет на уныло-бескрайние хляби, на темно-серые растянувшиеся колонны людей вперемежку с обозами и снова скроется при виде такой неразберихи на земле.

Ингулец, Южный Буг, мутные и полноводные, с мрачными гранитными берегами, шаткими переправами, — все осилил русский солдат, и Озеров, бледнолицый горожанин, даже насморка не схватил, хотя одну ночь проспал на берегу реки, укрывшись плащ-палаткой, по которой шуршал и шуршал дождь. А утром повел свой взвод к переправе, и в лодке плыли уже под грохот немецкой тяжелой батареи, среди вздыбленных столбов воды, потому что всегда получалось так, что минометчики переправлялись с рассветом. Первая лодка, на которой плыл Озеров через Южный Буг, едва толкнулась о берег, как во вторую на середине реки угодил снаряд. Сержанта и шестерых солдат как не было. Подхваченные течением, по воде плыли расщепленные весла да чья-то шапка...

Не успел Озеров добежать до пойменного леса, как, ревя, заваливаясь на бок, налетели «юнkersы» и засыпали берег гранатами. Высокий русский пехотинец замешкался, не лег и, смертельно раненный, пробежал в горячах метров десять, закачался, упал навзничь...

Вечером в роте объявился капитан Бибеев, особист, разыскал Дудченко, отвел в сторону и долго с ним беседовал, что-то записывая в тетрадь. Дудченко ушел от него обескураженный.

— Что случилось? — любопытствовали солдаты, зная, что особысты зря не появляются на передовой.

— Велел вернуть коробку с золотом. Я ему говорю: «Коробка при мне, а золото раздал, остался один корпус от часов». — «Немедленно, — говорит, — соберите все, до последнего кольца. Драгоценности принадлежат перебежчику, важной персоне, которую сейчас допрашивают в штабе... Так что, братцы-славяне, выручайте!»

Золото собрали без труда, не нашлась одна брильянтовая подвеска. Потом вспомнили, как примерял ее, дурачась, старший сержант Нестеренко.

На допросе у особиста он пожал плечами:

— Подвеска? Какая подвеска? А, стекляшки... Я на них выменял бутылку шнапса у одного солдата.

Бибеев посмотрел недоверчиво:

— Вы это серьезно?

— Ей-богу! А что?

— Да вы знаете цену брильянтовой подвески? Она стоит всего шнапсового завода! Что за солдат?

— Подвернулся какой-то, я уже и не помню лица.

— Вспоминайте, вспоминайте, да побыстрей!

Бибеев проверил каждую золотую вещь по записям в тетради и унес с пластмассовой коробкой морковного цвета, заодно прихватив с собой старшего сержанта подлечить память.

— Жаль коробку, — огорчился Дудченко. — Сколько времени искал такую! Да ладно, все равно с трещиной. Нестеренко сильно нажал, когда отвинчивал.

— Чего жалеет! — удивился Подорожный. Он смотрел исподлобья, боясь за свои золотые коронки: как бы и до них не добрался особист!

— Не горюй, Дудченко, — сказал старшина Неделя. — Не тобой нажито. Пойдем лучше к командиру роты, звал песни петь. Крепкой угостит.

Настроение солдат менялось по ходу войны. В тяжелом отступлении от границы они были угрюмы, но не угнетены, а после разгрома армии Паулюса под Сталинградом сразу же повеселели и при выходе на Северный Донец, при форсировании Днепра, уже грезили победой, хотя было еще трудно, очень трудно. Нынешняя весна прошла у Дудченко под грустную украинскую мелодию: «По за лугом зелененьким брала вдова лендрибненький». Не вся песня, лишь ее первый куплет, повторяясь, навязчиво и бесконечно вертелся в голове, пока шли по унылым, мокрым и долгим дорогам Украины, мимо людей с серыми лицами, в серых одеждах.

Песню, украинскую и русскую, любили в минометной роте, она была, пожалуй, единственной отрадой на передовой, особенно в обороне, где, кроме тесной землянки да узкого окопа, да исковерканного снарядами поля, похожего на унылую лунную поверхность, солдат ничего не видел. Командир роты, бывало, скажет Дудченко:

— А ну-ка зови хлопцев ко мне в землянку!

Запевалой был сибиряк-украинец Неделя, здоровенный дядя лет двадцати пяти, с басовитым голосом. Подпевал ему старший сержант Нестеренко, имевший несильный, но приятный тенор, и ординарец «вольный казак» Дудченко, обладатель контрбаса. Эти трое были главными песенниками, но обычно брали в подкрепление еще двух-трех солдат.

Неделя приносил флягу пайковой водки, пахнувшей бочкой, сильно разбавленной за тот долгий путь, какой она проделывала от винокурни до передовой, но все равно ценилась на вес золота. Пока рассаживались певцы, кто-нибудь негромко запевал на мотив популярной фронтовой песни:

— Не столы настоящие украшают наш дом —

На снарядные ящики мы закуску кладем.

По сто грамм нам положено — фронтовой наш паек.

Есть и кружка железная — наливай-ка, браток!

Выпьют по стопке, «прочистят глотки», и Неделя откинет назад голову, поглядит куда-то сквозь бревенчатый накат и приглушенно-басовито начнет:

— Ой, Днепр, Днепр, ты широк, могуч...

Голос его уже при словах «...над тобой летят журавли» гремел так густо, что огонь в коптилке дрожал, сбивался набок, будто кто-то дул на него. И тут, как бы исподволь, певуче-негромко вступали в песню Нестеренко и Дудченко. Потом сам командир роты и все, кто приходил на песенный вечер. От дружного хора уже не одна коптилка, но и вся землянка дрожала, воздух, казалось, натягивался, как барабанная кожа, и с потолка сыпалась земля.

Неделя принимался дирижировать, чуть наклонив голову, прислушиваясь к хору. Дирижировал он как-то по-особенному, с первого взгляда неловко, неумело, но на самом деле очень чутко и вдохновенно: с прикрытыми глазами и samozабвенным выражением на лице водил перед собой рукой, будто нежно что-то поглаживал. Пели украинские песни, старинные русские, фронтовые — «Землянку», «Огонек», «Темную ночь».

Озеров, не имея голоса, редко подпевал, и то после того, как Дудченко кивнет ему: «Что же вы, комвзвода? Помогайте!» Больше слушал. Песня возвращала его к милому детству, на глазах навертывались слезы. Вспоминался дом, праздничные приготовления, суета, торжественный приход гостей, которые дарили маленькому Вите кто горсть орехов, кто леденец на палочке, а кто просто пирожок с маком, черносливом или творогом. С гостями приходили сверстники, мальчишки и девчонки, завязывались знакомства, устраивались шумные игры. И все-таки самым большим счастьем было другое: попасть между взрослых за стол. Бывало, кто-нибудь из гостей заметит Витю и радостно воскликнет:

— Ты смотри, какой уже большой! А ну-ка подойди, погляжу на тебя... В школу ходишь?

— Не-е, — отвечал Витя, потупившись, зажатый между колен ласкового дяди, представляя школу чем-то далеким, недоступным, за семью замками: еще целых два года нужно расти.

— Ничего, скоро пойдешь. Давай ко мне на колени.

Витя с готовностью подпрыгивал, поудобнее умащивался и тайком косил глазами на огромный стол, уставленный рыбными и мясными блюдами, разными салатами, пирогами, фруктами, винами. На стол хозяйка выкладывала все, что было припасено и приготовлено к празднику, и под конец предлагала гостям горячего борща или соуса, на любителя.

— А тебе чего хочется — лимонада или вина? — спрашивал гость, хитро подмигивая, но Витя, несмотря на огромное желание попробовать того или другого, молчал.

— Рано вино. Обойдется, — слышался голос матери с другого конца стола.

Витя уныло думал: «Не отведать в жизнь вина». Но гость ласково говорил: «Я ему чуток, на самое донышко». А Вите больше и не надо, только бы узнать, что это такое — вино.

Пили за тех, кто жив, и за тех, кого уже нет, но кто оставил о себе добрую память, пили за будущую хорошую жизнь, говорили о нелегкой настоящей, а потом кто-нибудь среди гомона, разноголосицы, споров и объяснений вдруг оглушит всю компанию сильным бодрым запевом:

Хаз-Булат у-да-ло-о-ой,  
Бедна са-кля тво-я...

Гости сразу смолкнут, прислушаются и подхватят уже всем столом:

Золотою казной  
Я осыплю тебя,  
Саклю пышно твою  
Разукрашу кругом.  
Стены в ней обобью  
Я персидским ковром,  
Дам коня, дам кинжал,  
Дам винтовку свою,  
А за это за все  
Ты отдай мне жену...

«Как близко все это душе — плакать хочется! Придется ли когда-нибудь снова услышать голоса родных за большим праздничным столом?» — думал Озеров, притихнув в углу землянки.

— А немцы знаете что поют, товарищ комвзвода? — обратился к нему Дудченко.

— Какие немцы? Что поют? — Озеров вернулся из забытья, с недоумением глядя на ординарца, еще весь там, в далеком детстве.

— Бабы рассказывают: соберутся в кружок, один наигрывает на губной гармошке, а остальные подхватывают:

Нема курка, нема яйка,  
До свидания, хозяйка!  
Нема пива, нема вина,  
До свиданья, Украина!..

Так фрицам и гансам тоскливо, так грустно делается, что иные слезу пускают. Это же надо! Прижились, уходить неохота.

— Еще бы! — Командир роты презрительно скривил губы. — Небось не то, что в песчаной Пруссии: брюква, да картошка, да жидкий супик (две-три клецки плавает, и дно тарелки видно, как дно родникового ключа), да киселек клюквенный... Бывал я у них на обедах, до войны год прожил в Германии.



— А на Украине пояса от голодухи не затягивали, — усмехнулся Дудченко. — Бабы говорят, мясо жрали, макая в сметану. Оттого так жалостливо прощаются.

Озерову немецкие напевы напоминали скорее голодные позывы желудка, чем грустное прощание с любимившейся Украиной. И снова он целиком ушел в себя, в свои думы, и снова поплыли другие картины, другие лица.

О будущем на войне не задумываются и меньше всего говорят, поэтому, наверное, так часто обращаются к прошлому. Праздничный стол, гости, возбужденный, счастливый мальчик Витя — давно или недавно это было? Кажется, только вчера и в то же время будто минула вечность...

Уже за Южным Бугом, спускаясь вечером гуськом к большому селу в балке, минометная рота напоролась на засаду. Кому-то пришлось в голову свернуть с дороги, взять левее, в поле с бурыми кучами разворошенных стогов соломы. Не хотелось лезть в солдатскую толчею, хотелось занять квартиры посвободнее, но это желание обернулось несчастьем. Из села ударил пулемет, все кинулись за стога, один Подорожный замешкался, и его вели уже под руки, с закинутой назад головой, обрызганного кровью. Пуля угодила в щеку и вышла через шею, выбила несколько зубов. После всего этого странно было видеть на дороге движение войск в прежнем порядке, как будто ничего не случилось. И минометчики влились в общий поток, а немцы с пулеметом пусть сидят в селе хоть до конца войны!

— Вы не верите в приметы, товарищ комвзвода, а я верю, — сказал Дудченко.

— Ты о чем? — отозвался Озеров, закутываясь в плащ-палатку, бредя по обочине дороги, выбирая, где потверже.

— Да все о Подорожном, который золотые зубы у мертвых фрицев выбивал. Вот его и самого стукнуло по зубам. Видели? Штук пять выплюнул.

— Вставит золотые.

— Не-ет, уж лучше свои.

— Ну как Бибеев, оставил тебя в покое? За бриллиантовую подвеску не попало?

— Нашли подвеску. Нестеренко отдал ее за бутылку шнапса Подорожному. Верьте, комвзвода, обязательно стукнет на войне того, кто зарится на чужое!

\* \* \*

Лазарев торопил офицеров. Зеленая рация командира дивизии то и дело опережала колонну. Связисты с наушниками покручивали рукоятки, иной раз из ящичков вырывалась гортанная немецкая речь. Озеров не раз слушал в радиопередачах лающий, неприятный голос фюрера. И немецкий язык казался резким, отрывистым, как будто немцы не разговаривали, а отдавали друг другу команды. Озеров где-то читал, что в охотничьей своре императора Вильгельма была собака, ясно произносившая несколько

ко немецких слов. Это не особенно удивляло заморских гостей, знакомых с характерным звучанием немецкой речи.

— О чем они? — спросил Озеров, наклоняясь к рации. Связист прислушался, пожал плечами. Офицер-штабист перевел:

— Генерал отчитывает полковника: оставил позиции, бросил технику. А тот ему: «Приезжайте на передовую, сами посмотрите, что тут делается. Машины потонули в грязи, лошади падают, солдаты еле волочат ноги!»

Дудченко весело подмигнул:

— Не удержался фриц за гриву, а за хвост и подавно не удержится!

Пожалуй, в истории войн не было сражения на таком огромном пространстве и в такое время, когда не только ехать, но и идти по вязкому украинскому чернозему было неважно. «Пропоров» на сотни километров по фронту немецкую оборону, солдаты шли мимо второпях сожженных автомашин, брошенных орудий, затоптанных в грязь армейских канцелярий, мимо трупов крутобедрых бельгийских лошадей, которым не под силу оказались проселочные дороги.

Впервые за всю войну Озеров увидел оставленную на огневых позициях дальнобойную батарею — каждая пушка величиной с двухэтажный дом. До чего же туго пришлось немцам, что даже дальнобойную батарею они не успели увезти! А русские солдаты откуда-то брали силы еще помочь застрявшим грузовикам и орудиям. Чего только не висело на броне танков: про запас бревна для гатей, бочки с горючим, ящики снарядов и мин. Между десанниками, натянувшими до бровей капюшоны зеленых плащей, сидели бабы в мужских сапогах, закутанные в шали: напросились подвезти до села и судорожно вцепились в поручни, сами не рады своей смелости, в то же время не выпуская из рук плетеные корзинки с гусынями.

За этот поход у Озерова на многое открылись глаза. Он понял, что немцы дерзки, нахраписты лишь тогда, когда на дворе сухо и тепло. Тут они могут ошарашить, погнать, окружить, но стоит испортиться погоде, а противнику ожесточиться, как они быстро охлаждаются, теряются и, в конце концов, превращаются из храбрых «золдатен» в мокрых куриц, которые теперь то и дело выходили навстречу из домов, выбирались из окопов с поднятыми руками, не попадая зуб на зуб, «...столь же беспомощные при неудаче, насколько бывают дерзки при успехе», по верному замечанию римского историка Тацита о древних германцах, читанного когда-то Озеровым, а было это «когда-то» всего-то три года назад, но такой долгой, как целая жизнь, казалась война. Тогда Озерову было девятнадцать, теперь двадцать два. Душою он оставался в том, довоенном, времени, поэтому, наверное, слыл в батальоне «штатским» офицером.

Еще во втором эшелоне Лазарев построил офицеров и прошелся вдоль шеренги.

— Хочу посмотреть, как вы умеете ходить строевым. Наверное, отвыкли в окопах... Рравняйся! — крикнул он натренированным голосом, от-

ступая на шаг от строя, и офицеры дернулись головами вправо, глядя на долгоязого пулеметчика, старшего лейтенанта Кравцова, правофлангового, однокурсника Озерова по военному училищу. Озеров до сих пор оставался младшим лейтенантом, а Кравцов, перейдя из стрелковой в пулеметную роту, получил старшего и ходил гоголем.

— Животы! Животы! — покрикивал генерал, и офицеры подтягивали животы, выпячивали груди, равняя шеренгу.

— Смирр-на!

Офицеры дернулись головами, теперь уже глядя прямо перед собой. Застыли намертво.

— Вольно, — произнес расслабленно Лазарев, довольный строевой выправкой своих командиров, и подошел к правофланговому Кравцову: — Вот вы, старший лейтенант, два шага вперед!

Кравцов выпал из строя, выбрасывая перед собой длинные, прямые ноги, и после двух шагов стал, как наткнулся на столб.

— Вот вы, старший лейтенант, — продолжал Лазарев, — представьте себя на военном параде в Праге или в Вене в День Победы.

Кравцов самодовольно ухмыльнулся и недоверчиво посмотрел на генерала: «Какой там парад, да еще в Вене!»

— Да, да! Обязательно дойдем до Вены, до Праги, до самого Берлина.

На фронте каждый думал: «Если уцелею, кончится война — какая будет жизнь?» Жизнь, казалось, будет необычной, красивой, о которой и думать сейчас, рядом со смертью, было страшно. Но уже чувствовалось: наша берет, победа не за горами, и офицеры верили Лазареву, что это обязательно будет, пусть даже без них — военный парад в Вене или в Берлине.

— Ну, а что о вас скажет гражданское население, если вы строевым не сможете пройти. Что это будут за победители?.. Смирна! — закричал он без передышки. — Ра-авнение нааа-ле-во! Ша-агом арш!

Кравцов высоко выбросил левую ногу и ударил прямой ступней так, что его напружиненное тело тупо ткнулось в землю. От каждого такого шага на плечах подпрыгивали погоны и, словно студень, вздрагивали щеки.

Лазарев пошел следом, приглядываясь сбоку и сам незаметно переходя на строевой.

— Ррыз, два, три! Ррыз, два, три! Ллевой, ллевой... Ооочень напряженно. — Лазарев остановился и шумно выдохнул. — Свободнее, свободнее держитесь, старший лейтенант... Кррууу-гом! — скомандовал он, и Кравцов, сделав крутой поворот, пошел на свое место в строй.

— Теперь, теперь... — Лазарев обшарил глазами шеренгу и устался на Озерова. — Вы!

Озеров не в пример Кравцову шел свободно, вразвалку. Генерал неодобрительно закачал головой.

— А это уж слишком вольно! Это уж, извините, по-бабьи.

Политрук тем более из Озерова не получился бы. Тогда же, во втором эшелоне, ему поручили провести с солдатами беседу, и он, решив, что это для него пустяк, уверенно зашел в круг расположившихся под деревьями минометчиков и первую заученную фразу сказал на редкость бодро и непринужденно. Сказал и запнулся и с ужасом почувствовал провал в памяти. Мысль ускользала, как ртутный шарик из-под рук. Он торопливо подбирал слова — пограмотнее, поумнее — и говорил сбивчиво, длинно, непонятно. По тому, как солдаты опускали глаза или смотрели в сторону, Озеров понял, что им стыдно за своего командира. И чем больше он думал об этом, тем сильнее смущался и краснел. Он забормотал уже совсем бессвязное и через пятое на десятое кое-как закончил.

Озерова начальство недолюбливало за штатские манеры. Он до сих пор остро переживал, вспоминая беседу с особистом капитаном Бибеевым тогда же на формировке:

— Как же так, младший лейтенант? Наши войска приближаются к границам чужих государств, враг делается ожесточеннее, подлее, а вы толком не смогли поговорить с солдатами. Мололи чепуху!

Из всей беседы почему-то запомнилось то, что «наши войска приближаются к границам чужих государств». Прежде Озеров об этом как-то не думал, «чужие государства» казались за долами, за горами, за семью замками, а ведь точно: не успеешь оглянуться, как очутишься в Румынии или даже в Австрии.

— Вы так рвались в армию, — продолжал особист, — что от вас можно было ожидать большего. — И весело сощурил глаза.

Виктор уже не раз задавался вопросом: не встречал ли он прежде особиста, что-то знакомое лицо? А теперь живо припомнил кабинет с портретом Дзержинского на стене в заводском управлении и тогдашнюю мысль о том, что особисту, наверное, тоже неловко отсиживаться глубоко в тылу, в то время как его сверстники на фронте.

— А как же вы? Сбежали с завода по моему примеру? — спросил Виктор, улыбаясь, и от сердца отлегло. Вот, оказывается, почему он ловил на себе иронические взгляды капитана, да и был тот придиричив наверняка по той же причине...

— Комвзвода Озеров! Комвзвода Озеров! — неслось по колонне, приближаясь.

— В чем дело? — откликнулся Виктор.

— К капитану Бибееву!

— Ну, теперь не даст покоя. — Виктор переглянулся с Дудченко, и тот виновато опустил глаза:

— Будь она неладна, эта коробка! Сколько из-за нее неприятностей, знал бы, никогда не взял.

Озеров оправил шинель, подтянул обвисший пояс и зашагал в хвост колонны, которая остановилась посреди какого-то села. Команды располагаться не было, и солдаты стояли, прислонясь к повозкам, перекуривали. Между тем штаб полка уже занял дом. Писаря снимали с повозок по-

ходное имущество, офицеры развернули двухверстки, ориентируясь на местности.

Бибеев занимал отдельную комнату, сидел за столом и на разостланной газете с завидной ловкостью разбирал свой ТТ.

— А, младший лейтенант! Приветствую. Садись, — встретил он Озерова дружелюбно-насмешливо, в то же время не отрываясь от пистолета, внимательно осмотрел боек, потрогал подушечкой указательного пальца.

— Вроде острый, а дает осечку.

Озерову послышался намек на свои служебные промахи. За внешним дружелюбием капитана он подозревал неприязнь к себе.

— Как солдаты? Небось, обиделись на особиста? Отобрал трофеи как будто для допроса «важной персоны», а присвоил себе — так говорят, нет?.. Видишь ли, Озеров, мы с тобой уже беседовали о происках вражеской агентуры. Случай с драгоценностями это подтвердил. Немец отстал от своих умышленно, и коробка помогла точно установить его личность!

Бибеев искоса взглянул на младшего лейтенанта.

— А ты, конечно, думаешь: «Привязался из-за пустяка, не дает покоя». Так, нет? Не пустяк, не пустяк, товарищ младший лейтенант.

— Я-сно, — скучно протянул Озеров, ожидая нудной нотации.

— Я вот смотрю на юное невинное лицо, и думаю: наверное, Гитлер таких имел в виду, когда рекомендовал для своих чиновников «12 заповедей». Слышал про такие? Нет? В них, между прочим, русских называют «женственными и сентиментальными».

— По-вашему, я сентиментальный? — обиделся Озеров.

— Есть, есть в тебе штатская расхлябанность!.. Пожалуй, не зря в тех же «Заповедях» говорилось: «Не разговаривайте, а действуйте! Русского вам никогда не переговорить и не убедить словами. Говорить он умеет лучше вас, ибо он прирожденный диалектик и унаследовал склонность к философствованию...»

«Понес... На языке мед, а под языком лед» — уже не сомневался Озеров и сделал глуповато-послушное лицо.

— Я не собираюсь тебе читать нотацию, младший лейтенант. Хочу только спросить: плохо это или хорошо?

— Что?

— Женственность.

— Чепуха какая-то!

— Под женственностью русских немцы подразумевают доброту души, отходчивость, жалостливость к слабому. Ну, что ж, по-моему, это не так уж плохо, если, конечно, не переходит в недопустимую для армии штатскую расхлябанность...

«Далась ему эта штатская расхлябанность! — подсадовал Озеров. — Что он хочет от меня? Зачем вызвал? — терялся он в догадках, подозревая, что за этим ничего не значащим разговором кроется что-то серьезное. — Уж не думает ли он предложить мне «сотрудничество»?»

Озеров слышал от одного офицера, что однажды особист сделал ему такое предложение. Офицер вежливо, но решительно отказался, не желая прослыть соглядатаем среди своих товарищей.

— А, знаешь, младший лейтенант, русские офицеры кончали жизнь самоубийством, отказываясь расстреливать латышей и эстонцев во время карательных экспедиций пятого года, тогда как офицеры-немцы расправлялись с восставшими безжалостно, жестоко. Об этом писал Ромен Роллан Максиму Горькому. Не читал его письма?

«Вон куда занесло! Хочет уверить меня в своей порядочности?» — пытался младший лейтенант «раскусить» особиста. Не имея отечественного личного оружия (носил трофейный десятизарядный бельгийский браунинг в черной твердой кобуре), он с завистью наблюдал, как Бибеев заученно, легко отделял часть от части, протирал фланелькой и смазывал маслом на кончике указательного пальца. Потом в какую-нибудь минуту собрал пистолет и, оттянув затвор, дослал в ствол патрон. Затвор щелкнул упруго и звонко. Бибеев поставил пистолет на предохранитель, сунул в кобуру.

— Да, да, перебежчик оказался важной персоной, такого видеть прежде не доводилось, — продолжал он, как видно, под большим впечатлением от допроса в штабе. — И весьма образованный, начитанный человек. Признаюсь, даже приятно было с ним поговорить. Это он рассказал мне о «Заповедях» и под конец нашей беседы заметил, что русская интеллигенция, по его мнению, обладает особым обаянием и искусством влиять на характер немца...

А? Каково? Но, как ты, Озеров, используешь это преимущество, окажись не сегодня-завтра в Германии, если на своих солдат, как я подозреваю, у тебя слабое влияние?.. Ладно, ладно, не сердись. Я к слову... Кстати, ты читал «Воспоминания» Бернгарда Бюлова? Нет? Ммм... Озеров ты Озеров. Не зная Бернгарда Бюлова, не будешь знать духа немецкой аристократии. Из канцлера Бюлова выплеснулась такая желчь, что как бы вывернулось наизнанку все политическое нутро Германии. Как же ты, Озеров, не читал Бернгарда Бюлова? — с некоторым пренебрежением спросил Бибеев, в котором, однако, не чувствовалось желанья показать свое превосходство над младшим лейтенантом. Озеров заподозрил, что таким образом Бибеев низвергал уже не одного своего собеседника, и на капитана снова поднялась обида.

— Представьте, не читал! Успел только закончить десятилетку, да прочитать «Войну и мир», да девять томов «Жан Кристофа» вашего любимого писателя Ромен Роллана, да из древних Платона, Аристотеля, Тацита, Ливия, Сенеку, а Бюлова не успел! — сердито отрапортовал Озеров, но Бибеев будто и не заметил.

— Это, конечно, не беда. Книги можно прочитать, университет закончить. Страшно другое — потерять добрую душу! Если вот тут пусто, — Бибеев потыкал пальцем в сердце, — не поможет никакая «внешняя оболочка», в которой Бернгард Бюлов видел спасение для немцев.

— Собственно, зачем я вам понадобился? — выложил, наконец, Озеров долго мучивший его вопрос.

Бибеев пристально взглянул собеседнику в глаза, и младшему лейтенанту показалось, что вот сейчас он и заговорит о «сотрудничестве». От одной мысли, что, отвечая, надо будет как-то изворачиваться, Озерову стало не по себе. Бибеев улыбнулся и после довольно продолжительной, испытывающей паузы сказал:

— Должен я знать офицеров своего полка или нет?

— Чем они дышат? — не преминул съязвить Озеров.

— А как же! Должность обязывает. Вот и тебя лучше узнал, и наша беседа, признаться, мне была очень приятна, не знаю, как тебе.

— Мне тоже, — снова съехидничал Озеров.

— Так на чем мы остановились? — спохватился капитан с видом увлеченного разговором собеседника. Озеров все терялся в догадках, но исподволь, незаметно для себя, заинтересовался: особист поворачивался к нему какой-то своей другой, пока непонятной стороной.

Озерову не довелось поговорить ни с одним немцем: что за люди? Какие идеи ими движут? А о своем враге хотелось знать больше того, что писалось в газетах, и он позавидовал Бибееву, общавшемуся с пленными, и спросил о немце, у которого Дудченко отобрал коробку с драгоценностями. Что за гусь?

Бибеев не уклонился от ответа, а с охотой поделился своими впечатлениями. Как выяснилось, пленный был не немец, а мадьяр. На нем мешковато сидела солдатская шинель, видно, с другого плеча. Холеное лицо, мягкие белые руки — не из простых. Пережитый страх от встречи с русскими на передовой владел им и на допросе. Он заискивал, улыбался, как обычно пленные, и очень обрадовался, когда Бибеев заговорил по-немецки. Мадьяр знал этот язык в совершенстве и заявил, что имеет важное поручение от регента Хорти, но что сообщит о нем только командующему фронтом. Язвительно он сказал: «Гитлер подлый, лживый человек. Я видел его неделю назад».

Было странно слушать рассказ о перебежчике оттуда, куда Озеров мог попасть лишь невидимкой. Он мысленно перенесся в дальние дали: «А что происходит там и там в этот самый день и час, когда он слушает Бибеева? Что делает тот и тот?» Пытался вообразить нашу Ставку, Верховного, потом без всякой связи противную сторону, Гитлера, который ему часто снился, как, впрочем, и Сталин.

— Ну и как фюрер? Не думает кончать войну? — поинтересовался Озеров уже серьезно, без тени иронии.

— Такой же вопрос я задал перебежчику, — ответил Бибеев. — Он пожал плечами и сказал: «Трудно понять, что думает этот человек. Возможно, он и сам не знает, что предпримет завтра или даже через час. Политическая жизнь в «третьем рейхе» осложнилась». Тогда я спросил его, по какому делу он встречался с Гитлером. «Я сопровождал Хорти. Это была миссия в Германию, немцы нас пригласили для переговоров и об-

ставили, как дураков. Должен вам признаться, я никогда не ожидал такой подлости от «великого союзника». Пока мы находились в Берлине, немецкие дивизии оккупировали Венгрию. На родине я почувствовал себя иностранцем и едва унес ноги из Будапешта: немцы собирались меня арестовать, — убеждал мадьяр. — Брильянтовая подвеска и золото, да вот еще фальшивые английские фунты. — Он достал из внутреннего кармана френча зеленую пачку. — Это малая часть перехваченного венгерской разведкой у немецких агентов, когда они переправлялись в Турцию. Фальшивые деньги и драгоценности предназначались для подкупа дипломатов и чиновников. Возможно, немцы еще надеются вовлечь турок в войну на своей стороне»...

— Вот такие дела, Озеров, творятся по ту сторону фронта. Не каждый генерал про то знает. (Младшему лейтенанту дали понять, как это надо ценить, коль ему стало известно то, что недоступно генералу). — Интересно мне было узнать и о настроении в венгерских военных и политических кругах, среди тех, кто собирался в 41-м году вернуть гонимых<sup>1</sup> с войны «еще до начала уборки урожая», какое брожение началось на Балканах ввиду приближения наших войск к Днестру и оккупации Венгрии немцами.

— Ну, а почему Гитлер не спешит заканчивать войну, я тебе отвечу, — подвел итог своим рассуждениям Бибеев. — Древнегреческий тиран Дионисий по этому поводу сказал, что с властью надо прощаться тогда, когда тебя поволокут за ноги, а не когда верхом сидишь на коне.

У Бибеева к Гитлеру было свое отношение, больше насмешливое, чем злое, чего не понимал неискушенный в политике Озеров. Германия рано или поздно должна была потерпеть поражение, в этом младший лейтенант не сомневался с первого дня войны, меньше всего веря в то, что у немцев вот-вот иссякнет бензин и останятся танки, что пролетариат Германии поднимет восстание, как тогда говорили и писали газеты. Была как бы врожденная убежденность, что Россия непобедима.

Слушая капитана, Озеров вспомнил предвоенное время, когда у друга, соученика по философскому факультету воскресного университета, проводил долгие часы в спорах и беседах. А он-то думал, что от доброго прошлого ничего не осталось, война смела начисто и друзей, и университет, оставила только передовую, грязь, ругань, кровь, мертвецов.

С присущей добротой к людям Озеров заключил: «Не может капитан быть таким искренним притворно». И в порыве нахлынувших чувств, жаждая справедливости, воскликнул:

— Я уже давно пытаюсь понять, почему иной раз встречаю противника там, где должен быть друг. Почему, случалось, правда, высказанная мною, в глазах других выглядела ложью. И мне, как Сократу, не дает покоя вопрос: почему так получается, что человек знает, что хорошо, а делает то, что плохо?

---

<sup>1</sup> Солдаты венгерской регулярной армии.



Бибеев заинтересованно посмотрел на младшего лейтенанта, усмехнулся и покачал головой:

— Камешек в мой огород?

— Да нет. Вообще, — схитрил Озеров. Недавно Дудченко сделал вывод, что особист «свой, простой человек, а я-то боялся его!» Эти слова Озеров передал Бибееву.

— Своей простотой, — ответил тот, — я любого сложного разложу на части, как пистолет ТТ. а вот мою простоту ни один «сложный» не разложит. — Прозвучало бахвальством, но Озеров поверил.

Бибеев не торопил гостя, был внимателен и отзывчив. Незаметно для себя они проболтали до ужина. Озерова волновало в жизни многое: и судьба поколения, обескровленного войной, и судьба самой России. Он терпеть не мог грубость, простецких отношений, которыми щеголяли офицеры даже высших чинов. В своей среде он искал друзей близких по духу, с кем мог бы поделиться сокровенными мыслями и не услышать равнодушного ответа. Казалось, в Бибееве Озеров встретил человека близкого по взглядам на жизнь. Капитан покорял собеседника своим живым и каким-то дисциплинированным умом, которого недоставало всегда сомневающемуся в себе Озерову.

Бибеев вспомнил, что лечился с сержантом Костей в госпитале на Эльтоне, что нашел много общего у молодых людей — горячее желание разобраться самим, что же происходит в потрясенном мире?.. Не тот ли это Костя, Котик — друг детства, а потом соперник? Когда-то трое юношей любили одну девушку (а было это всего-то года три-четыре назад), но теперь и капли неприязни Озеров не обнаружил в себе к другу детства. Все перипетии отношений с Ниной отодвинулись так далеко, что как бы доносились лишь их слабые отголоски, не трогая сердце. И он не стал спрашивать капитана про Костю.

Озеров пробирался в роту вдоль забора, мимо полкового обоза. Моросил дождь, тучи сплошь закрывали небо. При постоянной опасности налета немецких самолетов солдаты не очень тужили о хорошей погоде. Село уцелело, но все равно не радовало глаз: наверное, с довоенного времени не белены хаты, не чинены заборы, многие вовсе снесены. Люди тоже не блистали нарядностью, словно дали зарок не бриться, не менять будничную одежду до конца войны. И все же жизнь их не казалась Озерову безысходной. В каждом, даже самом пострадавшем человеке, несомненно, теплилась надежда на лучшие времена.

А что же особист? Об этой породе у Озерова было другое мнение, правда, понаслышке. А теперь самому пришлось столкнуться лицом к лицу, и прежнее представление о «железном Феликсе» поколебалось. На самом ли деле Бибеев добряк, за которого себя выдает? Все-таки по какой надобности он вызывал? Почему так разоткровенничался? Не расставляет ли сети для наивного офицеришка?.. Как бы ни был доволен Озеров общению с Бибеевым, сомнения не оставили его.

Генерал Бирюков прилетел в Москву в пасмурный апрельский полдень. На аэродроме его ждала коричневая кремлевская «эмка». Холодный ветер вылизывал асфальт взлетного поля с кучами талого снега по краям. Грязно-серый, крупчатый, он еще сплошь покрывал сосновый бор и блюдцами белел под зелеными изреженными елями на широких прогулах вдоль шоссе. В приоткрытую створку смотрового окна тянуло ростепелью, лесной прелью, хвоей. Весна туго, но напористо проламывалась в северные широты. «Как наша пехота сквозь немецкую оборону», — подумал Бирюков, мысленно возвращаясь назад, на Южный фронт, в свой командный пункт у марганцевых рудников, которые отчаянно защищали немцы.

Непросто было прогрызть пехоте густую сеть колючей проволоки, дотов, сплошных траншей. Кровью полит каждый метр сырой земли. В иные часы Бирюков приходил в отчаяние от неудач: никак невозможно было нащупать слабое место в немецкой обороне, повсюду наши цепи залегали. Может быть, не следовало спешить? Соседи справа продвигались вперед и наверняка вынудили бы немцев оставить рудники под угрозой удара с фланга или окружения. Но командующий фронтом торопил.

Рудники снабжали немцев стратегическим сырьем. Этим и объяснялось их упорное сопротивление. Как бы то ни было, а Бирюков чувствовал себя не в своей тарелке, готов был считать наступление провалившимся. С большими потерями удалось сбить оборону противника лишь на третий день. Тотчас же пришел вызов из Москвы.

Бирюков поглядывал на подмосковные сосновые леса, на рубленые темные избы по скату бугра и необычно легкую, какую-то игрушечную церквушку, оранжево-белую, с золотыми луковками. Местность вдруг напомнила Рязанщину, в которой он прожил немало предвоенных лет, и которая с некоторых пор стала такой же родной, как и Дон, где он родился. Бирюков пытался думать о жене, дочерях, собираясь непременно их повидать, но мысли уводили к предстоящей встрече с Верховным Главнокомандующим. Зачем он вызвал? Сместить? Так это можно было сделать и без вызова. Видно, Верховный хотел узнать все подробности фронтовых перипетий из первых рук.

Еще в самолете Бирюков надумал по прибытии в Москву позвонить домой, искал понежнее слова для жены, слышал ее ответный взволнованный голос и краснел от томивших его чувств. Но увидел кремлевскую «эмку» и звонить домой не решился: как-то обернется встреча с Верховным Главнокомандующим? Лучше потом.

В Ставке генерал уже бывал. Он помнил Сталина в начале войны, во время тяжелых боев под Москвой (тогда Бирюков был начальником штаба корпуса), помнил во время подготовки Сталинградской операции. Все эти встречи были в самые горькие для страны дни. Сталин выглядел усталым, много курил, голос его был хрипловатый, резкий, хотя он сдержи-

вался и не изменял своей медлительной походке, размеренной, неторопливой речи, несколько по-восточному витиеватой, с повторами. Повышал он голос редко. Иной раз даже приходилось напрягать слух. Переспрашивать Сталина генерал не решался.

Был одет он и в первую и в последующие встречи всегда одинаково: еще с довоенного времени носил серый картуз с матерчатым козырьком, такое же осеннее однобортное, перехваченное на талии, как у шинели, пальто и мягкие шевровые сапоги. Сапоги всегда зеркально блестели. Последний раз Бирюков видел Верховного в светлом френче с наставными карманами, без каких-либо знаков отличия, и в наутюженных, немного мешковато обвисавших брюках, заправленных в сапоги. Вызванные с фронтов генералы сидели за столом, а Сталин, делая разбор обстановки, мягко ступал по ковровой дорожке вдоль стола своего сводчатого кабинета. Говорили, что невозможно было заставить Верховного изменить традиционному полусолдатскому, полугражданскому костюму. Но вот недавно он получил маршальское звание. И Бирюков пытался представить его в новой форме и думал: «Какой будет разговор? Какое настроение у Верховного?»

Генерал Бирюков быстро поднимался по службе и в молодые годы достиг вершин, доступных многим только в старости. При своей высокой должности и большой власти он в душе оставался простецким человеком, отчасти еще тем полуголодным курсантом Кремлевской школы, в которой учился двадцать лет назад. Он мог гордо и властно отдать приказ седовласому генералу, своему подчиненному, а в узком кругу друзей на спор пройти на руках через весь двор. На вид он был намного моложе своих сорока лет, с неморщинистым белым лбом, ищущими пытливыми глазами, большим прямым носом, настоящий русак, из тех, что никогда не считаются с собой, не знают отдыха в работе, и Бирюков слыл непоседливым генералом, отличался необычным усердием, помня, каким был, каким стал. А был он не так уж давно босоногим мальчишкой и разве только тем выделялся среди сверстников, что предводительствовал в драках и налетах на чужие сады и огороды. Он и теперь не отказывался от своего прошлого, с теплотой вспоминал донскую станицу, большой дом под цинком, голубятню во дворе, стариков родителей. Помнится, каждый его приезд домой выливался в настоящий праздник. «Сережка, Сережка-то в командирах ходит, а давно ли босыми пятками сверкал?» — покачивали головами станичники, и мать не знала, чем услужить сыну, глаз с него не спускала, а отец, хватив на радостях с утра, похвалялся перед гостями: «Каков орел, а!» Всех, кто жаловал в дом, усаживал за стол и молодецкато задавал под баян трепака: знай наших!

Увы, недолго было семейное благополучие. В одночасье все переменилось. Бирюковых раскулачили, стариков сослали в Сибирь, а сыновья их разбрелись по югу России. Сергей, командир полка, узнал об этом в Средней Азии, воюя с басмачами, ждал со дня на день больших неприятностей, чуть ли не увольнения из армии, ареста. Да, видно, не дотягива-

лась рука «правосудия» в такую даль и глухомань. Песчаные барханы, горные ущелья Памира уберегли молодого полковника от кары, какая постигла многих его коллег в не столь большом отдалении от столицы. Может быть, сыграл тут не последнюю роль и орден Красного Знамени, полученный за талантливую военную операцию.

Басмачи, разграбив кишлаки, укрывались за границей, в Афганистане. Преследовать их дальше значило нарушить суверенитет соседнего государства. И командование экспедиционного корпуса пошло на хитрость — передело командиров и солдат в халаты и чалмы. Сергей записал тогда в дневнике: «Противник пришел в замешательство, увидев нас в необычном одеянии. А мы одну за другой начали громить его глинобитные крепости вдоль афганской границы: Джанкой, Дейдалы, Мазаришериф, Балх, Ташкурган, потом пересекли хребет Кара-Карун и по дороге на Кабул смели с лица земли еще несколько крепостей, и таким образом отбили охоту у басмачей переходить нашу границу и грабить декхан»\*.

Бирюков поймал себя на том, что хмурится, вспоминая прошлое, но тут же встрепенулся: «эмка» въехала на Большой Каменный мост, открылся красный кирпичный Кремль с той стороны, какую обычно изображают на деньгах. На покатых к реке стенах блекли желто-черно-белые росписи крыш домов, окон, деревьев — маскировка. Однако не она спасла Кремль, а хорошая противовоздушная оборона. На всем протяжении пути от аэродрома Бирюков не заметил каких-либо разрушений. Окна в домах все еще были крест-накрест обклеены бумажными лентами, а стеклянные витрины магазинов на три четверти заложены мешками или закрыты двойными фанерными щитами с землей. Кое-где оставались неразобранные, с проходами для транспорта баррикады, отнесенные в сторону рельсовые ежи, железобетонные пальчатые и трехгранные надолбы, хотя Москва уже давно была в безопасности, недоступная для немцев ни с земли, ни с воздуха. Люди выносили из магазинов белые батоны, на полках было предостаточно кондитерских изделий, вин, как и в довоенное время, все, конечно, по карточкам, ограниченно. Взамен хлеба можно было взять любой продукт — водку, торт, шоколад, но не наоборот.

Въехали в Боровицкие ворота, сопровождаемые предупредительным залихватским звонком. Бирюков вышел из машины и предъявил пропуск вместе с военным билетом, зная о придирчивой охране. Серьезный офицер с маузером в деревянной кобуре, с торчащим из нее вороненым дулом, отдал честь, взял документы и долго рассматривал, точно видел такие первый раз.

— Фамилия?

— Бирюков.

— Имя, отчество?

— Сергей Иванович.

— Верно. — Офицер не спешил пропускать машину, поднял пропуск на свет, словно сотенную.

— Звание?

— Генерал-лейтенант.

— Все верно. Пожалуйста, проезжайте!

Любезно улыбаясь, охранник отступил в сторону. Но еще дважды, прежде, чем Бирюков попал к Верховному, его просили предъявить пропуск. Один охранник внимательно и долго рассматривал документ, а другой ощупывал рослую фигуру генерала с ног до головы подозрительным взглядом.

— Оружия нету?

— Нету.

— А с портфелем нельзя.

— Там военные карты, больше ничего.

— Какие карты?

— Фронтвые.

Офицер заглянул в портфель, порылся и вернул, стал по стойке смирно, неожиданно бодро, даже с веселинкой, отчеканил:

— Пожалуй-ста, товарищ генерал-лейтенант!

В небольшом скромном кабинете ничего не изменилось, видно, привычка его хозяина к постоянному костюму наложила свой отпечаток и на обстановку. Тот же длинный стол, накрытый темно-зеленым сукном, с двумя рядами плотно приставленных к нему стульев, та же ковровая красно-зеленая дорожка через всю комнату к другому письменному столу, заваленному книгами и бумагами, с большим портретом Ленина на стене, над креслом (Ленин выступал с трибуны, сжимая в одной руке кепку и страстно выбросив вперед другую руку). Тот же книжный шкаф и тот же черный диван в простенке между окнами. Правда, появилось кое-что новое: портреты Суворова и Кутузова на стенах, модели самолета, танка и другого вооружения на письменном столе и на шкафу.

Эта скромная обстановка напоминала одновременно и кабинет начальника средней руки, и комнату политического просвещения, какую можно увидеть в любом райкоме партии. Строгость и деловитость во всем, пожалуй, нарушала одна гипсовая посмертная маска Ленина под стеклянным колпаком. Кабинет Сталина и его костюм как бы являлись прототипами тех бесчисленных кабинетов по всей стране и тех полувоеенных костюмов, которые носили партийные работники.

На предметах ни соринки, ни пылинки, лишь на ковровой дорожке серело пятнышко нечаянно оброненного пепла. Пахло дорогим табаком.

Когда Бирюков переступил порог кабинета, Сталин и генерал Антонов, заместитель начальника Генштаба, возрастом постарше Бирюкова, выходили из соседней «оперативной комнаты», как ее называли военные между собой, сплошь завешанной картами, посередине с большим глобусом на металлической подставке. Антонов был в сапогах и полевой офицерской форме, только погоны золотые, Сталин — в маршальском мундире, но не парадном, обычном повседневном кителе, а брюки, как и прежде, заправленные в сапоги, сидели немного мешковато. Жесткий валик зачесанных назад волос заметно посеребрел с тех пор, как Бирюков послед-

ний раз видел Сталина — два года назад. Переодень Главкомандующего в обычный гражданский костюм, и его нельзя будет отличить от заурядного кацо-торгаша, каких немало на рынках в русских городах с садовыми дарами Грузии. В общем кавказский тип далеко не породистого склада, с лицом, побитым оспой, и далеко не столь импозантным, каким оно выглядело на кабинетных портретах. Бирюков никак не мог взять в толк, почему представитель столь крохотной горной республики оказался во главе огромного межконтинентального государства, и это уязвляло его национальное чувство, о чем, правда, даже самому себе он признавался не без страха: как бы не заподозрили в нем шовиниста. А предстая перед очи Главкомандующего, начисто забывал свои размышления на этот счет.

Генерал вытянулся по стойке смирно, готовый отдать рапорт, и чувствуя себя неловко от того, что был на две головы выше приземистого Верховного. «Не выше, не выше, голубчик, а длиннее», — вспомнился старый армейский анекдот, и губы генерала дрогнули в улыбке. Напряжение все-таки не прошло. Рапорт Бирюков мысленно произнес десятки раз и в самолете, и в «эмке», был уверен, что отдаст его по всем правилам своим громким грубоватым генеральским голосом, а в кабинете почему-то оробел, притих, боясь сбиться, запутаться, как плохо выучивший урок ученик у классной доски. К счастью, зазвенел телефон. Сталин потухшей трубкой в левой руке показал на стул, приглашая сесть, а сам направился к зеркальному столику с разномастными телефонами. Он внимательно, хмурясь, слушал, чуть наклонив набок голову, потом сердито сказал:

— Довольно мы повозились с ним. Не оправдывает надежд, значит, надо кончать эту возню...

Бирюков совсем упал духом: где-то кто-то не оправдал надежд, Сталин досадовал, настроение у него не из лучших, и Бирюков остро почувствовал полную зависимость своего благополучия, своей карьеры, своей дальнейшей судьбы от того, какой оборот примет встреча с Верховным. «А не обо мне ли был телефонный разговор?» — холодом обожгла догадка.

Сталин взглянул на Бирюкова: «Я про вас не забыл, подождите еще немного», и заговорил с Антоновым, — неторопливо, с паузами, низал слова, как дымные кольца. Оказалось, не оправдала надежд конструкция какого-то нового оружия, и Сталин велел прекратить дальнейшие испытания. Бирюкову полегчало, но не совсем, он сидел строго прямо, положив руки на колени, и ладони от волнения потели.

Сталин потянулся к письменному столу, взял что-то переливчато-серебристое и поднял двумя пальцами на отлет, чуть покачивая. Это была бриллиантовая подвеска.

— Алмазы чистой воды, — сказал он, поглядев на Бирюкова, и вернул подвеску на место. — Такими драгоценностями, выкраденными из наших банков и музеев, Гитлер расплачивается с турками. Правда, он не гнушается подsunуть им также фальшивые английские фунты! — Сталин

пошелестел в воздухе зеленоватыми банкнотами. — Интересно то, что лен для изготовления этих фальшивок немцы закупают в Турции.

Сталин усмехнулся в подсмоленные усы, как обычно сдержанно, не раскрывая до конца своих чувств и мыслей.

— Видно, у молодца золотца — одна пуговка оловца, — присовокупил он.

Бирюков только теперь заметил перемену в этом суровом человеке. Его улыбка говорила об успехах на фронте и уверенности в победе, и была в ней также злая ирония, торжество над вероломным, подлым врагом.

— Немцы, возможно, еще мечтают втянуть Турцию в войну, — сказал Антонов с озорством в глазах: на самом деле он сомневался в такой возможности.

— Немцы рады сейчас и нейтралитету, — возразил Сталин. — Для них важно заполучить из Турции хромовую руду. Теперь это их единственный источник важнейшего компонента сверхпрочной стали... единственный после того, как генерал Бирюков отбил марганцевые рудники.

Сталин вернулся к Бирюкову и посмотрел теплым, добрым взглядом, который сразу же успокоил генерала и который говорил о перемене к лучшему. Бирюков хотел встать, но Сталин покачал трубкой, разрешая сидеть, а сам мягким шагом пошел по ковровой дорожке вдоль длинного стола, к Антонову.

— А знаете ли вы, что значат наши рудники для немцев? Марганец — это прочная сталь, броня для танков. Марганец сейчас нужен маньяку Гитлеру, как воздух. Вот почему он приказал всеми силами держать оборону, и вот почему армии генерала Бирюкова пришлось так трудно. И вот почему, как только рудники пали, маньяк Гитлер сменил командующего южной группой армий и заявил, что этот генерал прекрасный стратег в наступлении, но оборона, дескать, не по его масштабу. — Сталин пососал трубку, раскуривая. — Да, в последнее время господин Гитлер стал сердитый, как тот Федул из присказки. Помните? «Федул, что губы надул? Да кафтан прожег. Зачинить можно? Да иглы нет. А велика дыра? Да один ворот остался».

«Неплохо усвоил фольклор! — с усмешкой подумал Бирюков. — А я недоумевал, почему пишет в анкете: родной язык русский».

Сталин повернул от Антонова к гостю.

— Нынешним летом мы должны лишить подлеца Гитлера турецкой хромовой руды, заменяющей ему марганец, должны прервать его связи с Турцией, должны вступить на Балканы с освободительной миссией. Второй Украинский фронт первый из всех фронтов вышел на государственную границу Советского Союза, форсировал Днестр и захватил плацдарм на румынской территории. Это еще одна большая победа. Это еще один праздник на нашей улице.

Закругляя мысль, Сталин по обыкновению нанизывал одну пояснительную фразу на другую, что придавала его речи цветистость. Своеобразно звучали и вворачиваемые словечки, вроде: «Разбейте мерзавца

Манштейна! Хватит вам крохоборствовать! Почему армия болтается в резерве? Пора начинать переселение Миусского фронта. Занять Николаев, влезть в Одессу!»

Снова зазвенел телефон, и Сталин с неудовольствием посмотрел в ту сторону, хотел что-то сказать, может быть, попросить Антонова снять трубку, но сам пошел к столу. Лицо его посветлело, как только он узнал, кто звонит.

Разговор длился минут пять, и Бирюков без труда догадался, кто был на проводе.

— Это заманчиво, — ответил Сталин на какое-то предложение. — Но мне кажется, у вас недостаточно сил для удара. А я вам ничем помочь не смогу. Мы сейчас готовим крупную операцию «Багратион». Так что, давайте повременим с вашим планом. Зарывайтесь поглубже в землю!

Сталин положил трубку, покачивая головой больше поощрительно, чем осуждающе, и глаза его весело блеснули.

— Наши генералы разошлись не на шутку. Не хотят давать немцам покоя. Командующий Вторым Украинским фронтом предлагает ударить на город Яссы и далее на юг, до Черного моря, распотрошить немцев на Днестре и таким образом без оперативной паузы перейти к освобождению Балкан. Заманчиво. А как вы на это посмотрите? Вы только что с фронта, вам виднее.

Сталин пытливо уставился на Бирюкова, и тот понял, как много будет значить его ответ.

— Солдаты больше месяца в наступлении, устали, — сказал он и тотчас вспомнил бой за марганцевые рудники, свою сильно поредевшую армию, растянутые по раскисшим фронтовым дорогам тылы. Но и немцы сильно были потрепаны. Они бросали и подрывали военные склады и технику, возможно, командующий Вторым Украинским фронтом прав. Надо не дать немцам опомниться и закрепиться на Днестре. Бирюков с досадой подумал, что поспешил с ответом и произвел плохое впечатление.

А Сталин уже склонился над оперативной картой и водил пальцем по красному клину, упершемуся в город Яссы. Даже несведущий человек увидел бы выгодное положение наших войск для удара на юг.

— В первую минуту, признаться, я поддался соблазну, — сказал Сталин. — Но вы, генерал Бирюков, рассеяли мои сомнения. Наши солдаты прошли сотни километров в распутицу, преодолели две водные преграды. Конечно, устали.

— А турки уже бьют тревогу, — сказал Антонов. — Они считают, что теперь Балканы свалятся Советам в руки, как спелый фрукт.

— Бьют тревогу не только турки, — возразил Сталин и повернул по ковровой дорожке от Бирюкова к Антонову. — Бьют тревогу и румыны, и венгры, и даже наши союзники англичане. Премьер-министр Англии Уинстон Черчилль, пожалуй, активнее Гитлера стремится втянуть Турцию в войну на стороне союзников и обещает перевооружить тридцать пять турецких дивизий. Он вообще не скупится на обещания. — Сталин



нахмурился при воспоминании о трениях и разногласиях, какие у него были с английским премьером и которые усугубились в последнее время. — Еще в прошлом году в Турции Черчилль, беседуя с президентом, говорил, что полицейские функции в послевоенной Европе будет нести гигантский англо-американский воздушный флот. Он назвал пятьдесят тысяч самолетов, которые любую агрессию подавят в зародыше. Последнее соображение понравилось туркам, и они тут же подхватили его, спросив, будет ли воздушная полиция подавлять любую агрессию, откуда бы она ни исходила. На утвердительный ответ Черчилля они еще острее поставили вопрос: будут ли такая мера применена в случае русского нападения? Получив вновь утвердительный ответ, они спросили, приведет ли возможный прорыв России на Балканы к действиям воздушной полиции? Черчилль опять ответил утвердительно...

Сталин помолчал, давая слушателям возможность лучше уяснить сказанное, то ли что-то обдумывал. Он с минуту прохаживался по ковру, потом остановился возле Бирюкова.

— Я посоветовался с генералом Антоновым и решил вас назначить начальником штаба фронта, которому предстоит освободительная миссия на Балканах. Как вы на это смотрите?

Бирюков снова попытался встать.

— Сидите, сидите, — опередил его Сталин.

Бирюков сказал, что штабная работа ему известна, но что он уже долгое время командует армией и, кажется, командирская жилка у него покрепче штабной.

— А мы вас впоследствии, возможно, снова назначим командующим армией. Возможно, нам придется одну армию подготовить на случай, если турки попытаются сунуться на Балканы... Кстати, вы засиделись в генерал-лейтенантах. А? Пора вам третью звезду на погоны.

Бирюков шел по кремлевскому двору и спрашивал себя: «Ты ли это, Бирюков?» И словно разделяя его настроение, солнце позолотило трофейные старинные пушки на колесах и без лафетов «дванадесяти языков» и казармы военной школы, в которой генерал учился двадцать лет назад. Бывая в Кремле, он непременно заворачивал сюда, в дорогой ему уголок, погрузить, вспомнить юные годы, однокурсников-друзей, в большинстве своем погибших на фронтах.

«Ты ли это, Бирюков?» — думал он в волнении, останавливаясь перед пушками, внимательно рассматривая, но не видя их.

«Ты ли это, Бирюков?» — спрашивал он себя, заглядывая во двор военной школы, вспоминая голодного, бедно обмундированного курсанта, мечтавшего побыстрее попасть в часть на сытый паек и самостоятельную работу.

Бирюков как бы заново родился на свет, прежний остался где-то по дороге в Кремль, а новый, счастливый сорокалетний человек, бодро шагнул под уклон по мосту Боровицких ворот, к гостинице «Москва», где ему отвели номер. У дежурного администратора он заказал междугородний

разговор, поднялся к себе и не находил места, расхаживал по комнате в нетерпеливом ожидании телефонного звонка. Увидел репродуктор, включил (было время передач последних известий) и поразился, услышав о присвоении ему обещанного Сталиным звания генерал-полковника. Всего-то час, как он из Кремля!

Зазвенел телефон.

— Сережа, Сережа... ты? — беспокойно спрашивала жена где-то далеко, на другом конце провода, и Бирюкову тотчас передалось ее волнение, и он закричал в микрофон совсем не то, что придумывал в самолете. Потом говорил с четырехлетней дочкой, потом с тестем и тещей и каждого спрашивал про старшую дочь Тоню и не мог толком понять, почему ее нет дома. Снова взяла трубку жена.

— А где Тоня? Жива, здорова?

Жена замялась.

— Где же она?

— Уехала к тебе.

— Ко мне? Куда?

— На фронт.

— Ничего не понимаю!

— Уехала в санитарном поезде... Я не пускала, она самовольно. Я тебе все расскажу потом. Ты заедешь домой?

### 3

И на фронте выпадают светлые дни, как прозорины в тучах. Настывшего за поход Виктора Озерова негаданно-нежданно согрело местечко Цебриково, немецкая колония на Одешине. Брели Цебриково утром, в ненастье, когда задул сиверко и вместо дождя повалил снег. В белой кутерьме пехота высыпала на пустые улицы с незнакомо высокими (не то что украинские мазанки), но мрачноватыми на вид домами, уже покинутыми фольксдойчами\*.

Из всего довольно унылого в наступлении — недорытых немцами окопов, россыпей отстрелянных, с зеленоватым налетом медной окиси гильз на брустверах, затоптанного в грязь снаряжения — запомнились два огромных, до потолка, винных чана посреди раскрытого настежь, выстуженного, с цементированным полом сарая. Шли все время по обворованной Украине («Як голодни вовки хваталы, жралы, може наильсь...») — говорили про немцев заплаканные «тетки», вкладывая в руки бредущих по дороге солдат вареную картошку и яйца), а тут эти два наполненных под самые крышки чана. Возле них сразу же выстроилась очередь чуткой на все годное для желудка пехоты — замызганной, насквозь промокшей, не знавшей месяц отдыха.

Красное, мутноватое вино, пузырясь, било из кранов, проливалось мимо котелков на пол и одежду. Его распивали, не отходя далеко, а один нетерпеливый Иван раздобыл цибарку, взобрался по обручам наверх, отки-

нул крышку и черпал через край. Веселое разговленье шло до тех пор, пока не подъехали обозы, но и тыловикам хватило вдоволь хмеля. Дубовые бездонные чаны вспоминались потом, как первые вестники светлых дней, которые еще предстояло пережить Озерову.

Неподалеку от Цебрикова, у лесопосадки, забитой снегом, в солнечный день, сменивший непогоду, когда слепли глаза от белизны, он был ранен пулями навывлет в ногу и ягодицу и вернулся в местечко, постанывая на армейской повозке, болтавшейся из стороны в сторону на разъезженной дороге, всего-то какой-нибудь час назад выйдя на передовую здоровый, отоспавшийся, лишь с легкой головной болью от цебриковского вина.

На передке погонял лошадей ординарец Дудченко в стеганом ватнике, подпоясанный плотным черным ремнем с надписью по-немецки на угловатой алюминиевой пряжке: «Gott mit uns»\* и в сизой цигейковой шапке набекрень, кулаком смахивал с лица пот (он всегда потел и краснел от избытка сил), оглядывался и подмигивал Озерову:

— Малость потерпите, комвзвода. Немного осталось.

Узнав о несчастье, Дудченко махнул прямо на передовую вдоль лесопосадки, что не рискнул бы ни один ездовой среди бела дня; под пулями сначала перетрусил, но взял себя в руки, с крестьянской старательностью уложил Озерова на солому, заранее намощенную в кузове, и, минуя полковую санчасть, помчал лошадей в госпиталь. За месяц наступления он сильно изменился, Озеров не узнавал своего прежнего скромного ординарца. Казалось, он был рожден для фронтовой солдатской службы, не любил строевой выправки и разных уставных правил, называл Озерова не по званию, а просто «комвзвода», но мог для него разбиться в лепешку, достать что угодно, хоть из-под земли, не забывая при этом и себя, и питал большую страсть к лошадям. Чуть ли не каждую неделю он щеголял новой упряжкой, обменивал или умыкал, трудно было понять: для лихого степняка, как одно, так и другое, не было предосудительным. Озеров, по натуре стеснительный, отходчивый человек, каким-то образом сжился с бравым ординарцем, терпел его выходки, и теперь было даже грустно расставаться с ним.

— Эх, по все по трем, коренной не тронь, а, кроме коренной, нет ни одной! — выкрикивал Дудченко на передке, взмахивая кнутом. — Мигом домчим, товарищ комвзвода. Еще малость потерпите.

В госпитале он дождался конца операции, а когда отрешенного, с закрытыми глазами Озерова внесли в палату и уложили на койке, стоял в стороне, не решаясь приблизиться, утешить, подбодрить, но не потому, что не любил (любил и тосковал по Озерову), просто из какой-то боязни, суеверного страха перед раненым. Так и не подошел, а перенес из повозки в палату все трофеи, какие достались в последнем бою, на железнодорожной станции — полный вещмешок продуктов.

Озеров, разбуженный возней возле койки, приоткрыл затуманенные болью глаза и тотчас закрыл их. Дудченко наклонился, шепнул на ухо: «Поправляйтесь, комвзвода...» — и тихо, на цыпочках вышел из палаты.

Фронтальной госпиталь развернулся в школьных классах, наскоро перестроенных под приемную, операционную и палаты. Все здесь было для Озерова непривычно: белизна простынь, женские руки, поправляющие подушку, запах хлороформа, хирург, что-то насвистывающий себе под нос в то время, как скальпель в его руках распарывал живое тело. Как видно, на этот раз он не был завален работой: наступление проходило с малой кровью, немцы откатывались к Днестру, выставляя лишь заслоны пулеметчиков, бросая обозы и артиллерию, а на железных дорогах — целые составы снаряжения и продовольствия. Рано утром, с ходу ворвавшись на станцию Красный Кут, где немного погодя был ранен Озеров, танкисты с первого выстрела угодили в паровоз под парами. Длинный состав сахара, автомашины, повозки — все было брошено, и на железнодорожном полотне вперемешку с побитыми лошадьми вразброс лежали калмыки-ездовые в зеленой немецкой форме. Для Озерова это было неприятным открытием, прежде он лишь слышал об измене калмыков, воевавших на стороне немцев. По мере продвижения на запад власовцы все чаще напоминали о себе.

В госпитале, пожалуй, еще сильнее понимаешь, что такое война. Легкораненый Озеров увидел во всей неприглядности то, чего по счастливой случайности избежал. Человек, казалось, спокойно гревшийся на крыльце под нетеплыми апрельскими лучами, вдруг повалился на бок: ему свело руки и ноги, переломило спину, скрючило лицо. Прибежала сестра, сделала укол, и несчастного отпустило на какое-то время, но Озеров потом узнал, что болезнь столбняка зашла далеко и не поддавалась лечению.

В той же палате, бывшей учительской, лежал тонколицый, светловолосый юноша с раной в ладонь на бедре. При каждой перевязке два-три раза в день из этой раны откачивали по стакану гноя. Юноша выглядел стариком, будто провел в госпитале полжизни и смирился со своей судьбой надолго прикованного к постели человека. При немошном угасающем теле у него была удивительно ясная голова, он неожиданно высказывался о том, что, казалось, не должно занимать его: молодость отчаянно боролась со смертью. Юношу вскоре увезли в тыловой госпиталь, и мало было надежды на его выздоровление.

Первый день после операции Озеров чувствовал себя скверно, к еде было полное отвращение, и все богатство Дудченкова вещмешка — банки консервов, буханки хлеба, сыры, сахар, конфеты — раздал соседям по палате, удивляясь, с какой охотой они приняли его подарки и в один день разделались с ними. Потом, набираясь сил, он с сожалением поглядывал на пустой вещмешок. Оправился уже через неделю, а через две встал на ноги и остальное время лечения в госпитале развлекался, как хотел, вне палаты. Долго не заживала рассеченная хирургом голень в том месте, где вышла пуля: рана терлась о голенище сапога. Правда, боли уже давно

прошли, Озеров свободно ступал ногой, можно и отправляться в часть, но его не выписывали, видно, большой нужды в офицерах не было. Тяжелораненых в Цебрикове вообще не осталось, их всех эвакуировали в глубокий тыл, а легкораненых перевели в другой госпиталь. Постепенно поселок заполнился военным и гражданским народом, так что все покинутые фольксдойчами дома были заняты.

Открылся клуб, потом санаторий. До госпиталя, кроме окопов, продымленных землянок, грязных, забитых обозами фронтовых дорог, Озеров ничего не видел, а тут началась беспечная тыловая жизнь, о которой он и не подозревал: концерты, кино, вечера в клубе, танцы в санатории под оркестр скрипачей-молдаван. Медсестры и девушки-украинки, привлеченные на тыловые службы из окрестных сел, были нарасхват.

Озеров не ожидал, что жидкую цепочку наступающей пехоты подпирает такое мощное основание, как тыл, и было непонятно, отчего, когда рвалась цепочка, все здесь приходило в смятение, рушилось и разваливалось. Несмотря на это, фронтовики чувствовали себя в Цебрикове неуверенно, стеснительно, в то время как тыловики выглядели хозяевами положения. Постепенно Озеров освоился на новом месте и с гулянок возвращался в свою палату, как в родной дом. А это и был добротный крестьянский дом, сложенный из ракушечника (стены метровой толщины), с небольшими, по-домашнему обставленными комнатами на три-четыре кровати, с букетами полевых цветов на подоконниках. Окна всегда настежь. Двор чисто подметен, дорожки между кустов церковной туи посыпаны песком. Как-то вечером Озеров посмотрел со стороны на свою обитель, на двух офицеров, сумерничавших за картами во дворе на деревянном столике, врытом в землю, на санитарку с подносом дышащих паром горячих пирожков (было время ужина), и таким милым, родным показался этот уголок, такое пасхольно-вечернее нахлынуло из детства, что даже сердце защемило.

Многие фронтовые села и местечки запали в душу (Озеров принял там боевое крещение, был ранен или просто стоял со своим полком) и теперь вспоминались как родные места. Слыша их названия, он испытывал прилив теплоты, знал, что и Цебриково, пока жив, не забудет, хотя другому это слово ничего и не скажет.

Говорят: пришла беда — отворяй ворота. А Виктор открывал ворота от валившего к нему счастья. Как в лучезарном сне, перед ним предстала белокудрая, тонкая, высокая, совсем взрослая и, что немаловажно, похорошевшая... Тоня Бирюкова.

Бывает так, что парень и не подозревает, какое произвел впечатление на девушку, виденную всего-то раз или два. А между тем все время девушка помнила о нем и ждала новой встречи. И вот эта встреча.

Минуту назад она была равнодушна, разговаривала с подружкой, а когда подошел Виктор, вдруг переменилась. Виктор поначалу не узнал Тоню и с трудом отыскал в памяти двенадцатилетнюю девчонку, неотступно следовавшую за ним в Белой Калитве и Ростове. Это было так давно,

словно прошла целая жизнь, а не четыре года. Тоня вытянулась, приобрела те новые совершенные формы, какие отличают подростка от девушки. После первых восторженных восклицаний: «А помнишь, как лепили вареники? А как ходили к роднику в степи?», поговорив о Белой Калитве, о Ростове, милым довоенным временем, они разом умолкли: больше вспоминать стало нечего, особенно Виктору, которого тогда целиком занимала Нина, его сверстница, а к девчонке, назойливо вертевшейся возле него, он испытывал лишь неприязнь: «Что ей нужно? Вот привязалась!»

— А где сейчас Нина? Ты знаешь о ней что-нибудь? — спросил Виктор, хотя, по правде сказать, подруга детства давно его не занимала.

Тоня же этот вопрос поняла так, что Нина по-прежнему целиком владеет Виктором и что если эта встреча взбудоражила ее, Тоню, то для Виктора явилась просто приятным, а может быть, и не очень приятным воспоминанием о довоенной рыжей девчонке, липнувшей к нему. Полагая, как все девушки ее возраста, что первая любовь не оставит Виктора по гроб, она принялась рассказывать все, что знала о Нине. Виктор заинтересованно слушал, и, заметив это, Тоня стала на все лады расписывать достоинства своей старшей подруги, бывшей ей тогда во всем примером. Получилось так, что они вечер напролет проговорили о Нине, припоминая то одну, то другую положительную сторону ее характера, как будто на Нине свет клином сошелся, хотя оба понимали, что это вовсе ни к чему, лишь затрудняет их сближение, к которому они втайне стремились.

Выходило, что Нина, хотя и вышла замуж, осталась верной первому чувству и грех осквернять его каким-либо безнравственным поступком со стороны Виктора. Прогуливаясь по садам Цебрикова, Тоня вначале держала Виктора под руку, игриво заглядывала ему в глаза, не скрывая своего счастья видеть его, но к концу вечера держалась, как примерная маменькина дочка, потупив глаза, и, расставаясь у аптеки, скромно уронила: «До свиданья».

Этот вечер наложил отпечаток на все дальнейшие их встречи, проходившие натянуто. Оба держались застенчиво и скромно. В то же время жаждали других отношений и не понимали, какая кошка прошмыгнула между ними.

Озеров вырос среди разношерстного окружения (друзьями его детства были три брата-грека, перс, армянин, девочка-чешка) и считал себя чуть ли не отщепенцем своего народа, испытывал благоговение к северянам, сохранившим однородность нации, обожествлял их, искал в них пример для подражания. Русый, голубоглазый, но с новороссийским говорком, он опасался быть отвергнутым, не понятым соплеменниками. Это странное самовнушение до сих пор владело им. И с Тоней, северяночкой, он испытывал неловкость, словно иностранец, который очень хочет быть похожим на русского. Виктору становилось не по себе, когда они оставались одни: терялся, язык прилипал к небу.

Тоня чувствовала эту стеснительность и не могла дать ей иного объяснения, как только памятью о Нине, и терялась при встречах с Виктором.

Проще была ее старшая подруга Зоя, разбитная, общительная, веселая, с веснушками по лицу и вздернутым носиком. Озерову она больше нравилась, но получилось так, что Зоя досталась... Кравцову.

«За версту видно!» — выкрикнул старший лейтенант, встретив Виктора в госпитале, куда попал по ранению вслед за ним. Стрелковую роту на пулеметную он поменял с охотой, когда ему это предложили: распределив «огневые средства» по пехотным взводам, он большую часть времени проводил в тылах или на КП батальона. Но вот и там его достал минный осколок...

Девушки жили в одной комнате, при аптеке. Выяснилось, что Тоня вовсе не медичка: ехала к своему отцу, штабному генералу, попала в аварию и вывихнула ногу. За неимением женских мест в палатах ее поместили к аптекарше.

— Дочь генерала. Что тебе еще надо? — смеялась Зоя, когда на вопрос: «Как дела?» Озеров всякий раз делал кислое лицо.

У Кравцова с Зоей тоже что-то не ладилось. Пулеметчик приходил с гулянок поздно вечером, а то и под утро, почему-то скучный, чем-то удрученный, сидел час и два в верхней одежде на кровати с уныло опущенной головой. Непонятно, отчего парень оплошал.

В палате долго не ложились спать: весна, лунные ночи будоражили солдат, оживших на чистых простынях после передовой, и все принимали излишнее горячее участие в любовных делах пулеметчика: отчего да почему? Кравцов отмалчивался. Как-то вечером, когда он ушел на свидание, сосед по койке, проследив за ним в окно, замахал рукой, требуя внимания.

— Знаете, в чем дело, братья-славяне? — сказал он, поглядывая на дверь, будто Кравцов мог услышать и вернуться. — Дивчина ягодка, а наш старшой того... слабый по мужской части. Я дал ему таблетку и посоветовал, как себя вести, за сколько времени принять.

Вернулся Кравцов, и все кинулись его расспрашивать, помогла ли таблетка. «А ну вас!» — лишь огрызнулся и лег спать.

Потом выяснилось, что сосед дал просто-напросто аспирин, и эта шутка развеселила палату.

Сосед-шутник сделал вид, что обиделся.

— Чего вы гогочете? Сколько времени на передовой, да еще в наступлении, дело непростое, можно и позабыть мужские обязанности. Человек страдает, а вы, дурачье, рады стараться, товарищ старший лейтенант, вы к врачу обращались?

— Пошел к черту! — огрызнулся Кравцов, повернулся к стене и накрылся простынею с головой.

— Интересно, — рассуждал сосед уже как бы сам с собой, — освобождают от военной службы при таких болезнях?.. Освободить, конечно, не освободят, а лечить обязаны, — разглагольствовал он, сочувственно поглядывая на Кравцова, чем вызвал в палате новое веселье и разбудил де-

журную сестру, которая пригрозила полуночникам досрочной выпиской из госпиталя, если они сейчас же не утихомятятся.

Озеров сдержанно относился к старшему лейтенанту. Под селом Верблюжкой изредка, когда заставляли крайние обстоятельства, тот приходил в его взвод, всегда настороженный, с постоянной оглядкой: как бы не подставить лоб под немецкую пулю. Он был далеко не тот лихой служака, каким выставлял себя в училище, раздаривая налево и направо «два наряда вне очереди», жаловался на свою судьбу, не чаял дня выбраться с передовой, говоря об этом без обиняков:

— Ну скажи, Озеров, посоветуй что-нибудь!

Нытье Кравцова поначалу удивляло Озерова, а потом стало злить: «Ишь герой! Кто бы за него воевал, а он по тылам околачивался...» Началось наступление. Пулеметчик потерялся из виду, но вот снова объявился. Может быть, Кравцов на самом деле «заболел», чтобы как-нибудь отвертеться от передовой?

В левой руке его пониже локтя засел осколок, потревожив кость. В то время, как другие страдали молча, Кравцов то и дело вскакивал с койки, бегал из угла в угол, поддерживая здоровой рукой больную, грубил врачам и медсестрам. Между приступами раздражительности он в бравых выражениях рассказывал, как один за пулеметом отбил атаку немцев...

Можно было только диву даваться развязности старшего лейтенанта, словно это и не он еще недавно плакался в землянке. Озеров покачивал головой: ну и друг!

Тоню Виктор до сих пор даже не поцеловал. Ходили на танцы вчетвером, потом парами гуляли по саду. Озеров провожал Тоню до аптеки, там они садились под кустом сирени на лавочку подальше дружка от дружки и нередко подолгу молчали. Тоня, сложив ладони лодочкой и зажав их между колен, рассматривала носки своих парусиновых сапожек, в каких летом щеголяли тыловики (она носила военную форму: солдатскую гимнастерку и короткую, чуть расклешенную юбку). Озеров с серьезным видом шарил по карманам, доставал кисет, крутил козью ножку и шумно дымил, будто это его очень занимало. Он терялся перед Тоней, знавшей Нину, так же, как перед юной соседкой в харьковском селе, знавшей молдаванку, и считал себя «падшим» человеком. Он смотрел на девушку завистливыми глазами, как на чужую невесту, и с благоговением, как на чистую любовь, вынянченную юной мечтой. Как бы он хотел сейчас вычеркнуть из памяти ветреные встречи с молдаванкой, а заодно и свои безответные чувства к Нине!

— Смотри, как разлетались! — говорил он немного погодя, вымученно кивая на красную, как из кузнечного горна, луну, по диску которой чиркнули две тени.

— Кто? — не поняла, задрала голову Тоня.

— Летучие мыши. У нас на Кубани страсть сколько этой твари. Мальчишками мы боялись ходить в белых рубашках по вечерам.

— Почему?



— Мыши на белое летят, — воодушевился Виктор детскими воспоминаниями, полагая, что нашел тему разговора. Ко всему прочему, в обществе шестнадцатилетней Тони он почему-то глупел. Казалось, заговори он умно, девушка посчитает его задавакой и, чего доброго, оскорбится. Но Тоню летучие мыши не интересовали, на лице ее выразилась брезгливость, и Озеров осекся.

Прошло еще несколько мучительных молчаливых минут. Ни с того ни с сего он спросил:

— Фильм «Подруги» видела? Про девушек, которые добровольно ушли на фронт. После сеанса выступала артистка, одна из подруг...

Об этом Озеров всегда рассказывал с волнением, настолько его поразила «живая» актриса, но Тоня вдруг обиделась:

— Не думай, я тоже пойду на передовую, как выздоровею.

— Что ты! Я тебя вовсе не имел в виду.

Помаевшись, поерзав на лавке, он ляпал очередную глупость, о чем потом было стыдно вспомнить. Наверное, только поцелуй мог бы развязать язык, снять скованность и неловкость, но рука деревенела, как только Озеров собирался обнять Тоню. А она никак не шла ему навстречу, сидела, потупившись, соединяя и разъединяя носки сапожек и чуть постукивая ими. Нина словно невидимкой присутствовала при их встрече, мешая сближению, во всяком случае, так казалось Виктору.

— Ну я пойду, — говорила Тоня после затянувшегося молчания, однако не вставая со скамейки.

— Посидим еще. Куда спешить?

Тоня оставалась еще, и Озеров думал, что она сидит с ним через силу, из приличия: как-никак, ее отец и отчим Виктора были родные братья.

Совсем по-другому, непринужденно и весело, получалось, когда гуляли вчетвером. Зоя была компанейская девушка, настоящая заводила, не давала никому скучать. После того как открылся санаторий, она приносила с собой пирожное, разную сдобу, чему вся палата завидовала и предлагала Кравцову на выбор замену...

В эту приятную госпитальную жизнь ворвалось одно событие, тоже для Озерова приятное: он случайно встретил на улице особиста Бибеева, правда, вначале не очень этому обрадовался, заметив серьезное, без эмоций лицо, будто они расстались всего час тому назад, хотя не виделись, казалось, целую вечность.

— А-а, Озеров! — сказал Бибеев, протягивая руку. — Справлялся о тебе у начальника госпиталя, а теперь и сам вижу: жив, здоров, настроение бодрое! Угадал?

С тех пор, как они расстались, Бибеев как будто стал суше, строже, но глаза остались такие же живые, пытливые, какие запомнил Озеров. Еще в первую встречу он отметил, что они бывают чаще серьезные, чем улыбочивые. Однако на шутку, на умное слово Бибеев быстро отзывался и смеялся от души, заразительно, отнюдь не натянуто, как некоторые напускающие на себя важность старшие офицеры.

— Слышал про тебя и другое, — сказал он загадочно, и Озеров насто-  
рожился.

— Что?

— Про твою дружбу с генеральской дочерью.

— Не понимаю, почему это вызывает такое любопытство, капитан!

Озеров неприязненно повел плечами. Бибеев улыбнулся.

— А ты знаешь, что этот генерал назначен к нам начальником штаба  
фронта? Фигура!

— Ого! — воскликнул за спиной Озерова подошедший Кравцов, и ли-  
цо его расплылось в улыбке, словно не Озерову, а ему адресовалось из-  
вестие. — Скоро к лейтенанту и на салазках не подъедешь! Боюсь, зазна-  
ется, товарищ капитан! — обратился он к Бибееву шутливо, то из лести,  
то ли из зависти.

— Кравцов, командир пулэроты нашего батальона, — представил  
Озеров своего друга; Бибеев недовольно буркнул: «Знаем такого», взял  
Озерова под руку и отвел в сторону, желая показать свое нерасположение  
к пулеметчику, бесцеремонно встрявшему в разговор.

Кравцов с дурашливой улыбкой смотрел на оставивших его офицеров,  
не смея рассердиться. Потом пошел своей дорогой, зло поводя глазами и  
бормоча ругательства.

В госпитале война не забылась, а как бы отодвинулась от Озерова,  
иногда даже приходила мысль о том, что еще до его выздоровления она  
неожиданно закончится. Бибеев, приехавший оттуда, с передовой, рассеял  
эту надежду.

— Все немцы, попадая в плен, клянут Гитлера, — сказал он, — да  
только сдаваться охотников что-то мало. Повоевать еще придется. Скоро  
встретимся в полку!

#### 4

В санаторий по десятидневной путевке приехал знакомый офицер и  
сообщил Озерову, что ему присвоено звание лейтенанта и пришла награ-  
да — медаль «За боевые заслуги». Для влюбленного Озерова это имело  
немаловажное значение. Он решил тотчас же, до выздоровления, съездить  
в полк, получить медаль и приколоть к погонам еще по одной звездочке  
— щегольнуть перед новыми друзьями в Цебрикове.

Тоня в последнее время заметно переменилась, стала участливая, об-  
щительная. Этой неожиданной перемене Озеров не мог дать объяснение,  
но был приятно обрадован. А вчера они первый раз поцеловались. Полу-  
чилось как-то нескладно, Тоня хотела было убежать, но вдруг прильнула  
к груди Озерова и притихла. И они долго гуляли по тропинкам, в роще за  
аптекой. Все целовались, целовались. Озеров до сих пор ощущал сладость  
этих поцелуев на припухлых губах и улыбался, и заново все переживал.  
Тоня как бы вернула ему утраченный довоенный мир, те радости, те вол-  
нения. И на душе делалось так легко!

— Насовсем? — спросила она, меняясь в лице, когда узнала о поездке в полк. Озеров сказал, что отбудет на два дня — не больше, и она слушала его серьезно, как жена, провожая мужа в дальнюю и опасную дорогу.

— Береги себя... — В глазах ее выразился неподдельный испуг, и Озерову было отрадно видеть такое участие.

Они расстались на пропускном пункте, при выезде из Цебриково. Шлагбаум, дощатая будка, девушка-регулирующая в запыленных кирзачах, с двумя красными флажками, тонкая фигура Тони поодаль, на пригорке, помахивающая рукой, еще долго стояли перед глазами Озерова, когда грузовик уже перевалил за бугор.

Блеснула река. Пригорки вокруг атели красными маками, отчего и село по днестровской круче называлось Красная Горка, но, может быть, и по гульбищам, веснянкам древних славян. На том берегу, в низине, наши с весны укрепились на небольшом плацдарме, а по холмам занимали оборону немцы. Пришли на Днестр и две румынские армии. Но немцы не очень доверяли союзникам и расположили свои части попеременно с румынскими. Это уже знал Озеров. По пути он видел пленных румын, большей частью перебежчиков, которые чинили дорогу. Работали они без охраны, бежать не собирались и говорили с улыбкой:

— Антонеску дал приказ: всем румынам на Кавказ! А румыны «Ласы, ласы, ла кэруца, ши акасы!»\*

— В сорок первом году пели по-другому, — заметил солдат, сидевший в кузове рядом с Озеровым: — «Доу мере интро басма шам плекат ла Москва!»\*\*

Местность просматривалась, и Озеров, спускаясь на грузовике к полковому штабу на виду у противника, пережил тревожные минуты в ожидании «гостинца» с того берега, но все обошлось.

В селе тишина нефронтовая, похожая на ту знойную тишину, когда улицы пустеют, все живое прячется в тень. Навстречу попался крестьянин с возом свежескошенной травы — прямо-таки мирная идиллия.

Никаких разрушений, воронок тоже не видно. Хаты побелены, с вытопанными у порогов пятачками, на которых кудахтали куры, подбирая разбросанные хозяйками зерна, а под горою, на выгоне, паслась корова. Кое-где дымились летние печи, сложенные во дворах, как везде на юге. В этой тишине было что-то противоестественное, неправдоподобное после всего виденного и пережитого в весеннем наступлении. Может, и вправду закончится война до выписки Озерова из госпиталя?

Полковая канцелярия расположилась совсем по-домашнему на краю села в хате под соломенной крышей, свежепобеленной. А кругом — бесконечные сады, перебежавшие за реку, на плацдарм. Прямо у крыльца росла старая ветвистая яблоня, накрывая собою крышу. В передней прохладной комнате стоял дубовый стол, застланный вытертой, в трещинах, клеенкой. Ножками он навечно врос в глиняный пол. Недавно помазанный, пол еще не совсем просох и глянцево поблескивал. Пахло навозом, который хозяйка примешивала к глине. Передний край здесь ни-

что не напоминало, но все-таки было и что-то армейское, прижитое за войну. Саманные хаты, обтертые русские печи, бабы с натруженными руками, отдающие солдатам последнюю картошку, как бы породнились с фронтом. Писарь отвоевал себе дубовый стол, разложил на нем бумаги в папках, картотеку, а слева, на лавке у окна, пристроил несгораемый ящик. В соседней чистой горнице — вышитые рушники на иконах, белые занавески на маленьких уютных окнах, цветы на подоконниках, гора подушек на деревянной расписной дедовской кровати и сторбленная спина хозяйки над швейной машиной. Ее соседство, как видно, не мешало писарю.

Пока он рылся в бумагах, разыскивая приказы о наградах и присвоении очередных званий, Озеров раздумывал, идти или не идти на передовую, в свою роту. Тянуло повидать фронтовых товарищей, узнать, что у них нового, но не хотелось переправляться через Днестр, зря рисковать, терять день из той дорогой недели тыловой беззаботной жизни, что оставалась у него еще в запасе. Передовая, если здраво рассудить, никуда не денется, ее не миновать, а выбраться в тыл вряд ли еще представится случай. И еще одна причина сдерживала его, о ней и думать не хотелось: дело было связано с ранением ... И он не пошел в роту, только расспросил о полковых новостях у писаря и отправился искать попутную машину в Цебриково. Озеров намеревался сделать Тоне «сюрприз», вернувшись не через два дня, как обещал, а в тот же день. Всю дорогу он думал о неожиданной встрече, тоскливо поглядывал на обгонявшие «газики» и «виллисы», не раз хотел выпрыгнуть из кузова, пересест на другую машину, и сдерживало лишь опасение вообще застрять по пути. Чем меньше оставалось надежды до ночи вернуться в Цебриково, тем сильнее его тянуло сегодня, обязательно сегодня увидеть Тоню. Он словно бы прозрел, припомнив, как вела себя худенькая белокурая девчонка в Белой Калитве и в Ростове, когда он притворился спящим и не вышел к гостям. Тогда он отнесся к Тоне безучастно, а она так и тянулась, так и льнула к нему. И это была, конечно, не просто детская привязанность, а что-то большее. Наивно, по-детски она обожала Виктора, в чем теперь не было сомнения. А не с этого ли, рассуждал он, зарождается настоящая любовь, глубокая, на всю жизнь привязанность? Вот кто будет верен своему чувству до конца. Вот какая девушка и друг нужны Виктору! Она и есть та, которую он ждал и обожествлял в мечтах, за которой готов был пойти на край света. Бог знает, что бы он еще нафантазировал, трясясь на грузовике по дороге в Цебриково, так как способен был возносить любимый предмет до облаков, приписывая несвойственные ему качества. Поэтому-то нередко попадал впросак и горько разочаровывался. С Тоней такого не могло случиться, уверял он себя, припоминая их встречи, разговоры, ее влюбленные взгляды и в особенности во время вчерашней прогулки по цебриковским садам, когда ее синие радужные глаза взглянули на него, как два василька на солнечной поляне: сколько в них было преданности, радушия и много, много другого, что не выскажешь словами!

В половине одиннадцатого грузовик остановился возле госпиталя. Кравцова в палате не было, и это придало Озерову уверенность в том, что Тоня еще не спит. Наверное, гуляют втроем. Лишь в одном месте можно было застать их в такой час — танцевальном зале санатория, и Озеров бегом кинулся туда через сады и огороды — напрямик.

\* \* \*

В небе кружил ночной немецкий бомбардировщик, появляясь над Цебриковым всегда в одно и то же время, словно по расписанию. Нудный, надрывный звук его мотора то приближался, то удалялся, иногда казалось, что самолет летит над головой, и Озеров невольно прислушивался, не засвистит ли бомба; самолет пролетал дальше, кружил над другими селами, редко сбрасывал бомбу, чаще рельсу или пустую продырявленную бочку, которая летела к земле с душераздирающим визгом, так что всерьез этот самолет никто не принимал, с ним сжились, как сживаются с мозолю на ноге...

А ночь выдалась редкая по красоте, немного душноватая, с бордово-красной тускнеющей полоской заката и иссиня-черной тучкой в стороне немцев, с чистым звездным небом над головой и дремотным сельским спокойствием над всем миром. Такие ночи хороши в середине лета, когда от зноя еще не высохла трава, еще по-молодому зеленеют деревья, без единого желтого листочка, и плоды на них только-только наливаются соками, в воздухе плавают всевозможные ароматы: свежескошенного сена, парного молока, навоза. Иногда, наверное, с самого Днестра и его плавней повеет прохладой, ноздри уловят запах болотных испарений, а ухо — гомон лягушачьего племени, звон цикад, тюрлюканье сверчков на деревьях...

Вдруг что-то прошелестело в воздухе, Озеров прильнул к забору, подумав о немецкой мине, но откуда ей тут взяться? Просто-напросто две летучие мыши мелькнули силуэтами в воздухе и пропали где-то за домами. О войне не хотелось думать, и даже далекий рокот немецкого самолета чудился мирным. Летчику, наверное, было не до бомбежки, он лишь отбывал свой черед, мечтая побыстрее спуститься на землю, к своей фрейлейн, чтобы вместе с нею захватить хотя бы час чудной приднестровской ночи. Ведь и у немцев есть тылы, госпиталя, санатории, хорошенькие медсестры и связистки, свои радости и горести. Только сейчас, за все время войны, Озеров подумал об этом: да, да, там, на другой стороне Днестра, тоже жизнь, любовь, грезы, волнения, счастье, смех — не одни тревоги. Но почему-то немецкая армия представлялась безликой: броня танков, сталь пушек, сукно шинелей, прорезиненная ткань плащей. За вещами и оружием не видно было людей, их душ...

Ни одной подобной ночи Озеров не помнил в своей жизни, наверное, она казалась такой еще потому, что на счету был каждый час, и этот счет шел на убыль. Взволнованный, в ожидании неперенной встречи с Тоней, ее радости при виде вернувшегося раньше обещанных двух дней Виктора,

ее счастливых взглядов, поцелуев, объятий, Озеров бежал к санаторию, продираясь сквозь кусты, перепрыгивая через канавы, потоптав на чьем-то огороде огурцы, и в довершение всего налетел на шалаш. Затрещали ветки, что-то глухо, утробно лопнуло, похоже, пустая сулейная кубышка. С минуту лежал неподвижно, уткнувшись потным лицом в шершавые листья, дыша пресным запахом подавленных огурцов и чуть не плача от досады, от всего сегодняшнего невезения.

Преодолев каменную, а потом колючую садовые изгороди, он зашлепал по пыли и, свернув в проулок, наконец, попал на открытую киноплощадку. Только что закончился сеанс, зрители расходились. Озеров забегал глазами, присматриваясь в темноте к лицам, надеясь найти Тоню, одновременно поглядывая на тропинку, по которой она обычно возвращалась домой, и ничего похожего не заметил. На пустых скамьях осталась одна пара — солдат с девушкой в обнимку, а неподалеку в рощице послышался женский смех. У Озерова екнуло сердце, слабость пошла в ноги. Смех повторился, ревнивец с облегчением вздохнул — это не Тоня.

В санатории, сквозь неплотно занавешенные камышовыми матами окна, пробивались полоски света: в зале танцевали. Тоня, конечно, была там, непременно там. И верно: только он приник к окну, как в прогалине между рамами и маскировочной шторой увидел ее на стуле, с зажатыми между колен ладонями, сложенной лодочкой, скромную, стыдливую, с опущенными долу глазами, будто ей передались на расстоянии те сладкозвучные слова, те нежные чувства, с какими спешил к ней Озеров. Он перебежал к другому окну и понял, в чем дело: рядом с Тоней сидел молодой светловолосый незнакомец и что-то нашептывал на ухо. От волнения Озеров едва не продавил окно.

Бойко ударили смычками молдаване-музыканты, офицер встал, подал Тоне руку и закружил в вальсе. Озеров, холодея, увидел, какой он был стройный в новой, перехватившей узкую талию и широкую спину португее, в плотно стянувших тонкие ноги хромовых сапогах. Озеров представил себя, потного, запыленного, в поношенном полевом обмундировании, расцарапанного колючками. Новенькие золотые погоны с прибавленными звездочками и артиллерийскими эмблемами (он пощупал — один погон был оторван и свисал с плеча), новенькая серебристая медаль (медаль была на месте), новенькая нашивка за ранение, которыми он собирался похвастаться перед Тоней, сразу померкли. Он почувствовал, как жалок, ничтожен рядом с незнакомцем, экипированным с блеском. Вот только лица его никак нельзя было разглядеть из-за плотной толпы танцующих и узкой щели в задрапированном окне. В поле зрения Озерова попадала только спина, напоминая чью-то знакомую.

Вальсом закончились танцы. Офицер повел Тоню к выходу. Озеров зашел в тень дерева, прижался к стене: должны пройти мимо. И они действительно прошли мимо. Озеров слышал, как офицер рассказывал о бульдоге, который повсюду следовал за ним на фронте и дважды спасал раненного на поле боя. Почему офицер рассказывал о бульдоге, было не-

понятно. Подавленный Озеров поплелся следом, точно тот самый покорный и умный бульдог, который, наверное, сейчас дрыхнул где-нибудь под забором. Рискуя выдать себя, а то невзначай получить пулю из браунинга, Озеров подкрался настолько близко, что хорошо видел сквозь ветки сирени лавочку у аптеки, где не раз сидел и сам. Он с удивлением признал в офицере пулеметчика Кравцова. Ну и враль, ну и нахал! Запросто взял Тонину руку и положил себе на колени, продолжая трепаться уже о каком-то жеребце Кристалле, горском скакуне, призере многих скачек на Пятигорском ипподроме. Теперь жеребец носит его в лихие казачьи атаки. Такого трепача Озеров на фронте встретил впервые. Вот так Кравцов, вот так друг! Чего-чего, а этого Озеров никак не ожидал. Тоня слушала побасенки с интересом, и это больше всего заедало лейтенанта. Кравцов обнял ее на том самом месте рассказа, где пленил сто немцев на переправе через Днестр, а поцеловал на ордене Красной Звезды, полученном за храбрость. Вернее, пытался поцеловать: Тоня уклонилась и рассердилась. Кравцов горячо уверял, что Зоя ему совершенно не нравится, что с нею наедине он словно отбывает повинность.

Поднялась луна, осветив на аптечной скамейке разгоряченного Кравцова и поскучевшую Тоню. Может быть, ее мучили угрызения совести?.. Озеров пошел прочь, терзаемый ревностью, злясь на Тоню: «Верно говорят: в тихом омуте черти водятся. Стоит ли убиваться по такой...» Но вспомнил, как вчера они потянулись друг к другу, как разом рассеялись сомнения, неуверенность, как была ласкова Тоня, и ноги его тут же сами собой повернули к аптеке. Он пустился бегом, словно на лавочке вот-вот свершится что-нибудь непоправимое, и налетел на Кравцова, возвращавшегося со свидания. Пулеметчик сразу же принял начальственный вид.

— Кто это? Остановитесь! — В темноте он не узнал Озерова.

— В чем дело? — буркнул тот.

— Почему у вас погон оторван?

«Еще не хватало выслушивать мораль этого балбеса», — подумал Озеров, послал про себя Кравцова к черту и, не оглядываясь, ускорил шаг. Пулеметчик не рискнул догонять и лишь прокричал вслед какую-то угрозу.

Лавочка была пуста. Озеров сел, взялся за перекладину обеими руками, потянул на себя в бессильном негодовании и чуть не оторвал от столбиков. Он с болью осознал, как дурно поступила Тоня и какой он несчастный. Но на этом злоключения Озерова не закончились. В госпитальной палате еще не спали, и Кравцов деланно удивился:

— Что я вижу! Повышен в звании. Да еще медаль! Сколько наград! — Он подозрительно оглядел Озерова, словно тот самолично присвоил себе очередное звание, да еще подцепил медаль. И осклабился: — А, понимаю! Дочь генерала! Вот кому лафа! Смотри, отделаешься и от передовой!

— Не хватало мне сегодня только тебя! — разозлился Озеров, уже не в силах сдержаться после стольких неприятностей.

— Оставь, Кравцов, парня! — вступился за Озерова сосед по койке. — Его надо поздравить. Распить по этому случаю бутылку вина. А ты ехидничаешь.

— Ехидничаю? Что вы! Я вовсе не против наград. Поздравляю! — Кравцов шагнул к Озерову и схватил руку, но тот с силой отдернул.

— Пошел к черту!

— Эх, ты, Озеров. А я ненароком понадеялся: возьмут друга в штаб фронта, он меня не забудет, — уже сквозь зубы, усмехаясь, процедил Кравцов. — Не пойму только одного: за что столько наград? За какие такие заслуги? Ранили-то Озерова не немцы. Свои!

Офицеры в недоумении посмотрели на Кравцова, потом на Озерова, ставшего блеее стены.

— Как это понять? — спросил кто-то.

— Наши разведчики его подстрелили. Вот я и удивляюсь: за что отличия? Есть фронтовики, которые действительно заслуживают наград, герои, а их обходят!

У каждого в жизни случается что-нибудь постыдное, и потом, вспоминая об этом, человек краснеет и несет эту свою вину, как крест, до конца жизни. Молодость особенно болезненна к такому. Ротный «песенник» почему-то «полюбил» Озерова, самого молодого офицера, то и дело посылал за себя на НП, сам оставался на огневых или уходил к старшине, где обычно устраивались песенные вечера.

Однажды немцы сильно били из пулеметов — не поднять головы. Озеров лежал в лесопосадке на снегу, примеряясь, как лучше пересечь открытое поле, когда неожиданно увидел за деревьями немцев. Он поднял автомат, привстал, но услышал сердитый крик, обернулся. К нему бежал какой-то офицер с пистолетом в руке и перекошенным ртом. Он и разрядил почти всю обойму в Озерова. Пули угодили в голень и ягодицу. Озеров повалился в сугроб на спину. Над ним склонилось испуганное лицо:

— Жив? Куда тебя? Я в ноги целил, чтобы не убить. Прости, друг, не хотел, но ты мог своих перестрелять. Это же наши переодетые разведчики, а не немцы.

Между прочим, разведчики, в маскировочных немецких плащ-палатках, комбинезонах и шароварах в желто-коричневых разводах, попались на глаза Лазареву, комдиву, который тоже принял их за немцев, а когда узнал, кто такие, крепко выругался:

— Почему сразу же не переоделись, как вернулись из поиска?

Раны Озерова оказались легкие, но то, что он получил их не от немцев, угнетало его. Он скрывал это от соседей по палате и не знал, как себя вести после выздоровления, вернувшись в часть.

В полку отнесли к Озерову с участием, о происшествии в лесопосадке никто ни слова, а вот Кравцов вспомнил. Озеров отчаянно глядел в глаза старшему лейтенанту, готовый на крайность. Офицеры ждали чего-то невероятного, насупились, молчали, и уже было непонятно, чью они держали сторону, Кравцова или Озерова.



— Значит, я трус, а ты герой, да? — Бледность на лице Озерова сменилась краской. Он готов был броситься на Кравцова с кулаками, припомнить ему Верблюжку, но этим, конечно, только навредил бы себе.

— Хватит! Что вы завелись? — снова вмешался сосед по койке. — На войне всякое бывает. По нашей роте раз своя артиллерия ударила, вывела из строя целое отделение. Не винить же солдат после этого за то, что их по ошибке побила наша, а не фрицевская батарея.

Озеров разделся, лег в кровать, решив порвать с Кравцовым всякие отношения.

\* \* \*

Тоню он встретил на следующий день в обеденном часу во дворе санатория, увел в сад, притворяясь беспечным, хотя на душе скребли кошки. Тоня ничего не подозревала, прислонилась спиной к старой акации, а Озеров потянулся вверх за веточкой.

— Ну как съездилось? — спросила она, внимательно разглядывая его голубые глаза, лоб, волнистые белые кудри, будто они век не виделись. — О, лейтенантские погоны, медаль! Поздравляю!

«Смеется», — подумал Озеров и с деланным равнодушием сорвал веточку, завертел между пальцев, потом зажал листок губами, поглядывая вверх и по сторонам, давая Тоне лучше себя рассмотреть.

— Когда ты вернулся?

— Сегодня... утром.

— А я тебя ждала только завтра к вечеру.

— Ждала?

— Очень. Ты мне даже приснился.

И снова в ее словах Озерову послышалась нарочитость.

— Вот как! — воскликнул он. — Странно. Ты мне тоже приснилась.

— Правда? Ой, ой, расскажи какой!

— Да все той же горячкой... на танцах... с ретивым пулеметчиком Кравцовым. Почему-то из-за ваших спин выглядывали жеребец и бульдог, как слуги... Чего только не приплетется! Ну потанцевал он с тобой и пошел провожать до аптеки, до нашей заветной лавочки, а бульдог и жеребец следом... Ну сели вы на лавочку, он взял твою руку, положил на колени, а сам все анекдоты рассказывает, потом обнял и поцеловал.

— Неправда! — воскликнула Тоня, бледная, с дрожащими губами.

— Что неправда?

— Он не целовал меня.

— Откуда ты знаешь, что мне снилось?

Тоня, наконец, справилась с собой и посмотрела на Озерова, как на какое-то чудо.

— Неужели ты видел такой сон?

Озеров кивнул головой, отворачивая лицо, боясь себя выдать.

— Дурной, плохой сон, — сказала Тоня. Она поверила и теперь поглядывала на Озерова удивленно, даже испуганно, а он не стал ее переубеждать.

— Как там Зоя?

— Пошла провожать Кравцова.

— Куда?

— А ты разве не знаешь? Он едет в командировку за овощами для санатория. Кажется, на целый месяц. Это Зоя ему устроила.

Озеров криво усмехнулся.

— Хоть на месяц, да все-таки отбоярился от передовой. Или он поступил штатным заготовителем?

— Не знаю. Хочешь, я поговорю с папой и тебя отзовут в штаб?

Озеров покосился на Тоню: не шутит ли она? Тоня не шутила, но он покачал головой.

— Почему же, Виктор? Мы бы чаще виделись.

— Тебе и так будет нескучно. Привет Кравцову!

— Ах, вот как! Ты подглядывал за нами. Я теперь поняла. Да, я вчера была с ним. По крайней мере, это герой, с орденами, а не медалями, настоящий фронтовик...

— Трепач, а не фронтовик.

— Тебе завидно, только и всего! — Тоня ушла в негодовании, оставив удрученного Озерова в саду.

«Избалованная девчонка! Зачем она мне? Из-за чего переживать?» — успокаивал себя Озеров, но досадовал на Тоню и злился.

\* \* \*

— Ранило меня в руку под Великомихайловкой дня через три после вас, комвзвода. Ну и перепалка была! Наши солдаты вином побаловались, такие же чаны стояли, как в Цебриково. А ночью немцы пошли в контратаку. Кое-кто бежал в исподнем. Только утром отбили село. Меня малость царапнуло. Командир минроты говорит: «Сам иди в медсанбат. Тут недалеко, километра четыре». В медсанбате сделали операцию, перевязку и говорят: «Сам устраивайся на ночь. В палатах места нет, забиты ранеными».

Дудченко угощался госпитальными пирожками, а лейтенант сидел напротив, обрадованный встрече с ординарцем. Пароконная повозка стояла во дворе, у сарая, сытые лошади лениво хлестали хвостами по своим лоснистым крупам и потряхивали гривами, отгоняя оводов.

— Да, пошел я по селу, — продолжал Дудченко. — Не пропускаю ни одну хату. В какую ни зайду — солдаты вповалку, много раненых. А то и мертвые: немцы перед уходом расстреляли семьдесят мужиков. Бабы воют над покойниками — жутко! Промерил вдоль и поперек все село — нигде свободного места. Захожу в самую крайнюю хату, стоит на отшибе — пустая! Даже не верится. Хозяйка одна, стряпает у печки вареники, будто

гостей ждет. Взмолился: «Пустите переночевать, ради бога. Замерз». — «Лезай на грубку, — говорит, — если замерз».

Полез на грубку. Отогреваюсь. Прямо на кукурузных початках. Сперва было неудобно, потом рассовал початки, уместился не хуже, чем на перине. И уже дремать стал, слышу сквозь сон, как хозяйка возле печки хлопочет, и думаю: «Молодайка-то просто огурчик, как это до сих пор ее никто не заметил, и какие же, наверное, вкусные вареники готовит». Думаю так и слышу какой-то шум, то ли дверь хлопнула, то ли на пол что-то упало. Навострил ухо: бубонят. Один голос хозяйки, другой мужской. Хоть и не вижу этого человека, но уже по одному голосу он мне не нравится. Крикливый, нахрапистый. Про таких говорят: «Глотка луженая»... Вы меня слушаете, товарищ комвзвода?

— Слушаю, слушаю. О чем это ты? — Озеров взял из тарелки и себе пирожок.

— А вот погодите. Кричит этот человек хозяйке: «Раненный в руку? Перемерз? Знаю я этих раненых. Самострел! Шатаются по деревьям! Вот я его сейчас погрею. Эй, на печке, а ну-ка слась!» — «Что за напасть, — думаю. — Так удачно устроился, и какая-то тыловая крыса разбудила».

Лезу с печки сердитый, хочется выругаться. Вижу — офицер, без портупей, рубашка навыпуск, по-домашнему в штиблетах.

«Какой части?» — глаза цепкие, злые.

Объясняю, показываю документы.

«Почему не в медсанбате?»

Объясняю и это: мест нету, много раненых. А он: «Понятно. Самострел?»

Тут бы надо возмутиться. Всю войну на передовой, иду от самого Сталинграда, и нет для фронтовика большего оскорбления, чем слово «самострел». Но как вразумить это тыловику? Волнуюсь, краснею, а путного сказать ничего не могу.

Офицер выбежал из хаты и вернулся с солдатом, небольшим таким человеком при карабине, видно, ездовой.

«Сидоров, возьми под охрану этого самострела! Выведи на огород, нечего с ним нянчиться! Я сейчас, только обуюсь».

И что ни слово, то в три этажа, и уже пистолет тычет мне в лицо. Ну что тут делать?

Вышли мы с Сидоровым во двор. Офицер следом. Откуда ни возьмись, гусак, схватил офицера за галифе и давай трепать, он в него из пистолета: бах! бах! Никак не попадет. Ругается.

А гусак шею вытянул и шипит, не отступает. Офицер нажал на курок — выстрела нет, кончилась обойма. Я возьми и ляпни:

«В упор не попал в гусака. А еще офицер!».

Дернуло же меня! Распсиховался он страсть: руки трясутся, лица на нем нет. Ну, думаю, прикончит тут же, у порога, из Сидорова карабина.

«Веди, веди на огород, в балку этого самострела! — кричит солдату. — Я сейчас, обойму заменю».

Спустились мы по стежке в балку, к кринице, Сидоров вздохнул и говорит:

«Ты меня, товарищ, извини. Свирепый он у нас. Одного намедни кокнул. Тоже вроде самострел, а, может, и нет, бог его знает».

Стоим возле криницы, ждем, когда офицер обуется и перезарядит пистолет. Пот с меня градом. Попросил попить. Вода в кринице родниковая, чистая, как слеза. Видно в ней лицо солдата, озирается по сторонам, похоже, волнуется, поднимаюсь и говорю:

«Сидоров, браток, не самострел я. Документы чин-чином. От самого Сталинграда воюю. Отпусти!»

«Ладно, — говорит, — дуй по огородам, а я пойду доложу — сбежал».

Бабахнул в воздух, а у меня все оборвалось внутри. Чего доброго — всадит пулю в спину. Я — по балке, по садам, по камышам, к медсанбату. Прибежал — ни вздохнуть, ни охнуть. К самому главному врачу: «Где хотите, там ложите, хоть под забором, а от вас я никуда не уйду». Успокоился немного и думаю: «Черти полосатые, может, они хотели меня просто из хаты вытурить». А, может, офицер меня к хозяйке приревновал, только разве мне до нее в то время было. Подумать только, какого страху нагнали!»

Озеров рассмеялся:

— Что за псих тебе попался? Похож на Кравцова. Не он ли это был?

— Кто такой. Кравцова? Не знаю.

— Командир пулеметной роты.

— Может и он... Это еще куда ни шло, товарищ комвзвода. Послушайте дальше. Вылечил я руку, вернулся в роту. И вот ездовых посылают в колхоз за фуражом. На краю Цебрикова решили заночевать, ну малость выпили. Я лег в повозку, на сено, а ребята подались в клуб. Говорят, клуб у вас тут хороший, в бывшей немецкой кирхе... Да, задремал и слышу сквозь сон разговор, такой знакомый голос, хочу вспомнить и никак не вспомню, где его слышал прежде. Нахрапистый голос: «Я не могу упустить этот шанс. Вот только Озеров путает все мои карты. Как его убрать с дороги?.. Назвал он вашу фамилию, комвзвода, и я сразу вспомнил офицера-психопата и солдатика Сидорова. От удивления поднялся на повозке. Смотрю. Так и есть: тот офицер и тот солдат. Я на них уставился, они на меня. «А, опять мне поперек дороги этот самострел!» Выхватил пистолет и — бах! бах! А я не шелохнусь, вылупил на него глаза, как дурной. В гуся-то он в упор не попал, я же был метрах в пяти. Три раза выстрелил и промазал. Наши ребята услышали пальбу, выбежали во двор. Те двое драпа дали. Я опомнился, провел ладонью по лицу. С меня холодный пот ручьями. Ну и дела! Откуда офицер знает про моего комвзвода, думаю, какие он карты путает? Вспомнил, что вы лечились в Цебрикове. Давай разыскивать госпиталь. Вот и нашел. Хочу предупредить: как бы чего ни случилось. На фронте уцелели, а в тылу хлопнут.

— Брось, Дудченко, тебе с похмелья приплелось! — Озеров посмеивался, но в душе чувствовал неприятный холодок от похожего на правду

рассказа ординарца. Не стал ли он Кравцову поперек дороги, крутя любовь с дочерью начштаба фронта, на которую тот сам зарился? Мысль эта вихрем пронеслась в голове, но показалась маловероятной, и он снова засмеялся:

— Ей-богу, тебе с похмелья приплелось!

— Побожиться вам, что ли. Ездовые могут подтвердить. В соседнем дворе летчики стояли, они тоже слышали выстрелы. Хотели было устроить облаву, да уже совсем стемнело. Ищи ветра в поле... Долго вам еще лечиться, комвзвода?

— На этой неделе выписываюсь.

— Возвращайтесь поскорей. Вас там прочат на командира роты, наш-то песенник уезжает учиться на курсы «Выстрел». Возвращайтесь, а то ненароком поймаете пулю.

\* \* \*

В конце недели Озеров получил справку на сером узком листке машинописной бумаги о том, что «означенный тов. Озеров находился на излечении в военной части, полевая почта 03382 по поводу сквозного пулевого ранения мягких частей средней трети правой голени и левой ягодицы. Ранение связано с пребыванием на фронте. Выписывается в часть по выздоровлении».

Озеров прочитал справку, испытывая смущение при слове «ягодица», будто ему всадили пулю при драп-марше, тогда как он получил ее, глядя в дуло пистолета... И тотчас живо припомнил все, как было в то ослепительно-яркое апрельское утро, и снова, как неделю назад в штабе полка, как в ссоре с Кравцовым, почувствовал неловкость и досаду.

А день выдался по-летнему жаркий, с голубым небом, подернутым клочковатыми высокими облаками. Легкий ветерок теребил чуть обвянувшие от зноя листья тополей, раскаленный под солнцем двор был пуст, лишь в тени, под сараем, лохматая дворняга с вывалившимся красным языком, время от времени клацая зубами, выбивая блох.

Озеров быстро собрался, простился с палатой и во дворе наткнулся на Тоню. Она смотрела ясным, всепрощающим взглядом. Как видно, переживала ссору. Молча прильнула к нему и поцеловала.

Посреди дороги стояла «эмка», из нее выглядывал светло-русый генерал.

— Это папа, — сказала Тоня, не выпуская руку Озерова. — Подойдем к нему!

— Будь у меня такая девушка, я бы не растерялся. Завязывай потуже узлы, лейтенант, — заметил проходивший мимо знакомый офицер из госпиталя, больно задев Озерова. Он даже передернулся и мрачно посмотрел ему вслед.

Тоня весело улыбнулась, и это совсем расстроило Озерова. С обидой то ли на девушку, то ли на самого себя, он забросил за плечи вещевой ме-

шок и зашагал к пропускному пункту за селом искать попутную машину до Днестра.

Тоня смотрела вслед растерянно и недоуменно.

— Виктор, куда же ты? — Она догнала и остановила его. — Пойдем, я тебя с папой познакомлю!

— Зачем? О чем мы будем говорить? — Озеров покосился на генерала, который издали с любопытством посматривал в их сторону.

— Прощай! — Он протянул Тоне руку.

— Нелюдимый ты, ей-богу. Все обижаешься за Кравцова?

— Не обижаюсь. Забудем про это! — А у самого к горлу подступил комок, понимал, что поступает опрометчиво, видел, что девушка искренне к нему тянется, но ничего не мог поделать со своей дурной натурой: пусть генеральская дочка глубже раскается в дурном поступке!

— Я тебе буду писать. Ладно? — Тоня крепко пожала ему руку и долго не отпускала.

— Ладно.

— Обязательно буду писать!

«Из приличия, да?» — хотел было съязвить, да поостерегся: зачем лезть на рожон? Все-таки старые друзья, в некотором роде даже родственники. Стало совсем тоскливо. Прав ли он, отказывая Тоне в каком-либо участии в его судьбе? (А о том, что она преднамеренно приехала с папой-генералом, не было сомнения: однажды уже намекала Озерову, что он мог бы остаться на штабной работе). Ведь как завидовал подтянутым, чистеньким, самоуверенным тыловикам! Почему же этой вольготной жизни кузен генеральской дочки предпочел полную лишений и опасностей? Просто был не из тех молодых людей, которые озабочены устройством своего благополучия. Глазом не моргнув, они ради этого поступят совестью, готовы на любые увертки и унижения. А у Виктора прежде всего человеческое достоинство. «Береги костюм с нову, честь с молоду!» — нет-нет и приходила на ум давно где-то прочитанная или услышанная поговорка. Не без иронии он подумал, что обязательствами перед самим собой окутан, как новорожденный пеленками. Верно, наивным простачком выглядел бы сейчас в глазах Кравцова.

Ужинал Озеров уже в минометной роте, но не на передовой, как ожидал: дивизия вышла во второй эшелон на отдых и переформировку, стояла километрах в двух от Красной Горки: в полки прибывала молодежь из освобожденных районов, которую Гитлер называл «сталинскими трофеями», и офицеры усиленно занимались боевой подготовкой: рота в наступлении, батальон в наступлении. «Сталинские трофеи» — двадцатилетние здоровяки-украинцы и «дядьки» постарше, засидевшиеся возле бабьих юбок, как о них говорили фронтовики, охотно выполняли на плацу команды, хотя и неловко, с гражданской неповоротливостью. Немцы с крутого берега Днестра, заметив движение войск, открывали орудийную пальбу, и учения тогда напоминали передовую. Были и жертвы.

И хотя про оборону тоже не забывали, ходили по ночам рыть окопы и блиндажи на плацдарме, слово «наступление» произносилось все чаще и чаще. А тут прошли слухи о назначении командующим фронтом генерала Толбухина, того самого, который только что прославился при освобождении Крыма, повторив легендарный переход через Сиваш и штурм Турецкого вала времен гражданской войны. Генерал, что называется, «наступательный», значит, на самом деле не зимовать на Днестре.

## 5

Штаб фронта — это отнюдь не мощные, уходящие в землю укрепления, с многометровыми железобетонными перекрытиями. Штаб фронта обычно размещался в неприметном селе, подальше от оживленных магистралей. Военных в таком селе «напихано», как семечек в арбузе. В каждой хате начальник, канцелярия. Под камышовой стрехой, впритык к стене — замаскированная машина. Тут же, под стеной — глубокий окоп на случай бомбежки: с бревенчатыми перекрытиями у генералов, да и то не у всех. И повсюду, от хаты к хате, провода. Зуммерят телефоны, стучат пишущие машинки, шелестят карты и деловые бумаги, идет напряженная работа.

Штабисты — народ подтянутый, аккуратный, начищенный, наглаженный. В общении среди них нет той грубоватой простоты, какую встретишь на передовой, начальник приказы отдает, не повышая голоса, а исполнитель, козырнув, стремглав выполняет. Вот с рокотом, поднимая пыль, промчался мотоциклист с планшеткой на боку или зеленый связной броневик. А вот пробежал ординарец, осторожно неся на руках отутюженный генеральский мундир. И снова село точно вымерло. Посмотришь сверху, с самолета — обычная сельская картина, и только зоркий глаз бывалого летчика-фронтовика определит, что там внизу на самом деле.

Суматошный день в штабе подходил к концу, и Бирюков с радостью ждал, когда наконец останется один. Он предвкушал эти часы одиночества, как, помнится, в детстве, именинником, ждал момента, когда можно будет спрятаться с подарком в укромном уголке дома, счастливым и независимым. Оставаясь один, он шел освежиться в заросли полудикого сада, а то подавался за село, на выгон, навстречу ветру и глухой темноте, где его никто не мог видеть, никто не мог помешать полностью отдаться размышлениям. Пешие прогулки доставляли истинное удовольствие, вообще он любил ходить пешком, как, впрочем, все на фронте: безопаснее при налете немецких самолетов. Иной раз остановит машину, прикажет шоферу ехать одному, а сам отправится через поля и перелески напрямик. В пешей ходьбе было свое очарование, даже что-то заразительное, как курение табака, чему, однако, Бирюков был противник и не терпел, когда генералы, собравшись у Толбухина, наполняли комнату таким густым дымом, что хоть сбегай.

«Немец, конечно, уже не тот, что был на Миусе или даже у марганцевых рудников, но бросать оружие не собирается. Может и сдачи дать...» — размышлял Бирюков, перескакивая в темноте канаву, известную по прежним прогулкам, и поднимаясь на бугор с заброшенным ветряком. В непогоду он скрипел и стонал, как старик, а теперь молчаливо маячил впереди. Бирюков остановился, вглядываясь в черный силуэт, и невольно испытывая суеверный детский страх. Он усмехнулся, но дальше все же не пошел, словно между ним и ветряком пролегла ничейная зона, как на передовой, и ветряк сейчас олицетворял собой глухую безответную сторону противника.

«Немец не тот, но и спуску не даст, если промахнуться, — думал Бирюков, поглядывая на ветряк. — А у генералов уже заметно самоуспокоение, мол, наша берет, немца шапками закидаем. И даже Толбухин с виду не так обеспокоен предстоящим наступлением, как в прежние операции. И у союзников сложилось мнение, будто русские что хотят, то и делают с немцами. Битые генералы рейха оправдываются «семи-восьмикратным превосходством Советов». Непонятно, что они имеют в виду — сосредоточение сил в направлении главного удара? На самом деле едва ли придется один русский на одного немца, и людские резервы на грани истощения. Поэтому наши полководцы ломают головы прежде всего над тем, как выиграть сражение с наименьшей кровью...»

На ветряке стукнуло, заскрипело, то ли ветер качнул крылья, то ли внутри были люди. Бирюков прислушался, вгляделся: сквозь щели блеснул огонек. Несомненно, кто-то прижился на мельнице и, конечно же, не леший. Может быть, там прятались немецкие разведчики? В последнее время они прямо-таки осаждали нашу оборону, обеспокоенные оживлением на передовой. Странно: что сделала суеверный страх, то не могла сделать даже опасность столкнуться с лучше вооруженным противником. Расстегнув кобуру и положив руку на пистолет, Бирюков осторожно двинулся к ветряку. Дверь была открыта, и изнутри доносился шум, неясные голоса, но слов нельзя было разобрать, так как люди находились вверху, на подмостках. Бирюков прошмыгнул в дверь и спрятался под лестницей.

— Тссс... кто-то ходит, — послышалось сверху.

— Ведьма с кикиморами. Сейчас шабаш устроят.

— Ой, страшно.

— А я вот туда гранатой.

— Тише ты!

Наверху смолкли, притихли, и теперь уже не было сомнения, что на мельнице собрались подростки, как, помнится, и в детстве Бирюкова девочки и мальчишки в укромном месте и допоздна рассказывали страшные истории о привидениях, вампирах, домовых, оборотнях, водяных и прочей нечистой силе, отчего волосы становились дыбом и жутко было оглянуться: невзначай увидишь какую-нибудь безобразную рожу.

— Да что вы прижались друг к дружке! Никого нет. Это почудилось. Давай продолжай.



— Ну, к нам в коровник повадилась ласка и дочиста выдаивала буренку...

— А какая она, ласка?

— Такой небольшой длинный зверек.

— Это не ласка, а домовой.

— Ой, помню, раз я спала или не спала, не знаю, к моей кровати подошел лохматый, темный, лица не видно, может, совсем без лица, навалился и давай душить. (Бирюков, к удивлению, признал голос дочери.) Отец спал в соседней комнате, я силюсь позвать его: «Папа! Папа!» А крикнуть не могу. Хочу подняться, но ни рукой, ни ногой не могу шевельнуть. От страха чуть не умерла. Лохматый тут меня отпустил. Я вскочила с кровати — в комнате никого. Кто это был, как вы думаете?

— Домовой!

— Тсс... Слышите? Вверху. Вон там, под стрехой... Вон, вон сверкнули два глаза!

— Фриц летит! Вот этот сейчас сверкнет!

Со стороны Днестра послышался надрывный рокот ночного немецкого бомбардировщика. Самолет сделал круг над селом и полетел прямо на ветряк.

— Как бы не пронюхал про штаб! — предположил молодой басок. — Задаст тогда жару.

Самолет удалился в глубь нашей стороны и совсем смолк. Снова наступила тишина, и было слышно, как под стрехой завозились не то летучие мыши, не то голуби. Что-то покатилося, поскакало по доскам упало к ногам Бирюкова, вроде чурки или камешка, но на подмостках сразу затаились в ожидании чего-то сверхъестественного. Бирюков улыбнулся: несуществующие домовые и лешие нагоняли на парней больше страха, чем немецкие самолеты над головой и передовая в каких-нибудь восьми километрах, где все время грохотало.

— А на Днестре что делается!

— Ну и пальба поднялась... — Не иначе разведка боем. Фрицы, наверно.

— А может, наши.

Парни прильнули к окошкам. Бирюкову тоже было видно сквозь щели в досках, как летели в небо красно-желтые трассеры пуль и зеленые ракеты, как отсвечивали сполохами в набежавшей туче взрывы бомб. Пальба пошла на убыль и стихла. Парни присели было в кружок, но наверху что-то захлопало, запищало, посыпалась друзга, поднялась пыль.

— Ух! Ух! Ух!

По лестнице вразной затопали ноги, кто-то полетел кубарем, девочки взвизгнули. Ватагу словно ветром вынесло из мельницы.

Бирюков несколько раз подряд чихнул, отряхнулся и полез наверх. Отсюда, со второго этажа, открывался неплохой обзор в сторону Днестра. Линия передовой четко обрисовывалась огнями ракет, была далеко видна на север и на юг по холмам. Бирюков как бы разом охватил фронт, свои и

немецкие армии, и на минуту представил сражение, которое готовил по штабной карте. Вон скрытно выдвинулись «коробочки», танковые дивизии, готовые для стремительного броска вперед, и саперы уже «выметали дороги», чтоб не осталось «ни соринки», то есть ни одной мины на их пути. Вон нацелились длинными стволами для внезапного огневого удара орудия, и командующий артиллерией Неделин предупреждал, чтобы, боже упаси, кто-нибудь раньше времени «не сорвался с привязи». Вон уже поднялись в воздух бомбардировщики, сопровождаемые «ястребками», а за ними — «летучая смерть», штурмовики с подвесками ракет. А вон укрепления немцев: доты, эскарпы, проволочные заграждения, там реки, там горы, а там Черное море, построенные в боевые порядки военные корабли. Войска приходили в движение, противоборствовали, и Бирюков старался предугадать, определить и направить ход сражения по разработанной схеме. И то, что прежде казалось чуть ли не главным в операции, теперь, в ночном безмолвии, выглядело второстепенным, чрезмерно раздутым усердными штабистами. Вещи как бы стали на свои места, и Бирюков, фронтовик, с пятью нашивками за ранения, познавший войну, что называется, на собственной шкуре, вернулся к своей первоначальной задумке, на первый взгляд вздорной, противоречащей военной науке, но на самом деле единственно верной. Он уже докладывал о своих соображениях Толбухину, и тот отнесся к ним скептически. Бирюков заколебался: не сморозил ли? Нет, нет, он был прав, только поступая так, а не иначе, можно нанести немцам внезапный удар с наименьшими потерями в людях и технике.

Бирюков сбежал по лестнице вниз, пустился со всех ног к селу, побыстрее к оперативной карте, которая должна была раскрыть ему что-то новое о противнике и подтвердить его догадки. Он заперся в комнате, наказав часовому никого не впускать, а дежурному телефонисту никого не соединять с Беловым (это был его псевдоним), кроме «хозяина». На дворе приглушенно стучал движок, а в хате подрагивал свет электрической лампочки. Она низко висела на длинном шнуре, под эмалированным рефлектором, похожим на перевернутую тарелку, образуя на столе уютный светлый круг, располагавший к размышлениям. Оперативная карта, как узорчатая скатерть, занимала весь стол, пестрела синими и красными цветами. Бирюков быстро расставил карандашом условные знаки и вдруг распрямился, чем-то осененный. Рассыпанные по лбу волосы искрились под лампочкой, рослая, почти двухметровая фигура поднялась до самого потолка крестьянской хаты.

— Только так... только так... — забормотал он, отходя к окну, занавешенному байковым одеялом, взял с подоконника пузатый, облитый глазурью глечик с молоком, налил в стакан (он выпивал за день до двух литров сырого молока, и ординарец даже на ночь приносил его в спальню).

Отхлебывая из стакана, Бирюков вернулся к карте. Под размеренный стук движка он целиком отдался размышлениям, покусывал губы, ворошил на голове волосы, облакачивался на стол, положив подбородок на

сложенные чашечкой ладони, и все никак не мог понять упорства Толбухина. То, что для него, начальника штаба, не подлежало сомнению, почему-то для командующего оказалось неприемлемым. Они расходились в выборе места для главного удара. Бирюков предлагал Кицканский плацдарм, захваченный нашими войсками в южном течении Днестра весной. Речная пойма была вся в садах и лесах с небольшим селом Кицканы и монастырем на его окраине.

Бирюков обосновывал свой выбор тем, что, во-первых, пойменные заросли хорошо скроют войска, во-вторых, не надо будет с боем форсировать Днестр и, в-третьих, есть возможность нанести противнику удар там, где он никак его не ожидает. Толбухин возражал против плацдарма потому, что считал его маленьким для сосредоточения нескольких ударных армий, и еще потому, что лежащая за плацдармом местность была холмистая, труднодоступная для танков, да и немцы занимали оборону по высотам, а мы внизу, следовательно, пехоте придется трудно. «А нам нужно так двинуть немца, чтобы опомниться не успел, как попал бы в котел!» — говорил он, предпочитая наступать на Кишинев. Местность там была ровнее, и механизированные войска сразу же после прорыва обороны выходили на широкий оперативный простор. Немаловажно было и то, что в первую очередь освобождалась столица Молдавии. «Понимаешь, что получается?» — заключил Толбухин, поводя многозначительно белесыми бровями.

Правда, немцы тоже ждали удара на Кишинев и сосредоточили восточнее города всю Шестую армию, ту самую, что была уже дважды разбита — первый раз под Сталинградом во главе с фельдмаршалом Паулюсом и второй раз в составе группы армий Манштейна этой весной на Южном Буге. Немцы в третий раз довели ее до полного состава, а солдаты и офицеры назвали себя «мстителями». Они должны были отомстить за своих «камрадов», оставшихся в коварных русских котлах. Толбухин считал, что удар по Шестой армии всей мощью артиллерии и авиации нанесет ей невосполнимый урон и обеспечит успех операции. В общем, он настаивал на Кишиневском направлении и сегодня сказал Бирюкову:

— Отправляйся-ка, Сергей Иванович, на Кицканский плацдарм, возьми с собой кого сочтешь нужным из генералов, еще раз прикинь на месте все «за» и «против», а я поеду под Кишинев. Завтра встретимся, обсудим что и как.

Конечно, в академии за этот плацдарм Бирюков схватил бы кол, но там, как известно, пользуются классическими примерами, а на войне сообразуются с обстановкой. И он поехал на Днестр, не очень уверенный в поддержке генералов после серьезных возражений командующего. Помнится, в юности бывало так, что твою правоту, ясную, как божий день, не признают другие. Не признают — и все тут! Бирюков из-за этого однажды схватился на кулаках со своим сверстником и, хотя был не слабее его, оказался побежденным. А все потому, что слишком ершился, восстановил

против себя ребят, свидетелей спора, и они взяли сторону «противника»... Да, непростая штука — отстоять свою правоту!

Еще издали по дороге к плацдарму открылась гряда степных холмов. Самый высокий среди них, с деревянной тригонометрической вышкой в седловине, неизвестно почему назывался Суворовой могилой. Может быть, под этими холмами покоились солдаты, которых два века назад водил Суворов на штурм турецких бастионов?

Далеко вправо, на самом берегу Днестра, белели домики городка Бендеры и громоздилась турецкая крепость из серого камня, когда-то приютившая бежавшего из-под Полтавы шведского короля Карла XII. Прямо на плацдарме утопал в садах Кицканский монастырь с высокой колокольней, нашим наблюдательным пунктом. Монастырь не пустовал, монахи остались в нем, несмотря на близость передовой, и вышли навстречу Красной Армии с полными ковшами медовухи, которой отведал и Бирюков, недавно побывав в монастыре. Что ни говори, места нашенские, земли еще угличей и тиверцев. Отсюда водили свои дружины киевские князья, чтобы «прибить щит на воротах Царьграда», и Черное море звалось тогда Русским морем, тут секлись с турками запорожские казаки. Петру Первому, Суворову, Кутузову знакомо было Приднестровье, и не раз наши наголову громили врага на холмах Бессарабии. Героическое прошлое русской армии поднимало дух, придавало Бирюкову сил и уверенности в успешном исходе задуманной операции. И, кстати, вспомнился французский романист Стендаль, участник наполеоновского похода на Москву, который писал потом, что русских ничто не может остановить, разве только вредный для северян знойный и малярийный юг. «А на Днестре, хоть и жарко, — подумал Бирюков, — но вполне терпимо. Воевать можно».

Крепость Бендеры, Суворову могилу, всю господствующую над местностью гряду холмов занимали немцы. Кицканский плацдарм, вклиниваясь в их оборону, был «бельмом на глазу», и немцы не раз пытались отрезать от Днестра и окружить высадившихся на правый берег смельчаков ударами по флангам. Здесь, у берега, плацдарм по длине не превышал четырех километров. Но по мере удаления от берега он расширялся до восьми километров, а вглубь простирался на двенадцать километров. Это хорошо промерил по карте Бирюков. Он отправился на рекогносцировку вместе с командующим артиллерией Неделиным, и когда тот узнал, зачем они едут, сразу же взял сторону Бирюкова, соглашаясь, что, несмотря на сжатые размеры, плацдарм вполне пригоден для сосредоточения ударных сил, что «фактор внезапности здесь вполне будет обеспечен».

— Толбухин опасается, как бы танки не застряли на высотах, — заметил Бирюков.

— Возьмут! Артиллерия подравняет, — заверил Неделин, разглядывая в бинокль сторону противника.

— А пойму с протоками и плавнями?

— Гати проложим. Главное, немцы нас не ждут с плацдарма!

Убежденность Неделина приободрила Бирюкова, значит, не одного его привлекал «неакадемический» плацдарм. Чтобы окружить немца, обмануть его, запутать свои следы, нужно было действовать хитро, скрытно, внезапно, как на любой охоте. А предстоящее сражение чем-то напоминало охоту на сильного, хищного зверя, которого можно и убить, и самому стать его жертвой, разъярив неудачным выстрелом. Вспомнил Бирюков и поход против басмачей, и те уловки, благодаря которым удалось быстро разделаться с врагом. Переправившись на ту сторону, генералы пошли по траншеям, вырытым в полный рост, а кое-где обшитых и досками. Жарко, душно, из-под фуражек на лица скатывался пот. Под деревьями, бросавшими узорчатые тени на стены траншеи, было немного прохладнее, от земли тянуло сыростью. Впереди лениво постукивали пулеметы, и где-то далеко, далеко изредка ухало. А когда наступала тишина, то казалось, что все живое вокруг разомлело, спит. Воздух стоял неподвижно, густое разнотравьепряно пахло. Шли мимо артиллерийских позиций, и Неделин не удержался, проверил готовность к бою батарей. Сперва «полковушка», а потом и «дивизионки» открыли огонь по указанным генералом целям. Прислуга действовала четко, попадания были точные, и довольный Неделин многозначительно поглядывал на Бирюкова: мол, с такими артиллеристами да не взять высоты!

На огневых минометной батареи навстречу генералам выбежал белокурый лейтенант и, волнуясь, забежал глазами по плечам, но оба были в синих комбинезонах, скрывающих погоны. Бирюков незаметно для Неделина кивнул головой лейтенанту, показывая на командующего артиллерией: ему, ему докладывай, хотя полагалось докладывать начальнику штаба, старшему по должности.

Лейтенант повернулся к Неделину и доложил:

— Первая минометная рота 1310-го стрелкового полка 19-й Воронежской стрелковой дивизии вчера прибыла из второго эшелона и заняла позиции напротив Суворовой могилы. На стороне противника ничего особенного не замечено. Докладывает лейтенант Озеров!

Неделин строго глядел на лейтенанта, пока он докладывал, словно был недоволен рапортом, и возразил:

— А я заметил! Триста метров правее Суворовой могилы пехота и танки противника.

Озеров поначалу растерялся, не увидев ни пехоты, ни танков в том направлении, куда показывал Неделин, но быстро сообразил, в чем дело, и подал батарее команду «к бою». Не прошло и трех минут, как правее Суворовой могилы взметнулись дымки разрывов. Неделин ничего не сказал, видно, ожидая мнения Бирюкова. А тот по-отцовски сочувственно посмотрел на белокурого юного командира роты и поинтересовался, сколько ему лет.

— Сегодня двадцать два стукнуло! — ответил Озеров, немного смущаясь.

— Так-таки сегодня?

Озеров подтвердил, не понимая, отчего генерал пришел в восторг.

— Ну тогда, лейтенант, мы с вами родились в один день, только я на восемнадцать лет раньше, и в вашем возрасте был еще... да, точно, командиром стрелкового взвода. К сорока годам вы меня наверняка общеголяете! — Он улыбнулся и крепко пожал Озерову руку, поздравляя с днем рождения.

— И вас тоже, — сказал Озеров, краснея, чувствуя большое расположение к Бирюкову. Генералы двинулись дальше по траншее, а он все смотрел вслед высокому, светло-русому начальнику штаба с восхищением: «Пять нашивок за ранения!.. За таким генералом солдаты пойдут в огонь и в воду. Неужели это Тонин отец? Интересно, узнал он меня или нет? Если бы узнал, то о братьях поинтересовался. Хотя мне и рассказать-то о них нечего...» Как бы то ни было, но Озеров заметил симпатию к себе во взгляде генерала.

А Неделин неодобрительно косился на Бирюкова:

— Как же ты умолчал, Сергей Иванович?

— О дне рождения? Сам запомнил. Спасибо лейтенанту — напомнил!

Бирюков говорил правду. В последнее время он забывал вовремя поесть, ответить на письмо жены и даже отказался от концерта московских артистов, редко приезжавших на фронт. Верно говорят: начальник штаба должен быть с семьей пядями во лбу и не принадлежать себе. Он, конечно, генерал, командир, готовит и проводит военные операции. Но и все, чем живет фронт с полумиллионным мужским населением, потребляющим в неимоверном количестве военную технику, боеприпасы, горючее, обмундирование, продукты и прочее, и прочее, не обходит стороной начальника штаба. Телефонные разговоры, встречи с работниками тыла и командирами всех родов войск безжалостно забирают время. Бирюков словно на бегу ворвался в свое сорокалетие и стукнулся лбом о столб... со-ро-ко-вой столб!

Трудно было понять, когда на лице появились морщины, поредели волосы и обозначились залысины. Вроде бы каждый день в зеркале было одно и то же лицо, без каких-либо признаков увядания, розовощекое, с пытливым взглядом серых глаз, с густыми светлыми кудрями, зачесанными назад. И казалось, что время остановилось, что старики и старухи не знали юности, а он не будет знать старости. Да, так он когда-то думал и не заметил, когда «гусиные лапы» легли у глаз. Что-то против его воли шло напролом, и не было никакой возможности приостановить эту силу. Не так сам себе он казался стареющим, как, видя своих стареющих сверстников, понимал, что и он давно уже не юноша, и теперь хотел бы, чтобы старел только он сам, а не сверстники. Пусть они останутся молодыми, пусть все останется неизменным.

— Что ж, хоть немного грустно, а жить можно, — сказал Неделин, который был старше Бирюкова и уже седой. — Сороковые годы, хорошие годы, только теперь по-настоящему понимаешь, что такое жизнь. Ты,

Сергей Иванович, еще молодой человек! — заключил он с улыбкой и снова поднял к глазам бинокль, зашарил по стороне противника.

— Между прочим, один из моих братьев отчим белокурому лейтенанту-минометчику, — сказал Бирюков. — Хотел его взять к себе адъютантом — отказался. Что ты на это скажешь?

— Уважаю таких офицеров, — отозвался Неделин, не отрываясь от бинокля, и уверенно добавил: — Пройдут наши танки. Я за плацдарм обеими руками и ногами!

\* \* \*

Заручившись поддержкой «бога войны», Бирюков спешил встретиться с командующим фронтом, но тот все не возвращался из-под Кишинева. Было половина двенадцатого, когда Бирюков распрямился над столом, раскинул руки, присел несколько раз. Все это он делал легко, с удовольствием, чувствуя в себе неизрасходованную силу. В приподнятом настроении снял с вешалки фуражку и вышел во двор. Пахнуло теплом: земля еще не остыла после дневного зноя, и от нее шел дух, как от хорошо вытопленной русской печи. Пахло пылью, долго не оседавшей после машин. Тяжко, словно вздох больного, ухнул дальнобойный снаряд, эхо раскатилось по долам и весям.

Прижимаясь к плетням, Бирюков направился к Толбухину, бывшему на постое через квартал. Глаза вскоре притерпелись к темноте, дорога забелела под ногами. Ночь была такая, что сейчас бы где-нибудь в саду, под грушей, растянуться на свежескошенной траве, послушать таинственные ночные шорохи и заснуть под ленивый шелест листвы. Бирюков замедлил шаг, поднял лицо к звездам, густо засеявшим черное небо, и, как в детстве, что-то волнующее и необъяснимое увидел в далекой вышине. Заслезилась глаза... Прежде он не замечал или, может быть, не обращал внимания, но вот теперь, в свое сорокалетие, подумал, что действительно стареет. Все-таки большое расстояние разделяло его и белокурого лейтенанта. Но он не пожалел об этих ушедших восемнадцати годах, не позавидовал лейтенанту, и не потому, что его будущее было неопределенно, зависело от случая, как все на войне, просто Бирюков не чувствовал своего возраста, все еще был устремлен в далекое, неясное, зовущее, как эти звезды.

От кого-то он слышал: «Человек прожил сорок лет, любил, женился, вырастил детей, завершил жизненный цикл». Что значит цикл? — удивился Бирюков. Если так, то дальше, выходит, некуда, конец. Нет, это ленивцы придумывают для себя ограничения, а настоящий человек всегда в порыве, всегда в поиске!

Навстречу кто-то шел. Поравнялись. Тоня.

— Ты до сих пор не спишь? Бродишь по селу одна...

Бирюков хотел рассердиться, но не мог: на лице дочери была такая же радость, такое же ощущение полноты жизни и ожидания от нее чего-то неведомого, как и у него самого.

— Я ходила на кладбище, — с усмешкой сказала Тоня.

— То на мельницу, то на кладбище. Что за причуды?

— Среди могил такие кусты разрослись. Вот! — Она протянула отцу букет жасмина. В лицо дохнуло тонким ароматом свежих цветов.

Тоня поцеловала отца в щеку.

— Желаю тебе многих, многих лет жизни и счастья!

— Как же ты одна решилась на кладбище? — И в вопросе звучало еще: одна ли?

— Страшно, конечно. Все чудилось, что кто-то стоит за спиной. Но я всем чертям назло... — Тоня прижалась к плечу отца.

— Видел твоего белокурого кузена.

— Виктора?

— Сегодня у него, как и у меня, день рождения. Поздравь по телефону?

Тоня кивнула без воодушевления.

— Что такое? Отчего скисла?

— Мы поссорились...

— Тоня, Тоня, как бы от изобилия кавалеров у тебя не вскружилась голова... Поссорились, невелика беда, помиритесь... А впрочем, скоро первое сентября, тебе в школу. Мать в каждом письме напоминает. Не столько тебе, сколько мне достается. Завтра же домой!

— Никуда я не поеду, товарищ Белов! — Тоня надула губы и отвернулась. Долго сердиться она все же не могла и снова прильнула к отцу. — Ну, зачем я уеду, папа? Здесь буду нужнее. Скоро наступление, а я уеду...

— Какое наступление? Кто тебе сказал? — Ошеломленный Бирюков схватил дочь за руку и отвел на середину дороги, чтобы их невзначай не подслушали. Тоня подчинилась с неохотой, ничего не понимая.

— А что тут такого? На мельнице один солдат-разведчик говорил.

— Какой солдат?

— А я знаю! Рыжий такой. Сидел, разное болтал. «Скоро будет наступление, говорит. Не зря генералы заладили на передовую».

У Бирюкова словно гора с плеч: вспомнил, что и в окопах какой-то солдат, глядя на Неделина, усмехнулся: «Значит, будем наступать, товарищ генерал?» — «Засиделись? Надоело?» — беспристрастно спросил Неделин. «Что да, то да — засиделись! Пора бы уже... У меня верная примета: появились генералы в окопах — скоро наступать».

«Цветок в горшке на подоконнике в моей комнате, и тот не просто цветок, — подумал Бирюков, — а живое существо, да еще какое капризное! Не полейте вовремя, не полейте хорошо — увянет. А я почему-то жду от дочери покорности отцу. Но у нее вон какой нрав!»

Тоня ушла — высокая, в ладно сшитой по ее тонкой фигуре военной форме, совсем взрослая, а Бирюков вспомнил дочь подростком во главе мальчишеской ватаги (девчонок она почему-то избегала, всегда с мальчишками). Идут по талому снегу, по лужам. «Командиры ровно ходят, а Володька спотыкается!» (Это она переднему, самому большому.) «Коман-



диры не перепрыгивают лужи, а идут по лужам!» И, отстранив Володьку, показывает, как делают командиры: «Я теперь командир!» Это уже был характер.

\* \* \*

Через приоткрытую дверь доносились переборы баяна и притоптывание. В глубине комнаты возле стола с закусками и водкой сидел Толбухин — красный, в расстегнутой гимнастерке, с баяном на коленях, старательно наигрывая «матаню», в то время как два дюжих солдата вприсядку отплясывали посреди комнаты. Плясали они от души, не жалея сапог, и Толбухин, войдя в раж, встал с табуретки, заходил вокруг них, подпевая и сам выкидывая замысловатые колена. Был он выше среднего роста, полноват, с зачесанными от висков на лысину редкими волосами, с круглым белым лицом и каким-то детским выражением, когда улыбался. Увидев Бирюкова, кивнул головой, чтобы сел, а сам продолжал ходить вокруг солдат, притоптывая ногой.

Бирюков чувствовал себя не в своей тарелке, шокированный увиденным, и растерянно, глупо улыбаясь, следил за происходящим, как если бы открыл в уважаемом им человеке дурную сторону характера. Сам он, когда появлялись просветы в работе, проводил время за чтением или записями в дневнике, надеясь в будущем использовать их в задуманной книге о войне. «Какое-то солдафонское время провождение», — думал он, уже хмурия брови.

А представление продолжалось. Солдатские гимнастерки взмокли, лица раскраснелись, пот с них крупными каплями падал на пол. Толбухин сжал мехи и положил руки поверх баяна.

— Ну, братья-славяне, большое вам спасибо. Потешили.

— Рады стараться! — в один голос гаркнули солдаты, вытирая рукавами распаренные лица. Толбухин проводил их до порога, вернулся, снял с плеча баян и положил на табуретку.

— Земляки. Из полка связи, — сказал он, как бы оправдываясь за полуночное веселье. — Что, Сергей Иванович, «матаня» у меня выходит? Долго никак не мог осилить.

Бирюков знал за Толбухиным эту слабость к русским песням и пляскам, слышал по вечерам в его хате переборы на баяне, упорное разучивание какой-нибудь неподдающейся мелодии: баянист из него вышел не ахти какой, и сам говорил, что девки за ним в Андронниках не бегали ватагами.

Видно, баян многое напомнил из прошлого. Настроение у командующего было, что называется, «домашнее», и деловой разговор не вязался, хотя Бирюкова так и подмывало расспросить о поездке в Кишинев и выпытать что-нибудь о главном ударе. «Прижимистый мужичок» о своих намерениях умалчивал, «расколоть» его было невозможно. Достал из-под стола боржомом (там всегда стоял ящик минеральной воды, привык к ней

еще в Закавказье на довоенной службе), налил в стакан, бросил в рот какую-то таблетку и запил.

— Ну как кишиневский климат? — начал Бирюков несколько издали, все-таки надеясь кое-что разузнать.

Толбухин поморщился от шибанувшего в нос газа, сел на стул, расставил ноги, как это делают люди с большими животами.

— Съездил, даже встречался с нашим соседом, — сказал он, имея в виду Малиновского, командующего 2-м Украинским фронтом.

— Родионом Яковлевичем? — Бирюков оживился. — Он-то куда планирует главный удар? На Яссы? По моим соображениям должен на Яссы...

Толбухин снова поморщился, но теперь, кажется, не от газа. Вопрос Бирюкова пропустил мимо ушей, а стал рассказывать, как он под Сталинградом, еще будучи командующим армией, жил в одной землянке с Малиновским. Военная судьба все время их сталкивала, и получалось так, что Толбухин всякий раз приезжал на смену Малиновскому, «выживал», как шутили они между собой. Так было и теперь, на Днестре, но далеко они не разъехались, оказались соседями.

— Да-а, встретились, вспомнили Сталинградскую операцию, — продолжал Толбухин, допивая короткими глотками боржом. — И понимаешь, что получается? Завел я с Родионом Яковлевичем разговор насчет главного удара, он улыбнулся и говорит: «Если я хочу сохранить что-либо важное в секрете, то не сообщаю до поры до времени об этом никому, даже начальнику своего штаба. Стараюсь об этом не только никому не говорить, но и самому не думать, тогда действительно о моем замысле никто не узнает».

Толбухин смотрел Бирюкову прямо в глаза, и тот понял этот взгляд, потупился. Они неплохо сработались, правда, вначале Толбухин относился к начштаба подозрительно, не доверял, контролировал его приказы и распоряжения, но потом, познакомившись поближе, успокоился и предоставил полную самостоятельность, даже как бы потерял интерес к штабу.

Обычная характеристика командира — суровый, требовательный — не подходила к Толбухину. Его считали мягким, сдержанным, а начальника штаба Бирюкова, напротив, суровым и требовательным. «Они дополняют друг друга. Удачное сочетание!» — говорили в Ставке. Ну, что ж, Бирюков не возражал. Только вот в споре о главном направлении у Толбухина появилось что-то от первых натянутых отношений, и это уязвляло Бирюкова. Может быть, командующий скрывал еще один какой-нибудь замысел, который никак не мог оценить? Бирюков стал перебирать в памяти наиболее выгодные для наступления позиции и ничего лучшего, чем Кицканы или, на худой конец Кишинев, не нашел.

— Ну да об этом завтра, на военном совете, — сказал Толбухин, отставил пустой стакан, достал носовой платок, вытер вспотевшее лицо, шею, забрался за шиворот, поводит и по спине. — А сейчас я тебя, Сергей Иванович, маринованными груздями угощу. По-

лучил посылку из Андронников. Не знаю, как ты, а я большой любитель грибов и сам заядлый грибник, только, говорят, они вредны печени... Эхма, хотя бы на денек в наши лесные края, подышать хвойным воздухом. Плохо на меня действует степной климат, пыли много, хотя в юности и пришлось здесь порубиться с австрияками.

И Толбухин вспомнил Брусиловский прорыв, в котором участвовал командиром роты. Эта грандиозная операция прошлой войны, как и Сталинградская нынешней, очень его занимала. Бирюков даже заметил на столе том военной истории и оперативную карту Юго-Западного фронта, которым командовал генерал Брусиллов.

— Понимаешь, что получается? — Толбухин неторопливо и задумчиво склонился над картой. — Хорошо бы соединить стремительность Брусилловского прорыва с цепкостью сталинградских «клещей». Вот это была бы операция! А воевать тут можно. Места знакомые... Что же я тебе зубы заговариваю? — вдруг спохватился он. — Давай по рюмке за твоё сорокалетие!

В общем Бирюков относился к командиру с уважением.

В большом ходу у того были жесты, многозначительные взгляды, но не для красивой позы. Никогда он не скажет: «Приказываю вам, генерал-полковник Бирюков, так-то и так-то сделать», а лишь почмокает мясистыми губами или поведет белесыми бровями: «Понимаешь, что получается, Сергей Иванович? Засел в голове, как заноза, один вопрос...»

Добряк, весельчак и шутник, Толбухин был полной противоположностью сдержанному, суховатому Малиновскому, своему соседу. На каком-нибудь вечере, в кругу офицеров, своим присутствием он не нагонял скуки и уныния, всегда старался создать непринужденную обстановку: то подковырнет кого-нибудь и вызовет всеобщий смех, то попросит спеть своего заместителя по тылу любимую: «Течет речка по песку прямо в матушку Москву» или сам сыграет на баяне и споеет. А если еще женщины окажутся на вечере, то блеснет анекдотом и тем самым развяжет языки у офицеров.

Малиновский, напротив, когда случалось гостить у него, был официален, скрытен, и Бирюков не знал, как себя вести, что пить, что говорить, поэтому он несколько не удивился словам Толбухина о том, что Малиновский, если хочет сохранить что-либо важное в секрете, то не сообщает до поры, до времени об этом никому, даже начальнику своего штаба.

«Почему у нас разные понятия об одном и том же предмете? — мучился Бирюков. — Непонимание, если здраво рассудить, — сделал он тут же вывод, — сопутствует человеку всю жизнь, и все силы, вся воля его уходит на преодоление непонимания в себе и рассеивания его в других, на признание другими своих убеждений и утверждения своего Я. Во что бы то ни стало убедить Толбухина, заставить поверить в то, что для меня ясно и понятно!» — дал себе зарок Бирюков, уходя от командующего.

На следующий день с утра начался военный совет. Бирюков волновался, это было видно по его рукам, когда он сам взялся повесить оперативную карту и долго не попадал шнурком на гвоздь, в чем ему помог офицер из топографического отдела. Но заговорил он уверенно, напористо, с присущей ему страстью.

— Ставкой, — начал он еще вздрагивающим от волнения голосом, разбирая перед собой на столе бумаги и отыскивая нужный документ, — нам поставлена задача разгромить группу армий «Южная Украина» и вывести из войны Румынию, наиболее крупного военного союзника Германии. Сосед справа, конечно, ударит на Яссы, что им давно задумано. — Бирюков покосился на Толбухина.

— Вон даже как: «Давно задумано», — удивился Толбухин, глядя улыбочивыми, сомневающимися глазами, и лицо его приняло младенческое выражение. — Но, по-моему, не таков Малиновский, чтобы раскрывать свои замыслы раньше времени, Сергей Иванович. Или он тебе одному на ухо шепнул?

Толбухин потянулся под стол за бутылкой боржоми. Ему сегодня что-то нездоровилось. К застарелой сахарной болезни прибавились боли в печени, и он глотал сразу по две таблетки.

— Удар на Яссы Малиновский намечал без паузы весной, когда наши войска перешли румынскую границу, — продолжил Бирюков, чем еще больше озадачил Толбухина, не знавшего ничего подобного. — И Ставка одобрила этот план, но срок готовности перенесла до особого распоряжения, так как в то время уже разрабатывалась операция «Багратион» в Белоруссии. («Да, да, именно так обстояло дело!» — вспомнил Бирюков кремлевский разговор Сталина по телефону в апреле.) И немцы, возможно, догадывались, что против них что-то затевается, старались улучшить свои позиции, переходили в контратаки, теснили наши части, отвоёвывая высоту за высотой, чем не на шутку встревожили Малиновского. Он попросил у Сталина разрешения бросить пару резервных дивизий в бой, подкрепить 52-ю армию и отбить у противника желание контратаковать. Сталин подумал-подумал и возразил: «А я вам не советую, не рекомендую этим заниматься». — «Почему? — удивился Малиновский, как видно, не ожидавший возражения против «пары дивизий». — У нас ведь достаточно резервов!» — «Вот поэтому-то я и не рекомендую, — стоял на своем Сталин. — У вас может получиться так же, как однажды во время римско-германской войны. Лето было жаркое, Рейн обмелел. Римское судно с продовольствием село на мель. Германцы попытались перетянуть его на свою сторону, но римляне направили на помощь морякам воинов. Усилили свою сторону и германцы. В конце концов, из-за небольшого сражения в этот район были стянуты легионы и разразилось ожесточенное сражение. Затевать такое не в наших интересах. Так что я вам не рекомендую и не разрешаю вводить резервы фронта на этом направлении. Кроме того, — продолжил Сталин, — мы сейчас будем забирать у вас войска на

другое направление, где готовим новую наступательную операцию!» Вскоре он так и сделал, после чего, конечно, нечего было и думать о соперничестве с немцами. Правда, привести их в чувство Малиновский мог и теми силами, какие остались, но он не выделил в помощь 52-й армии ни одного полка, делая вид, что у него нет резервов, пытался убедить немцев в своей слабости. Тогда-то, как мне кажется, и было задумано направление главного удара на Яссы, о котором Малиновский никому не говорил, даже своему начальнику штаба, — «подчеркнул» Бирюков и многозначительно посмотрел на Толбухина, слушавшего доклад с широко открытыми глазами. — Как вы считаете мое предположение? Правильное?

— Возможно, возможно, — неопределенно проговорил Толбухин, которому Малиновский, наверное, все-таки «шепнул на ухо», как подозревал Бирюков.

— Не знаю, клюнули немцы на эту удочку или нет, — сказал он, уже не сомневаясь в решении Малиновского ударить на Яссы. Зато мы можем их наверняка обмануть, если будем наступать с Кицканского плацдарма... Давайте повнимательнее рассмотрим «Кишиневский выступ».

Он подошел к карте и указкой обвел полосу фронта, выгнутую в нашу сторону, как натянутый лук. Один конец упирался в восточные Карпаты, а другой — в Черное море. Не надо было быть полководцем, чтобы увидеть преимущество удара с севера на юг, из района города Яссы. Вся группировка немецких и румынских армий ставилась под угрозу окружения. Правда, сделать это было не так просто, потому что путь преграждал хребет Маре, что в переводе с румынского значило «великий», да и город Яссы немцы превратили в настоящую крепость, а времени для этого было достаточно: три месяца!

Несмотря на ловушку, какую представлял из себя «Кишиневский выступ», противник не отводил свои войска на более выгодные позиции, во-первых, ввиду серьезных естественных преград для наступающих, и, во-вторых, потому, что сам надеялись использовать Кишиневский выступ для удара по нашим войскам с юга на север и возвращения потерянной весной Правобережной Украины. По слухам, доходящим до штаба фронта, на все предложения генералов выровнять фронт, отвести войска за Прут, Гитлер отвечал решительным отказом. Не хотел он поэтому и менять название группы армий «Южная Украина», уже потерявшее свой смысл.

Что же касается Румынии, которая была за спиной немецких войск, то Гитлер якобы говорил: «Для меня легче потерять леса Белоруссии, чем нефть Румынии и хромовую руду Турции».

— Вот почему внезапность удара имеет огромное значение, — сказал Бирюков, отходя от карты и еще больше убеждаясь в достоинствах Кицканского плацдарма. — А в отношении Кишиневского направления, — продолжал он, — мы не станем разубеждать немцев и создадим там видимость сосредоточения войск: построим ложный аэродром, базу горючего, расставим небрежно замаскированные макеты танков, грузовиков и ору-

дий, а в предвечерние часы будем направлять туда войска, которые с наступлением темноты должны возвращаться обратно, наконец, расположим там батальон связи, и пусть он беспрерывно подает в эфир ничего не значащие сигналы, будто из крупного армейского штаба. Побольше туда направим зениток, а самолеты должны вести постоянную охрану этого участка и все попытки немецких летчиков проникнуть в него дружно отбивать!

Убежденность Бирюкова в том, что немцев можно обмануть под Кишиневом, что войска фронта обязательно проломают оборону противника, если будут наступать с Кицканского плацдарма, как и в том, что лучше всего где-то возле Прута соединиться с войсками Малиновского, исходила из уверенности нашего превосходства над немцами, из опыта неудач и успехов предыдущих операций. И все это как бы освещалось большой радостью: он, «еще молодой человек», как назвал его вчера Неделин, свободно, привычно, словно всю жизнь только этим и занимался, оперирует дивизиями, корпусами, армиями, всем 3-им Украинским фронтом. Докладывая о том, сколько войск можно будет сосредоточить на направлении главного удара, откуда их взять и как расположить, чтобы создать высокую плотность боевых порядков, раз в восемь превосходящую плотность у противника, как требовала эта война, он не удержался от юношески-радостного восклицания:

— Подумайте только: решились бы мы год-два назад так оголить фланги!

Бирюков чувствовал какую-то перемену в Толбухине по тому, как он слушал, время от времени подавая реплики, и даже по тому, как он пил боржоми и глотал свои таблетки, наострив ухо, стараясь не пропустить ни одного слова Бирюкова, а когда тот закончил, поднялся и заговорил, как бы думая вслух, словно желая еще раз убедиться в правильности своих выводов.

— Спасибо, Сергей Иванович, за обстоятельный доклад. Но понимаешь, что получается? Побывал я под Кишиневом. Наступать и там можно. И Ставка настаивает на Кишиневском направлении: тамошний народ, известно, в первую очередь предпочитает брать столицы. Так что оставим вопрос о Кицканском плацдарме открытым до приказа Верховного о наступлении.

— Значит, я не убедил вас? — огорченно произнес Бирюков, положив указку на стол. Толбухин сделал недовольное лицо.

— Убедить надо Верховного!

«Хитрит», — подумал Бирюков, а Толбухин, стараясь переменить неприятный для него разговор, воскликнул:

— Да, чуть не забыл! — Он помедлил, оглядывая всех загадочно интригующим взглядом. — Слыхали про нового командующего группой армий «Южная Украина»? Генерал-полковник Йоганн Фриснер. Сегодня прибыл в Слэник из Прибалтики, слывет среди немцев «мастером железной обороны». Понимаете, что получается?..

Когда генералы разошлись, Бирюков озабоченно спросил Толбухина:  
— А почему «мастера железной обороны» на здешний фронт? Уж не пронюхали немцы что-либо о нашем замысле?

Толбухин оторопело выкатил свои белесые глаза.

— Я об этом как-то не подумал... Да нет, что ты, Сергей Иванович! — Он досадливо поморщился. — Просто совпадение!

Но по глубоким складкам на лбу было видно, что слова Бирюкова крепко его озадачили.

— Что за офицер палил по солдату в Цебрикове? Мне донесли, что какой-то немецкий майор шатается по нашим тылам.

Бирюков вспомнил ветряк, подростков, которых он принял за немецких разведчиков. Похоже, и цебриковская история раздута. Однако сказал:

— Я приказал провести тщательное расследование. Найти майора во что бы то ни стало!

«А в отношении Кицканского плацдарма напишу в Генштаб, нет, в Ставку, дойду до самого Сталина, если Толбухин не согласится со мной. Сам сказал: надо убедить Верховного!» — заключил неожиданно для самого себя Бирюков, но тут же подумал о последствиях такого шага, об известных ему смельчаках, которые добивались своей правды и сгорели, как мотыльки на огне. И на душе сделалось тоскливо. Как он связан по рукам и ногам военной субординацией, как бессилён отстоять свою правоту. Он ведь действует не в корыстных целях, не для собственного благополучия или карьеры, а в общих интересах, печется о наименьших потерях и наибольшем успехе. До конца отстаивать Кицканский плацдарм, идти напролом, значит, поставить себя под удар с тыла, более опасный, чем с фронта, а согласиться с ошибочным, пагубным планом — пойти против совести и чести. Сделаться самому себе противным.

...Вернувшись домой из штаба поздно вечером, Бирюков заглянул на половину дочери. Комната была пуста. Обеспокоенный, он вышел во двор и столкнулся с Тоней лицом к лицу у калитки. Встревоженная, она молча прошмыгнула в свою комнату-боковушку. Бирюков, как ни допытывался, ничего толком узнать не мог. Тоня сразу же легла в постель, натянула простыню до подбородка и смежила глаза. Бирюков постоял, посмотрел на ее бледное лицо, на длинное, с подогнутыми ногами тело и подумал: «Далеко, далеко я ушел от юности, уже не понимаю ее».

— Свет тушить?

— Да.

— У тебя такой вид, точно ты встретила с привидением. Что-нибудь случилось? Опять ходила на кладбище?

— Нет. Я спать хочу.

«Вот еще одно непонимание, — рассуждал Бирюков с усмешкой к самому себе уже в кровати. — Я оглядываюсь назад и вижу, сколько сделано непоправимых ошибок, как неумно, безрассудно иной раз растрачивались молодые силы. Кое-что сделанное я нахожу еще таким, за которое

спокойна совесть, и более благоразумно, учитывая прошлый опыт, стараюсь оставшиеся силы направить на полезное дело. Но сколько моих сверстников попусту растранили лучшие годы! Мне очень хочется предостеречь от этого Тоню».

В последнее время Бирюков почему-то часто раздумывал над судьбами тех, кто был вдвое моложе его, может быть, эти раздумья вызывала подрастающая дочь, будущее которой было для него неясно? Ее поступки, ее слова он сравнивал со своими поступками и словами в юности, находя не столько общего, сколько разного, как ему казалось.

«Папа сердится, но как ему объяснить, что со мной происходит? Не могу я сказать. Стыдно, — думала Тоня в соседней комнате, широко открыв глаза в темноту. — Я сама не знаю, почему так гадко поступаю. Согласилась, чтобы Кравцов провожал меня, хотя он не очень нравился. Теперь вот голубоглазый майор с забавным выговором». Тоня знала о латышских подразделениях на фронте и сразу же заметила у майора плохое произношение. «Прибалтиец», — решила она и не могла отказать, когда майор назначил свидание. И вдруг откуда-то взялся Виктор. Получилось страшно неловко, хуже, чем в Цебрикове. И с майором она не встрети-лась, и Виктора, наверное, потеряла уже навсегда.

А час назад на окраине Берлино произошло вот что.

## 6

Тотчас после отъезда генералов с плацдарма Озеров был вызван командиром батальона и ожидал накачки. «Неделин остался недоволен минометчиками и пожаловался, что ли?» — гадал он, горбясь при входе в землянку, чтобы не стукнуться головой о перекладину.

В кадровой фуражке с коротким лаковым козырьком, туго затянутый портупеей, в хромовых сапогах с двойными подошвами и низкими голенищами в обтяжку кривоватых ног, начальственно-строгий не по возрасту (он был всего на год старше Озерова), комбат как-то уклончиво-бегло осмотрел лейтенанта и коротко бросил:

— Поедете за фуражом для полка. — Одним пальцем он оттянул манжет гимнастерки и заглянул, как в норку, на часы. — Пятнадцать минут на сборы!

«О стрельбе ни слова», — удивился Озеров, не понимая «фуражного» поручения: поощрял ли его комбат или, напротив, «отсылал в обоз». Коренастого старшего лейтенанта он шутливо окрестил «ракушкой», но ценил в нем деловитость.

Что нравилось Озерову в армии, так это нетерпение к возражениям и проволочкам. Комбату мало было дела до того, освоился ли Озеров на плацдарме по возвращении из госпиталя (всего-то несколько дней назад). Надо ехать за фуражом — оставляй за себя офицера и отправляйся без проволочек! Озеров не огорчился, напротив, словно получил дополнительный отпуск, возможность снова побывать в Цебриково, увидеть ста-



рых друзей, Тоню, но уже в качестве ротного, а не «генерала без войск», кем он чувствовал себя в госпитале.

— Дудченко, запрягай гнедых порезвей! — прокричал лейтенант весело, возвратясь к своим, оглядел взводных (они только что прибыли из училища и держались стайкой), остановил взгляд на младшем лейтенанте Сизове. Подтянутый, серьезный, он больше всех внушал к себе доверие.

— Сизов!

— Я вас слушаю, товарищ комроты!

Сизов сунул большие пальцы за ремень, провел по талии, одернул сзади гимнастерку и шагнул к Озерову.

«Не забыл курсантской выучки», — одобрительно подумал лейтенант и бодро приказал:

— Остаются за меня!

Двадцать подвод порожняком растянулись по проселку. Резвые кони быстро вспотели и роняли на землю белую пену. Степь открывалась то фиолетовым цветом шалфея по взгорью, то красными разливами маков в балке. С бугра на бугор катили подводы, поднимая за собой длинный хвост пыли. Ездовые лишь для порядка подергивали вожжи. Кони высоко держали головы, гривы косматились на ветру.

Дорога была неторная, проросшая травой. В низинах высокий бурьян хлестал по ступицам, наматывался на колеса. Впереди Озеров заметил свежерытый рыхловатый бугорок и суслика на задних лапках, с желтым брюшком. Он увлеченно умывался, но слышал стук колес, вытянул шею, посмотрел туда-сюда и юркнул в норку — мелькнуло белое пятнышко хвоста. И еще вразброс по склону бугра темнели сусличьи норы. А вдали низко парил ястреб, выискивая добычу. Небо было чистое, мирное, и отдаленный глуховатый рокот самолета, белые облачка разрывов зенитных снарядов казались безобидными.

Медово пахло разнотравье, в ушах посвистывал ветерок, военных тревог словно и не было. Удивительно, как быстро тишина и покой настраивают на мирный лад!

— По Дону гуляет, по Дону гуляет, — затынул Дудченко негромко, под стук копыт и скрип повозок, — по Дону гуляет казак молодой...

Озеров лежал на сене в коробе, видел одно голубое небо, наслаждался нежданной праздничной поездкой и мыслями был с Тоней. Чаще всего она вспоминалась в день расставания. И ее объятья, и по-девичьи неловкий поцелуй волновали теперь, как письмо с признанием в любви.

«Тоня хорошая, — думал Озеров, убирая тени и оставляя только светлые пятна. Перед глазами стояли и довоенные встречи в Белой Калитве и Лихой, когда она, подросток, шаловливо увивалась вокруг Виктора и Нины, то сталкивала их лбами и, смеясь, убегала, то садилась между ними с невинным видом, мешая говорить... Вон еще когда она была влюблена в Виктора! Прошлое их крепко связывало. Что значили теперешние ревнивые ссоры? Мелочи! — Она чистосердечно раскаялась, а я... так грубо с нею обошелся, пожалел на прощанье ласкового слова, — ругал себя Вик-

тор. — Тоню считаю гордячкой, а сам не лучше. Приедем в Цебриково, и прямо к ней. Хватит дуться!»

Озеров вообразил, как Тоня бросится к нему, прильнет губами к его губам. «Может случится и другое, — спохватился он. — Увижу ее с Кравцовым. Я уехал, а он остался в Цебриково... Не надо спешить, лучше быть сдержанным, передам Тоне записку, пошлю с Дудченко, так будет вернее».

Подводы втянулись в село Берлино, занятое фронтовым штабом. Не было хаты, где бы ни стояли военные. Сержанты и старшины выглядели офицерами, а некоторые и впрямь щеголяли в шерстяной офицерской форме — зеленых гимнастерках и синих диагональных галифе, о каких для себя Озеров и мечтать не мог. «Вот житуха! — завидовал он. — Ни пуль, ни снарядов, когда-никогда пробомбит самолет. Можно сто лет воевать!» И снова спросил себя, правильно ли сделал, отказавшись от предложения генерала Бирюкова? Лешка, его старый друг, без сомнения поступил бы так же. Нет-нет, он и вспоминался в харьковском госпитале как бы укором малодушию Виктора.

Дудченко привстал на передке, всматриваясь в боковую улицу и показывая на кого-то кнутовищем.

— Тот самый, убей меня бог!

Озеров в недоумении глянул по направлению кнутовища, — в перспективе улицы удалялся долговязый незнакомый офицер.

— Тот самый, который в меня стрелял, товарищ комроты!

— Какой же это Кравцов? Это вовсе не Кравцов. Ну-ка, заворачивай коней. Посмотрим, что за гусь! — Взвинченный не меньше ординарца, Озеров уже подозревал в долговязом офицере еще одного соперника. Но тут из-за угла навстречу медленному обозу (в селе кони перешли на шаг) выкатил открытый запыленный «виллис» под охраной отделения автоматчиков. Рядом с шофером сидел светло-русый генерал Бирюков в синем комбинезоне, а на заднем сиденье — обветренная, загоревшая Тоня. Она как будто побывала в дальнем военном походе. «Виллис», автоматчики, генерал, Тоня словно свалились с неба, и опешивший Озеров, боясь быть узнанным, спрятался за спину Дудченко.

Накрываемый пылью, как саваном, «Виллис» замер возле опрятной белой хаты под камышом. Тоня живо спрыгнула на землю, побежала к калитке — легкая, проворная, красивая! Вслед за ней, что-то крича вдогонку, направился генерал. «Так она не в Цебрикове! С папашей», — озадачился Озеров, приглядываясь к генеральской хате. У крыльца — часовой. Посторонился, отдал честь, пропуская отца и дочь.

— Дудченко, видел?

— Да ничего не вижу за пылью. Вроде свернул в проулок.

— Ты о ком? Все о своем офицере-придурке? Дался он тебе! Я спрашиваю: «виллис» видел?

— Как же!

— А девушку?

— Генеральшу, что ли?

— Дочь генерала. Она ведь молодая, — с досадой поправил Озеров.  
— Ты запомни хату. Отнесешь записку. Ну, чего уставился? Тоне Бирюковой, этой самой.

— А меня не арестуют?

— За что? Вот чудак!

Выехав за село, обоз остановился возле колодца попоить лошадей. Озеров написал записку и стал ждать, надеясь, что ординарец быстро обернется, но прошло больше часа, а его все не было. Невдалеке горбились крыши Берлино, покачивал крыльями ветряк на бугре, и Озеров зашагал по проселку в надежде встретить ординарца на обратном пути, может быть, вместе с Тоней: вряд ли она усидит дома, получив записку!

Вскрикивая, низко, как перед дождем, носились черно-белые ласточки. Вечерело. Воздух синел и густел. На крыле ветряка повисло красное солнце, будто наколотое на нож яблоко. Такая тишина, такая пустота вокруг, точно Озеров попал на необитаемый остров.

— Это вы? — услышал он, проходя мимо рощицы акаций на краю села, и сразу узнал голос Тони. Но почему «вы»?

— Я! — сказал он и прыгнул через дорожную канаву, зашел под деревья.

— Виктор? — Тоня в удивлении отступила.

— Не ожидала? Здравствуй!

— Здравствуй. — Она с беспокойством перевела глаза на дорогу, словно еще кого-то выглядывая. Озеров рассчитывал не на такую встречу. Может быть, эту скованность вызвала записка? Не намолот ли он чего лишнего? Не оскорбил ли каким-нибудь словом невпопад?

— Ты не рада?

— Нет. Почему же? Только как ты оказался в Берлино?

— Сопровождаю фуражный обоз. Я теперь командир роты! — прихватил Озеров.

— Вот как! — деланно обрадовалась Тоня. — Поздравляю.

— А я видел тебя сегодня.

— Где? — Тоня растерянно обернулась (она все поглядывала на дорогу).

— На «виллисе» с отцом.

— А! — облегченно вздохнула. — Я уехала из Цебрикова совсем.

— Нога поправилась?

— Да.

— Как там Зоя? — О Кравцове умолчал.

— Ничего. Все хорошо.

Виктор искал и не находил в ее глазах доброжелательности, которая тронула его при расставании в Цебрикове. Тоня явно тяготилась неожиданно свалившимся на голову кузенком. «Напрасно я записку послал, и самому нечего было сюда переться!» — подумал он, уже холодно глядя на девушку.

Послышались чьи-то шаги. Озеров настороженно обернулся. По дороге шел Дудченко. Конечно, записку не передал. Тоня не прочитала нежных всепрощающих слов, чем и объясняется ее неприязнь. Верно, до сих пор злится за цебриковскую шутку с вещим сном.

— Дудченко! — сердито окрикнул лейтенант.

— Комроты! — призывно отозвался ординарец и, страшно обрадованный, кинулся навстречу. Но Озеров встретил его недружелюбно:

— Где ты пропадал? Заблудился, что ли?

— И не спрашивайте! Опять напоролся на психа-офицера. Увидел на лавочке у забора дивчину. Никак, думаю, генеральская дочка, какая мне нужна? Подошел поближе разглядеть. А навстречу мне этот псих. Как зарорет, точно я ему на мозоль наступил: «До каких пор ты будешь путаться в моих ногах!» Я и опомниться не успел, как он ткнул в грудь пистолетом: «Пошли!»

— Не с этой ли дивчиной был майор! — Озеров с усмешкой кивнул на Тоню.

— С ней самой!

— Ну и что дальше? — равнодушно, словно Тоня потеряла для него интерес, спросил лейтенант.

— Повел по огородам, по бурьяну. Зашли в какую-то хату. Смотрю, сидит Сидоров, чистит карабин и так ехидно мне говорит: «А, старый знакомый! Какими судьбами?» Офицер только повел бровью, и Сидоров прикусил язык. Обыскали меня, нашли записку. «Кто такой Виктор Озеров?» — «Лейтенант, я при нем ординарец», — отвечаю. «А кто Тоня?» — «Генеральская дочка». — «Ага. Ясно». Не знаю, что ему стало ясно, только дал мне пинком под зад и велел, чтобы духу моего в Берлино не было.

— Что за чудеса! — Озеров снова пренебрежительно глянул на Тоню. — Поздравляю с майором!

— Я его видела всего два раза! Какой-то странный... Ты не обижайся, Виктор, я тебе сейчас все объясню... — Тоня была похожа на провинившуюся ученицу, готовая плакать навзрыд, целовать руки, только бы ничего не узнали родители. Пусть казнится, думал Озеров, пусть прочувствует до конца, какая она гадкая! Если бы Тоня сейчас упала на колени, прося не оставлять ее одну (чего очень хотел бы ревнивец), то и тогда отвернулся с презрением. Но Тоня не упала на колени, и лейтенант ушел, не прощавшись.

— Давай-ка зайдем в майорову хату, посмотрим, что за гусь там живет. Да побыстрей, Дудченко! Времени у нас в обрез. — Озеров ускорил шаг.

— Так он и ждет нас! — Ординарцу вовсе не хотелось снова встречаться с придурковатым офицером, будь он неладный, точно черт их сводил.